АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
АКАД. Б. Д. ГРЕКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1941

М. В. НЕЧКИНА

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ

(К анализу источников темы)

Учение Ленина о революционной ситуации — путь к пониманию Чернышевского.

Чернышевский — великий революционер-демократ. Крупнейший ученый и неутомимый пропагандист революционных идей, он своими произведениями боролся за революционное дело. «...Идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей»[1] он проводил и в экономическом трактате, и в статье о крестьянской реформе, и в рецензии на литературное произведение, и в политическом обзоре. Выйдя из-под пера Чернышевского, эти литературные произведения немедленно приобретали крупнейшее общественное значение, становились фактами общественной жизни, группировали вокруг себя передовые общественные силы, агитировали, готовили к борьбе, сами являлись актом борьбы. Поэтому часто встречающееся расчленение деятельности многогранного в своих научных знаниях и интересах и единого в своей революционной направленности Чернышевского на различные «специальности» нередко наносит существенный ущерб его изучению. Статьи о Чернышевском, циклы лекций о нем часто строятся по трафарету: Чернышевский — философ, Чернышевский — экономист, Чернышевский — историк, Чернышевский — литературовед и беллетрист. При изучении каждой из этих отдельных «специальностей» Чернышевского утверждаются его теоретические плюсы и минусы, справедливо говорится, что Чернышевский далеко продвинулся вперед в области материалистического знания, но все же не дошел до его вершин. Если ограничиться лишь этим тезисом (правильным по существу), пропадет основная сторона вопроса — оценка объективного значения Чернышевского в определенный исторический момент его выступления.

Нередко такое условное расчленение деятельности Чернышевского воздвигает вокруг него четыре кабинетные стены: 1. философ, 2. экономист, 3. историк, 4. литературовед-беллетрист. Чернышевский как бы замыкается в кабинет, отъединяется от эпохи. Мы узнаем, чтó было правильно и чтó неправильно в его научных воззрениях, но остаемся на месте в деле определения исторического значения, которое эти воззрения получили на определенном историческом этапе,

---

[1] В. Ленин. «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция (Соч., XV, стр. 144).

роли, которую они сыграли в момент своего обнародования. Между тем дело далеко не только в узко взятой правильности или неправильности его выводов — дело также в их объективном значении для изучаемой эпохи, для определенного момента исторического развития. Работы Чернышевского несли определенную историческую функцию. Кабинет Чернышевского был местом его революционной работы, а его произведения — орудием классовой борьбы.

Понятно то огромное значение, которое сыграли произведения Чернышевского в годы революционной ситуации.

Ленин так определяет понятие революционной ситуации:

«Для марксиста не подлежит сомнению, что революция невозможна без революционной ситуации, при чем не всякая революционная ситуация приводит к революции. Каковы, вообще говоря, признаки революционной ситуации? Мы наверное не ошибемся, если укажем следующие три главные признака: 1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизмененном виде свое господство; тот или иной кризис «верхов», кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому. 2) Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов. 3) Значительное повышение, в силу указанных причин, активности масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, *так и самими «верхами»*, к самостоятельному историческому выступлению.

Без этих объективных изменений, независимых от воли не только отдельных групп и партий, но и отдельных классов, революция — по общему правилу — невозможна. Совокупность этих объективных перемен и называется революционной ситуацией». [1]

Ленин указывает далее, что революционная ситуация была в России в 1859—1861 гг.; она представляет собою пример революционной ситуации, не перешедшей в революцию. Значение работ Чернышевского в этот период не может быть механически приравнено к значению его работ, появившихся ранее этого времени.

В годы революционной ситуации Чернышевский опубликовал свою замечательную работу «Труден ли выкуп земли?» (1859 г.), представляющую собою акт борьбы против помещиков и царского правительства за крестьянскую землю и разоблачающую помещичьи махинации по прикрытию *выкупом земли* выкупа *личности* крестьянина. Работа Чернышевского «Не начало ли перемены?», написанная в конце 1861 г., вновь возвращалась к вопросу о близости народного восстания.

Острые политические обзоры этих лет (1859—1861 гг.) и работы по истории Западной Европы («Июльская монархия» и др.) призывали к революционной борьбе; иногда этот призыв скрывался под условной формой описания якобы западноевропейских событий, причем в какой-нибудь Австрии читатель легко угадывал Россию, а в плантаторах-рабовладельцах Северо-американских Соединенных Штатов — русских помещиков. Но иногда, не прибегая к маскировке, Чернышевский давал описание реальных западноевропейских событий, и читатель учился на примере Европы. «Предисловие к нынешним австрийским делам» (1861 г.) содержало яркую картину революции,

[1] В. Ленин. Соч., XVIII, стр. 244.

а «Июльская монархия» (1861 г.) говорила читателю о том, что монарх, идущий против воли народа, обречен на неминуемое свержение с престола под натиском народного восстания.

В опубликованных в 1859 г. «Материалах для решения крестьянского вопроса» было отчетливо формулировано желание автора изложить точку зрения *крестьянства* на предстоящую реформу. Одновременно Чернышевский разоблачал либералов, изменяющих народному делу, громил реакционность славянофильства, рисовал истинный облик труженика — русского народа — основной, решающей силы исторического процесса («Народная бестолковость» и «Национальная бестактность» (1861 г.), «Леность грубого простонародья» (1860 г.) и др.). И в эти же годы революционной ситуации Чернышевский пишет свои крупнейшие философские и экономические работы: «Антропологический принцип в философии» (1860 г.) — серьезное философское исследование, утверждающее «цельное материалистическое мировоззрение», столь высоко оцененное Лениным, и «Очерки политической экономии (по Миллю)», о которых Маркс сказал, что они мастерски выяснили «банкротство буржуазной политической экономии». Замечательна эта борьба Чернышевского за науку, за материалистическую теорию — в самые напряженные годы революционной ситуации. Ленин пишет в «Детской болезни «левизны» в коммунизме»: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданного, дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области».[1] Произведения Н. Г. Чернышевского — слагаемое этой огромной теоретической работы революционной мысли в России, они являются шагом вперед в борьбе за революционную теорию.

В своем произведении «Гонители земства и аннибалы либерализма» Ленин дал конкретную картину революционной ситуации рассматриваемых нами лет (1859—1861 гг.): «Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих *революционеров*, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови *заставлять* принять «Положение», обдирающее их как липку, коллективные отказы дворян-мировых посредников применять *такое* «Положение», студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной».[2]

Применяя к деятельности Чернышевского данные Лениным критерии революционной ситуации, мы видим, что его могучая проповедь выявляла, как «низы не хотели» жить по-старому, и свидетельствовала о накопившейся в массах готовности «к самостоятельному историческому выступлению». Таким образом первый и третий признаки революционной ситуации непосредственно выявляются в «могучей проповеди» Чернышевского. Он был великим революционером своего времени, а революционеры — «вожди тех общественных

---

[1] В. Ленин. Соч., XXV, стр. 175.
[2] В. Ленин. Соч., IV, стр. 126.

сил, которые творят все преобразования; реформы — побочный продукт революционной борьбы».[1]

Выше перечислен ряд крупнейших по значению произведений Чернышевского, написанных в годы революционной ситуации. Все эти произведения опубликованы в «Современнике», т. е. появились в легальной печати. Бесспорно, эти произведения — крупнейшие по значению первоисточники для изучения Чернышевского в годы революционной ситуации. Но список этот неполон — к нему надо добавить замечательную прокламацию Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», написанную им для нелегального распространения в народе. Вторым нелегальным произведением, автором которого многие исследователи считают Чернышевского, является знаменитое «Письмо из провинции», подписанное псевдонимом «Русский человек», опубликованное Герценом в 1860 г. в № 64 «Колокола». Огромная роль подобных нелегальных произведений как первоисточника для исследователя, совершенно ясна — они гораздо более *точно*, чем легальные, выявляют взгляды автора.

Но в последнее время появились работы, отрицающие авторство Чернышевского как в отношении первого, так и второго документа. Эти работы исключают из революционного наследия Чернышевского два ценнейших нелегальных произведения, написанных ясным языком революционера, за спиной которого не стоит цензура, излагающих взгляды революционной демократии без цензурных стеснений. Чрезвычайно важно наличие нелегальных произведений и для изучения легальных: первые, написанные без учета цензуры, являются как бы ключом к урезанному подцензурному изложению вторых. Теряя их в наследстве Чернышевского, мы сверх того терпим и добавочный ущерб, лишаясь этого ключа. Но, как ни горько лишиться таких ценных документов в наследии Чернышевского, необходимо было бы с этим примириться и даже радоваться этому — всегда ценно установить истину, всегда важно отсечь от исследования неправильно приписываемый автору текст. Но все дело в том, что упомянутые выводы последних работ возбуждают серьезные сомнения. Поэтому первым делом исследователя произведений Чернышевского в годы революционной ситуации является самое установление комплекса первоисточников. Необходимо поэтому прежде всего заняться анализом этих крупнейших по значению памятников революционного движения в России.

* * *

Остановимся сначала на анализе воззвания «Барским крестьянам». Поставим прежде всего вопрос об авторстве.

В недавно вышедшем в Саратове издании «Процесс Н. Г. Чернышевского», подготовленном к печати Н. А. Алексеевым, утверждается, что Чернышевский *не был* автором прокламации «Барским крестьянам». Допускается лишь возможность того, что Чернышевскому могут в ней принадлежать некоторые части текста. «Принято думать, — пишет Н. А. Алексеев, — что автором воззвания к барским крестьянам действительно был Чернышевский». И далее, приводя ряд доводов, которые будут разобраны ниже, Н. А. Алексеев утверждает: «Помимо прочих соображений, само содержание некоторых частей воззвания к барским крестьянам таково, что автором их не мог бы быть Чернышевский». Заканчивает он выводом: «прокламация, написанная по свидетельству Шелгунова Чернышевским, не тожде-

[1] В. Ленин. «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция (Соч., XV, стр. 147).

ственна с дошедшим до нас текстом воззвания барским крестьянам, а требуется обстоятельное исследование последнего, чтобы определить, что в нем могло принадлежать Чернышевскому». [1]

Чрезвычайно осторожно подходит к этому вопросу саратовский сборник статей, посвященных Чернышевскому, оставляя широкое поле для сомнений в авторстве Чернышевского: «На суде Чернышевский отрицал свое авторство. Воззвание «Барским крестьянам» было написано рукою М. Михайлова. Все же несомненно можно признать, что это воззвание было если не написано, то известно Чернышевскому, и даже, возможно, отредактировано им. Об этом говорят и содержание, и стиль воззвания». [2] Тут авторство Чернышевского не отрицается, но вопрос остается открытым.

Рассмотрим доводы, выдвинутые в литературе против авторства Чернышевского. Во время следствия и суда Чернышевский по понятным причинам решительно отрицал свою революционную деятельность и в том числе авторство прокламации «Барским крестьянам». Это было одним из главных пунктов обвинения, и отвергнуть его было особенно важно. Положение о том, что Чернышевский действительно является автором воззвания, базируется в науке на анализе содержания прокламации, а также на двух мемуарных свидетельствах, одно из которых принадлежит Н. В. Шелгунову, другое — А. А. Слепцову. В первоначальном наброске своих воспоминаний (более откровенных и подробных, чем позднейший текст) Н. В. Шелгунов, рассказав о знакомстве Н. Г. Чернышевского и его друзей с будущим предателем Вс. Костомаровым, пишет: «Костомаров много рассказывал о своей бедности и о тех неудовольствиях, которые он выносит дома; особенно он жаловался на брата. Костомаров рассказывал, что, когда он завел станок и отпечатал кое-что, брат объявил ему, что донесет на него, если он не заплатит ему полтораста рублей. Мы не особенно внимательно отнеслись к этому пункту или, вернее, отнеслись особенно внимательно, но не в ту сторону: Костомарову были даны вперед деньги, Чернышевский дал работу в «Современнике» и вообще его окружили таким участием и вниманием, на которое он едва ли рассчитывал. Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать — у нас же оказалась готовность писать. В ту же зиму, т. е. в 1861 году, я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский прокламацию «К народу» и вручил их для печатания Костомарову. Разговоров вообще было у нас мало, а о прокламациях тем более. Я переписал прокламацию измененным почерком и, как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал Костомарову. Впрочем, Костомаров знал, что писал я. В половине зимы Костомаров уехал в Москву». [3] Далее Шелгунов замечает, что содержание прокламаций «К солдатам» и «К народу» он забыл. Заметим, кстати, что «забывчивость» Шелгунова мало правдоподобна: трудно «забыть» содержание документа, переписанного собственноручно. Конечно, Шелгунов предназначал свои воспоминания для печати, предпринял их со специальной целью реабилитировать шестидесятые годы в эпоху восьмидесятых, когда идеи шестидесятников подвергались нападкам

[1] «Процесс Н. Г. Чернышевского». Архивные документы. Редакция и примечания Н. А. Алексеева, стр. 283—284, Саратов, 1939.

[2] «Н. Г. Чернышевский». Сборник статей к 50-летию со дня смерти великого революционера-демократа, стр. 88, Саратов, 1939 (Комитет при саратовском облисполкоме по ознаменованию 50-летия со дня смерти Н. Г. Чернышевского).

[3] Н. Шелгунов. Воспоминания. Редакция, вступ. статья и примечания А. Шилова, стр. 33, М. — Пгр., 1923.

и осмеянию. Довольно трудно было в страшных условиях цензуры времени Александра III распространяться о содержании прокламаций, основным лозунгом которых был призыв к организации вооруженного народного восстания.

Основываясь на том, что содержание прокламаций Шелгуновым «забыто», Н. А. Алексеев утверждает, что «в силу этого мы не можем установить тождество прокламации «К народу» с дошедшей до нас прокламацией «Барским крестьянам», тем более, что имеющийся в нашем распоряжении текст писан рукою не Шелгунова, но Михайлова». Кроме того, «по показаниям самого Костомарова, первоначальный текст воззвания был будто бы Чернышевским изменен по его, Костомарова, настоянию, иначе он не соглашался печатать его, и набран был измененный текст».[1] Разграничим два разных вопроса, содержащихся в приведенных тут возражениях: первый вопрос — является ли упоминаемая Шелгуновым прокламация «К народу» и имеющаяся в нашем распоряжении прокламация «Барским крестьянам» в общем *одной* и той же прокламацией, или же речь идет о каких-то двух прокламациях, из которых одна называлась «К народу», а другая «Барским крестьянам»? Второй вопрос относится к изменению текста прокламации при переходе его из рук в руки. На первый вопрос ответ может быть только один: прокламация «К народу» и прокламация «Барским крестьянам» — это одна, а не две прокламации. Разница названий, хотя бы Шелгунов и «забыл» содержание прокламации, ничего не меняет: доказательством является самое имя Костомарова. Этот трижды продавшийся предатель, не только предавший Чернышевского, но и сфабриковавший против него фальшивые документы, жадно *выдумывавший* доказательства «виновности» Чернышевского, разумеется, не скрыл бы от царского следствия одну прокламацию, выдав другую. Прокламация «К народу» поэтому только и может быть именно той прокламацией, которую Костомаров выдал, т. е. прокламацией «Барским крестьянам». Таким образом разница названий не должна приниматься в расчет: речь идет именно об *одной* прокламации. Свидетельство Шелгунова есть свидетельство о прокламации «Барским крестьянам».

Но как же менялись редакции прокламации при переходе ее из рук в руки?

Рукопись воззвания «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» находится в одном из томов делопроизводства следственной комиссии по делу П. Заичневского, П. Аргиропуло и др. (в деле самого Чернышевского она отсутствует). Том этот носит название «Следственное дело об издании и распространении злоумышленных сочинений» (началось 12 сентября 1861 г., кончилось 21 декабря 1861 г., на 927 листах). В настоящее время дело хранится в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ) в Москве. По приложенной к нему описи под № 6 числится «Отношение 3-го отделения собственной его имп. вел. канцелярии от 11 сентября (1861 г.) за № 1361 с приложениями»; в числе этих приложений (лл. 16—22) и находится прокламация «Барским крестьянам», написанная рукою М. И. Михайлова. Она занимает шесть отдельных листков белой бумаги почтового формата. Листки склеены и кроме того сшиты вместе у левого края частыми стежками грубой суровой нитки, какой обычно сшиваются бумаги в канцеляриях. Нитка сильно повредила левый край документа, отчасти даже разрушила текст, хотя разобрать его можно полностью.

[1] «Процесс Н. Г. Чернышевского», стр. 283—284.

Прокламация была написана Чернышевским и переписана Шелгуновым. Эти тексты до нас не дошли. Мы располагаем уже по меньшей мере *второй* копией, написанной рукой Михайлова и дошедшей до нас в следственном деле Заичневского. Возможно, что Михайлов переписал непосредственно текст Чернышевского; возможно, что он переписал текст и с копии Шелгунова. Михайлов обладал красивым и очень четким почерком, и понятно, что его копия могла именно поэтому понадобиться для набора. Нельзя предположить, что лучшие друзья и единомышленники Чернышевского — Михайлов и Шелгунов — внесли самовольно, без ведома Чернышевского, какие-либо искажающие его мысль дополнения или изменения. Правдоподобнее всего предположить, что переписанный Михайловым текст был авторизован Чернышевским; текст передавал, возможно, какую-то последнюю, окончательную редакцию воззвания, но нет никаких оснований думать, чтобы в воззвание попали какие-то новые, неизвестные Чернышевскому и им не одобренные добавления.

Но особенно важно то, что между текстом, переписанным Михайловым и типографским станком *не стояло никакого другого текста*: воззвание набиралось Костомаровым именно по дошедшему до нас тексту Михайлова. Об этом свидетельствует весь внешний вид документа: он носит явные следы типографского набора — на нем пятна типографской краски, он размечен разными знаками, имеет ряд карандашных помет (например, у заглавия «первое», «карандашу не верить»), на ряде страниц условная разметка цветными карандашами (зеленым, красным, синим). Если бы рукопись, с которой производился набор, была написана рукой Костомарова, были бы допустимы любые предположения — Костомаров, конечно, мог каким угодно образом исказить текст. Но между рукописью и печатным станком, повторяем, не стояло никакой посредствующей копии: текст набирался именно по рукописи Михайлова. Следовательно, речь идет о *редакциях* прокламации, из которых каждая неизбежно восходит к Чернышевскому. Как же можно отрицать его авторство? Ведь наличие авторских *редакций* не дает никаких оснований ставить под сомнение само авторство.

М. Н. Покровский также выражает сильное сомнение в том, был ли Н. Г. Чернышевский автором прокламации, и также неправильно ставит вопрос о редакциях прокламации. В своей статье «Н. Г. Чернышевский как историк» Покровский писал: «К сожалению, цитировать этот замечательный документ (т. е. прокламацию «Барским крестьянам». — *М. Н.)* так же трудно, как и статьи Чернышевского из истории Франции, и по той же причине — нельзя сказать, что́ именно в этом тексте принадлежит самому Чернышевскому, а что́ прибавлено и подправлено его молодыми друзьями, нашедшими текст учителя слишком сухим (а может быть, присочинено или переврано даже и провокатором, через руки которого прошел документ, — судьба его была так сложна; во всяком случае подлинника руки Чернышевского мы не имеем)».[1] Указание на то, что «молодые друзья» Чернышевского нашли текст слишком «сухим» — чистый вымысел. Непонятно, на чем это предположение основано. «Присочинить» или «переврать» текст Костомаров если и мог, то отражено это могло быть лишь в не дошедшем до нас корректурном оттиске — так что этот довод для нас также не существенен. Мнение Покровского ничем не аргументировано, и его необходимо отвести, как несостоятельное.

Пойдем дальше. В процессе Чернышевского, в следственном мате-

[1] Н. Чернышевский, Избранные сочинения, I, стр. 32—33.

риале, есть сомнительные данные о том, что якобы сам Чернышевский изменил текст рукописи... под влиянием Костомарова. Данные эти содержатся ни более ни менее как именно в том «письме» предателя к некоему другу «Николаю Ивановичу Соколову», которое давно уже в литературе о Чернышевском признано фальшивкой. Оно написано предателем по прямому заказу третьего отделения, помечено задним числом, а адресат является вымышленным лицом. Поэтому нет никаких оснований опираться на этот фальшивый документ для доказательства научных положений. Но один из доводов Н. А. Алексеева, хотя и сопровождаемый оговорками, все же основывается на этом письме Костомарова. Алексеев пишет: «По показаниям самого Костомарова, первоначальный текст воззвания был будто бы Чернышевским изменен по его, Костомарова, настоянию, иначе он не соглашался печатать его, и набран был измененный текст». Эти данные почерпнуты именно из фальшивого письма к «Соколову».

Но даже если на одну минуту предположить, что эти данные соответствуют действительности, и что текст Чернышевского был им действительно изменен по настоянию Костомарова, то текст этот не перестает от этого быть авторским текстом Чернышевского. Чернышевский сам под влиянием каких угодно настояний счел нужным что-то изменить — почему же в силу этого можно усомниться в *авторстве* Чернышевского? Речь может итти лишь о новом *варианте*, о новой *редакции* текста Чернышевского, об изменении, произведенном самим автором, и только. Что же касается *набранного* текста, то о нем вообще не приходится рассуждать по той простой причине, что он до нас не дошел. Есть лишь одно основание предположить его состав — это та грубо, чернилами другого оттенка (более черными, чем текст Михайлова), сделанная правка, которая внесена в текст Михайлова. Она касается в ряде случаев чисто стилистических моментов:[1] так, в фразе «покуда об этом речь и идет, какой порядок вам от царя дан» — зачеркнут союз «и»; вместо «ты мне работник этот день» переправлено: «ты мне работал этот день»; в фразе «об этом вольном времени рассудить можно» — «вольном» переправлено на «дальнем»; в фразе «барин у мужиков землю отнимать может» — «отнимать» переправлено на «отнять»; имеется еще несколько таких исправлений, ни одно из которых не меняет в основном смысла воззвания. То же относится к некоторым зачеркнутым местам. Лишь в одном случае изменение существенно: после текста об «офицерах добрых» («А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым») вычеркнуто два абзаца («А еще вот о чем, братцы, солдат просите, — чтобы они вас учили, как в военном деле порядок держать. Муштровки большой вам не надо, чтобы там в ногу итти по-солдатски да носок вытягивать, — без этого обойтись можно, а тому надо учиться вам, чтобы плечом к плечу плотнее держаться, да команды слушаться, да пустого страха не бояться, а мужество иметь во всяком деле да рассудок спокойный, значит, хладнокровие» — и далее весь этот текст зачеркнут, включая и совет запасаться оружием). Чрезвычайно важно отметить, что вычеркнутый текст не меняет основной мысли прокламации — призыва к восстанию — вопреки утверждению М. Н. Покровского. Весь последующий текст воззвания, говорящий о восстании («Так вот оно какое дело: надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы за-одно быть, когда пора будет»), о необ-

[1] Проследить за приводимыми дальше примерами легче всего по I тому «Избранных сочинений» Чернышевского, стр. 143—152, где опубликован сверенный мною с разбираемым подлинником текст.

ходимости воздерживаться от разрозненных местных восстаний («Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет») и далее — до самого конца — сохранен.

Нельзя не признать вычеркнутый текст очень опасным с точки зрения революционной конспирации: вычеркнут совет запасаться оружием и производить военные учения в деревнях под руководством солдат. Если представить себе осуществление этого совета, любая деревня вызвала бы усиленное внимание начальства и немедленно оказалась бы под тщательным надзором. Вычеркнул ли это место сам Костомаров, без ведома Чернышевского (почерк этой правки близок к почерку Костомарова), или он сделал это с согласия Чернышевского — какое же это может иметь влияние на общий вопрос об авторстве Чернышевского? Эту правку можно игнорировать,[1] считая ее костомаровской; ее можно считать правкой, согласованной с Чернышевским, и говорить в таком случае о новой *редакции* Чернышевского; но каким же образом можно повернуть это обстоятельство в пользу тезиса, что *не* Чернышевский автор прокламации?

Таким образом, самый внимательный разбор приведенных выше соображений Н. А. Алексеева о *не*-тождестве текста прокламации «К народу» с прокламацией «Барским крестьянам» приводит к выводу, что автором прокламации является именно Чернышевский.

Но этими соображениями не исчерпываются доводы Н. А. Алексеева в пользу выдвинутого им тезиса. У него имеются еще два довода — разберем их.

«Помимо прочих соображений, — пишет Н. А. Алексеев, — само содержание некоторых частей воззвания к барским крестьянам таково, что автором их не мог бы быть Чернышевский. Так, там, где говорится о настоящей воле, в пример приводятся не только Англия, но и Франция при Наполеоне III». Далее следует цитата воззвания, будто бы доказывающая это — ниже мы ее приводим в более полном виде, нежели она процитирована в тексте Н. А. Алексеева. Приведя эту цитату, Н. А. Алексеев заключает: «Мнение Чернышевского о порядках при Наполеоне III слишком хорошо известно, чтобы можно было считать его автором подобных демагогических идиллий». Процитируем то же место прокламации, которое приводит и Н. А. Алексеев, только в более расширенном контексте: «Волю, слышь, дал он (царь) вам. Да разве такая в исправду-то воля бывает? Хотите знать, так вот какая. Вот у французов есть воля, у них нет розницы: сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать; много у него земли — значит богат он; мало — так беден; а розницы по званью нет никакой... Вот у англичан есть воля, а воля у них та, что рекрутства у них нет... А то и вот еще в чем воля и у французов и у англичан: подушной подати нет... А то вот еще в чем у них воля. Паспортов нет... А то вот еще в чем у них воля: суд праведный... А то вот еще в чем у них воля: никто над тобою ни в чем не властен окроме мира. Миром у них все правится... У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь значит для всего народа староста, и народ-то, значит, над этим старостою, над царем-то, начальствует. Хорош царь, послушествует народу, так и жалованье ему от народа выдается; а чуть что царь стал супротив народа делать, ну так и скажут ему: ты, царь, над нами уже не будь царем, ты нам

[1] В дальнейшем я пользуюсь именно текстом, переписанным Михайловым, не учитывая этих позднейших сокращений, поскольку ставлю перед собой задачу изучить наиболее полный вариант прокламации.

неугоден, мы тебя сменяем, иди ты с богом, куда сам знаешь, от нас подальше; а не пойдешь, так мы тебя в острог посадим, да судить станем тебя за твое ослушанье. Ну, царь и пойдет от них, куда сам знает, потому что ослушаться народа не может... А на место его другого царя выберут, коли захотят, а не захотят, так и не выбирают, коли нет у них на примете хорошего человека. Ну, тогда уж просто там на срок староста народный выбирается, на год ли там, на два ли, на четыре ли года, как народ срок ему полагает. Так заведено у народа, который швейцарцами зовется, и у другого народа, который американцами зовется. А французы и англичане царей у себя пока держут».

Спрашивается, прежде всего: при чем тут Наполеон III? В прокламации дается сводная характеристика английского, французского, швейцарского и американского политического строя. Разве Чернышевский в своей прокламации говорит именно о Наполеоне III? О Наполеоне III в прокламации нет ни слова. Столь же мало говорится в ней, например, и о тогдашней английской королеве Виктории или об американском и швейцарском президентах. Едва ли Чернышевский был поклонником королевы Виктории. В воззвании вообще совершенно отсутствует характеристика конкретных царствующих лиц или президентов. В ней дается общая характеристика и европейского и американского *политического строя* (при любых правителях того времени), стоявшего *выше* русского. Чернышевский и дает в приведенной выше Н. А. Алексеевым цитате именно эту общую характеристику. Цитате предшествует совершенно ясная фраза: «А то и вот еще в чем воля *и у французов и у англичан*».[1] А непосредственно после приведенной Н. А. Алексеевым цитаты следует указание на выборы народного старосты на определенный срок и добавляется: «Так заведено у народа, который швейцарцами зовется, и у другого народа, который американцами зовется». Совершенно ясно, что перед нами *общая* характеристика буржуазного строя — английского, французского, американского, швейцарского. Вчитываясь в эту замечательную по своей ясности, лаконичности, доходчивости характеристику, лишь удивляешься тому, что в этом прекрасном тексте зрелого революционера-пропагандиста, умеющего говорить понятным народу языком, Н. А. Алексеев почему-то усмотрел «демагогическую идиллию». Это не идиллия: Чернышевский всегда (еще со времен своего юношеского дневника) справедливо считал, что буржуазная Европа ушла гораздо дальше вперед по пути исторического прогресса, нежели отсталая Россия. Таким образом, довод о «Наполеоне III» отпадает — Наполеона III как такового в воззвании просто нет.

Остается последний довод Н. А. Алексеева — самый любопытный. Чернышевский не является автором прокламации «Барским крестьянам» якобы потому, что этому противоречит текст о крестьянских переселениях: «Не употребил бы Чернышевский и такой фразы, как: «А гробы-то родительские — от них-то каково отлучаться?» Во-первых, почему бы, вообще говоря, не сказать этого Чернышевскому? Что тут плохого? А, во-вторых, неожиданным образом из этих именно гробов встает совершенно живой довод *за* авторство Чернышевского. В «Материалах для решения крестьянского вопроса», несомненно принадлежащих Чернышевскому, сказано то же самое: «Принужденное переселение было бы разорением для крестьян, было бы нарушением гражданского права, возмутило бы самые заветные привязанности человека: привязанность к родовому жилищу *и к месту, где схо-*

[1] Подчеркнуто мною. — *М. Н.*

ронены отцы».[1] Таким образом, все доводы Н. А. Алексеева отпадают, а последний из них даже превращается в свою противоположность, свидетельствуя *об авторстве* Чернышевского. Дополнительно к этому соображению можно указать еще одно место прокламации, текстуально близкое к тем же «Материалам для решения крестьянского вопроса». Чернышевский пишет в статье: «Переселяющимся крестьянам были бы отведены поселения в местах неудобных, на участках самых дурных; вместо удобренной земли, занимаемой усадьбами, крестьяне получили бы песок, солончак, болота».[2] В прокламации же мы читаем: «С речки на колодцы пересадит... с доброй земли *на солончак, либо на песок, либо на болото...*» Подобраны, как видим, те же самые слова.

Приведу еще одно, не лишенное интереса, соображение косвенного значения. В прокламации есть редкое местное слово — *булга*. «Что толку-то ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет?» Это — слово Среднего Поволжья. Оно зарегистрировано в «Опыте областного великорусского словаря» Востокова[3] как *симбирское* слово. От Востокова с таким же толкованием оно перекочевало в словарь Даля. Залетевшее в прокламацию Чернышевского слово местного диалекта говорит о вероятности того, что автор — житель Среднего Поволжья.[4]

Мы разобрали все возражения Н. А. Алексеева и убедились в их несостоятельности. Для полноты рассмотрения вопроса необходимо отметить, что мнение Н. А. Алексеева не является новым в литературе. Так, В. Е. Чешихин-Ветринский в статье «К истории революционной деятельности Чернышевского» мельком (в связи с полемическим замечанием против М. К. Лемке) говорит, что, по его мнению, прокламация «Барским крестьянам» не написана Чернышевским: «Чернышевскому приписывают составление опубликованной только в архивном отчете о его процессе (и никогда не выпущенной) прокламации «К барским крестьянам» и участие в обществе «Великорусс» и его прокламациях. Лемке находит, что первая написана так, как мог написать ее только один Чернышевский; нам же вовсе не кажется эта подделка под народный говор произведением столь «замечательного стиля».[5] Воззвание «Барским крестьянам» — изумительный образец прокламационной литературы и не нуждается в защите от столь невнимательной и поверхностной «критики». Поскольку сомнение в авторстве Чернышевского ничем кроме этого не заслуживающего внимания соображения не подкреплено, на Чешихине-Ветринском можно больше не останавливаться.

Для полноты разбора вопроса об авторстве Чернышевского укажу еще на редко принимаемое во внимание свидетельство А. А. Слепцова. Как известно, исследователи в настоящее время не располагают рукописью воспоминаний А. А. Слепцова, члена первой «Земли

---

[1] Н. Чернышевский. Избранные сочинения, I, стр. 85—86, 1928 (подчеркнуто мною. — *М. Н.*).

[2] Н. Чернышевский. Избранные сочинения, I, стр. 85 (подчеркнуто мною, — *М. Н.*).

[3] 2-е издание 1852 г.

[4] Можно добавить о слове *булга*, что весьма вероятно татарское происхождение его корня, что еще раз говорит о Среднем Поволжье. Существует татарское слово «булгату», означающее замешивать (например, кашу); от этого корня образуется татарское слово переносного значения — смешанный, смутный; так, выражение «смутные годы» переводится на татарский язык словами: «булганчек еллар». Сведениями о татарском слове я обязана Р. М. Раимову. Слово «булга» и сейчас бытует среди саратовского населения.

[5] В. Чешихин-Ветринский. Н. Г. Чернышевский, 1828—1889, стр. 156, Пгр., 1923.

и Воли», человека, близкого к Чернышевскому. Воспоминания эти были известны лишь М. К. Лемке и использованы им в комментариях к сочинениям Н. А. Добролюбова, к полному собранию сочинений А. И. Герцена и в работе, посвященной процессу Н. Г. Чернышевского; полностью воспоминания Слепцова, таким образом, остаются нам неизвестными, и знаем мы из них лишь те цитаты, которые приведены М. Лемке. Последний пишет об А. А. Слепцове: «Вот что он записал в имеющемся у меня своем мемуарном манускрипте: «Отдать справедливость, план был составлен очень удачно, имелось в виду обратиться последовательно, но в сравнительно короткое время ко всем тем группам, которые должны были реагировать на обманувшую народ реформу 19 февраля. Крестьяне, солдаты, раскольники (на которых тогда вообще возлагали большие и весьма, конечно, ошибочные революционные надежды) — здесь три страдающих группы. Четвертая — молодежь, их друг, помощник, вдохновитель и учитель. Соответственно с этим роли были распределены следующим образом: Чернышевский, как знаток крестьянского вопроса, который он действительно знал в совершенной полноте, должен был написать прокламацию к крестьянам; Шелгунов и Николай Обручев взяли на себя обращение к солдатам; раскольников поручили Щапову, а потом, не помню по каким обстоятельствам, передали тоже Николаю Гавриловичу; молодое поколение взяли Шелгунов и Михайлов. О таком плане и о его выполнении мне сказал в начале 1861 г. сам Чернышевский, знал о нем и Н. Н. Обручев, потом, из боязни быть расшифрованным, уклонившийся от участия в общем деле».[1]

После смерти М. К. Лемке в бумагах его не нашлось манускрипта воспоминаний А. А. Слепцова, но этого обстоятельства все же мало для того, чтобы заподозрить приведенные М. К. Лемке цитаты. Б. П. Козьмин, подвергнувший исследованию вопрос о том, кто был автором письма «Русского человека» в «Колоколе» (1860 г., № 64), замечает «Ни автографа воспоминаний Слепцова, ни вообще какихлибо записей, сделанных последним, никто, кроме Лемке, не видал, и где находятся они, — если только они в действительности существовали, — никому не известно».[2] Одного того обстоятельства, что никто, кроме М. К. Лемке, не видал цитированной им рукописи, конечно мало для столь серьезных сомнений. Ведь не сочинил же сам М. К. Лемке приведенные им цитаты. В литературе имеется немало примеров, когда рукопись утрачена и была известна лишь ее публикатору. Так, например, «Записки» декабриста Горбачевского в рукописи видел только П. И. Бартенев, их опубликовавший, и он же, повидимому, утратил опубликованную им рукопись. Однако нельзя же отсюда сделать вывод, что «Записки» Горбачевского никогда не существовали и были сочинены Бартеневым. Приведенный пример отличается от случая с рукописью А. А. Слепцова лишь тем, что в первом случае М. К. Лемке опубликовал обширные цитаты из рукописи, во втором же — Бартенев опубликовал всю рукопись; но положение с рукописью и того и другого в настоящий момент одинаково: они обе утрачены, и никто их, кроме М. К. Лемке в одном случае или П. И. Бартенева в другом, — не видел.

Б. П. Козьмин указывает на чрезвычайно существенное обстоятельство — на внутреннее противоречие в датах этих, поставленных им под сомнение, мемуаров А. А. Слепцова. В самом деле, Лемке

[1] М. Лемке. Дело Н. Г. Чернышевского (в его книге «Политические процессы в России 1860-х годов», стр. 318, М.—Пгр., изд. 2, 1923).

[2] Б. Козьмин. Был ли Н. Г. Чернышевский автором письма «Русского человека» к Герцену? («Литературное наследство», кн. 25—26, стр. 578.

пишет: «Из тетради, оставленной мне покойным А. А. Слепцовым.., видно, что 2 июля 1860 г. он был командирован за границу по делам своей службы во II (кодификационном) отделении с. е. и. в. канцелярии, вернулся в конце ноября 1860 г., а в июле 1861 г. был впервые у Чернышевского».[1] Между тем в только что приведенной цитате о воззвании «Барским крестьянам» А. А. Слепцов указывает, что Чернышевский говорил с ним «в начале 1861 г.»; в другом месте мемуаров Слепцова имеется утверждение о встрече его с Чернышевским еще в 1860 г., когда Чернышевский якобы прочитал Слепцову отправляемое к Герцену письмо «Русского человека». Б. П. Козьмин совершенно прав, отмечая серьезность приведенных расхождений в датах. Первой дате — встрече с Чернышевским *в июле 1861 г.* Б. П. Козьмин верит безусловно и опровергает ею все последующие даты. Но, спрашивается, откуда почерпнута эта якобы достоверная дата? Из того же самого заподозренного даже в самом своем существовании манускрипта. Уж если считать манускрипт несуществовавшим, мифическим, не надо пользоваться *ни одной* из дат, им приводимых.[2] Расхождение в датах — самое обычное явление в мемуарной литературе. В ней часто спутаны даже даты общеизвестных событий. И не является ли это противоречие в датах косвенным доказательством действительного существования манускрипта А. А. Слепцова? Ведь если кто-либо и «сочинил» цитаты из воспоминаний Слепцова, — чего я никак не могу допустить, — то он уж позаботился бы о том, чтобы даты не расходились, «подогнал бы» данные в нужном ему смысле. Это обстоятельство заставляет меня признать реальность воспоминаний Слепцова и вместе с тем признать возможность использования приведенных у Лемке обширных цитат. Одновременно надо констатировать наличие неясности в этих мемуарах и путаницы в их датах.

Вернемся к свидетельству А. А. Слепцова о том, что Чернышевский был автором воззвания «Барским крестьянам». Это не глухое, беглое упоминание, а отчетливый, сопровожденный различными правдоподобными деталями рассказ. Тут правильно названы имена близких к Чернышевскому лиц, правильно перечислены темы прокламаций (о прокламации к раскольникам знаем мы и из процесса Чернышевского), авторы других прокламаций; все эти данные правильны. Не столь существенно в данном случае — в начале, середине или конце 1861 г. говорил об этом Слепцову Чернышевский, или даже кто другой из кружка слагающейся «Земли и Воли». Полагаю, что свидетельство А. А. Слепцова нельзя так легко сбрасывать со счетов — его надо принимать во внимание, и говорит оно также о Чернышевском как об авторе воззвания «Барским крестьянам».

Учитывая все приведенные выше соображения, полагаю, что авторство Н. Г. Чернышевского можно считать доказанным. Воззвание «Барским крестьянам» написано Н. Г. Чернышевским.

* * *

В воззвании «Барским крестьянам» развернуты три основные темы. Первая — разъяснение грабительского существа крепостной реформы, ее помещичьего характера; в этой связи дан разбор помещичьего клас-

---

[1] А. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, X, стр. 425 (комментарий М. К. Лемке).

[2] Заметим, кстати, что такие факты, как служебная командировка чиновника II отделения А. А. Слепцова за границу, вообще говоря, поддаются архивной проверке. Дата поездки за границу, вероятно, может быть точно установлена по другим источникам.

собого существа самодержавия («А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это разобрать? Значит, знал... Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик? Удельные-то крестьяне чьи же? ведь они его крестьяне крепостные. Да и вас-то в крепостные помещикам все цари же отдали...»). Вторая — разъяснение сущности передового политического строя западноевропейских государств (и Северо-американских Соединенных Штатов), выяснение отличий конституционной монархии от республики, признание обеих политических форм более передовыми, чем русский абсолютизм, и одновременная агитация за лучшую из этих двух форм — республиканскую («И надобно так сказать, когда народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается и царем не зовется, а просто зовется народным старостою, а по-ихнему, по-иностранному президентом, тогда народу лучше бывает жить, народ богаче бывает»). Третья тема воззвания — план практических действий, подготовка к восстанию.

Можно представить себе попытку трактовать две первые темы, развернутые в воззвании, как изложение личных убеждений революционно настроенного автора, разъясняющего крестьянам обман царской реформы и вред самодержавия в силу своих личных убеждений. Но против этой точки зрения легко выставить то возражение, что Чернышевский никогда одиночкой не был, а всегда, со студенческой скамьи, был центром, около которого группировался революционный коллектив; в этой же роли он оказался в Саратове в годы своей преподавательской деятельности после университета; и еще более — неизмеримо более ярко — проявилась та же особенность Чернышевского в столице, в годы работы в «Современнике». Можно добавить к этому, что самый факт воззвания, обращенного *к массам*, в данном случае никак не мог быть делом только индивидуальной воли. Тем более уясняется это, если учесть, что воззвание Чернышевского было лишь звено задуманной серии воззваний, в которую входили также обращения к солдатам, к раскольникам, к молодежи. А. А. Шилов чрезвычайно упрощает действительность и направляет внимание исследователя по неправильной линии, когда рассматривает появление прокламаций просто как результат широкого размаха мысли, идейного кипения шестидесятых годов и даже некоторой поспешности в действиях: «размахнувшаяся мысль не могла найти себе полного выражения на страницах легальной подцензурной журналистики, так как выходила из круга вопросов, санкционированных правительством. Сама собой напрашивалась мысль о нелегальном издании. Да кроме того казалось, что нет времени доказывать, подробно развивать, обосновывать свои взгляды; хотелось не упустить момента и кратко, но рельефно выразить свои мысли в листовке, воззвании, прокламации...»[1] Такая трактовка причин появления прокламационной литературы упрощена и неправильна. Прокламация — акт революционной практики. Прокламации 60-х годов, да еще в значительной мере вышедшие из одного революционного круга — попытка организации революционных сил, сплочения союзников для практических целей революционной борьбы. С этой точки зрения и необходимо подвергнуть их изучению.

В данном случае особо заслуживает изучения третья тема, развернутая в прокламации. В самом деле, призыв к восстанию, содержащий ряд практических указаний по его подготовке, менее всего

[1] А. Шилов. Н. В. Шелгунов и его воспоминания. Помещено как предисловие к изданию воспоминаний Н. В. Шелгунова, стр. 8, М.—Пгр., 1923.

мог быть решением революционера-одиночки. Что же говорит прокламация об этой третьей теме?

Разъяснив грабительскую сущность пришедшей от царя крестьянской реформы, разоблачив помещичье существо самодержавной власти и зло, которое причиняет она трудовому народу, в первую очередь крестьянству, Чернышевский агитирует за решительное изменение политического строя России, за введение в России европейских политических форм, лучше всего — республики. Установив таким образом с полной ясностью *цели* борьбы, Чернышевский переходит к изложению *способов* борьбы за поставленные цели: «А как же нам, русским людям, в исправду вольными людьми стать? Можно это дело обработать». Как? Способы, разъясненные далее, — решительные революционные способы: массовое народное вооруженное восстание, совершаемое по единому сигналу, даваемому революционным центром. Чернышевский детализирует этот общий ответ о способе действий — он предлагает ряд конкретных мер: 1) объединиться барским крестьянам с крестьянами государственными и удельными, действовать обязательно совместно. Хотя перед государственными и удельными крестьянами не стоит в прямом смысле слова вопрос о необходимости освобождения от крепостного права, тем не менее у них много общих нужд и требований с барскими крестьянами: «Вот вы с ними и соглашайтесь, и растолкуйте им, какая им воля следует, как выше прописано. Чтобы рекрутчины, да подушной, да пачпортов не было, да окружных там, да всей этой чиновной дряни над ними не было, а чтобы у них тоже мир был всему голова». 2) С крестьянами надо объединиться и солдатам («опять из мужиков, тоже ваш брат»), — у них также общие с крестьянством цели борьбы: «А солдату какая прибыль за нонешние порядки стоять?.. Когда воля мужикам будет, каждому солдату тоже воля объявится: служи солдатом кто хочет, а кто не хочет, отставку чистую получай». 3) Надо «высматривать» надежных офицеров, «что за народ стоять будут», и слушать указаний этих офицеров: «и таких офицеров пусть солдаты слушаются, как волю добыть». 4) Надо учиться военному делу, так как восстание будет вооруженной борьбой. Поэтому надо, чтобы солдаты обучали крестьян военному строю: «А еще вот о чем, братцы, солдат просите, чтобы они вас учили, как в военном деле порядок держать. Муштровки большой вам не надо, чтобы там в ногу итти по-солдатски да носок вытягивать, — без этого обойтись можно, а тому надо учиться вам, чтобы плечом к плечу плотнее держаться, да команды слушаться, да пустого страха не бояться, а мужество иметь во всяком деле да рассудок спокойный, значит, хладнокровие». 5) Необходимо запасаться оружием: «А кроме того, ружьями запасайтесь, кто может, да всяким оружием». 6) Ни в коем случае не надо восставать разрозненно, отдельными селами — это будет напрасной тратой сил и принесет лишь вред общему делу: надо восставать *всем одновременно*, по единому, идущему из центра, сигналу: «надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы за-одно быть, когда пора будет. А покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорится, что один в поле не воин. Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. А когда все готовы будут, значит везде поддержка подготовлена, ну, тогда дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своим братом мужиком толкуй да подговаривай его, чтобы дело в настоящем виде понимал. А когда промеж вами единодушие будет,

в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать».

Надо признать, что воззвание Чернышевского отличается богатством практических предложений. Основное из них — начинать восстание *всем вместе* по сигналу, даваемому центральной революционной организацией. Могло ли все это быть «придумано» «одиночкой»-Чернышевским в агитационных целях? На этот вопрос может быть лишь один ответ — отрицательный. Дать совет ждать сигнала революционной организации, в то время как и организации-то никакой не было — чистейший авантюризм. Трезвый политический деятель, подлинный *политик*, Чернышевский никак не может быть заподозрен в политическом авантюризме. Подобное «подозрение» надо с негодованием отбросить. Чернышевский имел все основания писать коменданту Петропавловской крепости: «Я ничего не делаю иначе, как по зрелому расчету, и в особенности никогда ничего важного не делаю без расчета». Он был прав — таков весь его облик: действия его всегда продуманы, зрелы, полны предусмотрительности.

Точно так же не мог Чернышевский сначала призывать крестьян готовиться к общему вооруженному восстанию по сигналу революционной организации, а *потом* уже начать создавать эту организацию. Это было бы тем же политическим авантюризмом, на который Чернышевский не был способен. Еще студентом, обдумывая план издания подложного царского манифеста о ликвидации крепостного права, который должен был бы «расколыхать» народ и явиться сигналом к вооруженному восстанию, Чернышевский тут же отбрасывает этот авантюристский план. Ложь всегда обнаружится, действовать таким способом нельзя: «ложь, во всяком случае, приносит всегда вред в окончательном результате, поэтому не лучше ли написать воззвание к восстанию, а не манифест, не употребляя лжи... ложь здесь принесет вред, а не пользу... убьет доверие народа к воззваниям его приверженцев впоследствии времени».[1]

По прямому смыслу прокламации «Барским крестьянам» — какая-то организация, принявшая решение дать сигнал к началу вооруженного восстания, в России в тот момент *уже была;* иначе невозможно понять воззвание. Всякий иной вывод будет обвинением Чернышевского в самом плоском политическом авантюризме. Чернышевский обращается к народу не со своим личным мнением, а сообщает о *решениях* революционной организации.

Самое содержание прокламации и ряд ее конкретных деталей еще раз убеждает нас в этом. В самом деле, в прокламации сказано: «А когда промеж вами единодушие будет, в ту пору и *назначение* выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим, когда пора будет и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет приготовленности. А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и пришлем такое объявление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов будет и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет». В этом же смысле важно указание прокламации, что к моменту общего восстания будет «везде поддержка подготовлена». Не менее важные указания находятся в конце: «А мы все люди русские *и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся,* потому что на доброе дело

[1] Дневник Н. Г. Чернышевского. Литературное наследие, I, стр. 512.

себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли. А когда пора будет за доброе приниматься, тогда откроемся». [1]

Учитывая политическую темноту крестьян и стихийность крестьянских восстаний при отсутствии в то время класса-гегемона — пролетариата, конечно приходится сказать, что изложенный в прокламации план был в достаточной мере утопичен. Стихию разрозненного и политически темного крестьянства не удалось бы организовать для всеобщего восстания по единому сигналу, но все это вопросы, не входящие в круг нашего рассмотрения. Наша задача — не *критика* плана Чернышевского, а прежде всего выяснение его содержания, констатация того, в чем же он состоял, и того, какие выводы следуют из самого наличия определенного революционного плана. Основной вывод, непосредственно следующий из изучения прокламации, таков: она обязательно предполагает существование определенной революционной организации. Все, что мы знаем о Чернышевском как о глубоком и осторожном *политике*, чуждом какого бы то ни было авантюризма, говорит за это. Поскольку самое содержание прокламации свидетельствует о наличии революционной организации, такая организация действительно была. Прокламация излагает не личные фантазии автора о способах организации вооруженного восстания, а решение определенной организации.

Эти решения очевидно были достаточно детализированными, подробными. Об этом говорит отчетливо формулированный в прокламации лозунг об отмене подушной подати, рекрутчины и паспортной системы, об уничтожении назначенного чиновничества. Особого внимания заслуживают конкретные меры, касающиеся армии. Из прокламации видно, что были приняты решения о добровольности военной службы и о денежной помощи солдатам, которые получат отставку и уйдут в деревню: была даже определена сумма этого денежного пособия: «А у солдата денег нет, чтобы домой итти да хозяйством или каким мастерством обзавестись, так ему при отставке будут на то деньги выданы, сто рублей серебром каждому». Была определена также сумма денежного жалованья солдату, оставшемуся на службе: «А кто волей захочет в солдатах остаться, тому будет в год жалованья 50 рублей серебром». Эти детали еще раз подтверждают, что мы имеем дело с конкретными решениями революционной организации.

Эти конкретные данные не противоречат и прокламации Шелгунова «К солдатам»: «Можно сделать, чтобы солдат служил только от 3 до 5 лет и во время службы получал бы достаточное жалованье, такое, чтобы мог посылать из него и семье своей на подмогу». [2] Нельзя не вспомнить тут студенческого дневника Чернышевского, в котором, говоря о своих планах будущего общественно-политического переустройства, он замечает, что «распустил бы более половины войска».

Когда же написана прокламация «Барским крестьянам»? Ответ на этот вопрос определит многое.

* * *

Подробного исследования о времени написания прокламации «Барским крестьянам» в литературе нет. Некоторые исследователи останавливаются на этом вопросе мимоходом, другие вообще его обходят. Автор обстоятельной работы о процессе Чернышевского, М. К. Лемке,

---

[1] Подчеркнуто мною. —*М. Н.*

[2] Н. Шелгунов, Воспоминания, стр. 309.

признает прокламацию принадлежащей Чернышевскому, но нигде не останавливается на ее датировке. Осторожный исследователь, Н. М. Чернышевская, учитывая неизученность вопроса, также обходит в своей «Летописи жизни Н. Г. Чернышевского» момент написания прокламации: под № 1395 в «Летописи» значится лишь то, что 15 августа 1861 г. III отделение получило от Ник. Костомарова (брата предателя) две рукописные прокламации — «Барским крестьянам» и «Русским солдатам.[1] Исследователи же, останавливающиеся попутно на датировке прокламации, чаще всего относят ее ко времени между 19 февраля 1861 г. и апрелем 1861 г. Terminus post quem дается тем соображением, что прокламация будто бы разбирает «Положения 19 февраля» — следовательно написана позже их. Terminus ante quem определяется тем обстоятельством, что в прокламации отсутствует упоминание о бezднинском восстании — следовательно прокламация была написана до событий в Бездне. Последнее соображение представляется мне совершенно правильным: упоминание о Бездне и вообще о крестьянских волнениях, вызванных объявлением реформы, было бы совершенно неизбежно в обращенной к крестьянству прокламации в том случае, если бы она вышла позже безднинского восстания. Авторы прокламаций 1860-х годов, призывая к восстанию, не избегают упоминаний о Бездне, а, наоборот, пользуются фактом безднинского расстрела в агитационных целях. Так, Н. В. Шелгунов в своей второй прокламации «К солдатам»[2] пишет: «А неужели совесть не говорит, что грешно убивать безоружный невинный народ, как это было в Бездне?»[3] Прокламация П. Г. Заичневского «Молодая Россия» также упоминает о Бездне: народная партия «встанет с благородным Антоном Петровым — и против всей императорской партии».[4] Как видим, прокламационная литература 1860-х годов не избегает упоминаний о Бездне. Особенно важен был бы пример Бездны именно для Чернышевского, автора прокламации к крестьянам: Бездна была примером гибели пораженного и разбитого правительством крестьянского восстания; она превосходно проиллюстрировала бы положение: «Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять?» Учитывая все эти соображения, приходится признать, что отсутствие упоминания о Бездне является важным доводом за то, что прокламация «Барским крестьянам» написана *до* безднинских событий, т. е. до 17 апреля 1861 г.

Но если правилен довод, определяющий terminus ante quem, то нельзя сказать того же о доводах относительно terminus post quem. Была ли действительно прокламация «Барским крестьянам» написана после «Положений 19 февраля 1861 г.»?

Внимательное изучение прокламации заставляет отвергнуть это предположение. В самой прокламации содержится ряд существенных данных, доказывающих, что прокламация написана Чернышевским *до* издания «Положений 19 февраля». Какие же это доказательства?

Крестьянская реформа, разбор ее грабительского существа — одна из основных тем прокламации. Прокламация дает правильный и глубокий анализ помещичьей реформы. Она не только гениально разбирает сущность пресловутых «отрезков» («когда отмежевывать станут,

[1] Н. Чернышевская - Быстрова, Летопись жизни Н. Г. Чернышевского, стр. 106, М.—Л., 1933.

[2] А. А. Шилов считает шелгуновскую прокламацию «К солдатам» и прокламацию «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» двумя *редакциями* одной и той же прокламации. Но содержание их столь различно, что никак не приходится считать их *редакциями* одного и того же текста — перед нами две *разные* прокламации.

[3] Н. Шелгунов, Воспоминания, стр. 308.

[4] Прокламации шестидесятых годов, стр. 60, М.—Л., 1926.

обрезывать ее (землю) велено против того, что у вас прежде было, в иных селах четвертую долю отрежут из прежнего, в иных третью, а в иных и целую половину, а то и больше, как придется где»), но указывает и неизбежные экономические последствия отрезков: «Ну, а как мужику обойтись половиной земли? Значит должен будет прийти к барину просить: дай, дескать, землицы побольше, больно мало мне под хлеб по царскому указу оставили. А помещик скажет: мне за нее прибавочную барщину справляй, либо прибавочный оброк давай. Да и заломит с мужика сколько хочет...» Ясно предвидит Чернышевский также и то, что отрезки коснутся обязательно самых важных в крестьянском хозяйстве угодий — не только пахотной земли, но и лугов, сенокосов, леса, рыбных ловель. Чернышевский предвидит и отработки: «Вот оно и выйдет, что нагрузит на него (крестьянина) барин барщину больше нонешней, либо оброк тяжелее нонешнего». Предвидит Чернышевский и общий рост крестьянской нищеты после реформы: «Просто сказать, всех в нищие поворотят помещики по царскому указу». Чернышевский ясно предвидит и сохранение крестьянского бесправия, приниженности и забитости при новых порядках. «Знаете вы сами, каково это слово «жалуйся на барина». Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли толку было от жалоб? Только жалобщиков же оберут, да разорят, да еще пересекут, а иных, которые смелость имели, еще и в солдаты забреют, либо в Сибирь да в арестантские роты сошлют. Только и проку было от жалоб. Известно дело: коза с волком тягалась, один хвост остался. Так оно было, так оно и будет, покуда волки останутся, значит помещики да чиновники останутся». Одним словом, прокламация «Барским крестьянам» говорит о замечательно глубоком понимании Чернышевским сущности крестьянской реформы. Прокламация эта является документальным подтверждением правильности той высокой оценки Чернышевского, которую дал Ленин в своей работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов»? Ленин писал: «Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы (когда еще не была достаточно освещена она даже на Западе), понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер, — чтобы понимать, что уже тогда в русском «обществе» и «государстве» царили и правили общественные классы, бесповоротно враждебные трудящемуся и безусловно предопределявшие разорение и экспроприацию крестьянства. И при этом Чернышевский понимал, что существование правительства, прикрывающего наши антагонистические общественные отношения, является страшным злом, особенно ухудшающим положение трудящихся».[1]

Чернышевский действительно прекрасно понимал классовую сущность крестьянской реформы уже в то время, когда шло обсуждение реформы в губернских комитетах и редакционных комиссиях, когда «Положения 19 февраля» не были еще выработаны, когда не была известна и самая дата реформы — 19 февраля 1861 г. Вспомним, что, изучая работу Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения» и цитируя известный образ о провизии для обеда,[2] разоблачающий грабительскую помещичью

[1] В. Ленин. Соч., I, стр. 179.

[2] «Предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед... Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовленный из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения».

сущность крестьянской реформы, Ленин выделяет курсивом слова Чернышевского: «Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение!» и приходит к выводу: «Я подчеркиваю те места, которые рельефнее показывают глубокое и превосходное понимание Чернышевским современной ему действительности, понимание того, что такое крестьянские платежи, понимание антагонистичности русских общественных классов».[1] Цитируемая Лениным работа Чернышевского опубликована в 1858 г. в XII томе «Современника». Таким образом, Чернышевскому была ясна классовая сущность реформы еще в 1858 г., в первом, в сущности, году работы губернских комитетов, за два с лишним года до обнародования «Положений 19 февраля 1861 г.».

Но вместе с тем в прокламации «Барским крестьянам» разбираются такие детали реформы, которые фактически *расходятся* с «Положениями 19 февраля», не могут быть оттуда заимствованы и могут быть объяснены лишь одним: Чернышевский писал свою прокламацию *до* издания «Положений 19 февраля», он не имел перед глазами этих «Положений» и отразил в прокламации свое предположение о некоторых деталях будущего закона, которые впоследствии в самом законе были формулированы иначе.

В самом деле, в прокламации утверждается, что продолжительность временно-обязанного[2] периода равняется девяти годам. Но согласно «Положениям 19 февраля» 9-летний срок принят лишь как срок, после которого крестьянин имеет право отказываться от надела; период же временно-обязанного состояния по закону сроком не ограничен: он кончается тогда, когда произведена будет выкупная сделка между крестьянами и помещиком. Срок временно-обязанного состояния по закону был неопределенным и прекращался лишь совершением выкупа. Ранее при обсуждении реформы в губернских комитетах неоднократно предлагались различные сроки обязанного состояния — 8 или 12 лет (отсюда и самый термин *«срочно*-обязанные, так как речь шла об определенном сроке), но уже в 1859 г. в редакционных комиссиях склонились к *бессрочности* переходного периода. О широкой известности предполагавшихся сроков свидетельствует «Письмо из провинции», опубликованное в «Колоколе». «Народ не увлечет 12-ть лет рабства под гнетом переходного состояния», — писал в 1860 г. «Русский человек». Мы спокойно сидим за столом и изучаем многотомное издание Материалов редакционных комиссий и других документальных изданий, связанных с реформой 1861 г., и нам кажется, что будущее содержание «Положений 19 февраля» довольно явственно обозначается даже в деталях в самом ходе подготовки реформы. Но современники думали несколько иначе: им ясен был полностью крепостнический, дворянский характер реформы, но о решениях по отдельным вопросам ходили самые разные слухи. Накануне реформы, в 1860 г., «Русский человек» писал Герцену: «А в правительстве в каком положении в настоящее время крестьянский вопрос? В большей части губернских комитетов положили страшные цены за земли; центральный комитет делает чорт знает что: сегодня решает отпускать с землею, завтра без земли, даже, кажется, не совсем брошена мысль о «переходном состоянии». В прокламации «Барским крестьянам» и отражено предположение о том, что срок переходного состояния будет в законе определен.

---

[1] В. Ленин. Что такое «друзья народа» (Соч., I, стр. 178).

[2] Чернышевский употребляет более старый и не вошедший в «Положения 19 февраля» термин — «срочно-обязанный». По привычке он употребляет этот устарелый термин даже в написанных в 1862 г. «Письмах без адреса». На этом термине я остановлюсь ниже.

Срок в прокламации точно определен в 9 лет, что не соответствует «Положениям». Описав в прокламации тяжелые условия временно-обязанных («срочно-обязанных») крестьян, Чернышевский добавляет: «Это все об том говорится, как мужикам будет жить, покуда их срочно-обязанными звать будут, значит, девять лет, как в бумаге обещано». Между тем в «бумаге» этого как раз не обещано. Чернышевский мог ошибиться в этой детали лишь при одном условии: он писал прокламацию *до* появления «Положений 19 февраля», в момент написания прокламации он «Положений» перед глазами не имел — иначе он не допустил бы тут ошибки.

Второе соображение того же порядка. В прокламации Чернышевский говорит, что после «срочно-обязанного» периода крестьянин может от помещика уйти; но если он уйдет, его земельный надел перейдет в собственность барина: «Когда срочно-обязанное время покончится, волен ты будешь отходить от помещика. Оно так в указе обещано. Только в нем вот что еще прибавлено: а коли ты уйдешь, так земля твоя останется за помещиком». Между тем в «Положениях 19 февраля» такого пункта нет: земля крестьянина, ушедшего, например, в город на заработки, помещику *не* отходила, а оставалась в составе крестьянской мирской земли. Чернышевский мог ошибиться в этой детали опять-таки при одном условии — если он писал прокламацию *до* «Положений» и отражал в ней свои *предположения* о составе будущего закона.

В этой же связи останавливает на себе внимание то обстоятельство, что в прокламации начисто отсутствует вопрос о выкупе, величайшим знатоком которого был Чернышевский. Это можно объяснить лишь тем же — составлением прокламации *до* «Положений». Дело в том, что прокламация отличается чрезвычайной конкретностью; конкретно же характеризовать выкуп, т. е. дать выкупные цифры, произвести вычисления *до* выхода в свет «Положений», Чернышевский, явное дело, не мог. Не имея же в своем распоряжении точных данных, он предпочел вопрос обойти. Вообще же говоря, прокламационная литература 60-х годов этого вопроса не обходила. Так, в прокламации Н. В. Шелгунова «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» говорится: «Слыханное ли дело, чтобы [от]купить землю, на которой и сам крестьянин, и отец и дед и прадед его родились. Помещиков еще не было, а крестьяне были; значит и земля принадлежала крестьянам ранее, чем помещикам. А теперь говорят крестьянину — откупи от помещика землю, да чем ему ее откупить? Целый век разоряли помещики крестьян, да видно им мало — хотят разорить в конец».[1] Но Чернышевский не пошел по линии общей характеристики выкупа, поскольку, очевидно, не имел до выхода закона возможности привести крестьянам точные данные о выкупе.

Добавим еще одно, не лишенное интереса, соображение. В тексте Михайлова было первоначально написано: «Ну, царь и держит барскую сторону. А что манифест да указы выпустил, будто волю вам дает, так это он только для обольщения сделал». В последней (Костомаровской?) правке более черными чернилами и характерным, более грубым, чем у Михайлова, почерком слова «будто волю вам дает» исправлены на «будто волю вам даст», т. е. настоящее время заменено будущим. Подобная случайная поправка могла быть сделана также только *до* 19 февраля — после этой даты нужно было употреблять или настоящее или прошедшее время.

---

[1] Н. Шелгунов. Воспоминания, стр. 308.

Но этого мало. Обращает на себя внимание полное отсутствие терминологии «Положений 19 февраля» в прокламации Чернышевского. Казалось бы, прокламация, цель которой — понятно разъяснить народу реформу, обязательно должна была бы объяснить и официальную терминологию. Между тем мы не встречаем в прокламации ни даты 19 февраля, ни названия «Положений», ни «мирового посредника», ни «уставных грамот». Будущий закон об освобождении крестьян туманно называется то «указами», то «указом», то «бумагой». Введено даже своеобразное слово «межовщики», — последние по функциям своим относятся к мировым посредникам. Нет сомнений, что, если бы Чернышевский писал свою прокламацию, имея перед глазами «Положения 19 февраля», он воспользовался бы их терминологией и *объяснил* бы ее крестьянам. Характерно, что прокламационная литература 1860-х годов, вышедшая после 19 февраля, насыщена этими характерными терминами и датами. Так, прокламация Шелгунова и Михайлова «К молодому поколению» несколько раз упоминает самую дату 19 февраля, иронически рассказывает, как балаганы во время масленицы отнесли подальше от дворца на Царицын луг, как правительство объявило манифест «в великом посту, а не 19 февраля». Употреблен и самый термин «Положения» («организацией комиссий, составлявших «Положение», государь показал презрение ко всему народу»). Прокламация «Молодая Россия» упоминает дату 19 февраля и термин «Положения»: «расстреливание за непонимание дурацких положений 19 февраля» и т. д. Но, повторяем, подобной терминологии в прокламации «Барским крестьянам» совершенно нет, что, конечно, не случайно и может означать только одно — прокламация была написана *до* выхода в свет «Положений».

В заключение заметим, что вопрос *о датировке* прокламации был поставлен самим Чернышевским во время следствия. Подкупленный «свидетель» мещанин Яковлев должен был дать показания, доказывающие, что Чернышевский — автор прокламации «Барским крестьянам». Яковлев, служивший переписчиком у Костомарова, действительно встретил там Чернышевского в июле 1861 г. (Чернышевский во время следствия изобличил его в искажении даты — он был у Костомарова не в июле, а в августе 1861 г.). Яковлев «свидетельствовал» о неправдоподобном случае: находясь в беседке в саду, он якобы слышал, как Чернышевский, прохаживаясь под руку с Костомаровым, произнес слова: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали от царя воли, — вот вам и воля вышла».[1] Чтобы изобличить «свидетеля», Чернышевский указал между прочим и на то, что самое содержание прокламации (которую Чернышевскому в тот момент следствия еще не показывали) должно изобличить лжеца, так как в разные месяцы 1861 года политические ситуации были столь различны, что в соответствии с ними должно было бы в корне меняться содержание прокламации. Чернышевский вел к тому, что прокламация «Барским крестьянам» по содержанию своему к июлю — августу была уже *устарелой*, поэтому никакого разговора о ее публикации в июле — августе уже быть не могло. Этим изобличалось лжесвидетельство Яковлева. Чернышевский, как известно, отрицал во время процесса все предъявленные ему обвинения, в том числе и авторство прокламации «Барским крестьянам». Он набросил на свою революционную деятельность непроницаемую завесу и держал себя исключительно осторожно. Но в этом показании, говорящем о датировке еще формально-«неизвестного» ему текста про-

---

[1] М. Лемке. Дело Н. Г. Чернышевского, стр. 331.

кламации, завеса, наброшенная Чернышевским, становится наиболее тонкой. Кажется, еще одно слово, один добавочный штрих — и следователи с основанием спросят его: откуда он так много знает о еще неизвестной ему прокламации? Это показание Чернышевского также надо учесть при разборе вопроса о ее датировке.

Вот оно: «Решить это[1] поможет решение вопроса: когда было написано воззвание к барским крестьянам? До высочайшего манифеста? Или по его обнародовании, но *до* бездвинского дела (о котором, конечно, не мог бы не упомянуть автор)? Или после того, но до получения известий, что крестьяне повсюду неохотно принимают уставные грамоты (до этого и после этого должно быть совершенно разное содержание)? Вопрос о времени, когда написано воззвание, вероятно бесспорно разрешается его содержанием. По словам г. Костомарова, оно было написано *до* весны... Но если воззвание действительно было написано до весны, оно уже никуда не годилось в августе... Наплыв новых фактов с весны до августа был так велик, что все содержание писанного до весны должно было никуда не годиться...»[2]

Остановимся особо на характерном термине «срочно-обязанные» крестьяне (вместо правильного «временно-обязанные»), упомянутом в прокламации. Выше уже отмечалось, что термин «срочно-обязанные» был привычен Чернышевскому: он употребил его мимоходом, как привычный термин, еще в 1862 г., много времени спустя после выхода в свет «Положений 19 февраля», когда принятый в законе термин «временно-обязанный» уже давно был известен. «Бывшие помещичьи крестьяне, называемые ныне срочно-обязанными, не принимают уставных грамот; предписанное продолжение обязательного труда оказалось невозможным, предписанные добровольные соглашения между землевладельцами и живущими на их землях срочно-обязанными крестьянами оказались невозможными», — пишет Чернышевский в «Письмах без адреса» в 1862 г. Снимает ли это позднейшее употребление термина необходимость рассмотреть его в составе прокламации как призна датировки? Мне думается, не снимает.

Сравнивая терминологию прокламации «Барским крестьянам» с «Письмами без адреса», Н. А. Алексеев замечает: «В корректурном листе набора[3] первоначально стояло выражение «срочно-обязанные» вместо «временно-обязанные», как следовало согласно Положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, и Чернышевский будто бы просил Костомарова запиской (подложность которой установлена с полной несомненностью) заменить неправильный термин правильным. Но Чернышевский и позднее употребил термин «срочно-обязанные» в своих «Письмах без адреса», писанных в феврале 1862 г. и не пропущенных цензором «Современника». Вряд ли к тому времени он опять забыл бы правильный термин».[4] Последнее замечание Н. А. Алексеева просто непонятно. Как же это «вряд ли он забыл», когда факт налицо — Чернышевский в «Письмах без адреса» употребляет опять старый, а не новый термин.

Из этого следует одно — старый термин был для Чернышевского *привычен*. Он употреблял его и позже. Если бы этот термин был

---

[1] Т. е. вопрос о датировке — могла ли прокламация быть напечатана в июле.

[2] М. Лемке. Дело Н. Г. Чернышевского, стр. 370.

[3] Непонятно, при чем тут набор. Термин «срочно-обязанные» употреблен в рукописи прокламации, написанной рукой Михайлова. Ясно, что позже это могло отразиться в наборе; но корректурного листа набора никто из исследователей не видел. Неправильный термин имеется в *рукописи*, написанной рукой Михайлова.

[4] «Процесс Н. Г. Чернышевского», стр. 284.

употреблен в прокламации бегло, мимоходом, подобно тому как это сделано в «Письмах без адреса», то действительно не стоило бы обращать внимания на эту случайную деталь в вопросе датировки прокламации. Но термин этот употреблен в прокламации с очень большим вниманием к его значению, разобран и даже, так сказать, «обыгран» в прокламации, — поэтому пройти мимо него было бы неправильно. «Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ноне срочно-обязанными вас звать велят, а на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки слова-то выдуманы! Срочно-обязанные, вишь-ты глупость какая! Какой им чорт это в ум-то вложил такие слова! А по-нашему надо сказать: вольный человек, да и все тут». Здесь, конечно, имеет место не случайное упоминание привычного термина, здесь термин раскрыт, «обыгран», сопровожден толкованием. Тут имеет место пристальное внимание к термину, и будь перед Чернышевским «Положения 19 февраля» во время его работы над прокламацией, конечно получилось бы иначе — в прокламацию попал бы правильный термин из § 15 Общего Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости («§ 15. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоящие в обязательных поземельных отношениях к помещикам, именуются *временно-обязанными* крестьянами»), или даже прямо из манифеста 19 февраля («В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются временно-обязанными»).

Термины «срочно-обязанные» и «временно-обязанные» имеют свою историю. Понятие об определенном *сроке* обязанного состояния крестьян имеется уже в «высочайших рескриптах», ознаменовавших так называемый «приступ к реформе» в 1857 г. Но самого термина «срочно-обязанный» там еще нет. Впервые он появляется во время работы губернских комитетов в 1858 г., точно отражая правительственные и дворянские намерения ограничить переходное состояние определенным *сроком*. Так встречаем мы его, например, в протоколах заседаний Главного Комитета 19, 24 и 29 ноября 1858 г. (утвержденных 4 декабря); мы читаем тут, что Александр II велел «определить условия прекращения срочно-обязанного положения крестьян».[1] Термин этот широко распространяется, встречается в журнальных статьях, фигурирует у депутатов 1-го и 2-го призывов. Курьезно, что даже в протоколе заседания Главного Комитета 5 августа 1859 г., при рассмотрении вопроса о «праве пользования крестьян поземельным наделом» речь уже идет о бессрочности пользования, но термин употреблен старый — «срочно-обязанное положение крестьян».[2] В проекте «Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», представленном Главным Комитетом в Государственный Совет, термин «срочно-обязанные» уже исчезает — его заменяет взятый из известного закона 1842 г. привычный термин «обязанные».[3] Как известно, редакционные комиссии закрыли свои заседания 10 октября 1860 г.; в тот же день открыл свои заседания Главный Комитет, закончивший свою работу 14 января 1861 г. Следовательно, из официальной терминологии термин «срочно-обязанные» исчезает в самом конце 1860 г. или в начале 1861 г.; можно

[1] Журнал Секретного и Главного Комитетов по крестьянскому делу, I, стр. 298, Пгр., 1915.

[2] Материалы редакционных комиссий, III, кн. 1, стр. 189—190, 2 изд.

[3] См., например, § 14 проекта «Положений»: «Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но еще состоящие в обязательных отношениях к помещикам, именуются *обязанными крестьянами*». Материалы редакционных комиссий, I изд., 3-й период, ч. XVIII, стр. 10 (СПб., 1860).

даже предложить более точное (с официальной точки зрения) определение — в январе 1861 г. Заменивший его в проекте «Положений» термин «обязанные» не удержался и был, повидимому, без какого бы то ни было постановления — просто в редакционном порядке — заменен удержавшимся в законодательстве термином «временно-обязанный». По крайней мере этот термин без всяких оговорок впервые появляется в протоколе Общего собрания Государственного Совета от 7 февраля 1861 г.; тут записано, что Государственный Совет рассматривал «шестую главу второго раздела составленного Главным Комитетом по крестьянскому делу проекта Общего Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, и содержащую постановления об отношениях помещиков к сельским обществам временно-обязанных крестьян». Таким образом новый термин «временно-обязанные»[1] появился очень поздно — 7 февраля 1861 г., за 12 дней до подписания манифеста и «Положений». Если бы можно было основывать на этом обстоятельстве датировку прокламации, нужно было бы заключить, что она написана *до* 7 февраля 1861 г. Но в подобном заключении нет нужды. Целый ряд данных, приведенных выше, говорит за то, что прокламация написана *до* 19 февраля 1861 г. — этого достаточно.

Поскольку прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» написана Чернышевским до 19 февраля 1861 г., то и революционная организация, решения которой сообщаются в прокламации, существовала *до* 19 февраля 1861 г. Можно предположить, что существовала она и в 1860 г. Значит, первой «Земле и Воле», образовавшейся в 1862 г., предшествовала какая-то другая революционная организация.

Чернышевский и его единомышленники страстно и напряженно ждали революционного взрыва в России. Многочисленны указания Чернышевского и Добролюбова в их произведениях, что народ *сам* возьмется за свое дело, когда увидит, *как* хотят его освободить, *какую* реформу он получает из рук крепостников-дворян. Так, уже цитированный нами вывод, к которому приходит Чернышевский, разбирая сущность предполагаемой реформы («Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение!»), Ленин называет чисто революционным: «подобные чисто революционные идеи он (Чернышевский. — *М. Н.*) умел излагать в подцензурной печати».[2] Ленин разъяснил, что эта гибель всего дела крестьянской реформы, которой желал Чернышевский, была бы не чем иным, как способом ускорить революцию. Чернышевский «протестовал, проклинал реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов».[3]

Глубоко ошибочно мнение, будто Чернышевский «не доверял активности народных масс» вплоть до 1861 г. и лишь «к концу своей литературной деятельности... начал допускать (?) возможность широкого революционного движения, вызванного разочарованием крестьянства в реформе 1861 года».[4] Чернышевский в течение всей своей деятельности постоянно и непрерывно, как указал на это Ленин, был «революционным демократом, он умел влиять на все политические события

[1] Журналы и мемории Общего собрания Государственного Совета по крестьянскому делу, стр. 91, Пгр., 1915.
[2] В. Ленин. Что такое «друзья народа»... (Соч., I, стр. 178).
[3] Там же, стр. 180.
[4] Ю. Стеклов. Н. Г. Чернышевский, 2-е изд., II, стр. 96.

эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех «старых властей».[1] Ожидания близкой и неизбежной революции полна статья Чернышевского «Русский человек на «rendez-vous» (1858 г.), написанная по поводу повести И. С. Тургенева «Ася» и разоблачающая позиции либералов, тормозящих революцию. Чернышевский напряженно ждал революционного взрыва и создал замечательный образ этого ожидания — до революции остался *только один день:* «Ныне суббота, в понедельник ваша тяжба будет доложена и решена; — долее отлагать ее не имею я силы, при всем расположении моем к вам». Счастливые, выгодные для действий, моменты жизни случаются не так часто: «Не пропустить благоприятную минуту — вот высочайшее условие житейского благоразумия. Счастливые обстоятельства бывают для каждого из нас, но не каждый умеет ими пользоваться, и в этом искусстве почти единственно состоит различие между людьми, жизнь которых устраивается хорошо или дурно. И для вас, хотя быть может и не были вы достойны того, обстоятельства сложились счастливо, так счастливо, что единственно от вашей воли зависит ваша судьба в решительный миг. Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в которое вы поставлены теперь, — вот в чем теперь для вас вопрос о счастии или несчастии на веки».[2]

В свете всего изложенного можно себе представить, какие огромные надежды возлагал Чернышевский и его единомышленники на тот предполагаемый взрыв крестьянских волнений, который должен был последовать за реформой. Правдоподобнее всего было ожидать начала революционных событий именно непосредственно вслед за объявлением народу обманывающей его «свободы». Повидимому, прокламация «Барским крестьянам» и была призвана организовать именно этот казавшийся неизбежным взрыв. Очевидно предполагалось, что революционное воззвание, с одной стороны, и царский манифест с «Положениями», с другой, окажутся в руках народа одновременно.

Так обстоит дело с прокламацией «Барским крестьянам». Документ этот, как неотъемлемая часть литературного наследия Чернышевского, является центральным при изучении темы: «Чернышевский в годы революционной ситуации». Он представляет собою *ключ* к подцензурным статьям Чернышевского.

Перейдем теперь к анализу другого, не менее важного, документа, на основе которого строится изучение темы «Чернышевский в годы революционной ситуации», — известного «Письма из провинции», подписанного псевдонимом «Русский человек».

* * *

В № 64 герценовского «Колокола» (от 1 марта 1860 г.) появилось известное «Письмо из провинции», подписанное псевдонимом «Русский человек». Ярко, с огромной силой внутреннего убеждения автор письма разоблачил ошибочное отношение Герцена к царизму, вредное для революционного движения: «сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать». Автор был глубоко убежден, что «только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа» и что «только те права прочны, которые завоеваны, и что то, что дается, то легко и отнимается». Хорошо

---

[1] В. Ленин. «Крестьянская реформа»... (Соч., XV, стр. 144).

[2] Н. Чернышевский. Полное собрание сочинений, I, стр. 102, 101, СПБ., 1906.

осведомленный о крестьянском движении своего времени (в частности — о движении в связи с борьбой против винных откупов), автор был убежден в *близости* революционного взрыва: «Может быть это пробуждение недалеко, царские шпицрутены, щедро раздаваемые верноподданным за разбитие царских кабаков, разбудят Россию скорее, чем шопот нашей литературы о народных бедствиях, скорее мерных ударов вашего «Колокола». Письмо кончалось известным призывом — «К топору зовите Русь!»

Имя автора письма осталось неизвестным. Вся идеология «Письма», выдвинутые в нем лозунги, все содержание его в целом полностью совпадают с кругом идей Чернышевского и его единомышленников. Эта сторона вопроса ни разу не возбуждала сомнений у исследователей. Большинство считает автором письма Чернышевского, хотя очень немногие подвергали этот вопрос специальному исследованию и аргументировали свой тезис. К числу последних относится М. К. Лемке, основывающий свое положение не только на общем анализе круга идей Чернышевского, но и на свидетельстве А. А. Слепцова. В своих комментариях к полному собранию сочинений А. И. Герцена М. К. Лемке сообщал, что он нашел копию письма «Русского человека» с пометкой А. А. Слепцова: «Написано Н. Г. Чернышевским и прочитано мне до отправления к Герцену». Это свидетельство и являлось основным доказательством авторства Н. Г. Чернышевского.

В № 25—26 журнала «Литературное наследство» Б. П. Козьмин подверг обстоятельному и интересному разбору этот вопрос в статье, озаглавленной «Был ли Н. Г. Чернышевский автором письма «Русского человека» к Герцену? Б. П. Козьмин дает отрицательный ответ на поставленный им вопрос, но ограничивается негативной стороной дела, не выдвигая никаких гипотез о том, кто же был автором «Письма из провинции»: «Письмо», напечатанное в «Колоколе», было написано кем-то другим, а не Чернышевским. Кем именно, мы, к сожалению, определить не можем».[1]

Первая часть вывода Б. П. Козьмина представляется мне правильной. Но необходимо дополнить ее положительной частью — если автор «Письма» не Чернышевский, то кто же? Прежде чем перейти к изложению и аргументации моей гипотезы (я полагаю, что автором «Письма» был Н. А. Добролюбов), необходимо остановиться на разборе некоторых аргументов Б. П. Козьмина — это нужно для построения положительной гипотезы о происхождении письма.

Важным аргументом Б. П. Козьмина является выяснение несостоятельности свидетельства А. А. Слепцова. «Письмо» опубликовано Герценом в марте 1860 г., а Слепцов познакомился с Чернышевским, по собственному свидетельству, в июле 1861 г., т. е. более чем через год после появления на страницах «Колокола» письма «Русского человека». Обе даты находятся в резком противоречии — это бесспорно. Отсюда вывод: раз Слепцов познакомился с Чернышевским позже времени публикации «Письма» в «Колоколе», то его свидетельство об авторстве Чернышевского и о том, что Чернышевский якобы читал ему «Письмо» *до* отправки в «Колокол», отпадает как ненадежное. Вопрос можно было бы считать решенным, если бы разоблачающей дате, несущей на себе всю ответственность вывода, — дате первого знакомства А. А. Слепцова с Чернышевским (июль 1861 г.) — можно было полностью верить. Но *несомненна* ли она? Ведь она, как указывалось выше, заимствована из того же самого «манускрипта» А. А. Слепцова, а Б. П. Козьмин сомневается даже в самом сущест-

[1] «Литературное наследство», кн. 25—26, стр. 584.

вовании этого манускрипта. Очевидно, нельзя оперировать, как достоверной, датой, заимствованной из источника, самое существование которого заподозрено. Но предположим — что вполне возможно — дата поездки А. А. Слепцова за границу и последующего первого свидания его с Чернышевским подтвердится: Слепцов виделся с Чернышевским впервые в июле 1861 г. Следовательно, письмо «Русского человека», напечатанное в «Колоколе» в марте 1860 г., не могло быть ему прочитано Чернышевским *до* отправки к Герцену. Что отсюда следует? Можно ли отсюда сделать вывод, что Чернышевский не был автором письма «Русского человека»? Никак нельзя. Единственным правильным выводом из этого положения будет такой: на неверном свидетельстве Слепцова *нельзя* основывать положение об авторстве Чернышевского; из арсенала доказательств того, что Чернышевский был автором письма «Русского человека», свидетельство Слепцова надо исключить. Таким образом вопрос об авторстве Чернышевского просто останется открытым, допускающим любые предположения, но исключение этого доказательства вовсе не приводит к тому, что письмо «Русского человека» писал *не* Чернышевский.

Я лично отвожу свидетельство Слепцова по другим основаниям — по крайнему несоответствию его с тем, что нам известно о привычках и строжайшей конспиративности Чернышевского. Чернышевский свидетельствовал по другому поводу: «Всякий, близко знающий (меня) знает, что это — нравственная невозможность. Я никогда не читаю никому что бы то ни было, написанное мною. Этот обычай столь же чужд мне, как танцевание балетных танцев и собирание милостыни под окнами».

Гипотеза об авторстве Н. А. Добролюбова не может быть основана на анализе состава идей письма «Русского человека»: идеи эти присущи и Чернышевскому и Добролюбову. «Письмо» и в своем текстовом составе передает немало мыслей, ранее формулированных и Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым. Поэтому, в идейном смысле авторами письма являются они оба. Но, так сказать, литературным редактором, взявшим в руки перо и изложившим мысли обоих единомышленников, в то же время отразившим в тексте письма некоторые моменты своей биографии, был, как мне представляется, именно Н. А. Добролюбов.

Мне представляется глубоко ошибочным *противопоставление* лозунга «К топору зовите Русь!», которым заканчивается письмо «Русского человека», лозунгу подготовки к вооруженному восстанию, содержащемуся в прокламации «Барским крестьянам». На этом противопоставлении настаивает и Б. П. Козьмин в цитированной выше статье. Он справедливо считает, что Чернышевский в прокламации «Барским крестьянам» «упорно и настойчиво указывал на необходимость более или менее длительной и тщательной подготовки, которая должна предшествовать восстанию и в которой Чернышевский усматривал необходимое условие для его успешности».[1] Правда, в прокламации Чернышевского ни одним словом не определена прямо *длительность* подготовительного периода, но Чернышевский требовал подготовки и призывал *начать вооруженное восстание* по единому сигналу из центра. Но разве в лозунге «К топору зовите Русь!» содержится отрицание восстания по единому сигналу? Разве в этом призыве содержится мысль *о немедленном* восстании *без всякой подготовки?* Откуда это видно? Чернышевский зовет крестьян к повсеместному *вооруженному восстанию* против царской власти и помс-

[1] «Литературное наследство», кн. 25—26, стр. 583.

щиков — чем же отличается по существу этот лозунг от лозунга «К топору зовите Русь!»?[1] Чернышевский именно зовет Русь к топору и пытается организовать повсеместное восстание. Решительно ничего противоречащего мысли письма «Русского человека» тут нет. Б. П. Козьмин считает, что автор «Письма» якобы полагает — в противоположность Н. Г. Чернышевскому, — что в крестьянах *уже* есть «приготовленность» к выступлению. Откуда это видно? Тогда не приходилось бы *звать* к топору. Между тем автор «Письма» как раз, подобно Чернышевскому, подходит к вопросу осторожно. В уже цитированном нами отрывке — «*Может быть* это пробуждение *недалеко...*» — нет убеждения, что восстание наступит без всякой подготовки немедленно, завтра. Кроме того, в конце письма можно усмотреть намек на свидание Чернышевского с Герценом в 1859 г., что еще раз с полной ясностью говорит о *тождестве* лозунга автора «Письма» с мнением Чернышевского. «Русский человек» пишет: «Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и оно удивительно верно, другого спасения нет». Если тут говорится о свидании Чернышевского с Герценом в 1859 г. в Лондоне, то это обстоятельство необходимо учесть. Какую же мысль высказывал ему Чернышевский, по сведениям автора «Письма из провинции»? Мысль о том, что надо звать к топору. Это еще раз подтверждает полное отсутствие разницы в лозунгах прокламации «Барским крестьянам» и письма «Русского человека». А для того, чтобы распространяться о том, как именно организовать восстание и сколько времени понадобится для достижения в народе «приготовленности», — никаких практических поводов в письме к Герцену не было: в нем речь шла не о способах реализации лозунга, а просто о самом лозунге. Надо было именно убедить Герцена в правильности *лозунга*, а не в формах его применения. Конечно, допустимо предположение, что автор письма «Русского человека» намекает здесь на призыв «к топору», который содержался в корреспонденции, опубликованной в «Колоколе» ранее. Но и тогда этот довод не может свидетельствовать *против* авторства Н. А. Добролюбова.

Как известно, решение Н. А. Добролюбова написать Герцену возникло немедленно вслед за тем, как он узнал от Некрасова, что Герцен выступил против «Современника». Об этом свидетельствует запись в дневнике Добролюбова от 5 июня 1859 г.: «*5 июня*. Сегодня в 3 ч. утра Некрасов, воротясь из клуба, сообщил мне, что Искандер в «Колоколе» напечатал статью против «Современника» за то, что в нем предано поруганию священное имя гласности. В статье есть будто бы намек на то, что «Современник» подкуплен триумвирным бюро. Если это правда, то Герцен человек вовсе несерьезный; так легкомысленно судить о людях в печати — ужасно дико. Но чем более думаю я об этом известии, тем более убеждаюсь, что Некрасову только так показалось и что в сущности намека этого нет. Нужно поскорее достать «Колокол» и прочесть статью, а затем решиться, что делать. Во всяком случае надо писать к Герцену письмо с объяснением дела. Меня сегодня целый день преследовала мысль об этом».[2]

К каким бы устным решениям ни пришли Чернышевский и Герцен после своей лондонской встречи в 1859 г., на статью «Very dangerous» все равно надлежало ответить *в печати* по существу ее

[1] М. К. Лемке совершенно справедливо усматривает одну руководящую мысль и в лозунге «К топору зовите Русь!» и в практическом плане подготовки восстания, изложенном в прокламации «Барским крестьянам» (М. Лемке, Указ. соч., стр. 319)

[2] Н. Добролюбов. Дневник, стр. 256.

идей. Естественнее всего было выполнить это именно Добролюбову, против которого и была направлена статья Герцена. Основным доказательством того, что Добролюбов отвечал Герцену (и не частным образом, а в печати, гласно) по существу вопроса о либеральной печати, является ценнейшее свидетельство А. А. Серно-Соловьевича в брошюре «Наши домашние дела» (1867 г.), где ведется резкая полемика с Герценом и где ему противопоставляется Чернышевский. А. А. Серно-Соловьевич советует Герцену «перечесть письмо Добролюбова к нему по этому поводу» (по поводу статьи Герцена «Very dangerous»). Ясно, что здесь не может итти речь о каком-либо личном письме, здесь говорится о документе широко известном, который легко можно перечесть спустя семь-восемь лет после его возникновения, — именно таким документом является публикация «Колокола». В. Евгеньев-Максимов приводит два возражения против возможности авторства Добролюбова: первое — уже разобранная ссылка на Слепцова, — аргумент, подлежащий отводу; второе возражение В. Евгеньева-Максимова состоит в том, что письмо «Русского человека» «отнюдь не является ответом на «Very dangerous».[1] А разве был возможен прямой ответ с указанием на статью Герцена в создавшихся конкретных условиях? Ведь это значило выдать себя с головой царскому правительству. Разве мог автор «Письма» написать что-нибудь вроде следующего: я, скрывавшийся под псевдонимом «Русский человек», хочу ответить на статью «Very dangerous». Это было равносильно подписи своей фамилии под лозунгом «К топору зовите Русь!» Но тема и «Very dangerous» и письма «Русского человека» одна — выяснение отношения Герцена к либеральному и к демократическому лагерям. Письмо «Русского человека» — обращенный к Герцену энергичный и страстный призыв перейти на более передовые, демократические позиции.

Таким образом свидетельство А. А. Серно-Соловьевича приводит нас к имени Добролюбова и совпадает с дневником самого Добролюбова, где изложено его вполне понятное решение обязательно ответить Герцену. Характерная деталь: та статья Н. А. Добролюбова в «Свистке», которая вызвала возмущение Герцена и его ответ «Very dangerous», также называлась «Письмо из провинции» (замечено И. Козьменко).

Но этого мало. Некоторые рассеянные в тексте «Письма» биографические данные также ведут к Н. А. Добролюбову. «Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа», — пишет «Русский человек». Н. Г. Чернышевский никогда не жил в провинции во время Восточной войны: в мае 1853 г. он уехал с женой из Саратова, а война началась в июне того же года. За годы войны Чернышевский ни в Саратове ни в каком другом провинциальном городе не был — он вновь посетил Саратов лишь в 1859 г. Между тем Н. А. Добролюбов в годы войны в провинции был: 8 марта 1854 г. умерла мать Добролюбова в Нижнем Новгороде. Около 14 июня Добролюбов поехал в Нижний к отцу и через полтора месяца по приезде он похоронил отца.[2] Добролюбову пришлось устраивать семейные дела, находить пристанище сестрам, заботиться об оставшемся имуществе (доме на Лыковой дамбе) и провести еще некоторое время в провинции. Надо напомнить, что именно в этом же 1854 г. (1/13 октября) союз-

[1] В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, стр. 385, Л., 1936.

[2] Н. Чернышевский. Полное собрание сочинений, X, ч. 2, стр. 75. Между прочим, именно к этому году относится известная нижегородская фотография, на которой юноша Добролюбов снят вместе с отцом-священником (воспроизведена в «Литературном наследстве», кн. 25—26, стр. 275).

ники высадили десант около Евпатории, и началась Крымская кампания — крупнейшая из кампаний Восточной войны 1853—1856 гг. Именно этот момент отмечен в письме «Русского человека»: «Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа и смело скажу вам вот что: когда англо-французы высадились в Крыму, то народ ждал от них освобождения». К войне Добролюбов относился с величайшим интересом: в его нелегальной рукописной газете «Слухи» за 1855 г. приведено огромное количество подобных же наблюдений о народном недовольстве, военных поражениях, беспомощности правительства во время войны (например, отдел «Слухи из Крыма и о Крыме» в № 2, «Современные вести» в № 5, «Служебное грабительство» в № 12, «Слухи о современной войне» в № 17 и т. д.).

Характерно также, что в «Слухах» (№ 6 за 1855 г.) много внимания посвящено отравлению Николая I при помощи Мандта — в письме «Русского человека» также упомянуто об этой ходившей в то время версии о смерти царя. «Народ собрался перед дворцом густыми толпами и со смехом, с криком, с бранью требовал Мандта, доктора, который лечил царя», — так начинается история о Мандте в «Слухах». «Теперь становится жаль Николая. Да, я всегда думал, что он скорее довел бы дело до конца; машина давно бы лопнула. Но Николай сам это понимал и при помощи Мандта предупредил неизбежную и грозную катастрофу» — говорится в Письме «Русского человека».

Добролюбов был вначале увлечен деятельностью Герцена, в то время как Чернышевский, признавая большое значение Герцена, относился к нему с некоторым скептицизмом. В письме к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 г. Добролюбов писал, в какое восхищение привела его книга Герцена «Du developpement des idées révolutionnaires en Russie». К этому письму Н. Г. Чернышевский делает примечание: «Литератор, о котором говорит Николай Александрович,[1] уж тогда имел образ мыслей, не совсем одинаковый с понятиями Герцена, и, сохраняя уважение к нему, уж не интересовался его новыми произведениями. Видя, что Николай Александрович огорчается холодными отзывами о них, этот литератор перешел от разъяснения причин своего недовольства некоторыми понятиями Герцена к похвалам тому, что находит у него хорошим, и, между прочим, говорил о том, что высоко ценит его блестящий литературный талант, что собственно по блеску таланта в Европе нет публициста, равного Герцену. Это утешало Николая Александровича».[2] Этому соответствует и другое место в письме «Русского человека», где говорится о Герцене: «все, что есть живого и честного в России, с радостию, с восторгом встретило начало вашего предприятия».

Замечу, наконец, что намек Герцена на свидание с Чернышевским в Лондоне в 1859 г., имеющийся в конце письма, нисколько не противоречит авторству Добролюбова: «...ничто, кроме топора, не поможет. Эту мысль вам, кажется, высказывали и оно удивительно верно, другого спасения нет». Кому, как не Добролюбову, было знать самые тайные темы разговора Чернышевского с Герценом?

Вот основные доводы, подкрепляющие гипотезу об авторстве Н. А. Добролюбова. Но, повторяю, круг идей письма «Русского человека» является общим и для Чернышевского и для Добролюбова. Образно выражаясь, можно сказать так: они оба могли сидеть за одним столом и советоваться о содержании письма, пользоваться мыслями из сочинений то одного то другого, но фактически написал письмо,

[1] Литератор этот — сам Н. Г. Чернышевский.
[2] Н. Чернышевский, Литературное наследие, III, стр. 510.

придал ему авторскую литературную форму, повидимому, Н. А. Добролюбов.

Это положение ведет к выводам существенного значения. После работы Б. П. Козьмина письмо «Русского человека» как-то выпало из литературного наследия великих демократов. Его уклонялись цитировать, избегали пользоваться им, так как «доказано, что это — не Чернышевский». Оно ушло куда-то «на периферию» круга источников 1860-х годов. Принадлежа неизвестно кому — вероятно кому-то из последователей великих демократов, — но не будучи приурочено ни к какому кругу определенных событий и литературных взаимоотношений эпохи, оно стало исчезать из исследовательского оборота. Думается, что оно должно немедленно вернуться обратно и занять прочное место в наследстве обоих великих демократов — и Чернышевского и Добролюбова. Это их общее идейное произведение при *литературном* авторстве одного из них — Добролюбова. Брешь, пробитая в системе источников для изучения роли крупнейших деятелей революционной ситуации 1859—1861 годов, должна быть заполнена.

Но наш анализ «Письма» все же еще неполон. В числе доводов против авторства Чернышевского есть один немаловажного значения: Чернышевский будто бы резко разошелся с Герценом после лондонского свидания 1859 г., оказался с ним в двух *разных* лагерях, на противоположных сторонах баррикады. А раз так, то письмо «Русского человека» тем более не могло быть написано в 1860 г. Чернышевским (ни Добролюбовым, добавим мы), который уже в 1859 г. бросил всякую надежду на Герцена. Б. П. Козьмин полагает, что Чернышевский пришел к следующему выводу: «Герцен неисправим и... переубедить его нельзя, как нельзя переделать натуру человека».[1] Раз так, то вожди крестьянской демократии конечно не стали бы, полностью разойдясь с Герценом в 1859 г., ни убеждать его в ошибочности его позиций, ни звать на свою сторону в 1860 г.

Так ли это?

Ответ на этот вопрос имеет более широкое и общее значение, нежели аргумент за или против авторства письма «Русского человека». Мнение о глубоком и коренном расхождении между Герценом и Чернышевским широко распространено в литературе и часто ставится самостоятельно, вне зависимости от частного вопроса об авторстве «Письма».

С большой отчетливостью формулировал эту — на наш взгляд совершенно неправильную — точку зрения В. Евгеньев-Максимов. «Герцен и редакция «Современника» в 1859 г. сражались на разных сторонах баррикады, ибо защищали интересы враждующих классов... Герцен конца 1850-х гг. защищал позиции довольно таки умеренного либерализма, возлагая упования на благую волю «Галилеянина», то-есть Александра II, в то время как редакция «Современника» уже явным образом склонялась к революционно-демократической платформе... Приходится думать, что в глазах Герцена его собственная статья была отнюдь не ошибкой и бестактностью, не выпадом по непонятным «своим», а обдуманным — по «чужим».[2]

Та же точка зрения развита Б. П. Козьминым в его статье: «Известно, что еще в июне 1859 г. Чернышевский ездил в Лондон для того, чтобы объясниться с Герценом по поводу резкого выпада, сделанного последним на страницах «Колокола» против Чернышев-

[1] Б. Козьмин. Указ. статья, стр. 581.

[2] Указ. соч., стр. 373. Речь идет о статье «Very dangerous».

ского и Добролюбова. О чем говорили при свидании Герцен и Чернышевский нам, к сожалению, неизвестно. Однако несомненно одно: в результате этого свидания как Герцен, так и Чернышевский убедились в том, что им не по дороге. В разговоре для них выяснилось коренное расхождение их во взглядах на политическое положение России. «Кавелин в квадрате — вот вам все». Так в письме к Н. А. Добролюбову Чернышевский формулировал впечатление, вынесенное им от свидания с Герценом. Ясно, что обозначала формулировка Чернышевского: Герцен с его точки зрения — либерал, не более, и революционному демократу Чернышевскому с ним не по пути».[1]

Конечно, обширная тема «Чернышевский и Герцен» не является предметом настоящей работы, ограниченной в своем объеме. Мы ставим лишь один общего значения вопрос: стояли ли Чернышевский и Герцен в годы революционной ситуации (1859—1861) на *разных* сторонах баррикады, расходились ли окончательно и бесповоротно, или, несмотря на все разногласия, боролись вместе, находясь в одном лагере — революционном?

Утверждение исследователей о якобы глубочайшем и непримиримом расхождении Герцена с Чернышевским в указанное время, как видим, часто базируется на письме Н. Г. Чернышевского к Н. А. Добролюбову от июня 1859 г., где Герцен назван «Кавелиным в квадрате». Острота и резкость этой формулировки как бы исключают необходимость дальнейшего исследования вопроса; он как будто бы и так ясен. «Кавелин в квадрате» — о чем же разговаривать? Какая близость могла быть у революционера-демократа с «Кавелиным в квадрате»?

Между тем вопрос далеко не так прост и безусловно заслуживает исследования. Прежде всего спросим себя: правильна ли формулировка Чернышевского по существу? Неужели же Герцен 1859 г., Герцен, только что резко порвавший с Чичериным, действительно был «Кавелиным», либералом, да еще не просто, а «в квадрате»? Это утверждение не соответствует действительности. Герцен никогда не был просто либералом. Ленин, как известно, дал сложную и точную формулировку: «при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх».[2] Герцен — человек, который, по словам Ленина, «поднял знамя революции»[3] в годы революционной ситуации, содействовал ей; его работа являлась элементом революционной ситуации. «Колокол» (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено», — писал Ленин.[4] Перечисляя конкретные признаки революционной ситуации, Ленин упоминает о «распространении по всей России «Колокола» *наряду* с «могучей проповедью Чернышевского». Между Герценом и Чернышевским были многие существенные расхождения во взглядах, да трудно и представить себе иное положение. В их лице встретились представители двух различных эпох русского революционного движения, двух разных поколений революционеров: представитель дворянской революционности и представитель разночинской крестьянской революционности. Но при всех своих либеральных колебаниях Герцен *в основном* стоял на революционных позициях, несмотря на свои слащавые письма к Александру II Вешателю и подчас возникавшие розовые надежды на правительство.

(2) (3)

[1] Указ. статья, стр. 581.
[2] В. Ленин. Памяти Герцена (Соч., XV, стр. 467).
[3] Там же, стр. 468.
[4] Там же, стр. 466.

Ленин заклеймил «слащавые письма в «Колоколе» к Александру II Вешателю» словами: их «нельзя теперь читать без отвращения»;[1] но он никогда не считал эти письма признаком бесповоротного перехода Герцена на сторону либералов, доказательством принадлежности Герцена к лагерю либералов. Он считал письма к Александру II и подобные им герценовские документы признаком *колебаний* между демократизмом и либерализмом, признаком *отступлений* от демократизма к либерализму. Ленин прекрасно знал о полемике, о расхождениях между дворянскими революционерами и революционерами-демократами и учитывал эту полемику в своей оценке Герцена: расхождения между обоими революционными течениями не только не помешали Ленину дать свою знаменитую формулировку, что в Герцене боролись демократ и либерал и что в борьбе этой демократ брал верх, но были им использованы именно в связи с обоснованием этой формулировки. В самом деле, вспомним ее контекст, который, повидимому, забывают сторонники мнения о Герцене-либерале: «Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму. Однако, справедливость требует сказать, что, при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх».[2]

Совершенно ясно, что Н. Г. Чернышевский ездил к Герцену в 1859 г. не только для объяснений «по личному вопросу», связанных со статьей «Very dangerous». Оскорблен был Добролюбов. Почему же поехал Чернышевский? В 1860 г. Добролюбов был за границей и вполне мог бы объясниться с Герценом сам. Чернышевский, очевидно, ездил к Герцену прежде всего для установления единой линии действий в предполагаемом революционном взрыве и в подготовке к нему. Письмо «Русского человека» дает основания предполагать, что во время лондонского свидания речь шла о лозунге «К топору зовите Русь!» Шла речь и о *политической* программе Герцена. Чернышевский нападал на Герцена за мелкое обличительство, рекомендуя выдвинуть определенную политическую программу и подчинить именно ей разоблачительную линию «Колокола». Об этой теме лондонских переговоров мы знаем из чрезвычайно ценных воспоминаний Стахевича: «Я нападал на Герцена за чисто обличительный характер «Колокола», — говорил Чернышевский Стахевичу на каторге. — Если бы, говорю ему, наше правительство было чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в узде, в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть то дела именно в строе, а не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем конституционную или республиканскую или социалистическую, и затем всякое обличение являлось бы подтверждением основных требований ваших, вы неустанно повторяли бы свое: ceterum censeo Carthaginem delendam esse... Именем Карфагена он обозначал в данном случае очевидно самодержавие».[3] Единая линия совместного действия — при допустимости спора на политические темы — была очевидно признана обоими лагерями в результате лондонского сви-

(2)

[1] В. Ленин. Соч., XV, стр. 467.
[2] Там же.
[3] «Н. Г. Чернышевский». Сб. статей, документов и воспоминаний, стр. 103, М., 1928.

дания. Герцен, ни словом не проговорившийся в «Былом и Думах» о поездке к нему Н. Г. Чернышевского, очевидно конспиративной, бросил замечательную фразу, говоря о новом — разночинском — поколении русских революционеров: «Общее между нами было слишком *обще*. Вместе итти, *служить*, по французскому выражению, вместе что-нибудь делать мы могли, но вместе стоять и жить, сложа руки, было трудно».[1] «Разумеется, я ездил не понапрасну», — писал Чернышевский Добролюбову о своей поездке к Герцену в уже цитированном нами письме. Несмотря на острую полемику по отдельным вопросам, Герцен и Чернышевский *после* свидания считали себя борющимися в *одном* лагере. Об этом с большой ясностью свидетельствует письмо Огарева к Н. Н. Обручеву, написанное в середине августа 1861 г. Раздосадованный Огарев писал, выражая недовольство Чернышевским: «Истинно жаль, что вас (Обручева) нет в Питере, потому что *наши* шалят... Зачем это битье *по своим?*... Какая тут общественная деятельность, какое *общее дело?*»... Как ни огорчен Огарев (Герцен в своей приписке к этому же письму находил, что Огарев «слишком серьезно это принимает») поведением Чернышевского, ясно одно: между Герценом и Чернышевским, несмотря на все их расхождения, существовала договоренность об *общем деле*. Интересно, что тот же термин «дело» мелькает и в цитированном письме Чернышевского к Добролюбову (от июня 1859 г.), где рассказывается о лондонской поездке: «Разумеется, я ездил не понапрасну. Но боже мой, по делу надобно вести какие разговоры!»[2]

Таким образом характеристика «Кавелин в квадрате» — резкая, преувеличенная. Чернышевский сам писал Добролюбову в письме от 12 августа 1858 г.: «Когда видишь человека, все-таки несколько вернее судишь о его действительных чувствах и потребностях, нежели читая письмо, в котором почти всегда мысль выражается слишком сильно».[3]

Необходимо отметить, что на петербургской квартире Чернышевского сосредоточивались нелегальные произведения Герцена, она была одним из центров их распространения. По крайней мере агенты III отделения, наблюдавшие за квартирой Чернышевского, сообщали,[4] что «перед рождеством» жена Чернышевского, Ольга Сократовна, просила своего кучера спрятать в сене пачки заграничной нелегальной литературы. Это были «небольшие брошюрки», напечатанные в Лондоне; агенты полагали, что это — воззвание Герцена под заглавием «Что нужно помещикам?» Через несколько дней Ольга Сократовна взяла у кучера спрятанные книжки и отвезла их «на Васильевский остров в 8-ю линию, в подворье к монахам». Городские монастырские подворья были тесно связаны с провинцией. В дешевых монастырских гостиницах останавливалось немало проезжего народа. Возможно, что в «подворье» и находились какие-то нити по распространению нелегальной литературы по России. Вот пример «общего дела». Так не поступают враги, стоящие на разных сторонах баррикады.

Общеизвестно, как отнесся Герцен к приговору над Н. Г. Чернышевским и к гражданской казни, над ним совершенной. Она вызвала страстное негодование Герцена, пославшего проклятье царским палачам: «Чернышевский был выставлен к позорному столбу на чет-

(2)

(3)

протест семьи

[1] «Былое и Думы» (Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, XIV, гл. XII, стр. 413).
[2] Н. Чернышевский. Литературное наследие, II, стр. 365.
[3] Там же.
[4] Агентурные сведения от 18 и 24 марта 1862 г. («Красный Архив», XIV, стр. 114—115).

верть часа, а вы, а вся Россия долго ли останетесь привязанными к нему?»[1] После приговора над Чернышевским Герцен назвал царское правительство «шайкой разбойников и негодяев, которая управляет нами». Исключительно остра и резка полемика А. А. Серно-Соловьевича против Герцена, но все-таки брошюра его правильно называется — «Наши домашние дела». Как ни остро было столкновение, лагерь был один — речь шла об *общем доме.* Очевидно именно эту брошюру имеет в виду Ленин, когда упоминает имя Серно-Соловьевича, говоря об упреках разночинцев-революционеров, адресованных Герцену за его отступления от демократизма к либерализму. В 1864 г. Герцен озаглавил одну из заметок в «Колоколе» такими словами: «Чернышевскому, Михайлову и *всем друзьям нашим,* стоявшим у позорного столба, носящим цепи, работающим на каторге». Он имел все основания, несмотря ни на что, назвать их друзьями: лагерь был один, *дело* было общим, и борьба была тоже общей.

«Если вы печатаете письма врагов ваших, то отчего же бы не напечатать письмо одного из друзей ваших?» — так кончалось письмо «Русского человека». Упоминание о «друзьях» было далеко не случайно — оно было продуманным определением отношений. В свете этого определения не вызывает сомнений и искренность подписи: «с глубоким уважением — Русский человек». В приведенном контексте ясно, что эти слова — не пустая общепринятая формула, в них вложено большое содержание.

Чернышевский бичевал в Герцене либерала и всячески стремился *воспитать* в нем демократа, подтянуть Герцена на более передовые революционные позиции. Чернышевский даже находит для этого образные слова, взятые из области педагогики: «Я ломал Герцена — я ездил к нему дать ему выговор за его нападения на Добролюбова; и он вертелся передо мною как школьник», — писал Чернышевский К. Т. Солдатенкову 26 декабря 1888 г.[2]

Разоблачение либералов — основное содержание письма «Русского человека». Н. А. Добролюбов не скупится тут на самые резкие эпитеты и образы. Но *нигде* в «Письме» не называет он Герцена *либералом:* он всячески стремится оттянуть его от либерального лагеря, искоренить его колебания, обращается к нему со страстным революционным призывом. В письме «Русского человека» Герцен *не считается* либералом — и в этом главное. Его надо оттащить от либерального ската, уничтожить его либеральные колебания — но и только. Речь идет о либеральных *влияниях* на Герцена, но *либералом,* повторяю, он сам в «Письме» нигде не называется. «Помещики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкивают вас надеждами на прогрессивные стремления нашего правительства», — пишет Герцену «Русский человек». «Вы, смущенные голосами либералов-бар, вы после первых номеров «Колокола» переменили тон... Пусть они вместе гибнут, но вам какое дело до этих догнивающих трупов?» — так обращался к Герцену «Русский человек». По прямому своему смыслу «Письмо русского человека» вовсе не разрыв — это зов друга, зов перейти во имя *общего дела* на более передовые позиции.

* * *

Формулирую кратко основные положения настоящей работы.

1. Учение Ленина о революционной ситуации — одна из основных методологических предпосылок изучения Н. Г. Чернышевского.

---

[1] А. Герцен. Соч., под ред. М. Лемке, XVII, стр. 261.

[2] Н. Чернышевский. Литературное наследие. III, стр. 349.

2. Еще далеко не изучен состав источников для темы «Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации». Особенно важно изучение нелегальных произведений этих лет, связанных с именем Чернышевского, — прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и «Письма Русского человека».

3. В литературе последнего времени оспаривается авторство Н. Г. Чернышевского для обоих этих документов. Как показывает исследование, прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» написана Н. Г. Чернышевским.

4. Прокламация «Барским крестьянам» написана *до* выхода в свет «Положений 19 февраля».

5. Анализ этой прокламации приводит к выводу, что в России 1860—1861 гг. существовала какая-то революционная организация, предшественница первой «Земли и Воли».

6. «Письмо из провинции», подписанное псевдонимом «Русский человек», развертывает общие идеи Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, принадлежа в идейном смысле обоим великим революционерам-демократам. Автором же самого текста письма, как литературного документа, является, повидимому, Н. А. Добролюбов.

7. Распространенное в литературе утверждение, что в эпоху революционной ситуации Герцен и Чернышевский стояли на разных сторонах баррикады, не выдерживает критики. Чернышевский и Герцен при всех их значительных расхождениях сознавали себя друзьями, «своими», принадлежащими к одному — революционному — лагерю, борющимися за «общее дело». Чернышевский бичевал в Герцене либерала, поддерживал и воспитывал в нем демократа, подтягивал Герцена к передовым революционным позициям.

Б. А. РОМАНОВ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЛО-ЯПОНСКОГО ДОГОВОРА 1902 года

I

Попытка Японии решающим образом закрепиться на Азиатском материке в 1894-95 гг., пока Россия еще далеко не подошла железной дорогой к берегам Японского моря,[1] кончилась полной неудачей. Япония выставила в войне с Китаем в 1894-95 гг. такую европейски-модернизованную армию (в 70 тыс. чел.), равной которой тогда никто из империалистов не мог располагать на Д. Востоке. Но в остальном вся военная и финансовая подготовка Японии (с конца 70-х — начала 80-х годов) была рассчитана на войну с одним отсталым Китаем, а в международно-политическом отношении Япония к моменту выступления была в полном одиночестве: дипломатически война 1894-95 гг. оказалась никак не подготовленной правительством Ито.

Но и «державы» оказались застигнутыми врасплох сокрушительными успехами «маленькой» Японии, и их вялые, проникнутые взаимным недоверием, попытки оказать дипломатическое воздействие на Японию в стадии ее предвоенных переговоров с Китаем все были отклонены японским правительством.

В частности английская дипломатия, которую война застала на стороне Китая, в течение войны, именно под влиянием хода военных действий, проделала эволюцию в сторону Японии и в момент японо-китайских мирных переговоров в Симоносеки заняла наконец четкую позицию невмешательства.

Наоборот, Россия, в виду грандиозности территориальных требований Японии (Вей-хай-вей, Порт-Артур, все южно-манчжурское побережье и «независимость» Кореи от Китая, что означало диктатуру Японии в оккупированной ею Корее), хотя и после серьезных разногласий и колебаний в составе ее правительства и с некоторым опозданием, решилась на дипломатическое вмешательство, как только Германия и Франция выразили готовность последовать ее примеру и поддержать ее возможное военное выступление своими морскими силами на Д. Востоке.

Так состоялся ультиматум трех держав, перед которым отступило японское правительство, исчерпавшее свои ресурсы в войне с Китаем и неготовое к новой войне. Япония вернула Китаю Порт-Артур и другие оккупированные пункты южной Манчжурии и получила только острова на юге Китая, Формозу и Пескадорские. Несмотря на то, что «независимость» Кореи от Китая осталась закрепленной в Симоносекском договоре, на деле последовавшие затем новые дипломатические триумфы российского империализма (в договорах 1896 г. с Китаем и Японией) создали в Корее обстановку, в политическом отношении зна-

[1] Движение по Сибирской ж. д. в 1894 г. было открыто только до Омска.

чительно более благоприятную для России, и японская политика фактической диктатуры в Корее потерпела (в 1896 г.) полное крушение. Таким образом, ни в Манчжурии (где Вей-хай-вей и Порт-Артур давали бы Японии безусловное политическое преобладание в Пекине), ни в Корее Японии в политическом отношении не удалось воспользоваться плодами своих военных побед.

Зато в финансовом (и экономическом) отношении ультиматум трех держав не заключал в себе никаких ограничительных условий. И даже больше: возвращение Китаю Порт-Артура обусловлено было увеличением суммы выговоренной в Симоносекском договоре контрибуции (200 млн. лан) на 30 млн. лан. А сумма эта превышала действительные военные расходы Японии в полтора раза (на японскую валюту Япония должна была получить 364 млн. иен = 38 млн. фунтов, расходы исчислялись в сумме от 200 до 233 млн. иен). Так как фактически эти расходы были покрыты из скопленного ранее военного фонда и бюджетных средств почти целиком, а из контрибуции было перечислено на погашение военных расходов только 54 млн. иен, то японское правительство могло располагать совсем свободно в ближайшие годы (1895—1898), в которые Китай должен был внести всю контрибуцию полностью, неслыханной в бюджетном обороте Японии суммой в 310 млн. иен.[1] Эта сумма превышала последний предвоенный расходный бюджет Японии 1893—1894 гг. (84 млн. иен) почти в четыре раза, и уже одно это, по признанию одного японского историка, «чрезмерно подействовало на умы как правительства, так и народа» и «было причиной финансовой и экономической встряски после японо-китайской войны», «события, сделавшего эпоху в истории мейдзийской Японии». Соответственно и расходный бюджет, державшийся в десятилетие 1886—1895 гг. на уровне порядка 80 млн. иен, уже в 1897 г. вырос до 240 ½ млн. иен, дав «беспрецедентно громадное», «революционное по своей природе» увеличение в три раза.[2]

Искусственное происхождение этого скачка подтверждается уже одним тем, что, падая в иные годы, бюджет и в 1903 г., накануне русско-японской войны, дополз только до 250 млн. иен. Это не значит, что за указанные годы Япония не прибегала к повышению налоговых ставок и что империалистическое правительство не выжимало из народа всего, что можно было из него выжать. Это значит только, что реальный постепенный рост налогового нажима скрыт был здесь неравномерностью в ежегодном расходовании исходной экстраординарной суммы контрибуции, без задержек внесенной Китаем благодаря ревностному содействию международного финансового рынка. Займы Китаю для этой цели стали даже предметом ожесточенной конкуренции и орудием китайской политики держав, в частности России и Англии, а вопрос о займе 1898 г. едва даже не привел к вооруженному столкновению между этими двумя странами. В результате, с точки зрения империалистических интересов царской России, получался парадокс: Россия в значительной степени косвенно содействовала нажитому себе в 1895 г. врагу, Японии, в подготовке ею новой войны за ускользнувшие от нее континентальные позиции против России же.[3]

Уже в конце 1895 г. японское правительство приняло так назы-

[1] Giichi Ono. War and Armament expenditures of Japan, pp. 116, 142, New York, 1922; «Финансы Японии после войны с Китаем», стр. 3, изд. М. Ф., СПб., 1899; A. Andreadas. Les finances de l'Empire Japonais et leur évolution, p. 51, Paris, 1932.

[2] Giichi Ono. Op. cit., pp. 142, 136.

[3] Подробнее об этом см. мою «Россию в Манчжурии», стр. 85 сл., 191 сл., Л., 1928.

ваемую post-bellum programme — программу вооружений и ряда производительных расходов с календарными сроками, рассчитанными на то, чтобы быть готовым к нападению на Россию до окончания ее колоссального железнодорожного строительства (КВжд). В основу этой программы положена была китайская контрибуция. Ее первоначальная редакция, принятая парламентом в 1895 же году (впоследствии не раз подвергавшаяся дополнениям и изменениям), включала расход на усиление морских и сухопутных военных сил в 295 млн. иен и на производительные, преимущественно железнодорожные, предприятия — в 136 млн. иен, всего 431 млн. иен (а к 1899 г. выросла и до 516 млн. иен). Присматриваясь к военному разделу программы даже в первоначальной редакции, нетрудно заметить, какие сроки в гонке вооружений ставило себе японское правительство уже в 1895 г.

Годы	Военно-сухопутная программа	Военно-морская программа	Всего
	в иенах		
1896/7	17 250 152	22 192 709	39 442 861
1897/8	21 318 653	60 660 965	81 979 618
1898/9	14 451 288	50 144 834	64 596 122
1899/1900	10 632 216	34 517 397	45 149 613
1896—1900	*63 652 309*	*167 515 905*	*231 168 214*
1900—1901	7 923 867	21 464 692	29 388 559
1901—1902	6 883 440	15 922 018	22 805 458
1900—1902	*14 807 307*	*37 386 710*	*52 194 017*
1902/3	2 643 206	5 181 409	7 824 615
1903/4	578 005	2 410 660	2 988 665
1904/5	—	533 928	533 928
1905/6	—	72 347	72 347
1902—1906	*3 221 211*	*8 198 344*	*11 419 555*

Как видно из приведенной таблицы, из общей суммы в 295 млн. иен (кругло) к 1900 г. предполагалось вложить в вооружения 231 млн. иен, и хотя следующие два года отмечены значительным снижением, к 1902 г. программа была бы выполнена на 283 млн. иен, т. е. на 95 проц.[1] На деле расходы на военно-морскую экспансию в 1896—1903 гг., по отчету чрезвычайных расходов, превысили эту первоначально намечавшуюся сумму и поглотили до 355 млн. иен.

Не менее выразительна для характеристики лихорадочной срочности военно-морской подготовки Японии после 1895 г. и кривая ее военно-морского бюджета за 1896—1903 гг. в целом (по обыкновенному и чрезвычайному разделам бюджета — см. таблицу на стр. 43).

Как видим и здесь, после 1899—1900 гг., цифра военно-морских расходов заметно падает, отражая отмеченный выше перелом, связанный с выполнением экстренной программы. Чего стоило Японии это военно-бюджетное напряжение 1899 и 1900 гг., видно из того, что

[1] «Финансы Японии», стр. 3, 6, 7, 11.

Годы	Расходы на армию	Расходы на флот	Всего
	в иенах		
1896	35 235 931	18 837 197	54 073 128
1897	56 666 041	50 097 856	106 763 897
1898	53 186 747	58 547 130	111 733 877
1899	54 930 923	*61 930 438*	*116 861 361*
1900	*60 621 754*	52 854 939	*113 476 693*
1901	53 734 896	43 456 900	97 191 796
1902	50 475 254	36 830 517	87 305 771
1903	49 114 163	36 661 330	85 775 493
1896—1903	413 965 709	359 216 307	773 182 016

общий бюджет ее на 1899—1900 гг. был сведен с значительным дефицитом (доходы — 188 738 437, расходы — 216 594 934), а военно-морской отдел его составлял более 50 проц. всех бюджетных расходов.[1]

В результате этой бешеной гонки к 1900 г. налоговые поступления были увеличены на 75 600 тыс. иен, что составляло половину обыкновенных доходов этого года (156 млн.) и на 5 млн. превысило весь бюджетный доход 1893 г. Между тем, по вычислению одного современного японского писателя, народный доход в Японии на душу населения в 1896 г. равнялся 3 фунтам против 44 фунтов в США и 36 фунтов в Англии, и «если бы в этих двух странах налоговое обложение было так же тяжело, как в Японии, доходы там должны были бы равняться 287 600 000 фунтов вместо 89 664 000 и 231 360 000 вместо 104 800 000».

За всеми этими бюджетными цифрами стояла программная задача *утроения* численности сухопутных войск (до 13 дивизий состава 170 тыс. чел. в мирное время и 600 тыс. чел. в военное) и *учетверения* тоннажа военного флота (с 60 тыс. тонн в 1895 г. до 278 900 в 1903 г.) — задача, целиком выполненная в намеченный срок.[2]

Таково было маховое колесо политики японского империализма, пущенное на полный ход тотчас по окончании японо-китайской войны 1894—1895 гг. Post-bellum programme явилась военно-финансовой хартией японских милитаристских кругов, признанным вождем которых был уже и до японо-китайской войны и остался и впредь, до конца дней своих, маршал Ямагата, распоряжавшийся военным и морским портфелями в любом японском кабинете до самой русско-японской войны и целиком монополизировавший в своих руках всю исполнительную власть в моменты, критические для изображенного выше календаря этой программы.

II

Вооружаясь для вторичного завоевания корейского и манчжурского рынков и плацдармов в такой грандиозной борьбе, как борьба с российским империализмом, феодально-буржуазная Япония не могла, однако, не испытать колебаний в руководящих своих кругах прежде, чем окончательно и бесповоротно стать на путь этой борьбы, требовав-

[1] Giichi Ono. Op. cit., pp. 63, 68; «Финансы Японии», стр. 4.
[2] Giichi Ono. Op. cit., pp. 61, 66, 143, 144; A. Andreadas. Op. cit., p. 62 (цитата из ст. Шигеоки в японском журнале «Гацо»).

шей крайнего напряжения и связанной, как не могло тогда не казаться, с большим риском. Выразителем этих колебаний в составе бюрократической олигархии «старейших мейдзийских государственных людей» (Meiji Statesmen), входивших в надпарламентский совет Генро и фактически правивших страной, явился Ито, выдвигавший умеренную программу экспансии с ориентировкой в сторону океана и соглашения с царской Россией. Он был создателем японского конституционализма, взятого им с прусского образца и строившегося (с 1890 г.) на базе 500 тыс. избирателей (при 40-миллионном населении);[1] к нему примыкали в совете Генро экономисты-финансисты Иноуэ и Мацуката. Как ни мизерен был масштаб японского конституционализма, как ни далек он был от каких-либо признаков парламентаризма, тем не менее и такой «парламент» играл известную роль в политической консолидации феодальных и буржуазных элементов господствующих классов Японии. Но группа Ито отдавала себе отчет в том, что за этим фасадом у японского молодого капитализма не было сколько-нибудь серьезной базы крупной промышленности, которая соответствовала бы захватническим планам милитаристов, и потребности внутреннего развития у Ито выступали на первый план. Вынужденный, в поисках выхода из внутреннеполитических затруднений, пойти в 1894 г. на войну за Корею, которая была давним предметом покушений и вожделений прежде всего японского самурайства, Ито только Корею и включал в свою внешнеполитическую программу. Но война за нее быстро, благодаря слабости Китая, охватила и Манчжурию, которую, однако, дипломатия Ито оказалась не в состоянии удержать, и это обрушилось на голову Ито как сокрушительная политическая неудача. Ито после войны должен был отказаться от власти, пав жертвой им же самим вызванного угара от военных успехов 1894—1895 гг.

По существу дела, Ито со своей «мирной», умеренной политической линией попадал в положение, аналогичное тому, в каком в скором времени оказался Витте в России. Оба они в 1895 г. приложили руку к тому, чтобы выиграть каждый для своей буржуазии заметную дистанцию в борьбе за китайский рынок. И оба, раз выпустив на сцену духа войны и захвата, оказались затем бессильны подчинить этого духа интересам своей буржуазной программы и выдержать оптимальные для нее тактические темпы в дальнейшей «мирной» дипломатической борьбе. Преимущество Ито заключалось лишь в том, что он мог пытаться отстаивать свою политическую линию, ища опоры в конституционном аппарате страны, тогда как Витте приходилось изощряться в пределах аппарата исключительно бюрократического.

Попытки Ито на первых порах использовать политические партии путем закулисного участия в образовании из «либеральной» партии (дзиюто) и группы гр. Окума, объединенной лозунгом парламентаризма английского типа, единой конституционной партии (Кенсейто) и привести дело к образованию «партийного» кабинета гр. Окумы (1898 г.) встретили решительное сопротивление внутри олигархии и в милитаристских кругах. Немалую роль в этой борьбе несомненно сыграли внешнеполитические события 1898 г. Основным явился захват Россией Порт-Артура, который японская дипломатия должна была признать в виду позиции, занятой в этом вопросе Англией. Лондонский кабинет дал царскому правительству согласие на аренду Ляодунских портов в виде компенсации за отказ его от займа Китаю на условиях закры-

---

[1] Mc. Laren. A political history of Japan during the Meiji Era, 1867—1912, pp. 229—230, London—New York, 1926.

тия Манчжурии и Монголии для иностранного капитала. Лондонский кабинет предпочел забить этот лишний клин между Россией и Японией, отдавая себе отчет в том, что японские военные круги не примирятся с захватом вырванной у них в 1895 г. добычи. И японской дипломатии пришлось теперь удовольствоваться лишь пересмотром соглашений с Россией о Корее и получить в новом соглашении о ней (Розен-Нисси, 25 апреля 1898 г.) признание Россией «преимущественных» прав Японии в экономическом отношении. Такой оборот дела обострял вопрос о форсировании военной программы и ее расширении и повышал шансы Ямагаты в борьбе за власть. Кабинет Окумы пал (осенью 1898 г.) и был заменен кабинетом Ямагаты строго военно-бюрократического состава, на сторону которого затем перешло парламентское большинство из развалившейся Кенсейто (на Кенсейто и Кенсейто-хонто, т. е. «действительных» конституционалистов). В течение двух последующих лет, отмеченных, как мы видели, максимальным напряжением в выполнении военной программы, милитаристы, ладя с кенсейтовцами и прибегая к широкой парламентской коррупции, успевали проводить эту программу, не встречая препятствий в парламентском большинстве.

Только к весне 1900 г. Ито удалось нащупать в кенсейтовских кругах некоторое разочарование в союзе с Ямагатой, и он повел открытую кампанию против режима олигархии за «партийное правительство». Это была брешь, пробиваемая в олигархии изнутри одним из ее членов, и к сентябрю 1900 г. Ито стал лидером тех же кенсейтовцев, принявших название Сейюкай, на том условии, что «каждый член партии должен абсолютно повиноваться его предписаниям». Образование партии Сейюкай на первых порах было встречено окумовской прессой как событие «самое значительное со времени реставрации Мейдзи», обещавшее де в будущем парламентское министерство. Но оказалось, что именно в конституционном отношении это была буря в стакане воды. Ибо на первом месте в программной речи Ито стояло признание исключительной прерогативы монарха на назначение министров, а в случае назначения члена партии — полная независимость последнего от партии. Зато во внешнеполитическом отношении программа Ито отличалась тем, что вопрос об «обороне» страны был отнесен на пятое место и необходимость «завершения» ее признавалась «в соответствии с ходом событий» одинаково как «внутри» страны, так и «вне» ее, а «эффективное покровительство национальным правам и интересам» предполагалось «обеспечить» «в пределах национальных ресурсов».[1] В остальном это была программа мирного культурного развития в буржуазном направлении.

Однако, когда этот широкий маневр Ито увенчался наконец успехом, и в октябре 1900 г. Ито вновь стал во главе кабинета, ему пришлось уже иметь дело с новой международно-политической ситуацией, которая на первый план опять выдвигала военную программу, а бурная шовинистическая агитация милитаристских кругов вынуждала к сильной внешней политике. Народное (так называемое «боксерское») восстание против иностранцев-империалистов, вспыхнувшее в мае 1900 г. в собственно Китае и в июне перекинувшееся в Манчжурию, в двояком отношении оказалось на-руку японским милитаристам. Россия, на первых порах принявшая участие в военном походе международного отряда на Пекин, поспешила отозвать свои силы из собственно Китая как только была снята осада с иностранных миссий в Пекине и сосредоточилась затем исключительно на подавле-

[1] Mc. Laren, Op. cit., pp. 246 sq., 256, 257 sq., 263 sq.

нии восстания в Манчжурии, которая и была с боем оккупирована царскими войсками (около 150 тыс. чел.) вся вплоть до Шаньхайгуаня. Это открыло Японии возможность занять решающее численно положение в составе международных войск в собственно Китае, и, хотя первоначальное предложение Японии взять на себя ликвидацию народного движения путем посылки 30-тысячного корпуса было отвергнуто (по настоянию Германии), все же постепенно в течение года в Китай было переброшено до 22 тыс. японских солдат — и это была полная проверка всех колесиков военного механизма на таком обширном плацдарме, какой по масштабам неосуществим был на японских островах.[1] Только в 1899 г. Япония избавилась от режима экстерриториальности иностранцев, роднившего ее в международно-правовом отношении с Китаем,[2] а через год ее армия на равной ноге приняла уже участие во всеобщем военном фестивале империалистов в Китае и стяжала признание своих европейских союзников. В результате уже одного этого неизбежен был и внутренне-политический триумф японских милитаристов. Но оккупация царскими войсками Манчжурии открывала широчайшую возможность милитаристской агитации на тему о непосредственной угрозе и Корее, которая сама, разумеется, не могла бы оказать никакого сопротивления царским войскам, если бы они распространили оккупацию и на нее.

Став во главе кабинета, Ито получил в наследство от своего предшественника: милитаристский бюджет, принятый еще перед самым уходом Ямагаты; большие маневры японской армии на полном ходу с участием всего военного аппарата и равноправное со всеми империалистами участие в китайской войне; наконец, оккупацию Манчжурии царскими войсками. Так как при этом в составе нового кабинета Ито три важнейших в данный момент портфеля — иностранных дел, военный и морской — оказались в руках милитаристов (Като, Кацура и Ямамото) и так как в этот момент и сами милитаристы не были еще готовы к вооруженному выступлению против России, то Ямагата в сущности мало чем рисковал, уступая премьерство своему противнику и предоставляя ему продемонстрировать свое бессилие справиться с манчжурской проблемой дипломатическими средствами. А свалить Ито, в надлежащий момент поставив на его пути препятствие в виде верхней палаты, игравшей решающую роль, и использовав внутреннюю неспаянность новой партии, милитаристы могли не спешить, отложив это до того момента, когда встанет вопрос о новом бюджете. В довершение всего Ямагата уходил, вырвав из рук своего противника козырь, который Ито предполагал, но не успел пустить в ход еще в 1898 г.: весной 1900 г. Ямагата внес в парламент и провел новый избирательный закон, вдвое увеличивавший число избирателей (с 500 тыс. до 1 млн.), понижавший ценз с 15 иен налога до 10 иен, увеличивавший, в частности, число депутатов от городов и вводивший тайное голосование.[3] Это был тоже маневр — и это-то и характерно для существа внутренне-политической ситуации в Японии и устойчивости феодально-буржуазного блока, — свидетельствовавший, что милитаристская олигархия тогда не боялась расширения буржуазной парламентской базы и готова была двигаться вперед к своей цели, хотя бы и по пути именно буржуазного развития в европейском стиле, лишь бы участвовать

---

[1] «Русско-японская война 1904—1905 гг.» — работа Военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны, I, стр. 427—430, 387, 459, СПб., 1910.

[2] «Сб. договоров и дипломатических документов по делам Д. Востока», стр. 27 сл., СПб., 1905.

[3] Mc. Laren. Op. cit., pp. 261, 271, 274.

в концерте держав во внешне приглаженном европейски-буржуазном обличье. Урок же 1894—1895 гг. сказался теперь в том, что разрешение агрессивной внешнеполитической задачи японское правительство поставило в теснейшую зависимость от дипломатических комбинаций и согласования своих лозунгов с интересами и лозунгами других держав.

Выгодный для японской дипломатии конъюнктурный парадокс заключался теперь в том, что свою чисто захватническую, агрессивную, завоевательную программу она могла повести под пацифистским и интернациональным флагом американо-английской доктрины «открытых дверей» в Китае и, таким образом, попытаться прицепить к интернациональной манчжурской проблеме свой, «местного значения», как говорили в Лондоне, нерешенный корейский вопрос. Когда в январе 1901 г. Япония отвергла предложение России пересмотреть их корейское соглашение 1898 г., пока не приведен в полную ясность манчжурский вопрос, она ловко поставила себя в положение якобы защитницы не только своих, а и общих империалистических интересов с тем, чтобы сбросить эту маску лишь в 1905 г.[1] Между тем, установка Ито сводилась к тому, чтобы, только дипломатически нажимая на царскую дипломатию в манчжурском вопросе, склонить ее таким образом к решительным уступкам в Корее — это-то и создавало ему славу «руссофила» в милитаристских кругах, ставивших себе теперь действительно «прямою целью» военный разгром царизма и разрешение сразу обеих, манчжурской и корейской, задач.

В январе 1901 г., не дожидаясь окончания общих переговоров держав с пекинским правительством о ликвидации народной войны, царское правительство (Витте-Ламсдорф) вступило на путь «сепаратного» соглашения с Китаем о Манчжурии, рассчитывая установить там полную монополию для российского капитала в виде компенсации за последующий отказ от своей доли «боксерского вознаграждения», о котором теперь сговаривались представители держав. Но, кроме того, в русском проекте сепаратного соглашения эвакуация Манчжурии ставилась в зависимость от согласия Китая на крайнее ограничение там своих вооруженных сил и на назначение местной администрации по указанию царского правительства. На этот путь вызвал царскую дипломатию сам Ли Хун-чжан, с которым, начиная с союзного договора 1896 г., велась политика дружественных соглашений и который теперь искал средств расстроить грозный для национального существования его родины союз империалистических хищников. Сохранить в секрете предпринятые Витте-Ламсдорфом сепаратные переговоры, разумеется, не удалось. Все державы кроме Франции заявили свои протесты в Пекине против каких-либо сепаратных соглашений до заключения общего, на основе предъявленной в декабре 1900 г. Китаю общей ноты держав, а Япония, кроме того, выступила с подобным же протестом и в Петербурге (12/25 марта 1901 г.) на другой день после того, как и Китай, ссылаясь на протест держав, отказался от подписания уже согласованного текста договора об эвакуации Манчжурии. Чтобы прикрыть свое дипломатическое отступление, Ламсдорфу пришлось даже отрицать самое существование подобного текста и затем в открытом правительственнном сообщении (24 марта ст. ст.)

[1] Уже в сентябре 1904 г. японец Шигеоки в американской печати открыто заявил, что «Япония поставила себя в крайне деликатное положение, когда заявила всему свету, что она стоит за независимость и неприкосновенность Кореи. Она обязана была сделать столь нелогичную декларацию, чтобы оправдать свое дело в глазах держав» (цитата из «Review of Reviews», New York, september 1904, приведена у T. Dennett. Roosevelt and the Russo-Japanese War, p. 116, New York, 1925).

заявить, что, раз намерение России договориться об эвакуации встречает возражения, она готова ждать.[1]

Разоблачение лживости утверждений Ламсдорфа о недостоверности разглашенного текста проекта манчжурского соглашения сыграло не последнюю роль в агитации против Ито, и еще до его ухода (в июне 1901 г.), пока Россия не заявила открыто о своем отказе от заключения сепаратного соглашения, можно было в любой момент ждать такой вспышки «общественного мнения», которая заставила бы японское правительство открыть военные действия против России. А единственный «объективный» аргумент Ито — о невозможности «ввиду крайне неблагоприятного настроения как внутреннего, так и внешнего рынков», получить заем в 60 млн. иен для завершения всей «послевоенной программы» — парировался в токийских дискуссиях уже ссылками на готовность Англии «оказать денежную поддержку для борьбы с Россией» и на то, что де «весь японский народ, как один человек, будет готов пожертвовать всем своим достоянием».[2] И в июне Ито вышел в отставку, уступив свое место ген. Кацуре (ставленнику Ямагаты), «джингоистские тенденции» которого «стяжали себе признание больше чем когда-либо... во время русско-японской войны».[3] Это и был тот «воинственный японский кабинет» (по выражению Гаяси), который бессменно удерживал власть в своих руках до самой русско-японской войны.

III

Эта смена кабинета в Токио не означала еще немедленного перехода к войне, хотя война действительно уже стучалась в окно. Она означала торжество в Токио манчжурско-корейской программы и решительную ориентировку всей дипломатической и политической работы на создание беспроигрышной обстановки для реализации ее в наиболее удобный момент. «Экспансионистская политика России уже несколько лет как упирается в такую же политику Японии, и этот антагонизм усиливается с каждым днем, — писал в дни падения Ито французский представитель в Пекине Дюбайль. — Политика Японии в настоящем кризисе была совершенно ясна. Охаживая Китай, предварительно продемонстрировав пред ним свою силу, предлагая ему дружественную поддержку оружием против России по случаю манчжурской конвенции, идя в ногу с Англией и США в развитии международной торговли, Япония, с другой стороны, с замечательной ловкостью и методичностью продолжает свою подрывную работу (travaux d'approche) вокруг китайского правительства и китайских административных властей, наводняя страну гражданскими и военными шпионами и неустанно подготовляя осуществление своей мечты о союзе двух желтых рас против иностранцев». Дюбайль подчеркивал, что Англия «в этот момент старается подталкивать Японию против России, и в этом одна из опасностей настоящей ситуации»; по его мнению, опасность «тем более велика, что японское общественное мнение крайне возбуждено. Оно прекрасно чувствует всю силу вооружений Японии, но оно знает также, что через несколько лет, с ухудшением финансового положения страны, Япония будет менее способна успешно вести войну с противником, военное снаряжение ко-

[1] Более подробно см. «Россия в Манчжурии», гл. 5, стр. 240 сл.

[2] «Красный Архив», LXIII — донесения Извольского из Токио в 1901 г., стр. 7 сл., в частности 27.

[3] Iwasaki. The working forces in Japanese Potitics, p. 60; ср. Documents Diplomatiques français, 2-e série, I, №№ 133, 202—донесения из Токио от 10/III и 21/IV 1901 г., выдвигающие роль Англии в поддержке японских джингоистов.

торого совершенствуется день ото дня и в пользу которого работает время».[1]

Когда Чинда (японский посланник в Петербурге) еще при Ито, 12/25 марта 1901 г., предъявил Ламсдорфу свое неожиданно смелое «дружеское представление» о том, «чтобы союзным державам, совместно действующим в Пекине, была дана возможность обсудить проект [русско-китайского] соглашения, прежде нежели оно будет подписано», и этим заставил Ламсдорфа отступиться от сепаратного соглашения о Манчжурии, — Япония еще не была готова начать войну во что бы то ни стало. Как ни далеко уже продвинулась программа вооружений, полностью завершена она еще не была. Не закончена была и международно-политическая подготовка войны. Но свое «представление» правительство Ито решилось сделать потому, что оно не ожидало неустранимых политических препятствий на этом пути и действительно «подталкивалось» на войну не только из Лондона, но и из Берлина, не говоря уже о собственных джингоистах, объединившихся в «национальный союз» с гр. Коноэ во главе.

Уже из тех отрывочных публикаций, какие мы имеем до сих пор, известно, что по меньшей мере с января 1901 г. Лондон был центром взаимных зондирований и неофициальных бесед между английской, японской и германской сторонами на тему о том, при каких условиях Япония выступила бы против России из-за Манчжурии. При этом выяснялось, что Германия готова была обещать «строгий нейтралитет», Англия не отказывалась обсудить вопрос о помощи флотом, Япония решительно заявляла (устами Гаяси), что не остановится перед войной, и без посторонней помощи, из-за Кореи, но в манчжурском вопросе ее тревожила позиция Франции, как союзницы России. Тем временем день подписания русско-китайского сепаратного соглашения приближался, и перед Лондоном вопрос ставился на практическую почву.

Решительный дипломатический шаг сделан был в Берлине 21 февраля/6 марта 1901 г., когда заместитель германского министра иностранных дел заявил японскому послу, что Германия «совершенно не одобряет образа действий России в Манчжурии» и «будет соблюдать *благожелательный* нейтралитет в случае, если дело дойдет до кризиса», и что, в свою очередь, «эта позиция Германии будет сдерживать французский флот, между тем как, вероятно, Англия поддержит Японию». При этом, впрочем, была выражена уверенность, что Россия и не доведет дела «до крайности». Для Лондона и Токио в заявлении этом была неясность: берется ли Берлин «формально» заявить и в Париже о своем «благожелательном нейтралитете»? Но на вопрос, в упор поставленный английским министром иностранных дел Лэнсдоуном Гацфельду в Лондоне, — согласится ли Германия в случае русско-японской войны сделать совместное с Англией заявление в Париже, что обе страны сохранят нейтралитет в целях «локализации войны», но что, в случае вмешательства третьей державы, они совместно «подвергнут эту свою позицию пересмотру», — Лэнсдоун получил уклончивый ответ. Германия провоцировала, но открыто ангажироваться в дело против России, очевидно, готова не была.

Это не остановило, конечно, Лэнсдоуна, и на другой день (23 февраля/8 марта) он запросил заключения своих послов в Париже и Берлине: думает ли Монсон (в Париже), что Франция «обязана» стать на сторону России в случае войны или она на это «рискнет»

[1] Documents diplomatiques français, 2-e série, I, № 310 — депеша из Пекина от I/VII 1901 г.

и без такого обязательства, и что, по мнению Ласцельса (в Берлине), Германия ответит на предложение — совместно с Англией «не позволить Франции помочь России»? Какие ответы были получены в Лондоне, мы не знаем, но, судя по дальнейшему, ответ из Парижа едва ли был благоприятен и ясен. А еще через день (24 февраля/9 марта) Гаяси передал Лэнсдоуну официальный запрос из Токио по поводу берлинского заявления (от 6 марта): посоветовался ли Берлин с Лондоном до своего выступления; думает ли Лэнсдоун, что это выступление «добросовестно» (bona fide) и заключает в себе «окончательное решение» Германии; и насколько может полагаться Япония на поддержку британского правительства в случае, если Япония найдет необходимым выступить против России (to approach Russia)».[1]

О чем тут шла речь: о дипломатической же поддержке дипломатического «выступления» или о военной поддержке военного «выступления»? Разъяснение было дано тотчас же японским послом, страстным сторонником и позднее творцом англо-японского союза, Гаяси: «выступление» (approach) означало тут «сопротивление» (resist). А «сопротивление», тотчас же заключили в Лондоне, значит «война» (fighting). После такого уточнения Гаяси Лэнсдоун не мог не понять, что Япония напрашивается на союз. В этом аспекте и рассмотрен был вопрос в Лондоне, прежде чем ответить в Токио и действовать дальше. «Если, — рассуждали там, — Япония не будет уверена, что ни Германия ни Франция не станут активно на сторону России, она не станет воевать с Россией из-за манчжурского соглашения... Если Германия и Англия, в ответ на запрос Японии, посоветуют избежать войны и скажут, что, если война, к сожалению, разразится между Японией и Россией, то целью Англии и Германии будет елико возможно ограничить ее театр, и следовательно они останутся нейтральными, пока ни одна третья держава не примет участия в войне, — тогда такое заверение может быть достаточным, чтобы убедить Японию, что Франции не будет позволено присоединиться к России, и Япония может воевать с Россией один на один. Япония чувствует, что русская опасность надвигается быстро и что в недалеком будущем Россия рискнет на включение Кореи в свою сферу. Поэтому, если Япония должна воевать из-за Кореи, *ей лучше воевать из-за манчжурского соглашения, пока не готова русская железная дорога* (курсив мой. — *Б. Р.*). Если Франции будет позволено стать на сторону России, и они разгромят Японию, результатом может оказаться возобновление тройственного русско-франко-германского соглашения. Эти три державы станут господами в Китае, и мы будем затерты (we should go to the wall). Если Россия одна или вместе с Францией победит Японию, и мы пойдем спасать ее, чтобы предотвратить уничтожение Японии, мы стяжаем вечную вражду России и Франции, и побежденная и, вероятно, неблагодарная *Япония не очень-то пригодится нам как орудие против русских захватов* (Russian encroachments) (курсив мой. — *Б. Р.*). Говорят, что, если Япония победит Россию, это будет серьезной опасностью для европейских интересов на Дальнем Востоке. Невероятно, чтобы великая военная и морская держава с безграничными естественными ресурсами и бесчисленным населением, как Россия, была побеждена навсегда. Она реорганизуется для дальнейшей пробы сил, но это может быть надолго отсрочено, если разрешить Японии взять Ляодунский полуостров как приз войны. В руках Японии он будет гарантией того, что между

[1] «Россия в Манчжурии», стр. 307—310; British documents on the origine of the War, II, №№ 49, 50, 51.

Россией и Японией не произойдет примирения. Это было бы выгодно Англии и Европе. Желтая опасность сдерживалась бы Россией, а русская опасность — Японией». Отсюда в Лондоне сделан был вывод, что, «если мы ничем не поощрим (encourage) Японию в ее отношении к нам как к другу и возможному союзнику против России и Франции, мы можем толкнуть ее на политику отчаяния, которая приведет ее к известного рода соглашению с Россией», а «наши интересы очень пострадают, если она пойдет на это». [1]

Практически в данный момент это означало — не зондируя почвы в Париже, обратиться в Берлин, чтобы вдвоем с Германией не только поставить под угрозу французский флот на Дальнем Востоке, но и удержать Францию на ее европейской границе. И 4/17 марта Лэнсдоун повторил раз уже заданный Гацфельду вопрос Экардштейну (советнику германского посольства в Лондоне), весьма деятельному и горячему стороннику англо-японского союза; а на другой день предложил ему за эту услугу «оборонительное соглашение между Германией и Англией». Это громоздкое (по времени, которое потребовалось бы для переговоров) предложение тотчас же было в Берлине утоплено в еще более громоздкой комбинации — присоединении Англии к тройственному союзу с тем, что к нему же примкнет и Япония. А так как перед тем (1/14 марта) Бюлов в рейхстаге, заметая следы своих лондонских и токийских интриг, сделал заявление, что по англо-германскому соглашению 16 октября 1900 г. Германия взялась поддерживать «неприкосновенность» Китая «столь долго, сколь это возможно» и что «на Манчжурию оно не распространяется», — то Японии пришлось «выступить» 12/25 марта, как остается заключить, без задуманной в Лондоне подготовки этого демарша с заявлением в Париже об условном и временном характере нейтралитета обеих европейских держав: еще 9/22 марта английскому послу в Токио было заявлено, что у японского правительства нет надежды, чтобы Китай внял японским советам не подписывать с русскими соглашения («из страха перед Россией»), что оно «не доверяет Германии», которой просто хочется «вовлечь Японию в войну с Россией», и что «без помощи Япония не имеет намерения итти на войну из-за манчжурского вопроса». Английская же поддержка свелась к давлению на Пекин, который «по совету лорда Лэнсдоуна» отказался подписать манчжурское соглашение (11/24 марта — по последнему английскому «совету», данному 10/23 марта). И выступление Чинды в Петербурге 12/25 марта практически свелось к своего рода пробному уроку, который сдавала японская дипломатия перед лицом своих «возможных» будущих союзников в не состоявшейся пока войне. [2]

Однако же в Токио были приняты все меры, чтобы у Извольского не было «никаких положительных указаний на планы и решения японского правительства». В частности, Като, министр иностранных дел, систематически уклонялся от всякого обсуждения с Извольским текущих событий до самого 12/25 марта, держа таким образом Ламсдорфа в уверенности, что от Японии можно ждать и открытия военных действий. [3]

---

[1] British documents on the origine of the War, II, № 54—меморандум Фрэнсиса Берти от 11/III 1901 г.

[2] O. F r a n k e, Die Grossmächte in Ost-Asien, SS. 172—179; «Красный Архив», LXIII, стр. 18, прим. 2; British documents, II, № 61, — телеграмма Макдональда из Токио от 22/III 1901 г.; Английская Синяя книга (China, № 2), № 35, стр. 29 («Манчжурия и Корея», изд. Особ. Комитета Д. Востока, СПб., 1904).

[3] «Красный Архив», LXIII, стр. 20 — донесение Извольского из Токио от 12/25 марта 1901 г.; Извольский «думал, что война неминуема», и готовился к отъезду;

Что из всего описанного эпизода не вышло войны, привело теперь в великое негодование Вильгельма II. Чинда ведь протестовал только против того, что Россия заключает какое-то соглашение о Манчжурии втайне от других держав, имеющих там свои «интересы», и ни словом не заикнулся об эвакуации Манчжурии, — когда только и встал бы вопрос об угрозе применения силы. А дипломатически блестяще составленная Ламсдорфом русская декларация от 24 марта/6 апреля 1901 г. по сути дела сводилась к тому, что де Россия хотела ускорить эвакуацию своим соглашением, а если оно встречает возражение, она готова не торопиться и «спокойно ждать дальнейшего хода событий». 11 апреля (н. с.) в Берлине Вильгельм накинулся на английского посла с упреками, что Англия «не пользуется благоприятными обстоятельствами», чтобы предотвратить падение своего престижа на Дальнем Востоке. Англия де «рассердила японцев, которые теперь чувствуют, что не могут рассчитывать на поддержку Англии против России. Разве вероятно, чтобы такой благоприятный случай для сопротивления русской экспансии представился вновь? Сейчас японские силы на Дальнем Востоке превосходят силы России, но последние будут постоянно возрастать, и через три года Россия будет сильнее Японии. Тогда будет уже поздно!» Много и другого наговорил кайзер в том смысле, что Россия забивает Англию на всех фронтах. Ласцельс так и понял эту выходку Вильгельма, как знак раздражения, что Англия «не пошла на войну с Россией». Хотя в берлинском министерстве (где привыкли выкручиваться из неловких положений, постоянно создаваемых словесной разнузданностью кайзера) и отрицали, что у него «была какая-либо мысль о войне между Англией и Россией», однако же разъяснили, что вероятно, по его мнению, более сильная поддержка Японии английским правительством повела бы к более удовлетворительным результатам». На вопрос же Ласцельса — «в самом ли деле его собеседник думает, что Россия эвакуировала бы Манчжурию, не будучи вынуждена к тому силою», тот пожал плечами и заметил, что Япония «обладает в Китае большей силой, чем Россия».[1] Оказывалось, что за выходкой кайзера стояла дипломатия самого рейхсканцлера.

Итак, пока Англии не удалось по-настоящему «поддержать» Японию в ее агрессивной политике. Но план будущей русско-японской войны из-за Манчжурии (из-за Кореи и «мирный» Ито готов был воевать без всякой посторонней помощи хоть сейчас) в Лондоне был сформулирован теперь точно. Правительству генерала Кацуры, сменившего Ито, путь к англо-японскому союзу был значительно облегчен дипломатией его «мирного» предшественника. Устранение же Ито от дел облегчало и Лондону возможность приступить к осуществлению плана — в переговорах с безоговорочно «руссофобским» ставленником Ямагаты, без Манчжурии и не мыслившим себе дальнейшее развитие японского империализма. И премьер-министр Сольсбери заговорил с Гаяси (2/15 июля 1901 г.) о союзе уже не впятером и не втроем, а вдвоем, дав Ито время уйти и окончательно уяснив себе, что Германия — ненадежный попутчик как в дальне-

см. Documents diplomatiques français, I, № 202—депеша Дюбайля из Токио от 21/IV 1901 г. Ламсдорф, официально отклонив протест Чинды, тогда же заявил о готовности дать любые разъяснения Японии по поводу соглашения, когда оно будет действительно заключено, и запрашивал мнение Токио о своем ответе («Красный Архив», LXIII, стр. 22—23 и British documents, II, № 71).

[1] Английская «Синяя книга» («Манчжурия и Корея», стр. 28 и 31), № 34 и прилож. к № 37; British documents, II, № 72 — депеша Ласцельса из Берлина от 11/IV 1901 г. и № 74 — то же от 12/IV.

восточных комбинациях против России, так и в марокккских делах, в которых сейчас она не обнаруживала желания итти вместе с Англией против Франции.[1]

IV

Какие выводы из создавшегося, в связи с неудачей пекинских переговоров, весной 1901 г. положения сделало для себя царское правительство? И как понято было в Петербурге то, что произошло в Токио?

Осмотревшись и вникнув во все полученные донесения, Ламсдорф пришел к выводу, что «при оценке предстоящих мероприятий в Манчжурии необходимо принять в расчет... главным образом *явную опасность вооруженного столкновения с Японией*», и в то же время признал, что «всякие дипломатические переговоры с ней мало надежны для предотвращения вероятных осложнений, коль скоро в глазах японского правительства *разрыв с Россией является не средством, а скорее прямо намеченной* целью» (курсив мой. — *Б. Р.*). Отсюда Ламсдорф, естественно, приходил к крутой постановке практического вопроса: «Признаются ли военно-сухопутные силы России в настоящее время достаточно подготовленными, чтобы... путем новых смелых планов ныне же постараться осуществить на Крайнем Востоке наши задачи?» (28 мая с. с. 1901 г.)?[2] Куропаткин, к которому обращен был этот вопрос, мог лишь ответить, что «военно-морское положение наше на Дальнем Востоке значительно слабее, чем положение Японии». Единственное, что он мог предложить сейчас, это — «приведение в боевую готовность войск Приамурского военного округа». Но последнее ничего не меняло в основном, потому что (указал Ламсдорф 18 июня с. с.) «всякая мера к усилению нашего положения неминуемо побудит японцев либо сделать соответственные военно-морские распоряжения [для восстановления прежнего соотношения сил] либо искать повода к немедленному открытию враждебных действий, дабы застигнуть Россию еще не подготовленной к борьбе». И положение рисовалось опять безвыходным: Япония обогнала, и ее не догнать. Ламсдорф и сделал отсюда практический вывод — «скорейшая подготовка» «полной эвакуации Манчжурии». Ибо оккупация ее — это пороховой погреб: «при малейшем неосторожном действии со стороны наших военных властей на месте, нередко склонных предъявлять требования «по праву завоевания» и указывать на сделанные в Китае приобретения «штыком и кровью», возможно всегда ожидать перехода Японии к активной политике».[3]

Витте ко всему этому добавлял еще, что оккупация Манчжурии угрожает, кроме того, «колоссальными расходами», которые «ложатся тяжелым бременем на русский народ, преимущественно же на великороссийское население центральных губерний», и из-за них «опять придется приостановить удовлетворение многих насущных потребностей населения, а такой образ действий в стране с не вполне сложившимся хозяйственным строем и переживающей во многих отраслях промышленности период оборудования может иметь самые тяжелые последствия». Конечно, это были крокодиловы слезы империалиста накануне заклейменных Лениным сипягинских распоряжений о «борьбе с голодающими» и «каторжных правилах» об общественных работах

[1] O. Franke, Op. cit., S. 184 ff.; British documents, II, № 104, pp. 92—94.

[2] «Русские финансы и европейская биржа в 1904—1905 гг.», № 39, приложение, М., 1926.

[3] «Красный Архив», LXIII, стр. 31.

(17 августа и 15 сентября с. с. 1901 г.).[1] Но здесь они понадобились Витте для подкрепления двух выводов. Первый — против Китая: «при настоящих [дурных] отношениях к нам китайского правительства» «энергично защищать наши материальные интересы по возмещению убытков» («лично жалея китайцев, я, однако, еще более жалею русский народ»). Второй — против Куропаткина: «упразднив наше военное управление» и отказавшись от «политического захвата Манчжурии», «отстранить войну с Японией», к чему «самое верное средство» — «считать КВжд делом частного общества и свою роль в Манчжурии ограничить исключительно ограждением этого предприятия». А если этого Японии мало — пусть она «займет Корею».[2]

Так намечался, казалось, новый план петербургской дипломатии: подставить Корею под «захват» Японии и самим открыто (это предполагалось сделать в торжественной форме) отказаться от «захвата» Манчжурии.

Означало ли это готовность уйти из Манчжурии без всяких условий и чтó понималось под «ограждением» интересов общества КВжд? Нет, не означало, потому что в число тогда же и теми же лицами сформулированных в Петербурге условий возвращения Китаю южно-манчжурских (построенных на английские деньги) железных дорог в финансовом ведомстве включили требование (уже в третий раз) о предоставлении обществу КВжд концессии на линию к Пекину.[3] Означало ли это требование, что в Петербурге и впрямь не отдавали себе отчета в его прежде всего громадном политическом значении для всех империалистов и для той же Японии, хотя оно и послужило бы предметом всего лишь «частного» соглашения с «частным» обществом? Нет, не означало, потому что Витте тогда же, в начале июля 1901 г., пока неофициально дал понять в Японии, что он готов «в любую минуту устроить японскому правительству большой заем в Париже» и признать за Японией «право держать при корейском правительстве административных и финансовых советников, равно как высших полицейских чиновников и их агентов», под условием «официального признания со стороны Японии преимущественного положения России в Манчжурии».[4]

Как сейчас увидим, одна половина этого замысла — смирить собственных военных захватчиков — удалась Витте — Ламсдорфу. Но в международном плане этот демарш явился чуть-чуть запоздалым: во-первых, в Токио на месте Ито, при котором могла бы быть еще надежда план обсудить, сидел уже Кацура — приверженец двуединой манчжурско-корейской программы, а, во-вторых, в Лондоне 2/15 июля 1901 г., как упомянуто выше, Сольсбери официально предложил японскому послу «союз, по которому каждое из союзных государств обязывается оказывать военную помощь в случае нападения на одно из них соединенных сил двух или нескольких государств». А 18/31 июля и Лэнсдоун указал тому же Гаяси на «своевременность приступить уже и к переговорам по делу заключения долгосрочного союза».[5]

И все же сила трений внутри буржуазно-феодального блока в Японии была такова, что оба эти друг друга исключавшие предложе-

[1] В. Ленин. Соч., IV, стр. 275 и 285.
[2] «Россия в Манчжурии», стр. 312—313.
[3] Там же, стр. 314.
[4] Там же, стр. 315—316; «Die grosse Politik», XVII, №№ 5040 и 5041 — телеграммы Экардштейна от 19 и 26/VII 1901 г.
[5] «Записки Гаяси», кн. 5, стр. 324—325, «Изв. МИД», 1913 г.; ср. O. Franke. Op. cit, SS. 192—194; British documents, II, p. 91—секретное письмо Лэнсдоуна Уайтхэду в Токио от 31/VII 1901 г.

ния — русское неофициальное и английское формальное — удерживались некоторое время в равновесии на чашах токийских весов, пока 25 сентября 1901 г. Гаяси не получил, наконец, из Токио телеграмму приступить в Лондоне к официальным переговорам. Но и дальше переговоры двигались не так быстро, как того хотели бы непосредственные участники переговоров с обеих сторон.

Во время беседы Лэнсдоуна с Гаяси 18/31 июля 1901 г. обнаружилось «так много сходства между политикой обоих правительств» («поддержание статус кво на Дальнем Востоке»), что Лэнсдоун «счел своевременным обсудить», «какой линии поведения мы могли бы следовать в предположении, что равновесие держав будет находиться в водах Дальнего Востока под серьезной угрозой»: «если японское правительство того захотело бы, он (барон Гаяси) найдет меня в полной готовности приступить к обсуждению с ним этого предмета в видах возможного заключения соглашения (understanding) между нашими странами». Гаяси отнесся к этому предложению «внимательно», но нашел возможным сказать только, что «подобное соглашение, конечно, должно было бы быть основано на взаимных обязательствах и эта сторона дела требовала бы тщательного изучения», а затем многозначительно прибавил, что «есть невидимые обстоятельства (unseen things), связанные с этим вопросом», и просил разрешения вернуться к нему в другой раз.[1]

Этот другой раз наступил через две недели, 14 августа, но Гаяси и теперь еще не имел инструкций из Токио. Он просил только Лэнсдоуна высказаться о возможных условиях соглашения, но тот возразил, что, так как «Япония является здесь более заинтересованной стороной», то высказаться следует прежде всего японскому правительству. Тогда Гаяси высказал, в качестве только своего «личного мнения», что он «не предполагает в данный момент, чтобы здесь мог ставиться вопрос о наступательном или оборонительном союзе», вопросы же манчжурский и корейский оценил так, что в Китае Япония интересуется только «открытой дверью» и «неприкосновенностью территории Китая»; что же касается Кореи, то «его страна скорее согласится воевать, чем видеть ее попавшей в руки России», если бы Япония «могла быть обеспечена от враждебного вмешательства третьей державы». Это несомненно удовлетворило Лэнсдоуна, и он ответил, что «было бы хорошо, если бы Гаяси получил от своего правительства точные инструкции по этим пунктам»; со своей стороны Лэнсдоун взялся снестись с коллегами по кабинету и «постараться быть готовым» к тому моменту, когда Гаяси будет в состоянии «сделать предложение от имени Японии».

Что время здесь ценила больше английская сторона, не связанная никакими «невидимыми обстоятельствами», чем японская, видно не только из текста этого письма Лэнсдоуна к Уайтхэду в Токио, но и из пометки на нем Эдуарда VII: «Король считает весьма существенным, чтобы мы оказывали Японии нашу сильную (hearty) поддержку во всех случаях, когда это возможно». Получив наконец свои инструкции 25 сентября/8 октября, Гаяси приступил к переговорам только 16 октября (н. ст.).[2] Но и теперь он представил Лэнсдоуну проект договора только «в устной форме», как бы свое личное мнение, детали которого не входят в его инструкции. Это не мешало, правда, Комуре обнаружить нервность, когда обсуждение устного проекта Гаяси в английском кабинете затянулось, и в конце второй недели (1 ноября) он уже говорил Макдональду в Токио,

[1] British documents, II, p. 91.
[2] Ibid., pp. 91—92, 96.

что «если что-нибудь делать, то нужно делать быстро». Свои замечания на проект Гаяси Лэнсдоун представил 6 ноября — и тут-то и явилась задержка уже с японской стороны. В объяснения по поводу этой задержки Комура вступил с Макдональдом в Токио только 25 ноября, тянул их, и ответные замечания с японскими поправками к английским контрзамечаниям (от 6 ноября) были вручены Лэнсдоуну в Лондоне только 12 декабря.[1]

Только теперь и приступлено было вплотную уже к разработке самого текста союзного договора. Это тоже, как увидим дальше, потребовало времени и усилий, чтобы преодолеть разногласия сторон. Но вопрос о подписании договора решен был в принципе еще до того твердо. Более же чем месячная пауза в переговорах (с 6 ноября по 12 декабря) была вызвана в Токио, как удостоверяют опубликованные теперь английские документы, именно разногласиями в Генро, причем вопрос о заключении английского договора висел эти пять недель в воздухе оттого, что в Токио ждали результатов поездки Ито в Париж и Петербург, которые должны были склонить Ито в пользу союза с Англией. Повидимому, беседы Ито с Делькассэ в Париже не имели в этом смысле какого-либо решающего значения, потому что Ито выехал из Парижа 21 ноября (а он несомненно имел телеграфную связь с Токио, лично или через соответственных послов), а 25 ноября Комура, запрошенный Макдональдом о причинах задержки в переговорах, мог только дать объяснения, явно несостоятельные: японское правительство де «не пришло к решению» в виду болезни его, Комуры, и в виду отъезда премьера и большинства министров из Токио на маневры, и эта задержка «ни в коем случае не была связана с миссией Ито», как напрямик заподозрил Макдональд; а, кроме того, это «такой новый шаг», что японское правительство хотело бы иметь больше времени для обсуждения. На это Макдональд, естественно, возразил, что маневры кончились еще 13 ноября, а сейчас 25-е, что сам же Комура торопил Англию всего только еще 1 ноября и что в Англии прекрасно знают, что «ни один серьезный шаг в Японии до сих пор не предпринимался без совещания с Ито». Так как на последнее замечание Макдональд не получил от Комуры никакой реплики, то у него сложилось твердое убеждение, что Ито держат в курсе всего происходящего в Токио. И Лэнсдоун успел получить из Петербурга от Чарльза Скотта сообщение о переговорах Ито в Париже и в Петербурге на день раньше (11 декабря), чем Гаяси в Лондоне вручил ему, наконец, ответ на английские замечания (12 декабря). Вопрос для Ито, значит, был решен только после петербургского визита.

Тридцать дней понадобилось, таким образом, для совещания микадо, по признанию Гаяси, «с руководящими государственными людьми, не входящими в кабинет» (т. е. Генро), и на прямой вопрос Лэнсдоуна Гаяси назвал в их числе теперь (после того как вопрос разрешился) и Ито. Нельзя сомневаться, что борьба в Токио между ямагатовцами и группой Ито была очень напряженной. Премьер Кацура уже за неделю до разрешившего весь этот неприятный эпизод выступления Гаяси, 6 декабря, решительно заявил Макдональду, что собственно кабинет уже принял решение, что завтра он, Кацура, собирает Генро, и если Генро не вынесут благоприятного решения, он, Кацура, «возьмет всю ответственность на себя».[2]

На деле, этой ответственности Кацуре брать на себя не пришлось, потому что петербургский визит сломил оппозицию Ито английскому союзу.

[1] British documents, II, pp. 91—92, 96.
[2] Ibid.

V

Как видно из приведенного календаря хода англо-японских переговоров, инициативной и ведущей стороной в них выступала Англия. В Лондоне был выбран и момент для возобновления переговоров, имевших место в первой половине 1901 г. и тогда ничем не кончившихся. А выбрав момент, в Лондоне должны были не упустить ничего, что могло бы подогревать волю контрагента к предложенному Англией политическому шагу. Здесь нельзя пройти мимо одного хронологического сопоставления, имеющего отношение к начальному моменту переговоров. 18/31 июля 1901 г. в Лондоне Гаяси получает предложение начать переговоры о союзе в прямой связи с позицией России в Манчжурии. 19 июля/1 августа в Петербурге Ламсдорф в результате описанного обсуждения положения, создавшегося в связи с мартовским угрожающим демаршем Японии, имеет возможность сообщить своим коллегам о принятом царем решении приступить к торжественной эвакуации Манчжурии «по собственному почину» русской стороны. А 20 июля/2 августа в Пекине Ли Хун-чжан заявляет одному из агентов Витте, что он «желал бы возможно скорейшего очищения Манчжурии от русских войск и потому желал бы возбудить вопрос о пересмотре соглашения о Манчжурии», и просит запросить мнения Витте.[1] Ответь на это Витте простым сообщением о состоявшемся накануне в Петербурге решении, это сопоставление дат потеряло бы всякую цену. Но на деле вышло, что на вызов Пекина тотчас поддался Петербург к великому торжеству, разумеется, Лондона. И сопоставление этих дат вынуждает историка поставить вопрос — не было ли тут лондонской инициативы? Так оно или не так, но ход из Пекина повернул дело в Петербурге целиком на пользу англо-японских переговоров. В Петербурге теперь заторопились вновь сговориться с Китаем, не форсируя предпринятых неофициальных шагов в сторону Японии. И, как страус, заложив голову под крыло, повели переговоры с Китаем так истово, что очнулись только тогда, когда им официально предъявлен был (30 января/12 февраля) готовый текст англо-японского союзного договора.

Провал царской дипломатии здесь заключался не в том, что она не сумела или не смогла предотвратить этой грозной для России комбинации, а в том, что она была застигнута ею совершенно врасплох, несмотря на прямые указания, что ее пекинские переговоры ставят на дыбы даже сторонников России в Японии. Отсюда и пошла пущенная в ход Витте, участником этого провала, простенькая легенда, что де приехал в Петербург руссофильский экс-министр Ито договориться о союзе с Россией (в ноябре 1901 г.), да только вот царь, под влиянием безобразовской «шайки», помешал своим министрам: будто Ито был встречен «холодно», не нашел «сочувствия наверху», «не получил определенного ответа» и уехал в Англию, где «немедленно вслед затем» и был заключен англо-японской союзный договор.[2]

В действительности, как легко установить теперь по документам, дело было совсем иначе, и события рисуются в следующем виде. На предложение Ли Хун-чжана возобновить переговоры об эвакуации Манчжурии Витте лично ответил (27 июля/9 августа) согласием вы-

[1] «Россия в Манчжурии», стр. 315, 317.

[2] С. Витте. Воспоминания, I, стр. 183 сл.; Морской. Разочарования в честном маклерстве. Т. Рузвельт. Портсмутские совещания, стр. 12, М., 1911; Б. Глинский. Пролог русско-японской войны, стр. 189.

вести войска, если Китай даст Русско-Китайскому банку обязательство «не давать никому в Манчжурии никаких железнодорожных и промышленных концессий, ранее не предложив их банку». Получив, в свою очередь, удовлетворительный ответ Ли Хун-чжана и обещание «полной тайны», в Петербурге изготовили договор о выводе войск (в три срока к лету 1903 г.) с тем, что банковский договор о монополии на концессии будет составлен в Пекине и подписан раньше, чем правительственный — о выводе войск. Этот последний был средактирован так, что в него не попали ни требование о пекинской линии КВжд, ни тем более идейка, которую пытался и теперь протащить Куропаткин, — умолчать об эвакуации северной Манчжурии на случай ее присоединения, и в таком виде проект был представлен в Пекине 22 августа/4 сентября.[1]

О банковском соглашении пока начались только предварительные разговоры, и текст его Ли Хун-чжану еще не был предъявлен, как в Петербурге уже стало известно (2/15 сентября), что в ближайшем будущем Ито едет из Токио, минуя Англию, через Америку прямо во Францию, якобы «с секретным планом выведать, как примет Россия предложение проекта союза с Японией». Можно было думать, что здесь возрождалась комбинация, которой дал толчок Витте в июле. Но так как тогда речь шла об уступках в Корее, то, казалось бы, ничто не препятствовало вести дальше переговоры с Китаем о Манчжурии, спокойно выжидая японской инициативы относительно Кореи.[2]

Однако прошел целый месяц, пока в Пекине, изучив и одобрив договор о выводе войск (23 сентября/6 октября), Ли Хун-чжан спросил у представителя Русско-Китайского банка проект банковского соглашения (24 сентября/7 октября). Нельзя не отметить, что и на сей раз этот ход Ли Хун-чжана был сделан почти день в день, точно только его и ждали, с данным из Токио 25 сентября/8 октября телеграфным предписанием японскому послу в Лондоне — приступить к «формальным переговорам» об англо-японском союзе. А затем, 27 сентября/10 октября Ли Хун-чжан, получив банковский проект, закатил банковскому представителю «бурную сцену» и категорически отказался «отдать в руки банка всю Манчжурию». 30 сентября/13 октября в Петербурге было получено телеграфное сообщение из Токио, что Комура «весьма озабочен полученными из Пекина известиями о возобновлении переговоров о Манчжурии» (и тогда же у Ламсдорфа мелькнуло, и тут же потухло, подозрение — не выдает ли Ли Хун-чжан). Наконец, 2/15 октября Ли Хун-чжан в Пекине заявил одновременно: русскому послу — о желании подписать договор о выводе войск, а банковскому чиновнику — о неизбежности протестов держав по поводу концессионных монополий, и своими упорными ссылками на это препятствие внушил тому подозрение, «не связан ли уже Китай в этом вопросе секретным обязательством с иностранными держáвами». Дипломатический договор, таким образом, зацепился за банковский, и дело с обоими договорами попало в тупик и так до самой смерти старика Ли Хун-чжана (21 октября/3 ноября) и не сдвинулось с места. А после его смерти некоторое время для царских представителей в Пекине оставалось совсем не ясным, с кем говорить и кого соблазнять ассигнованными на это дело 300 тысячами рублей. И переговоры сами собой оборвались.[3]

---

[1] «Россия в Манчжурии», стр. 320—321.
[2] Там же, стр. 330 сл.; «Красный Архив», LXIII, стр. 37, 41.
[3] «Россия в Манчжурии», стр. 325—329.

Вот в этот-то перерыв пекинских переговоров и приехал Ито в Петербург, и в переговорах с ним царской дипломатии открывалась возможность поискать компенсации за свою пекинскую неудачу.

Как было понять теперь эту дипломатическую миссию руссофильского экс-премьера при наличии заведомо руссофобского министерства в Токио? Была ли это дымовая завеса или подлинная попытка поворота в политике японского правительства?

Тут нельзя не отдать должное Комуре, который ловко разыграл русского посла в Токио, Извольского (будущего героя Бухлау в 1908 г.). Извольский был в полном удовлетворении от свидания с Комурой.[1] Выдержанный японец дал волю своему болтливому собеседнику заливаться соловьем на тему о том, «насколько ошибочна усвоенная Японией в последнее время политика, отождествляющая японские цели и интересы... с враждебными ей целями и интересами западноевропейских держав, главным образом Англии», что все они «преследуют на Дальнем Востоке чисто колониальную, т. е. эгоистическую политику», что, наоборот, «Россия имеет в этой части света совершенно домашние интересы и сама является восточной державой», что «сближение» Японии и России «сделает их полными хозяевами положения», что Япония «не может ожидать никакой серьезной экономической конкуренции России в районе южнее Великой Стены, который является важнейшим рынком для японской промышленности» — и это все для того, чтобы повторить старую песню о неприсоединении Манчжурии и невозможности «допустить в Корее чужой политической власти»! Извольский, иными словами, предлагал ямагатовцу Комуре коренную ломку программы японской экспансии ради прекрасных глаз российского империализма. Комура все это выслушал и... «вполне согласился, что в последнее время японская политика значительно отклонилась от естественного пути единения с Россией», и «самым энергичным образом заявил, что всеми силами будет искать почвы для подобного единения», причем «несколько раз и весьма убежденным тоном повторил эти заявления». Извольский ушел от Комуры под впечатлением, что тот «несколько правильнее и спокойнее смотрит на вопрос о русско-японских отношениях, чем его предшественник (по кабинету Ито) и, кажется, вполне искренно желает найти почву для сближения с нами». Но это-то и нужно было Комуре внушить Петербургу теперь, пока шли лондонские переговоры Гаяси. Изложенное донесение Извольского могло поступить в Петербург не раньше, как дней за пять до приезда Ито. Ясно, что если в Петербурге доверялись Извольскому, то отчего и визит Ито не рассматривать было всерьез?

Но в том-то и дело, что несколькими днями позже, перед самым прибытием Ито в Петербург, из Парижа пришло известие, подрывавшее, казалось бы, расчеты и русской и французской дипломатии в их ставке на Ито. Заняв открыто союзническую позицию в Пекине в дни провала русско-китайского соглашения о Манчжурии (в марте 1901 г.), французская дипломатия нигде лучше, чем в Пекине же, не могла учитывать положение своего союзника на Дальнем Востоке, делать прогнозы и давать советы в Париж Делькассэ. Именно пекинский посланник и возбудил в Париже вопрос о необходимости теперь же выяснить французскую позицию в дальнейшем развитии русско-японского «антагонизма», тем более, что и сами японцы ставили уже раз этот вопрос перед токийским посланником Франции (а тот,

[1] «Красный Архив», LXIII, стр. 37 сл. — депеша Извольского из Токио от 6/X 1901 г.

к великому негодованию Делькассэ, ответил, что «Франция ни в коем случае не будет помогать России в случае войны ее с Японией»). Теперь пекинский посланник выдвигал мысль о возможности французского посредничества в образовании японо-франко-русского согласия на основе предложения Японии французского займа, в виду невозможности для Японии достать деньги в Англии из-за англо-бурской войны. И Делькассэ, считавший, что Франция должна «елико возможно дольше избегать столкновения России и Японии» и «помешать Англии найти на Дальнем Востоке в лице Японии солдата, которого Англии там недостает», легко воспринял эту мысль, и как только (в середине сентября) Ито явился перед отъездом к Дюбайлю (посланнику в Токио), тот предложил ему «дружеское содействие» Парижа в переговорах Ито «с третьей державой» (т. е. Россией) и «удовлетворение» по финансовому вопросу.[1] Ламсдорф получил от Делькассэ отчет об этой встрече Ито с Дюбайлем 8/21 октября 1901 г. и выразил надежду если не «разрешить корейский вопрос разом», то хотя бы «поставить его так, чтобы помешать воинственным поползновениям» «известных сфер в России и Японии, в которых господствует дух завоеваний», и положить, таким образом, начало «плодотворному согласию трех правительств». У него оставался все же вопрос — располагает ли Ито достаточной силой, чтобы оказать соответствующее влияние на свое правительство.[2] А затем (опять по инициативе Делькассэ) 29 октября/11 ноября Ламсдорф сообщил в Париж памятную записку для руководства Делькассэ в предстоящих разговорах Ито по корейскому вопросу — «единственному» (!), где имеются разногласия между Россией и Японией («признание естественной коммерческой и промышленной экспансии Японии в Корее» и «невозможность допустить, чтобы Корея стала для Японии стратегическим центром в ущерб русским интересам»). При этом Ламсдорф просил Делькассэ, чтобы «финансовая помощь, какую, возможно, предоставит Франция Японии, не послужила Японии для подготовки авантюр, способных зажечь пожар на Дальнем Востоке» — о займе мог заговорить Ито, пусть даже сам Делькассэ, но решение вопроса должно было быть отложено до петербургских переговоров.[3]

В своих парижских беседах с Делькассэ Ито принял постановку вопроса на одну корейскую почву, однако был сдержан и говорил больше о «взаимном непонимании» японских и русских представителей в Сеуле, о «возбужденном состоянии японских масс» и в заключение вежливо заметил, что «в случае надобности» он прибегнет «к благожелательному посредничеству французского правительства». Но Ито «даже и намека не сделал на какую бы то ни было финансовую помощь», обещав только заехать в Париж перед возвращением в Японию.[4] Очевидно платформа Ламсдорфа не расположила Ито приступить к финансовым разговорам в Париже. Сопоставив это известие из Парижа с приведенным выше донесением Извольского, Ламсдорф мог видеть, что Комура в Токио был горячее, чем Ито в Париже. Оставалось ждать, не заговорит ли Ито о займе в Петербурге?

---

[1] Documents diplomatiques français, I, № 310 — депеша из Пекина от 1/VII 1901 г. и № 399 — депеша Дюбайля из Токио от 16/IX 1901 г.

[2] Там же, № 447 — телеграмма Бутирона из Петербурга от 21/X 1901 г. и № 545 — депеша Делькассэ от 30/XI 1901 г.

[3] Там же, № 500 — телеграммы Бутирона из Петербурга от 11 и 12/XI 1901 г.; «Россия в Манчжурии», стр. 330 сл.

[4] Documents diplomatiques., I, № 527 — телеграмма Делькассэ Бутирону в Петербург от 21/XI 1901 г.

Ито пробыл в Петербурге с 11 по 21 ноября (ст. ст.), имел не только официальные свидания с Ламсдорфом, но и неофициальные разговоры с Витте, который говорил с ним как «не дипломат» и «более откровенно и определенно», и, вообще, по наблюдению германского, например, посла, Ито был принят «необычайно дружественно» и «с особой внимательностью».[1] И вот вдруг, неожиданно для всех, 21 ноября Ито уехал, оставив Ламсдорфу набросок проекта договора о Корее, «даже и не намекнув на вторичное посещение Парижа» и прося выслать ему вслед в Берлин текст ответа. Уехал же он, как только получил окончательно выработанный проект англо-японского союзного договора, начатый обсуждением, как мы видели, в Лондоне еще в октябре. А 25 ноября/8 декабря, когда Ито был еще в Берлине, в Токио совет Генро принял решение подписать договор с Англией, так что полученный Ито 10/23 декабря в Берлине русский контрпроект явился документом совсем запоздалым.[2]

Можно думать, следовательно, что решение в пользу союза с Англией окончательно созрело в Токио, независимо от петербургского свидания Ито, по меньшей мере еще в октябре, когда Комура получил «тревожную» весть из Пекина о потребованной Витте «отдаче в руки Русско-Китайского банка всей Манчжурии». А нам теперь доподлинно известно, что Витте связал при этом банк заранее формальным обязательством действовать в концессионном вопросе всецело по указаниям министра финансов, и вся Манчжурия, таким образом, на деле была бы отдана в руки царского правительства.[3] Но, если все же у японского правительства оставались хоть какие-нибудь колебания до самого 25 ноября/8 декабря, когда оно решило подписать английский договор, то колебания эти должны были отпасть из-за одного того, о чем, несомненно, сообщал из Петербурга в Токио телеграфом Ито; сообщал не на основании того формального ответа, который он получил уже post factum в Берлине, а на основании своих бесед с обоими министрами.

Беседы с Ламсдорфом были осложнены тем, что Ито изъяснялся на плохом английском языке, который Ламсдорф едва понимал, а Ламсдорф говорил на плохом немецком, с которого переводил на японский секретарь Ито Сузуки. Ито говорил, что «японцы терроризованы мыслью о вторжении в ближайшем будущем в Корею русской армии» и намекнул, что КВжд — «колоссальный шаг вперед России на пути завоеваний». А Ламсдорф, «не вдаваясь очень в корейский вопрос» и подчеркнув необходимость «независимости» Кореи, парировал намек на КВжд не совсем ловко тем, что де «Япония не может питать подозрений относительно сооружения, которое, по правде говоря, возникло вследствие Симоносекского договора и является результатом, повидимому, ослабления Японии». Как признался Ламсдорф, рассказывая все это Бутирону (французскому поверенному в делах в Петербурге), он имел в виду дать понять Ито, что «Япония должна твердо усвоить, что мы ей никогда не уступим этого полуострова [Корею], а также, что мы не хотим его присоединить; но вся наша стратегия на Дальнем Востоке попадает в угрожаемое положение, если Корея не будет свободна». Бутирону же он объяснил, что «хочет иметь сво-

---

[1] «Die grosse Politik», XVII, SS. 144—145 — донесение германского посла в Петербурге от 4/XII 1901 г.; «Россия в Манчжурии». стр. 333. Таково же было впечатление об «очень милостивом» приеме Ито и у французского посла, см. Documents diplomatiques, I, p. 648 sq.

[2] «Россия в Манчжурии», стр. 333—340.

[3] Там же — полный текст договора с Русско-Китайским банком от 26/IX 1901 г., стр. 326.

бодной дорогу из Порт-Артура во Владивосток, и если Япония не согласна на это, мы должны принести военные жертвы на суше и на море: война, может быть, начнется плохо для нас, но наверняка кончится плохо для японцев». «Сделав этот пункт совершенно ясным», Ламсдорф и хотел бы затем «привести микадо к политике соглашения... втроем» (Россия, Франция, Япония).[1]

В каких бы словесных формах ни протекали в действительности неуклюжие беседы с Ито на трех языках, у него не могло оставаться сомнений, что в данный момент его программа-минимум (Корея целиком и полностью Японии, Манчжурия — России) не имеет шансов на успех в Петербурге. К тому же и сам Витте, как теперь документально известно, и в этих беседах и в одобренном им русском контрпроекте не только не согласился предоставить Японии «полную свободу действий» в Корее, как настаивал Ито, но и потребовал «полной свободы действий» для России в Манчжурии, и заодно и во всех пограничных к России областях Китая — в сущности ничего не меняя в своей первоначальной программе первого тура сепаратных переговоров с Китаем.[2]

Однако, несмотря на то, что Ито опять ни словом не обмолвился о займе ни с Ламсдорфом ни с Витте и ясно ответил в Петербург из Берлина (23 декабря), что он «сомневается в целесообразности рекомендовать своему правительству русский контрпроект как базу для будущих переговоров», — петербургские дипломаты повели себя дальше так, как будто суть ответа Ито заключалась не в этом, а в его же вежливой фразе, что де он еще «вдумается» в русский текст, «чтобы составить себе окончательное о нем мнение». Ламсдорф и Витте теперь ловили всякие внешние признаки того, что соглашение с Японией еще возможно, и уповали, что вот Ито вернется в Токио, доложит там о результатах свидания лично, и тогда переговоры возобновятся. А так как Ито ждали в Токио в середине февраля 1902 г., то до этого срока петербургские оптимисты и прилагали усилия покончить переговоры с Китаем, возобновившиеся в январе 1902 г., — стоя на старых позициях и торгуясь за каждое слово в банковском соглашении, лишь бы отстоять Манчжурию от «наводнения иностранцев».[3] Даже открытое выступление США в Петербурге с нотою протеста против *монополии* Русско-Китайского банка (21 января/3 февраля 1902 г.) не принято было ими всерьез, и Ламсдорф просто притворился непонимающим, что американский империализм протестует здесь именно против монополии, а не против отдельных могущих достаться банку концессий, и пробовал высказывать обиду и удивление, почему это одной России Америка хочет запретить приобретение «концессий».[4] Легко представить, какие политические выводы могли сделать для себя в Вашингтоне из этой злостной наивности дипломатии Витте — Ламсдорфа.

Зато и смущению их не было границ, когда 30 января/12 февраля 1902 г. один за другим грянули два удара: из Пекина был получен категорический отказ подписать банковское соглашение, а японский посланник в Петербурге в этот же день официально сообщил Ламсдорфу текст англо-японского союзного договора, подписанного, как

[1] Documents diplomatiques, I, № 548 — депеша Бутирона от 3/XII 1901 г.

[2] «Россия в Манчжурии», стр. 335—337.

[3] Там же, стр. 339 — 344 — письмо Ито в «Обзоре сношений с Японией по корейским делам», стр. 74, СПб., 1906; ср. Documents diplomatiques., II, № 4— письмо русского посла в Париже к Делькассэ от 4/I 1902 г. по поводу якобы предстоящего приезда Ито из Лондона в Париж для обсуждения соглашения России и Японии.

[4] «Россия в Манчжурии», стр. 345—346; меморандум США относительно Манчжурии от 1/II 1902 г. на ту же тему опубликован в Documents diplomatiques, II, № 93.

оказалось, еще 17/30 января — за четыре дня до американского протеста, так что он теперь предстал как строго согласованный с Англией и Японией шаг. Недаром Кацура «был уверен, что тайна [переговоров] ни в коем случае не разгласится, и думал, что прием Ито в Петербурге был счастливым обстоятельством, так как был рассчитан на то, чтобы отвести публику от верного следа».[1]

В страхе перед возможной теперь «в любой момент» войной Витте и Ламсдорф пошли на подписание (26 марта/8 апреля 1902 г.) голого договора о выводе войск из Манчжурии и спешили подписать его со всеми поправками китайцев, не заикаясь уже ни о каких монополиях и банковских соглашениях, которые фактически сделали «участником» англо-японского союза и США.[2]

VI

Царская дипломатия, особой оговоркой поставившая в договоре 26 марта/8 апреля 1902 г. эвакуацию Манчжурии в зависимость от «образа действий других держав», подпала теперь, после заключения англо-японского союза, в сложную для царизма обстановку собственно европейских международных отношений, и увязание России в дальневосточных делах становилось незаменимой и желанной кое для кого картой в большой европейской империалистической игре. 22 месяца, протекшие от подписания договора об эвакуации до разбойничьего нападения японской эскадры на русский флот 8/9 февраля 1904 г., были временем капитальной перестройки в международных отношениях Европы. Основной факт в этом смысле — поворот Англии к решительному сближению с Францией, направленному против Германии, — обозначился в самом начале 1902 г., и германская дипломатия форсировала теперь политику такого сближения с Россией, которое дало бы ей возможность разорвать франко-русский союз. Россия оказывалась перед близкой перспективой быть втянутой в англо-германский империалистический конфликт, и подготовлявшаяся Японией большая война с Россией на Дальнем Востоке как нельзя лучше должна была сыграть на-руку империалистическим странам, рассчитывавшим использовать царскую Россию как резерв мирового империализма. Заключение англо-японского союза, дипломатически подготовленное, как мы видели, не без некоторого участия и германской дипломатии, как раз и открывало эту игру: «узел русско-японских отношений находится отныне уже не здесь, а в Лондоне, и вряд ли какое-либо соглашение между нами и Японией возможно теперь без более или менее прямого участия Сент-Джемского кабинета».[3]

[1] British documents, II, № 118, приложение — интервью Кацуры от 6/XII 1901 г.; Documents diplomatiques, II, № 84 — депеша Монтебелло от 13/II 1902 г.: «никому, кроме Курино и английского посла, и в голову не приходила мысль о существовании подобного проекта»; раньше других, 6/II, договор был сообщен Германии (British documents, II, № 122).

[2] Гэй, государственный секретарь США, был «целиком на стороне Лондона и Токио» и был «совершенно спокоен за договор, подготовляемый Россией с Китаем относительно эвакуации Манчжурии; но мы ничего не знали об этом втором и таинственном договоре, подготовлявшемся с Русско-Китайским банком...» Несомненно, англо-японский договор «остановит Китай перед западней, куда его хотели завлечь» (Documents diplomatiques, II, № 90 — депеша Камбона из Вашингтона от 14/II 1902 г.). Газета Гэя «Ивнинг Стар» указала 21/II, что нота США от 1/II «на деле означает вхождение США в англо-японский союз» (там же, № 105).

[3] «Россия в Манчжурии», стр. 354—356 — депеша Извольского из Токио от 5/V 1902 г.; ср. Documents diplomatiques., V, № 113 — депеша д'Амада из Лондона от 9/V 1904 г.: «с самого начала здесь заявляли, что кто бы ни победил, Россия будет надолго ослаблена и не в состоянии быть угрозой в Европе и на индийской границе»; там же, № 122 — депеша Бомпара из Петербурга от 12/V 1904 г.: «Русская дипломатия франко-английским соглашением была поставлена перед дилеммой: она должна

Действительно, статьи 4 и 5 англо-японского союзного договора от 17/30 января — взамен «строгого нейтралитета» Англии, в случае «вовлечения» Японии в войну с одной державой (ст. 2), и взамен участия в войне, в случае присоединения к третьей державе одной или нескольких держав (ст. 3), — связывали японскую инициативу как в попытке «отдельного соглашения с другой державой», «не посоветовавшись» с Англией, так и, в случае «угрозы» опасности войны, требованием сообщить Англии о том «с полнотой и откровенностью». В сферу действия договора входили одинаково и Китай, где «интересы» признавались за обеими сторонами, и Корея, где «особенным образом заинтересованной в политическом, равно как и в торговом и промышленном отношениях», признавалась одна Япония. Таким образом, формально у Японии не отпадала теперь возможность открыть войну против России и из-за одной Кореи без согласия Англии. Зато формально она могла воевать теперь из-за Кореи одна, не рискуя столкнуться с двумя флотами, ибо участие французского флота создало бы тотчас же casus foederis. [1]

Переговоры о союзе длились ровно полгода (столько же, сколько потом русско-японские перед войной), но решительный оборот борьба за конкретные формулировки приняла только в последние недели перед подписанием договора в Лондоне. Лэнсдоун пытался взять целиком в руки Англии решение вопроса о войне, чтобы не «вовлечь ее в войну вследствие необдуманного действия» Японии «по поводу сравнительно незначительных споров», и настаивал на введении в договор пункта, который обязал бы Японию «не только *сообщить*» Англии, «а *договориться* с ней об активных мерах, которые должны быть приняты сторонами, прежде чем эти меры будут действительно приняты». Но Гаяси твердо стоял на том, что «предварительная консультация была бы фатальной для быстрой акции». Лэнсдоун тогда назвал вещи своими именами и указал, что Япония хочет развязать себе руки для «любых действий, сколь бы безрассудны или провокационны они ни были, чтобы поддержать свои интересы в Корее». Гаяси парировал, что Япония «теперь свободна действовать так и не хочет расстаться с этой свободой или чувствовать, что будет брошена Англией одна в случае, если ее акция вовлечет ее в войну с Францией и Россией». И от обязательной «консультации» Лэнсдоуну пришлось отказаться.

Даже из скудной английской документальной публикации ясно видно, что обе стороны вели разговор о спровоцированной Японией войне. Когда Лэнсдоун, для которого ближайшая суть договора заключалась в английских интересах в Китае, спросил Гаяси, «будет ли японское правительство рассматривать столкновение России из-за Манчжурии как повод к войне и, возможно, обращению к нашей поддержке», Гаяси вызывающе ответил, что «если безопасность Кореи будет гарантирована, Япония, вероятно, не пойдет на войну из-за Манчжурии или Монголии или других отдаленных частей Китая.., и мы (англичане. — *Б. Р.*) могли бы, если нам угодно, итти на войну из-за них. Япония была бы обязана притти нам на помощь, если бы Франция присоединилась к России, но невероятно, чтобы Япония

или следовать за нами, идя на сближение с Англией, или гарантировать себя сближением с Германией»; «Die grosse Politik», XIX, T. I, № 6052 — телеграмма Бернсторфа из Лондона от 6/IX 1904 г.: «даже те органы печати, которые пишут крайне резко против России, делают это с задней мыслью, что ослабленная империя царя легче может быть приведена к уступчивости в острых вопросах и следовательно к твердому ограничению ее азиатских интересов—посредством угроз, чем посредством любезности».

[1] Текст англо-японского договора опубликован в «Сборнике договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Востока», стр. 527 сл.

провоцировала войну по подобному поводу». Гаяси тут явно набивал себе цену, прекрасно понимая, что Англия не может одна вести войну в Манчжурии. И Лэнсдоун взял реванш, предъявив ультимативное требование, чтобы в договор были вставлены слова (ст. 1), что военные действия для защиты обоюдных интересов обусловливаются «агрессивными действиями» третьей державы: «Мы хотим поставить вне всякого сомнения, что casus foederis может возникнуть только в случае, если третья держава явится нападающей». А это, разумеется, на деле опять сажало Японию с другого конца на английскую цепь, поскольку и все предварительные переговоры ее с Россией ставились ясно под контроль Англии (ст. 1). Мало того, так как другим поводом прибегнуть к оружию, по статье 1, были внутренние «беспорядки» в Китае и Корее, то Лэнсдоун и здесь вставил: «делающие необходимым вмешательство... *для защиты жизни и собственности* (японских) подданных» — «чтобы было ясно, что интервенция Японии будет рассматриваться как допустимая только в случае, если «беспорядки» будут действительно серьезного характера».[1]

На деле, таким образом, не только соглашение между Россией и Японией, но и война между ними едва ли была возможна теперь без более или менее прямого участия Сент-Джемского кабинета. У Лондона в руках оказывался двусторонний инструмент, который он мог пустить в ход либо одним либо другим концом.

В этом именно смысле и объяснил Лэнсдоун позицию Англии французскому послу Камбону 12 февраля 1902 г.: «Это простая мера предосторожности», «мы остаемся нейтральными... зрителями русско-японских распрей»; «мы охотно устроились бы иначе, но мы всегда находили у русских дверь на запоре». Лэнсдоун жаловался, что несколько раз он предлагал русскому послу в Лондоне «поискать вместе с ним соглашения по пунктам, где интересы двух стран соприкасаются, в Китае, Корее, Персии, на границах Индостана», и «никогда Стааль не соглашался хотя бы на какое-либо начало переговоров, и, выбившись из сил, английское правительство было вынуждено обеспечить себя гарантиями в другом месте». И у Камбона осталось впечатление, что именно Англия была инициатором «бесполезной конвенции 30 января» и что «это — предупреждение по адресу России».

Но, — как в свое время, рассказывая об упомянутых «попытках» Лэнсдоуна, сознавался и Стааль, — «в действительности в Петербурге не хотят соглашения с Англией, боясь какого-либо предложения, организующего более или менее замаскированный кондоминимум». И правы — потому что «по своей натуре» (c'est plus fort qu'eux) англичане «всегда перетягивают одеяло на свою сторону».[2]

Это «предупреждение» поняли теперь и в Петербурге. Но «кондоминимум» и теперь оставался чужд видам империалистической дипломатии царской России, и Ламсдорф, в поисках противовеса англо-японскому выступлению, заговорил теперь о необходимости «сплочения других держав» не только с Парижем, а и с Берлином. Но и в Берлине русско-японская война чем дальше, тем больше почиталась лучшим средством заставить в конце концов царизм, пройдя испытания войны, искать пристанища в русско-германском союзе. А когда эти испытания наступили в 1904—1905 гг., оказалось, что царизм не в состоянии занять нейтральную позицию в европейской империалистической борьбе и вынужден обратить свою страну в резерв англо-французской Антанты, поставив Россию в полуколониальное положение.

[1] British documents, II, №№ 116, 117, 122, 123.

[2] Documents diplomatiques, II, № 81 — депеша Камбона от 12/II 1902 г.; там же, I, № 493 — депеша Жофруа от 9/XI 1901 г.

В. П. ЛЮБИМОВ

СМЕРД И ХОЛОП

Одной из самых важных и вместе с тем самых спорных статей Правды Русской, касающихся положения смердов в древней Руси, является та, в которой по одним спискам указывается, что за убийство смерда и холопа полагается одно и то же вознаграждение — 5 гривен, а по другим — это вознаграждение относится не к смерду и холопу, а к смердьему холопу, т. е. к холопу, принадлежащему смерду (ст. 23 Академического списка, ст. 13 Троицкого списка).[1]

В виду наличия двух таких противоположных чтений, уяснение данного места может быть достигнуто только на основе изучения истории текста памятника.[2]

I

Прежние классификации списков Правды Русской не дают возможности представить историю текста. Таковы классификации Н. В. Калачова и В. И. Сергеевича, слишком суммарные и не лишенные известных фактических ошибок. Что же касается последнего опыта классификации, который принадлежит проф. С. В. Юшкову в издании «Руська Правда» Украинской Академии Наук, то эта классификация не является оригинальной (за исключением одной новой редакции — четвертой) и представляет соединение разных частей, как из классификации Н. В. Калачова, так и из классификации В. И. Сергеевича.[3] В виду того, что теперь списков Правды известно гораздо больше, чем было известно Калачову, классификация у С. В. Юшкова получилась еще более суммарной, чем у Н. В. Калачова и В. И. Сергеевича, и имеет в то же время фактические ошибки.

В основу нашей работы мы возьмем классификацию списков Правды, принятую в издании Правды Русской, подготовленном Институтом Истории Академии Наук СССР (вышедшем в 1940 г.). Классификация эта выработана автором настоящей статьи.[4]

Но в краткой работе, касающейся притом одного только частного вопроса, нет возможности подробно останавливаться на классифи-

---

[1] №№ статей Правды цитирую по делениям Н. В. Калачова. (Настоящая статья написана до выхода академического издания Правды Русской).

[2] Настоящая краткая работа носит предварительный характер и основана в значительной степени на подготовляемом мною общем очерке истории текста Правды Русской (в связи с историей сводных памятников — летописи, Кормчие книги, сборники, в которых встречается Правда).

[3] Українська Академія Наук, Інститут Історії матеріальної культури. Руська Правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував до друку проф. С. Юшков, Київ, 1935.

[4] Разработка классификации начата мною давно, полная же классификация представлена мною в Историко-Археографический Институт АН СССР 17 апреля 1935 г., после чего я сделал некоторые дополнения.

кации и ее основаниях. Мы ограничимся лишь самыми общими сведениями.

Классификация построена по системе семей или групп. Эта система особенно приложима к памятникам, дошедшим во многих списках, и дает наибольшие возможности для построения истории текста. При этой системе одинаково учитываются все виды списков, независимо от того, признавать ли тот или иной вид редакцией или считать, что он образовался исторически в результате накопления непреднамеренных изменений. С другой стороны, при этой системе можно свободнее расположить в классификационной схеме разные виды, исходя лишь из намечающейся истории текста.

Все списки в предлагаемой классификации разделены на два разряда, представляющие две основные редакции: А) Краткие списки, Б) Пространные списки. Списки, сокращенные из Пространных, отнесены к Пространным, что согласуется с историей текста.

Пространные списки делятся на три группы: Синодально-Троицкая, Пушкинская, Карамзинская. Первые две группы названы так по их основным древнейшим спискам. К третьей же группе отнесены списки того типа, который известен у Н. В. Калачова и вообще в литературе по списку Карамзинскому, и хотя теперь мы принимаем за основные списки в этой группе другие, а Карамзинский подводится в вариантах, но ради научной преемственности целесообразно дать этой группе по традиции название — Карамзинская.

В пределах каждой группы списки делятся на виды. В некоторых из видов следует различать и подвиды.

Приведем краткую схему классификации с указанием мест хранения основных списков.[1]

Названия списков Правды Русской, известных Н. В. Калачову, сохранены. Названия остальных списков даны по тем же традициям.

А. Краткие списки

I. *Академический* список из Новгородской Первой летописи XV в. — АН, 17.8.36.

II. *Археографический* список из Новгородской Первой летописи XV в. — ИИ, собр. Археограф. Комиссии № 240.

Вариантов к Академическому и Археографическому спискам до нас не дошло. Имеется лишь до десяти списков XVIII в. и два списка XIX в. (20-х годов), но все они происхождения XVIII в. от Академического списка.

Два из них являются копиями, снятыми в XVIII в. с Академического списка. Относительно же остальных в литературе высказывалось мнение, что они восходят к какому-то не дошедшему до нас списку, который был в руках В. Н. Татищева. Но теперь, при подготовке академического издания Правды, выяснено, что все эти списки представляют лишь неисправные копии или копии с копий того же Академического списка, и что видоизменения в них связаны в значительной степени с работой Татищева.[2]

---

[1] Сокращения названий мест хранения рукописей.

В Москве: БЛ — Всесоюзная Библиотека имени Ленина. ИМ — Государственный Исторический Музей. ГАФКЭ — Государственный архив феодально-крепостнической эпохи.

В Ленинграде: АН — Библиотека Академии Наук СССР. ИИ — Институт Истории Академии Наук СССР (Ленинградское отделение). ПБ—Государственная Публичная Библиотека имени Салтыкова-Щедрина.

[2] Выяснено это Г. Гейермансом, интересная работа которого о Татищевских списках печатается.

Татищеву известен был, кроме того, список Ростовский, часть вариантов которого приписана к Татищевскому III списку (ИИ, № 434), а также была опубликована в «Продолжении древней российской вивлиофики», ч. I (СПб., 1786). Но, не имея в руках рукописи Ростовского списка, трудно о нем судить.

Б. Пространные списки

Группа Синодально-Троицкая

I. Троицкий вид (списки «Мерил Праведных») — 5 списков. Основной список — *Троицкий*, из пергаменного Мерила Праведного второй половины XIV в. — БЛ, Троицкого собрания, № 15.

II. *Синодальный* список, из пергаменной Кормчей конца XIII в. ИМ. Синодальн. собр., № 132. Других списков этого вида не имеется.

III. Новгородско-Софийский вид — 18 списков. Основной список — *Новгородско-Софийский*, из Кормчей конца XV в. — ПБ, Софийск. собр., № 1173.

IV. *Лаптевский* (Рогожский) список, из Кормчей начала XVI в. Других списков этого вида не имеется. — БЛ, Рогожский, № 256.

V. Мясниковский вид — 6 списков. Основной список — *Мясниковский*, из Кормчей начала XV в. — ПБ, F. II. 119.

VI. Розенкампфовский вид — 20 списков (и один не разыскан). Основной список — *Розенкампфовский*, из Кормчей конца XV в. — ИМ, Уваровского собр., № 556/791.

VII. Ферапонтовский вид — 18 списков (и один не разыскан). Основной список — *Ферапонтовский*, из Кормчей середины XVI в. — БЛ, Егоровск. собр., № 248.

VIII. Сокращенные списки — 2 списка. Основной — *Толстовский* IV, из Кормчей середины XVII в. — ПБ, Q. II. 46. Другой — список Оболенского, из Кормчей второй половины XVII в.

Группа Пушкинская

I. *Пушкинский* сп., из пергаменного юридического сборника второй половины XIV в. — ГАФКЭ, собр. Гос. Древлехранилища, отд. V, рубр. 1, № 1. Других списков этого вида не имеется.

II. Археографический вид — 5 списков. Основной список — *Археографический* II, из юридического сборника в прибавлении к Новгородской Первой летописи, середины XV в. — ИИ, собр. Археограф. Комиссии, № 240.

Группа Карамзинская

I. *Троицкий* IV сп., начала XV в., из сборника. — БЛ, Троицк. собр., № 765. Других списков этого вида не имеется.

II. Музейский вид — 8 списков. Основной сп. — *Музейский* II, третьей четверти XV в., из сборника. — ИМ. № 1009.

III. Оболенско-Карамзинский вид — 2 списка. Основной сп. — *Оболенского* II, из Софийской летописи второй половины XV в. (до 1481 г.). — ГАФКЭ, собр. Гос. Древлехранилища, отд. V, рубр. 2, № 3. Другой список — Карамзинский, из Софийской летописи конца XV в.

II

Как видно из приведенной схемы классификации, кратких списков дошло до нас всего два — *Академический* и *Археографический;* оба в составе Первой Новгородской летописи младшего извода, в рукописях,

относящихся по написанию приблизительно к одному времени — середине XV в.

Интересующая нас статья в этих списках читается не одинаково. В Академическом списке — «а въ смердѣ и въ хопѣ 5 гривенъ»; в Археографическом — «а въ смердьи в холопѣ 5 гривенъ».

По ряду детальных различий этих списков устанавливается, что список Академический имеет более древние черты и ближе к оригиналу, чем Археографический. Эти вопросы уже затрагивались в литературе. Так, М. Ф. Владимирский-Буданов и Н. А. Максимейко считают Археографический список испорченным.[1]

Уже вследствие этого более вероятно, что чтение и нашей статьи следует считать более правильным в Академическом списке, т. е., что более древнее чтение «а въ смердѣ и въ хопѣ», или вернее — «а въ смердѣ и въ холопѣ». Вместе с тем и самая конструкция этой фразы в Археографическом списке — «а въ смердьи в холопѣ» — указывает на более позднее происхождение такого чтения.

В этом чтении имеется лишний предлог «в». Здесь следовало бы ожидать «в смердьи холопѣ». По крайней мере, мы имеем такое написание без второго предлога «в» в других подобных случаях в этом списке: «а въ ездовомъ княжѣ»; «а во княжи тивунѣ»; «а в рядовницѣ княжи». Второй же предлог «в» мы встречаем только там, где речь идет о нескольких предметах: «а в сельскомъ старостѣ княжи и в ратаинѣмъ»; «а въ огнищанинѣ и в тиунѣцѣ[2] и в мечницѣ»; «а в голуби и в куряти»; «а въ утки и въ гуси и в жеравѣ и в лебедѣ». Следует думать, что и в данном месте, в виду наличия двух предлогов «в», речь шла о двух предметах, т. е. о смерде и холопе, и что чтение «въ смердьи в холопѣ» получилось уже потом, в результате порчи текста.[3]

Было ли тут сознательное изменение или изменение сделано бессознательно, на это не так легко ответить. Но если анализировать это изменение, то само по себе оно могло быть и бессознательным. Это могло произойти в результате замены букв, с чем мы встречаемся в древнейших рукописях. В этом отношении имеют значение наблюдения над древнейшим пространным списком — Синодальным. В нем наблюдаются, с одной стороны, смешение буквы «ѣ» с «е» («даче» вместо «дачѣ», «по Святополче», «ехати» и др.), а с другой — замена буквы «е» буквой «ь» «вьрьвь, ремьствьницѣ, ремьствьника, мьнѣ, тьрпя, купьць», «клепалъ и «кльпалъ» и др.[4]

Имея в виду, что в рукописях текст написан слитно, т. е. слова не разделены, возможны были такие изменения: «авъсмердѣивхолопѣ 5 гривенъ» — «авъсмердеивхолопѣ5гривенъ» — «авъсмердьивхолопѣ5гривенъ».

С другой стороны, изменение могло произойти и в результате особенностей новгородского говора, в котором имеется смешение звуков, выражаемых буквами «и» — «ѣ» или наоборот, что очень заметно в Археографическом списке: «клитѣ» вместо «клѣти», «в тиунѣцѣ» вместо «тиуницѣ», «въ утки и въ гуси» и т. п. Возможны поэтому

[1] См. рецензию М. Владимирского-Буданова о работе Л. Гетца: Das Russische Recht. «[Киевские] Университетские Известия», Киев, 1911, март, Отдел критики и библиографии, стр. 9—10; Н. Максимейко. Опыт критического исследования Русской Правды, стр. 208—212, Харьков, 1914.

[2] В рукописи «тиоунѣцѣ». Здесь и далее, приводя тексты, пишу «у» для обозначения как «у», так и «оу».

[3] На это указывает и Н. Максимейко. Указ. соч., стр. 210.

[4] О возможности замены буквы «е» «ь» как вообще, так в частности и в Археографическом списке, высказался Н. Ф. Лавров на совещании по вопросам издания Правды Русской в июне 1937 г.

такие изменения: «авъсмердѣивхолопѣ5гривенъ» — «авъсмердиивхолопѣ5гривенъ» — «авъсмердьивхолопѣ5гривенъ».

В чтении же Академического списка «а въ смердѣ и въ хопѣ» могло бы возбуждать сомнение написание «въ хопѣ» вместо «въ холопѣ». Но такое написание не является, собственно, порчей этого места, а связано с общими чертами Академической летописи. Переписчику данной рукописи в целом, т. е. не только Правды Русской, а всей летописи, свойственны некоторые характерные описки: так, в ряде мест он пишет не ту букву, какую нужно, а следующую через одну или через две буквы, что он почти всюду сам же замечает, но кое-где все же остаются пропуски то одной буквы, то целого слога. Особенно характерен для писца Академической летописи пропуск слога «ло»: «пожити» вместо «положити», «хопѣ» вместо «холопѣ», «Водимиръ» вместо «Володимиръ»; мы насчитываем три таких пропуска на пространстве в 12 страниц (лл. 47—52 об.), причем последний пропуск «Водимиръ» находится уже не в Правде, а в тексте летописи после Правды. Есть пропуски слога «ло» и в других местах (например, на лл. 54 об., 55). Пропусков «ло» писец не исправляет (имеющиеся же приписки «ло» в некоторых местах принадлежат не писцу данной рукописи). Написание «хопъ» вместо «холопъ» встречается в разных местах и в некоторых пространных списках.[1]

Акад. М. А. Дьяконов высказал предположение, что можно читать «А въ смердѣи хопѣ 5 гр.»[2] Но прежде всего надо заметить, что Дьяконов произвольно пропускает тут предлог «въ» перед словом «хопѣ», который, как мы сейчас видели в отношении Археографического списка, показывает, что речь здесь идет о двух объектах, т. е. о смерде и о холопе. То же относится и к Академическому списку на основании таких же чтений в соответственных местах.

Вместе с тем чтение, предлагаемое М. А. Дьяконовым, не только само по себе представляет явную натяжку, но и совершенно не находит аналогии в остальном тексте Академического списка. Слово «смердѣи» встречается в этом списке, но не в предложном, а в винительном падеже: «А за княжь конь, иже тои с пятномъ, 3 гривнѣ, а за смердѣи 2 гривнѣ» (ст. 25). Написание «смердѣи конь» вместо «смердии конь» объясняется и тут свойственной новгородскому говору заменой «ѣ — и» или «и — ѣ», какая имеет место и в этом списке («убилѣ» вместо «убили», «въ рядовници» вместо «въ рядовницѣ», «укралѣ» вместо «украли», «передѣ» вместо «переди» и т. п.).

Другие случаи, когда в тексте стоят рядом буквы «ѣ» и «и», также не подтверждают предположения М. А. Дьяконова: «...по трі гривнѣ и по 30 рѣзанъ...» (ст. 29); «А въ гнищанінѣ и в тивуницѣ, и въ мечници...» (ст. 32); «А въ голубѣ и въ куряти»; «А въ уткѣ, и въ гусѣ, и въ жеравѣ, и въ лебеди...» (ст. ст. 35—36). Во всех случаях, как мы видим, «и» является союзом, причем всюду, за исключением первого случая, этот союз «и» поставлен после слов, стоящих в предложном падеже с окончанием «ѣ», т. е. как раз то же, что мы имеем и в написании «въ смердѣ и въ хопѣ».

Для уяснения интересующей нас статьи имеет значение также место, где она помещена, ее окружение. Этот вопрос особенно разъясняется в связи с тем делением текста Академического списка

---

[1] См. В. Любимов. Палеографические наблюдения над Академическим списком Русской Правды («Историк-марксист», 1938 г., кн. 5 (69), стр. 156—161).

[2] М. Дьяконов. Очерки общественного и государственного строя древней Руси, стр. 77, М.—Л., изд. 4, 1926.

в подлиннике, на котором я остановился в своей статье «Палеографические наблюдения над Академическим списком Русской Правды».[1] Это деление текста до сих пор не было замечено ни издателями памятника ни исследователями.

В рукописи, как я выяснил, есть деления текста, указываемые большими буквами; из них некоторые, хотя в общем и меньше других больших букв, по приемам написания точно соответствуют большим буквам. Так, в подлиннике весь текст разделен на одиннадцать частей.

Для нас сейчас непосредственно важны две части — 7-я и 8-я, которые в Академическом списке читаются так:

«А въ княжи тивунѣ 80 гривенъ, а конюхъ старыи у стада 80 гривенъ, яко уставилъ изяславъ въ своем конюсѣ, его ж[е] убилѣ дорогобудьци, а въ сельскомъ старостѣ княжи, и в ратаиѣмъ 12 гривнѣ. а в рядовници княжѣ 5 гривенъ, а въ смердѣ и въ хопѣ 5 гривенъ. Аще роба кормилица, любо кормиличицъ 12» (ст. ст. 21—23, 24).

Текст приведен нами с сохранением знаков препинания и больших и малых букв, как в подлиннике.

Мы видим, что фраза «а въ смердѣ и въ хопѣ 5 гривенъ» является последней в части текста, начинающейся с буквы, соответствующей по приемам написания большим буквам, словами «А въ княжи тивунѣ...» Следующая же фраза начинается с такой же буквы словами «Аще роба кормилица...»

Вся первая часть касается ответственности за убийство княжеских слуг — тивуна, конюха старого, сельского старосты княжого и ратаиного, рядовича (рядовница), смерда и холопа. Как видим, слуги перечислены в строго иерархическом порядке, причем последними в этом перечислении являются смерд и холоп. Было бы странно, чтобы в этой части текста, составляющей как бы особый устав о княжеских слугах, вдруг в конце была помещена норма не о смерде, который работает в княжеском хозяйстве, а о холопе, принадлежащем смерду.

Фраза же «Аще роба кормилица, любо кормиличицъ 12», говорящая о кормилице и о кормильце, т. е. дядьке (воспитателе), является дополнением или припиской к предыдущей части, замыкая круг княжеских слуг.

В данном перечислении прихотливо смешаны княжеские слуги разного состояния, как свободные, так и не свободные. В частности, о кормилице здесь говорится «аще роба кормилица», из соответственной же статьи Пространной Правды мы знаем, что и кормилица, и кормилец (кормиличец), т. е. дядька-воспитатель, могли быть как свободными, так и рабами: «а за кормилиця 12, тако же и за кормицю, хотя си буди холопъ, хотя си роба» (ст. 14 Троицкого списка).

Но если здесь мы видим перечисление людей, работающих в княжеском хозяйстве, то значит ли, что данное явление и данные юридические нормы мы должны относить только к княжескому хозяйству? Значит ли это, что боярских хозяйств не было, и что там не могли применяться те же или подобные юридические нормы? Конечно, нет. Правда Русская вообще, и особенно Краткая Правда, не является таким памятником, который дает нам юридические нормы непременно в обобщенном виде. Наоборот, это памятник, в котором большое количество норм выражено в виде казусов. Так,

[1] См. В. Любимов. Указ. ст.

мы знаем, что в одной из статей речь идет об изымании челядина, скрывшегося у варяга или колбяга, и ничего не сказано о скрывании его у других, т. е. у русских (ст. 10). В двух статьях говорится о случаях, когда в краже участвовало, по одной статье, 18 человек, по другой — 10 человек (ст. ст. 29, 40). Но это не значит, что упомянутые статьи не прилагались и к тем случаям, когда в кражах участвовало пять, шесть или иное число воров, и т. д.

Тут в перечислении именно княжих слуг можно видеть только своего рода казус, причем, как это можно заметить из содержания самой статьи, это есть сводный казус, образовавшийся из отдельных казусов, один из которых конкретно назван: «яко уставилъ Изяславъ въ своем конюсѣ, его ж[е] убилѣ дорогобудьци».

Для изучения Краткой Правды главное значение имеет Академический список, ибо, как мы уже сказали, Археографический список менее исправен. Но при изучении Пространной Правды в истории текста нашего памятника в целом следует серьезное внимание обратить и на Археографический список. Краткая Правда послужила одним из материалов, можно сказать главным материалом, для Пространной. Сравнительный же анализ Академического и Археографического списков, с одной стороны, и древнейших пространных списков (Синодальный, Троицкий и Пушкинский), с другой, показывает, что прототип Пространной Правды пошел, по всей вероятности, от такого краткого списка, который в целом был ближе к Археографическому, чем к Академическому списку.[1]

Уже по одному этому можно ожидать, что в Пространной Правде мы увидим в разбираемой нами статье не смерда и холопа, а смердьего холопа. Так это и есть в двух древнейших списках — Синодальном и Троицком — и в большом количестве других списков.

Но вместе с тем мы замечаем вскоре реакцию против такого чтения и в связи с этим изменения в статье. Прием таких изменений, однако, весьма примитивен и является однотипным. Во всех видах списков, где мы находим изменения, они сводятся к тому, что из текста просто выпускается соответственное место, т. е. в тексте таких списков нет ни смерда и холопа, ни смердьего холопа. Исключение представляет только один вид, в котором дано изменение в другой форме, и статья читается как в Академическом списке.

Надо сказать, что такого рода прием, т. е. исключение мест, которые казались писцам неправильными, непонятными или ненужными, применяется не только в статье о смердьем холопе, но и в других. Применение этого приема наблюдается с самого начала истории Пространной Правды. Уже составитель прототипа Пространной Правды прибег к этому методу, не включив некоторых мест из Краткой Правды. В дальнейшем в истории Пространной Правды этот прием получил значительное применение. Конечно, наряду с намеренными пропусками есть и ненамеренные в отношении разных предметов. Различать те и другие не так легко. Но как бы то ни было, никак нельзя согласиться с В. И. Сергеевичем, что в пространных списках «нет намеренных пропусков».[2]

Перейдем теперь к рассмотрению интересующей нас статьи в разных группах и видах Пространной Правды.

---

[1] Детальное сравнительное рассмотрение текстов Правды и сопоставление этого вопроса со сделанным А. А. Шахматовым сравнением Академической и Археографической (Комиссионной) летописей в целом не может быть дано здесь за краткостью настоящей статьи, и я откладываю это до общей работы об истории текста Правды.

[2] В. Сергеевич. Лекции и исследования по древней истории русского права. стр. 80, СПб., 1910, 4 изд. доп. и испр.

III

Вопросы генеалогии списков Правды Русской являются весьма трудными. Трудности связаны, с одной стороны, с большим количеством списков памятника, а с другой — с утерей большого числа списков, особенно списков древнейшего времени и древнейших видов. Наибольшее число списков принадлежит к Синодально-Троицкой группе, и тут построение генеалогии наиболее сложно. Выяснение генеалогических отношений достигается сравнительными наблюдениями как над текстами разных видов Правды, так и над составом и текстом тех сводных памятников, в которых эти списки находятся.[1] Списки Синодально-Троицкой группы дошли до нас в составе либо Мерил Праведных либо Кормчих книг (три списка имеются в сборниках, но эти сборники не что иное, как выписки из Кормчих).

Путем указанных сравнительных наблюдений можно установить в Синодально-Троицкой группе две основные ветви списков: списки Мерил Праведных, которых дошло до нас всего пять, и списки Кормчих книг — около семидесяти.[2] Эти две ветви связаны по общему протографу Синодально-Троицкой группы. Таким образом, в одной ветви лишь один вид — *Троицкий*, в другой — остальные семь видов списков данной группы. Среди списков Правды Кормчих книг довольно явно различаются два звена или две дальнейших ветви: одно звено представлено основными списками — *Синодальным*, *Новгородско-Софийским* и *Лаптевским*, а другое — списками *Мясниковским*, *Розенкампфовским*, *Ферапонтовским* и сокращенными.

Как в списках Правды Мерил Праведных, так и в списках Кормчих первого звена мы встречаем не смерда и холопа, а смердьего холопа. При этом фраза о нем так же, как и в Краткой Правде, тесно связана с окружающим текстом. Дело осложнилось тем, что составитель Пространной Правды к материалу, который он брал из Краткой Правды, прибавлял еще и другой материал, а также и тем, что в Пространной Правде появились киноварные заголовки и инициалы, чего не было в Краткой Правде. Кроме слуг, перечисленных в Краткой Правде, появились еще отрок, конюх и повар, которых составитель Правды поместил в начале соответственной части текста, а также ремественник и ремественница, которых он тоже внес далее. Затем составитель разделил все это на статьи, считая их по заголовкам и инициалам, написанным красными (киноварными) буквами, и дал заголовки в соответствии с названиями слуг, которые не упоминались в Краткой Правде. В результате образовались две статьи.

Приводим эти статьи по Синодальному списку[3] (ср. ст. ст. 9—14 Троицкого списка по Калачову):

О КНЯЖИ ОТРОЦѢ

Аже въ княжи отроцѣ. или въ конюсѣ. или въ поварѣ. то 40 гривенъ. а за тиунъ. за огнищныи и за конюшии. то 80 гривенъ. а въ сельскомъ тиунѣ в княжи. или в ратаинѣмь. то 12 гривнѣ. а за рядовича 5 гривен. тако же и за боярескъ.

---

[1] Некоторые данные из сравнения текстов Правды см. в моей статье «Списки Правды Русской» в первом томе акад. изд. «Правда Русская», гл. V, стр. 42—54. М—Л, 1940.

[2] Правда включается в Кормчие так называемого Кирилловского разряда.

[3] Как здесь, так и далее, приводя текст Правды, сохраняем орфографию подлинников (большие и малые буквы, знаки препинания, красные строки, написание «і, ѣ, ъ»); киноварь (красные буквы) передается особым шрифтом. В академическом издании Правды пунктуация для удобства привнесена, но в особом томе будут даны фототипии основных списков.

О РЕМЬСТВЬНИЦѢ

за ремьствьника[1] и за ремьствьницю. то 12 гривне. а за смердии холопъ 5 гривенъ. а за робу 6 гривенъ. а за кормилца 12 гривен. и за кормилицю. хотя си буди холоп. или роба.

Как видим, слова «а за смердии[2] холопъ 5 гривенъ» включены во вторую из этих статей. При этом для системы с ремественником и ремественницей, кормилцем и кормилицей прибавлено и к словам о смердьем холопе «а за робу 6 гривенъ».

Такое же чтение имеется и в других списках указанных четырех видов (т. е. в списках Мерил и Кормчих первого звена) с тем только изменением, что с XV в. пишется (хотя и не во всех списках), в соответствии с правописанием того времени, «смердіи».

Написание «азасмердиихолопъ» (в подлинниках текст написан слитно) само по себе можно было бы прочесть также «а за смерди и холопъ». Так именно и прочел это место К. Ф. Калайдович в первом издании Синодального списка.[3] Такое же разделение я встретил также в рукописи И. Д. Беляева, в списке, который издал П. Н. Мрочек-Дроздовский под именем Беляевского списка,[4] причем П. Н. Мрочек-Дроздовскому было неизвестно, с какой древней рукописи она снята, но, как я выяснил путем сравнения всей рукописи, это есть копия (не вполне исправная) со списка Ундольского III (XVI в.).[5] У Беляева написано, как и напечатал П. Н. Мрочек-Дроздовский, «О смерди и холопѣ. А смерди и холопъ...» (Но тут ошибка против рукописи: в ней написано в обоих случаях не «и», а «і», т. е. «О смердіи», «А смердіи»).

По поводу указанного чтения К. Ф. Калайдовича последовала суровая отповедь со стороны Н. М. Карамзина, который назвал такое чтение «ошибкой грубой».[6] Доводы Карамзина, исходившего из того, что «смерды были свободные люди, и ни в каком случае не могли равняться с холопями», не могут быть для нас убедительны, так как мы теперь знаем не только о холопьей зависимости, но и о зависимых феодальных отношениях, которые могли подводить и смерда к положению, близкому к положению холопа. Но все же чтение Калайдовича не может быть принято по другим основаниям.

Против него говорит прежде всего контекст статьи, где чередуются «ремественник» и «ремественница», «смердии холоп» и «роба», «кормилец» и «кормилица» и, наконец, о последних сказано «хотя си буди холопъ или роба»; во всех четырех случаях налицо чередование мужчины и женщины одного и того же социального состояния или занятия (во всех случаях в единственном числе). Во-вторых, в предыдущей статье мы встречаем то же окончание «ии» в прилагательном «конюшии» и в других местах текста: «конечнии», «воинскии» и др. В-третьих, когда устанавливается написание перед гласными «і», то мы видим в списках тут, как уже сказано, «смердіи холоп».[7]

Переходим ко второму звену списков Правды Кормчих книг.

---

[1] В подлиннике пропущена большая начальная киноварная буква «А». Следует читать «А за ремьствьника...»

[2] В рукописях буква «й» не употребляется. Буква «и» означает наши буквы «и» и «й».

[3] Русские достопамятности, ч. I, стр. 31, М., 1815.

[4] БЛ, Беляевского собрания, № 1574; П. Мрочек-Дроздовский. Исследования о Русской Правде, вып. 2, стр. 87, М., 1885.

[5] БЛ, Ундольского, № 820.

[6] История Государства Российского, II, прим. 67.

[7] В рукописях, впрочем, нет полного постоянства в орфографии.

Тут исходными видами являются *Мясниковский* и *Розенкампфовский*, которые очень отличаются друг от друга. Но рассматривать их нам сейчас следует вместе, так как они представляют две ветви, связанные между собою происхождением от одного общего списка, не дошедшего до нас. Это ясно по некоторым пропускам, свойственным обоим этим видам. В число их входит и пропуск фразы о смердьем холопе. Статья по Мясниковскому списку читается так (ст. ст. 12—14 по Калачову):

О РЕМЕСТВЕНИЦѢХ И О РЕМЕСТВЕНИЦАХ

За ремественика и за ремественицю 12 грі[венъ], а за рабу 6 гри[венъ]. а за искормилица 12 гри[венъ]. тако ж[е] и за кормилицю. хотя си буди холопъ или роба.

В Розенкампфовском списке разница сводится лишь к более краткому заголовку «*О ремественицѣхъ*», и вместо слова «искормилица» написано «кормилця». Слов «а за смердии холопъ 5 гривенъ» в обоих видах нет.

Списки Правды Мясниковского вида имеют много архаических черт, указывающих на раннее происхождение их протографа, а тем самым еще более на раннее происхождение общего протографа списков Правды этого звена (Мясниковско-Розенкампфовского). Сравнительное же изучение состава Кормчих первого и второго звеньев дает основание думать, что в протографе Кирилловской Кормчей еще не было Правды Русской и что, идя от одного общего протографа, она вошла, однако, отдельно в протографы Кормчих этих двух звеньев.[1] Таким образом, фраза о смердьем холопе была выпущена или при включении Правды в протограф Кормчей Мясниковско-Розенкампфовского звена или, может быть, еще и ранее.

За Розенкампфовским видом в классификации следует *Ферапонтовский*. Это тот же Розенкампфовский вид, но только с добавлением почти всего выпущенного в нем материала. Теперь пропущенные места переписываются из какого-нибудь списка Новгородско-Софийского вида (но более древней, не дошедшей до нас ветви); в числе их вносится и фраза «а смердіи холоп 5 гривен».

Ферапонтовский вид списков — позднего происхождения: образование его относится к XVI в. При этом фраза о смердьем холопе в основном — Ферапонтовском списке, как и несколько других мест, возвращающихся сюда, написана еще не в тексте, а на полях. Как известно, написание на полях — один из обычных в древних рукописях способов прибавлений, которые затем вносились уже в текст. Это мы и видим в дальнейших списках Ферапонтовского вида, в которых данная фраза, как и другие прибавления, написана уже в тексте.

Перед нами картина образования нового вида списков. И Ферапонтовский вид представляет редкий случай, когда до нас доходит или протограф или точная копия с протографа. До обнаружения этого списка было неясно время появления фразы о смердьем холопе, как и других мест, характерных для этого вида, а вместе с тем и самое время происхождения этого вида.[2] Теперь совершенно ясно, что и происхождение вида, и включение фразы о смердьем холопе относится к середине или ко времени около середины XVI в.

Но середина XVI в. — это время, когда Правда Русская потеряла

[1] При этом в протографе Кормчих первого звена — Правды, повидимому, еще не было; во втором же звене Правда сразу вошла в общий протограф Кормчих этого звена.

[2] Сп. Ферапонтова монастыря был открыт мною в 1935 г. в собр. Егорова, БЛ.

значение действующего источника права. Создателям этого вида было уже чуждо приспособление нашего памятника к потребностям жизни, чем могли руководиться создатели более ранних видов. Здесь же мы имеем механическое собирание материала.

Наконец, к Синодально-Троицкой группе относятся еще так называемые *сокращенные* списки, которых всего два — Толстовский IV (середина XVII в.) и список Оболенского (вторая половина XVII в.). Эти списки представляют собою сокращение списка Ферапонтовского вида с некоторыми изменениями, причем и сокращения и изменения указывают на стремление отобрать из нашего памятника тот материал, который мог иметь практическое значение для этого позднего времени. Здесь мы уже не находим не только фразы о смердьем холопе, но и вообще статьи о ремественнице: исключено все содержание этой статьи целиком.[1]

Такова общая история интересующей нас статьи в списках Синодально-Троицкой группы.

Был ли сделан пропуск статьи о смердьем холопе в Мясниковско-Розенкампфовском звене намеренно или бессознательно? Решение такого рода вопросов вообще очень трудно и требует детального анализа, какой в рамках настоящей статьи дать нельзя. Но тут характерно, что выброшена не вся фраза «а за смердии холопъ 5 гривенъ, а за робу 6 гривенъ»; выпущено только «а за смердии холопъ 5 гривенъ», слова же «а за робу 6 гривенъ» оставлены. Последние слова, действительно, не могли возбуждать никаких сомнений, так как в статьях Правды Русской о холопстве указывается, что за рабу полагается 6 гривен продажи (ст. ст. 106, 107). Сомнение могла вызывать только фраза о смердьем холопе, и она-то именно и выпущена.

Такое же чтение, как в Мясниковско-Розенкампфовском звене, встречается еще в одном списке Новгородско-Софийского вида — в Егоровском III списке из Кормчей конца XVI в.: в нем тоже выпущена фраза «а за смердіи холопъ 5 гривенъ».[2] Такой факт изменения в отдельном списке является непривычным, и если даже это сделано на основании знакомства со списками, где данная фраза выкинута, то все же показывает, что фраза эта заставляла задумываться.

Имеется и еще исключение в одном из списков Новгородско-Софийского вида — в списке Прилуцком 1534 г., в котором данное место читается так: «...а за смердь и холопъ 5 гривен, а за робу 6 гривенъ...», что можно прочесть также: «а за смерды холопъ».[3] Наблюдения над этим списком допускают и то и другое чтения. Так, встречается написание «от рьльиноя земли». Вместе с тем имеются и такие написания: «Всеволодь» (с «ь» в конце), «купецъ» и «купець». Но в целом, как бы мы ни читали — «за смердь и холопъ» или «за смерды холопъ», такое написание мало подходит к настоящему списку. В списке соответственные существительные имеют твердое окончание, а не «ь», а соответственные прилагательные имеют окончание или «іи» («конюшіи»), или «ыи» («клѣтныи», «воискыи» и др.), и слово «смердъ» пишется с «ъ» на конце (на л. 607 об. рукописи два раза).

[1] Но статья «О МУЖИ КРОВАВЕ» в этих списках является вставкой, представляющей сокращение особой отдельной статьи «О МУЖИ КРОВАВѢ», помещаемой в Кормчих Ферапонтовского вида (а также Розенкампфовского) непосредственно перед текстом Правды. Это не было известно В. Сергеевичу, работавшему не по рукописям, а по печатным изданиям, чем и объясняется, что он ошибочно считал эту вставку заимствованием из Краткой Правды (В. Сергеевич. Указ. соч., стр. 72).

[2] БЛ. Егоров., № 254.

[3] БЛ. Рогож., № 257.

Эти наблюдения могут показывать или то, что, встретив это место, писец затруднялся, как его прочесть, и дал неясное написание, или же что такое написание, в общем чуждое данному списку, привнесено.

IV

Списки Пушкинской группы заключаются в юридических сборниках.[1] Основными списками тут являются *Пушкинский* (Мусина-Пушкина) второй половины XIV в. и *Археографический* II середины XV в.

Синодально-Троицкая и Пушкинская группы по своему происхождению являются двумя ветвями, связанными между собою по одному общему списку. Эта генеалогическая связь между данными группами замечена была и ранее В. И. Сергеевичем, который считал, что списки Троицкий, Синодальный и подобные им представляют одну ветвь, а Пушкинский и Археографический II — «вторую ветвь списков, пошедших от первоначального текста Правды».[2]

В этой группе также пропущена интересующая нас фраза. Но пропуск здесь больший. Исключены слова: «а за смердии холопъ 5 гривенъ, а за робу 6 гривенъ, а за кормилца 12 гривенъ».

Следует ли считать этот пропуск преднамеренным, или он сделан бессознательно? Имея в виду уже сказанное мною о пропусках в текстах, как приеме изменения их, и по аналогии с тем, что сказано выше о списках Мясниковско-Розенкампфовского звена Синодально-Троицкой группы, следует и здесь смотреть на этот пропуск как на сознательный. Пропуск тут соединяется также с пропуском правила, касающегося «кормилца». Возможно, что и это пропущено намеренно, так как в памятниках термин «кормилец» (в значении воспитателя, дядьки) встречается не часто. Оставление же слов «хотя будетъ холопъ, буди роба» может быть объяснено тем, что они не теряли смысла и могли быть отнесены и к ремественику и к ремественице.

Как в Пушкинском списке, так и в Археографическом виде в разных местах пропущены отдельные слова, части фраз, целые фразы и даже статьи. Но совпадений по обоим видам в пропуске статей или целых фраз не встречается. Данное место, где пропущена целая фраза, которая к тому же представляет целую юридическую норму, является исключением. Этот факт служит лишним аргументом к подтверждению того, что пропуск тут сделан намеренно.[3]

В Пушкинском списке есть ряд искажений и пропусков, каких нет в списках Археографического вида. Уже это одно показывает, что Археографический вид не происходит от Пушкинского списка и что мы имеем тут две ветви, восходящие к общему протографу Пушкинской группы, в котором и была пропущена фраза о смердьем холопе. А при том положении, что Пушкинскую группу, как я уже сказал, следует считать особой ветвью, связанной с Синодально-Троицкой группой по общему прототипу Пространной Правды, пропуск этот показывает, что чтение «за смердии холопъ» было сочтено неудовлетворительным уже в ранний период истории Пространной Правды, и тогда же эта фраза выкинута.

---

[1] Четыре из этих сборников находятся в прибавлениях к другим рукописям (летописи, Кормчие книги).

[2] В. Сергеевич. Указ. соч., стр. 84.

[3] Из числа списков Археографического вида один—сп. Соловецкий V (1493 г.— ПБ. Солов., № 412/858) представляет особую сводную редакцию, добавившую недостающие места из других списков, причем из списка Новгородско-Софийского вида добавлена и фраза о смердьем холопе: тут позднее механическое собирание материала, как и в Ферапонтовском виде Синодально-Троицкой группы.

V

Карамзинская группа произошла в результате соединения содержания и разных черт, принадлежащих двум старшим группам — Синодально-Троицкой и Пушкинской. Кроме того, списки Карамзинской группы включили и некоторый материал, какого не было до тех пор в Правде.

Группа эта представлена двумя ветвями, восходящими к одному общему протографу. Из этих ветвей одна дошла до нас в единственном списке — Троицком IV (в сборнике начала XV в.), а другая в списках двух видов — Музейского и Оболенско-Карамзинского (в Софийской летописи),[1] старшие списки которых относятся тоже к XV в., но позднее Троицкого IV. В Троицком IV списке нет еще вставных статей о приплоде от скота и пчел, о прибытке от хлебных продуктов и о сиротьем вырядке. Эти статьи мы видим уже в списках Музейского и Оболенско-Карамзинского видов.

В тексте Троицкого IV списка имеется перебивка материала, связанная с тем, что один из предыдущих переписчиков перепутал тетради. Это отодвигает время написания такого рода списка по крайней мере на два предшествующих списка.

Составитель протографа Карамзинской группы показал себя хорошим систематизатором. Он искусно соединил материал, взятый им из разных списков, включив сюда и новый материал из других источников. Вместе с тем он внес немало новых разделений на статьи и новые заголовки. Эти черты отразились и на интересующей нас статье. Мы видим ее разделенной на две статьи (цитирую по Троицкому IV сп., написанному без киновари):

О РЕМЕСТВЕНИЦѢ.

А за ремественика и за ремественицю то 12 гривны.

О СМЕРДЬИ ХОЛОПѢ:

А за смердьи холоп 5 гривен, а за робу 6 гривен а за искормиличя 12 гривнѣ, тако ж[е] и за кормилицю. хотя си будет[ь] холоп или роба.

Итак, появился новый заголовок «О смердьи холопѣ». В самом же тексте статьи мы опять встречаемся с написанием «за смердьи холоп», т. е. с употреблением здесь «ь» подобно тому, как это мы видели в Прилуцком списке Синодально-Троицкой группы. Самое чтение тут, однако, яснее. Трудно прочесть раздельно, и следует читать «за смердьи холоп» в связи с заголовком «О смердьи холопѣ». Кроме того не в Правде Русской, а в другой части данной рукописи встречены написания «божьи храм», «божьи закон»; но пишется также «божии», причем встречается даже в том же сочетании «закон божии» (л. 5 об.).

Однако по сравнению этого чтения с другими местами самого Троицкого IV списка Правды не следовало бы ожидать окончания «ьи». Соответственные прилагательные в нем пишутся так: «конюшии», «конечнии» или: «боярски», «воински» и др. Слово «смердъ» пишется также с «ъ».

Таким образом и здесь встает тот же вопрос, что и в отношении Прилуцкого списка, т. е. не привнесено ли это чтение.

---

[1] Три из них — Музейский II и сп. Ундольского II и III — находятся в сборниках, представляющих выписки из Софийской летописи (ИМ, № 1009; БЛ, Ундол., №№ 1302 и 820).

Музейский и Оболенско-Карамзинский виды списков Правды, которыми представлена другая ветвь списков Карамзинской группы, являются, в свою очередь, двумя ветвями, связанными между собою по общему исходному списку.

В одной из них основным списком принят список Музейский II третьей четверти XV в., а в другой — список Оболенского II, который сходен с широко известным в литературе Карамзинским списком конца XV в., но старше его, относясь ко второй половине XV в. (до 1481 г.).

Музейский вид дошел до нас в двух разветвлениях. Основным списком в одном разветвлении является *Музейский,* в другом — список *Бальзеров* второй половины XV в.[1]

В Музейском списке интересующее нас место читается так:

О СМЕРДІИ ХОЛОПѢ.

А смердіи холопъ 5 гривенъ, а за робу 6 гривенъ а за искормилича 12 гривенъ, тако же и за кормилицу, хотя си будеть роба или холопъ.

Все отличие тут от списка Троицкого IV, а равно и от списков Синодально-Троицкой группы, заключается только в пропуске предлога «за» перед словом «смердіи». Самое же написание «смердіи» с буквой «і» вместо буквы «ѣ», имеющейся в Троицком IV списке, легко объясняется сбивчивой в результате юго-славянского влияния орфографией во второй половине XV и в XVI вв. — замена в рукописях букв «і», «ѣ», «е».

К Музейской ветви принадлежит еще только один список — Ундольского II конца XV в., различающийся тем, что в тексте написано «А смердии холопъ» (т. е. «и» вместо «і»).

В Бальзеровом списке мы находим заголовок *«О смердьи холопѣ»,* в тексте же «А смердеи холопъ». В других списках Бальзеровской ветви подобные же колебания: в заголовках то *«О смердьи холопѣ»,* то *«О семердеи холопѣ»,* то *«О смердіи холопѣ»;* в тексте же статьи «А смердеи холопъ», «А смердіи холопъ».

Один из этих заголовков *«О семердеи холопѣ»* сам по себе может навести на мысль, не следует ли читать «О семердѣ и холопѣ». Но встречающиеся в тексте статьи в этом списке (Толстовский V) слова «А смердіи холопъ» показывают, что и заголовок нужно читать, вероятно, «О семердеи холопѣ».[2] Не исключена, однако, возможность, что писец этого списка думал, что речь идет действительно о смерде и холопе, и выразил это в заголовке, а в самом тексте оставил так, как было: «А смердіи холопъ».

Музейский вид является мало исправным видом. В разных списках этого вида Музейской и Бальзеровской ветвей мы находим искажения в словах, пропуски, а также перебивку материала, а в одном из списков (Воронцовском)[3] — пропуск значительной части текста во второй половине Правды.

Более исправным оказался другой вид списков, который представлен списками Оболенского II и Карамзинским. Этот вид по своей преемственности стоит ближе к первоначальному списку того типа, который образовался со вставкой статей о приплоде скота и проч., ибо из этих двух видов Музейский мы имеем в двух разветвлениях,

---

[1] ИИ, собр. Археограф. Комиссии, № 23.
[2] ПБ, F. IV. № 211 (Толст., отд. I, № 36).
[3] АН, 34. 2. 31 (Воронц., № 219).

а Оболенско-Карамзинский дошел до нас без разделения и притом в списках, очень сходных между собою. Поэтому, несмотря на то, что по деталям словарного состава Музейский вид ближе, повидимому, к протографу, он в существе чтений уступает виду Оболенско-Карамзинскому. Но вместе с тем в Оболенско-Карамзинском виде есть и сознательные изменения.

Среди изменений, имеющихся в этом виде, мы встречаем и изменения в интересующей нас статье, которая читается так (цитирую по списку Оболенского II): О смеРДѢ и хоЛОПѢ.

А за смердъ и холоп 5 гривенъ. а за робу 6 гривенъ. а за искормилича 12 гривенъ. тако же и за кормилицю хотя си будеть холопъ или роба.

Как заголовок, так и самая статья совершенно ясно указывают, что речь идет тут не о смердьем холопе, а о смерде и холопе. Но акад. М. А. Дьяконов и это чтение берет под сомнение. Он предполагает возможным читать: «А за смердъи холопъ 5 гр.»[1] Однако так читать неправильно не только потому, что это было бы явной натяжкой само по себе, но и потому, что это расходится с написанием соответственных прилагательных во всем тексте списков Оболенско-Карамзинского вида, т. е. в списках Оболенского II и Карамзинском, в которых мы встречаем «огнищныи», «коневыи», «конечныи», «мѣсячныи», «закупныи», «знаменыи» и др. (слова «огнищныи» в списке Оболенского II недостает).

При этом, если читать «смердъи холоп», то в таком случае и заголовок мы должны были бы читать «О смердѣи холопѣ». Но список Оболенского II ясно показывает, что так прочесть нельзя. В заголовках списка Оболенского II киноварью пишутся только последние буквы слова, первые же одна, две или три буквы пишутся обычными черными чернилами. Это указывает на то, как писец делил текст на слова. В приведенном заголовке киноварью написаны в слове «смердѣ» три последние буквы «РДѢ» и в слове «холопѣ» четыре последние буквы «ЛОПѢ». Таким образом, «и» отделено от слова «смердѣ» и нельзя прочесть «смердѣи».

До образования Карамзинской группы исправлению чтения «за смердіи холопъ» на чтение «за смердъ и холопъ» могло мешать и то разделение на статьи, которое установилось в Синодально-Троицкой группе, где «смердіи холопъ» был соединен с ремественником и ремественицей, в которых писцы должны были видеть рабов в отличие от рядовичей, о каковых упоминалось в другой статье.

В Карамзинской же группе, как мы видим, постановление о ремественике и ремественице было выделено в особую статью. «Смердіи холопъ» при таком положении оказался в соединении только с кормилцем (искормиличем) и с кормилицей, о которых прямо было указано, что они могут быть как свободными, так и рабами: «хотя си будетъ холопъ или роба». Но свободные кормилец и кормилица — это и есть смерды. Таким образом, уже фраза о кормилце (искормиличе) говорила о смерде и холопе. Оставалось перевести это и на предыдущую фразу данной статьи. Переписчики списков Музейского вида, в общем вида неисправного, до этого не дошли. Составитель же протографа списков Оболенского II и Карамзинского сделал этот логический вывод, находившийся в согласии и с фактическими жизненными отношениями.

---

[1] М. Дьяконов. Указ. соч., стр. 77.

VI

Подведем некоторые итоги.

Статья, чтение которой мы проследили, появилась первоначально в Краткой Правде и говорила о смерде и холопе, предписывая за убийство того и другого одинаковое вознаграждение — 5 гривен. В соответствии с общим стилем Краткой Правды эта норма давалась в казуистическом виде, относясь к смерду и холопу, занятым в княжеском хозяйстве. В одном из дальнейших списков Правды эта статья, может быть отчасти и по созвучию слов, была изменена так, что речь в ней шла уже не о смерде и холопе, а о смердьем холопе, т. е. о холопе, принадлежащем смерду.

Составитель Пространной Правды, использовавший наряду с другими материалами и Краткую Правду, получил испорченный, частично измененный список ее, в том числе с указанным изменением интересующей нас статьи. Анализ отношения составителя Пространной Правды к материалу, которым он пользовался, показывает, что в содержание самого материала по существу он вносил мало изменений. Его изменения в отношении норм материального права носили внешний характер — это, главным образом, расширение материала, обобщение и систематика. Изменения же по существу вносились, главным образом, в части, касающейся административно-судебного порядка, а также размера и упорядочения разных сборов.

Составитель Пространной Правды, сохранив фразу о смердьем холопе по существу в том виде, как она была в испорченном кратком списке, дал ее только в ином синтаксическом согласовании: «а за смердии холопъ 5 гривенъ», и ради систематики прибавил: «а за робу 6 гривенъ» в параллель с ремественником и ремественицей, с кормильцем и кормилицей.

От этого первоначального пространного списка и пошел ряд других списков. Но скоро уже эта редакция не удовлетворяла. Последовали изменения. Такова ветвь, которую представляет Пушкинская группа, идущая еще от прототипа Пространной Правды. Среди же списков Синодально-Троицкой группы возникла ветвь, представленная теперь видами Мясниковским и Розенкампфовским. Так могли появиться аналогичные изменения и в некоторых отдельных списках, как, например, Егоровский III. Но все эти изменения производились в пассивной форме: фраза о смердьем холопе выпускалась, и ничего взамен ее не вносилось.

Наряду с этим, впрочем, может быть внесено было и изменение в прямом виде путем написания «А за смердь и холопъ», которое, однако, можно было также прочесть «А за смерды холопъ. Но когда бы ни появилось такое написание, даже если предположить, что так именно и было написано вначале, а не «за смердии холопъ», — самый контекст фразы не давал удержаться этому чтению, ибо по контексту, как я уже говорил, скорее можно было думать о смердьем холопе и о рабе. Потому это чтение и не могло получить распространения. Мы его находим только в двух списках (Прилуцкий и Троицкий IV), да и самое появление такого чтения могло стоять в связи с орфографией — смешением «ъ» и «ь», с одной стороны, и с заменой букв «ь—е—і» — с другой.

Карамзинская группа дает нам образец довольно совершенной систематики. Но в смысле отношения к самому содержанию текста составитель протографа этой группы не стоял выше составителя прототипа Пространной Правды. Этим надо объяснить, что в Троицком IV списке мы не видим по существу изменения в данной статье в сравнении с чтением ее в Синодально-Троицкой группе. Впрочем,

по этому списку, может быть, можно заключить все-таки о некотором колебании или у составителя протографа Карамзинской группы, или у одного из последующих писцов, или же у писца самого Троицкого IV списка. Таково именно чтение «смердьи холоп», которое можно было прочесть и как «смердь и холоп».

Составитель протографа двух других видов Карамзинской группы — Музейского и Оболенско-Карамзинского, т. е. составитель протографа Правды, помещавшейся в Софийской летописи, показал недостаточное понимание памятника, включив чуждые ему статьи о приплоде от скота и пчел, о прибытке от хлебных продуктов и о сиротьем вырядке. Эта плохая ориентировка не давала основания ждать изменения в нашей статье ни в протографе Правды Софийской летописи, ни в Музейском виде списков, который является видом мало исправным, имеющим ряд искажений.

Но другой вид этой группы — Оболенско-Карамзинский — явился исключением не только из всех списков Карамзинской группы, но из всех вообще списков Пространной Правды. В нем текст нашей статьи изменен по существу, и вместо статьи о смердьем холопе мы тут находим статью о смерде и холопе. Такое содержание статьи, приравнивающее смерда к холопу, автор этого вида мог взять из живой действительности своего времени, а может быть и по аналогии с какими-нибудь письменными источниками. С внешней же стороны его могло натолкнуть на такое изменение и то написание, которое мы видим в Троицком IV списке: «А за смердьи холоп», что можно было прочесть также: «А за смердь и холоп». Оставалось только изменить заголовок, переменив в нем букву «ь» на букву «ѣ»: получилось «О смердѣ и холопѣ».[1]

Но как бы то ни было, нельзя не видеть, что противоречия в чтениях данной статьи, даже самая возможность смешения по созвучию двух разных чтений, колебания писцов при написании этой статьи — все это согласуется с тем положением, в котором находились смерды, с тем переходным состоянием, когда начался и шел все дальше процесс расширения феодальной зависимости их и когда экономическое положение все большей части смердов постепенно могло подводить их к положению холопов. Но по старым юридическим понятиям смерд все же оставался свободным, и для новой феодальной зависимости наша древность не нашла еще термина. Исконное право у всех народов древности, принадлежавшее свободному человеку, — это право иметь раба. Пусть действительность уже не давала смерду возможности пользоваться этим правом, но формально это считалось допустимым. И древний писец, даже если он задумывался над вопросом о смердьем холопе, но если только хотел строго держаться текста, с которого переписывал, мог переписывать эту фразу без изменения, вовсе не считая, что смерды его времени действительно имеют рабов, а лишь повторяя исконное представление о смерде, не как о холопе, а как все же о свободном.

Вопрос о смердах в древней Руси поставлен по-новому и разработан в последних работах акад. Б. Д. Грекова о феодальных отношениях в Киевском государстве.

Те противоречивые чтения, которые мы видим в рассмотренной нами статье Правды, находятся в согласии с выводами Б. Д. Грекова, который различает «две группы смердов: 1) данников, не попавших

[1] В настоящей статье нам не приходится задаваться вопросом определения дат появления протографов разных групп и видов Правды. Наметить время их появления если и можно, то, конечно, только приблизительно; и такого рода опыт в возможных пределах следует отнести уже к общему очерку истории текста нашего памятника,

в частную феодальную зависимость от землевладельцев, и 2) освоенных феодалами смердов, находящихся в той или иной степени зависимости от своих господ».[1]

Все это объясняет наличие двух различных выражений этой статьи: в одних списках чтение о смерде и о холопе, в других — о смердьем холопе, и исключение этой статьи в третьих.

Но как объяснить большое количество списков с чтением «А за смердін холопъ», которое в общем не отражало действительности?

Наблюдения над древними рукописями показывают, что целый ряд совершенно явных искажений переходил очень легко из одного списка рукописи в другой. Среди рукописей же, в которых находится Правда Русская, большая часть принадлежит к Кормчим книгам. Переписывались они монахами или дьячками в большом количестве, так как нужны были для каждой церкви. В составе этих громадных по размеру рукописей было много юридических памятников византийского происхождения, которые почти никакого применения в русской жизни не имели и были даже непонятны переписчикам. Разобраться во всем материале Кормчих книг было не под силу писцам, да они и не задавались такой целью. И только очень редкие из них позволяли себе вносить то или иное изменение; и из таких-то писцов некоторые и явились создателями или особых видов или даже таких видов, какие мы можем признать редакциями. Только при таком отношении писцов к переписываемому материалу редакция той или иной статьи, хотя бы и совершенно не отвечавшая действительности, могла крепко удержаться, особенно если она шла от такой, например, авторитетной рукописи, как Кормчая Новгородско-Софийского собора.

А когда Правда Русская стала уже терять значение действующего источника права, тогда проявилась иная тенденция — тенденция к собиранию материала из разных списков Правды, а также и из других источников, вне зависимости от того, насколько те или иные прибавления соответствовали жизни. Таким образом, как мы уже видели, создался Ферапонтовский вид списков, возникший в XVI в. Эта же тенденция к собирательству отразилась и на Карамзинской группе. Все это придает такого рода спискам характер частью не юридических, а литературных памятников.

Наконец, нельзя упускать еще одного обстоятельства. Переписчики Правды Русской знали, что они переписывают памятник времени Ярослава, т. е. пишут о временах давно прошедших. Пусть в их время такой факт, чтобы смерд имел раба, не мог иметь места. Но так ли было всегда? Во времена Ярослава могло быть иначе. Так могли думать переписчики Кормчей книги, и чем позднее, тем легче было так думать (а ведь большая часть дошедших до нас списков — это списки XVI в.). Тем более это относится к переписчикам летописей, т. е. таких памятников, которые целиком были посвящены не настоящему, а прошлому времени.

Так из случайно возникшего чтения о смердьем холопе, которое или не отражало уже действительности в момент написания, или если и отражало, то главным образом с точки зрения признания еще смерда свободным человеком, из чтения, которое возникло, может быть, по созвучию, могла создаться своего рода легенда, которая прошла через большое количество списков и была принята исследователями за историческую истину.

---

[1] Б. Греков. Киевская Русь, стр. 130, М. — Л., 1939.

М. Н. ТИХОМИРОВ

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ЛЕТОПИСНЫЕ ПАМЯТНИКИ XVI В.

I

ПОВЕСТЬ О ПОИМАНИИ КНЯЗЯ АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА СТАРИЦКОГО

В XVI в. внимание современников нередко привлекали феодальные распри, происходившие между членами правящего дома Калиты. Почти все летописцы рассказывают о «поимании» князя Андрея Васильевича в конце XV в. и о трагической кончине Дмитрия-внука. В первой половине XVI в. такое же внимание летописцев привлекала к себе гибель братьев Василия III — Юрия Ивановича Дмитровского (в 1533 г.) и Андрея Ивановича Старицкого.

Официальная версия о причинах «поимания» князя Андрея Старицкого изложена в Воскресенской летописи.[1] Виновными в бегстве Андрея объявляются «лихие» люди, наговаривавшие князю о тайных планах, которые замышлялись против него боярами и великой княгиней Еленой. Но эта официальная версия плохо уживалась с действительным характером событий 1537 г. В неизданной Вологодско-Пермской летописи[2] прямо говорится, что великая княгиня Елена, «здумав» с боярами, вызвала князя Андрея в Москву, чтобы здесь захватить его в свои руки. Такую же версию дает печатаемая ниже повесть. Характерен уже самый заголовок повести: «О князе Ондреи Ивановичи, егда бысть гоним гневом божиим, грех ради наших». Такой заголовок мог сделать только сторонник претензий князя Андрея. По словам автора повести, князь Андрей «пошол из своей отчины из Старицы, истерпевшись от своих великих обид». Автор повести подробно следит за князем Андреем во время его пути от Старицы к Новгороду и от Новгорода к Москве. В то же время повесть ярко рисует всю безнадежность сопротивления князя Андрея московскому правительству. Когда князь Андрей узнал об измене некоторых своих боярских детей, он «повеле то закрыти, понеже не всех тех переветати, бе бо их умножишася изменников тех».

Интересно самое происхождение повести. Она помещена в конце большого летописного сборника, принадлежащего Государственному Историческому Музею в Москве (Синод. собр. № 645). Большую часть этого сборника занимает список так называемой Уваровской летописи (см. ПСРЛ, т. XXIII). Рукопись принадлежала в XVIII в. Троице-Сергиеву монастырю. Текст летописи оканчивается, как и в Уваровском списке, 1518 годом, после чего помещены следующие заметки: «В лето 7052 (1544) апреля в 24 день. На память святаго мученика Савы Стратилата преставися княгиня Олександра Вязем-

[1] ПСРЛ, VIII, стр. 292—295. В Софийской 2-й и в Львовской летописях даются иные известия о том же событии, но также основанные на официальных данных.

[2] Гос. Ист. Музей, Синод. собр., № 485.

ская в черницах и в скиме и положена бысть у Олексея человека божия, в Девиче монастыре на Москве, а роду она Оболенских князей. В лето 7041-го декабря в 4 день на память святыя великомученици Варвары. Преставися благоверный христолюбивый князь великый Василей Иванович всея Руси, во иноцех скимник Варлам. Того же месяца в 11. На память преподобнаго отца нашего Данила столпника великая княгиня Елена и сын ее князь великий Иван Васильевич всеа Руси поимаша дядю своего князя Юрья Ивановича Дмитровского, и посадиша его на Москве в полате».

После этих заметок на листах 423—427 помещена повесть.

Наше внимание обращает имя княгини Вяземской, которая происходила из рода Оболенских князей. Князь Юрий Андреевич Оболенский был дворецким Андрея Старицкого. Автор повести восхваляет мужественное поведение князя Юрия Оболенского и его преданность своему удельному князю. Можно предполагать, что повесть была написана каким-то лицом, близким к Оболенским. Повесть осталась незаконченной и обрывается на полуслове, но судьба Старицкого князя известна и без того. Любопытнее следующее известие: «и посадиша его (Андрея Старицкого) в заточенье на смерть, и умориша его под шляпою железною, а княгиню с сыном Владимиром посадили во дворе за стражу».[1]

Нельзя сказать, чтобы издаваемая повесть была совершенно неизвестна в литературе. Выдержки из нее приводятся у С. М. Соловьева и Н. М. Карамзина, но повесть заслуживает быть изданной целиком.[2]

О князе Ондреи Ивановичи, егда бысть гоним гневом божиим, грех ради наших.[3] Понеже наиде на него страх, что князь великий Иван Васильевич всея Руси и мать его великая княиня Елена изымаша брата его князя Юрья Ивановича Дмитровского, и оттоле начат князь Ондрей Иванович страх в сердци держать. В лето 7045-го князь великий Иван Васильевич всея Руси и мать его великая княиня Елена нача помышляти, как бы им князя Ондрея Ивановича изымать, яко ж и брата его князя Юрья Ивановича и как бы от князя Ондрея людей его от нево отвести. И послаша ко князю Ондрею в Старицю князя Бориса Щепина Оболенского и повеле ему от собя послать на Коломну воеводу своего князя Юрья Ондреевича Оболенского Большого, а с ним детей боярских многих. А князю Борису повеле то видети, чтобы пред ним князь Ондрей Иванович послал на Коломну воеводу своего и колько с ним пошлет детей боярских. Князь же Ондрей Иванович по веленью великого князя послаша на Коломну воеводу своего князя Юрья Оболенского Большого, а с ним дворян своих многых и детей боярьских городовых, старичен и олексинцов и вереич и вышегородцов. И того же месяпа в 12 князь Ондрей Иванович послаша боярина своего князя Федора Дмитреевича Проньского к великому князю к Ивану и к матери его к великой княине Елене бити челом о своих великих обидах. И бысть же князю Федору в селе в Павловском вь Яковлеве

[1] Гос. Ист. Музей. Заб. № 261 (Новгород. Хронограф, л. 419 об.).
[2] С. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. II, стр. 11; Н. Карамзин. История Государства Российского, VIII, прим. 16, СПб., 1842.
[3] Курсивом набраны строки, написанные киноварью.

Поплевина на реки на Истре за 30 поприщ от Москвы, и встретиша его нехто от великого князя дворян Иван Меншой Федоров сын Карпова, а с ним дети боярские, и яша князя Федора и ведоша его к Москве и возвестиша о нем великому князю. И князь же великий повеле князя Федора посадити внутре городе на княжо на Ондрееве же дворе на Ивановича. Того же лета майя в 2, на принесение мощем святых праведных мучеников страстотерпцех боголюбивых князей руских Бориса и Глеба князь Ондрей Иванович пошол из своей отчины из Старици истерпевшись от своих великих обид, и бысть ему первой стан в Новоторжском уезди в Бернове в Васильеве селе Малого.

О изменниках княжо Ондреевых Ивановича. Нехто ото княжо Ондреевых Ивановича дворян князь Василей княж Федоров сын Голубов случися ему па том стану сторожа: а с ним дети боярьские стрегли и утоясь они от детей боярских с того стану побегоша ото князя от Ондрея к Москве а наперед собя он ещо из города из Старици послал к Москве слугу своего Ерему к великого князя дьяку к Федору к Мишурину с тою вестью, что князь Ондрей Иванович пошол из Старици. И бысть князю Ондрею третей стан, проехав Волочок Вышний на реке на Цне, и оттоле от него побегоша дети боярские два Валуевых, Василей да Ондрей Мешковы братья Валуева, да Проня Бекетов сын Дедевшина, да Вешняк Дурной Ефимов сын Харламова, и те убегоша, а Ондрея Валуева княжо Ондреева Ивановича стражи ухватиша и приведоша его ко князю. Князь же Ондрей велеша его у стражей взяти ближнему своему дворянину Каше Васильеву сыну Агаркову, и повеле его блюсти крепко. Каша ж Огарков повеле людем своим Ондрею Валуеву связати руце и нозе и вергоша его в озерко в одной срачици, а главу ему выскитиша на брег озерка того, дабы он не залился, и пыташа у него, многих ими в думе было измените князю. Он же сказаша на многих. Каше же речи Ондреевы сказаша княжо Ондрееву Ивановича дворецкому князю Юрью Ондреевичу Оболенскому. Князь же Юрьи взяша с собою Кашу Огаркова и сказаша князю Ондрею Ивановичу все поряду, что Каша сказывал Ондреевы речи. Князь же Ондрей то слышав у своего дворецкого у князя Юрья з(!) Каши своих детей боярских измену, и повеле то закрыти, понеже не всех тех переветати, бе бо их умножишася изменников тех, грех ради государевых, которых князь Ондрей Иванович чаял собе неприиними (!) слугами, те все с ним ездиша во отступленья ума своего, богатства ради, понеже бо у них остались жоны и животы их сильные и не разсудиша того, где то хто взял и у кого выслужили, и забыша бога и правды, и все с ним ездишь весеце вел (!)[1] и упився безумьем своим яко пьяни. В то время слышав на Коломне княжь Ондреев Ивановича воевода князь Юрьи Оболенской, что князь его пошол из своее отчины, и начат молитися со слезами

[1] Чтение явно испорчено.

пред образом Спасовым и пречистые его матере царици небесные, дабы спас человеколюбец и пречистая богородица сподобили его доехати своего государя князя Ондрея Ивановича. И взем бога на помоч и утоясь у воевод великого князя и детей у боярских, поехаша с Коломны своего князя доежжати и Волгу лез под Дегуниным и перевезшись повелеша суды перевозные просечь. И наехаша князя своего на Ноугородцкой дороге, на речке на Березае, мало не доехав Едрог-яму. Видев же князь Ондрей Иванович приезд воеводы своего князя Юрья Ондреевича Оболенского и рад бысть ему вельми и обещася его жаловать и одариша его дарми многими и учиниша ему честь велию пред всеми. И бысть же князю Ондрею Ивановичу в Тухолех, приидоша на него с Москвы великого князя воеводы, князь Иван Федорович Телепнев Оболенского Овчина, да князи Роман Иванович Одоевской, да князь Дмитрей Иванович Оболен[ский] Шкурлетев да князь Василей Федорович Оболенский Лопатин да окольничей Дмитрей Данильевич Слепой, и прочии воеводы. Бысть же перед московскими воеводами Чертову Василей Прокофьев сын Розладина Квашник и начаша наступати на княжо Ондреевых на Ивановича сторожов на задних, а в сторожех был от князя, ото Ондрея на заде Иван Борисович Колычов. Князь же Ондрей Иванович сташа и ополчишася и восхотеша с воеводами с великого князя битися. И великого князя воеводы князь Иван Федорович Овчина и прочии воеводы начаша посылати ко князю Ондрею, чтобы против великого князя не стаял и крови кристианские не пролил, а государь тебя князь великий Иван Васильевич и мать его великая княиня Елена пожалуют, отпустят тебя на твою отчину невредимо и твоих бояр, детей боярских. И того дни не успеша дела в слове положити, понеже бо приспе вечер. И с того стану ото князя от Ондрея побежали князь Констянтин княж Федоров сын Проньского, да шут его Гаврила Воеводич да ключник погребной Волк Ушаков. И на завтрея воеводы великого князя даша правду князю Ондрею Ивановичу и крест целовали на том, что великому князю Ивану Васильевичу и матери его великой княине Елене князя Ондрея Ивановича отпустить на его вотчину и сь его бояры и з детьми з боярскими со всем невредимо. И оттоле князь Ондрей Иванович возвратися к Москве. И бывшу же князю Ондрею Ивановичю близь Москвы у Николы святого на Хынске и нехто ото княж Ондреевых Ивановича столпников (!) князь Иван Ших Чернятинской, видев государя своего князя Ондрея Ивановича незгоду нача советовати з столпники (!) с княж с Ондреевыми, дабы ему сложити с собя князю Ондрею Ивановичу крестное целованье, убоявся поиманья от великого князя и не добыша собе поборника никогого же. Бысть же у посаду у Москвы против Хлынова и нача складывати с собя крестное целованье Ивану Ивановичу Колычеву Умному, что бы князю сказал. Иван же Умной в том ево слове отрече... (текст кончается точкой на полстроке).

II
КРАТКИЕ ЛЕТОПИСНЫЕ ЗАПИСКИ ЭПОХИ ОПРИЧНИНЫ

Вторая половина XVI в. не отличается обилием летописных известий. Большая часть летописных сводов доведена до половины XVI в. или обрывается еще ранее. Главным источником для истории 50—60-х годов XVI в. является Никоновская летопись и ее продолжение. Ряд интересных сведений, но главным образом местного характера, находим в псковских летописях. К числу местных летописей относится также печатаемый краткий летописец, который находится в летописном сборнике Государственного Исторического Музея (Синод. собр., № 939). В состав летописного сборника, написанного разными почерками XVI в., входит краткий летописец, представляющий собой выдержки из какого-то свода, близкого к Воскресенской летописи. Летописец кончается 1532 годом, после чего другим почерком XVI в. приписано еще несколько известий 1533 г. Последние известия говорят о построении церкви в селе Коломенском («князь великий Василей постави церковь камену Взнесение господа нашего Исуса Христа вверхъ на деревяное дело в своем селе в Коломенском») и рождения Юрия Васильевича и др. После этого другим почерком конца XVI в. написаны краткие летописные известия с 1533 по 1574 гг.

Наиболее интересны записи за 1566—1576 годы. Этот период особенно слабо отражен в наших летописях, несмотря на его глубокий исторический интерес. Отдельные заметки нашего памятника несомненно помогут осветить темные и загадочные моменты в эпохе опричнины. Так, по случаю кончины Марфы Собакиной в 1570 г. летописец замечает, что «того же году и мор был силен по всей Русской земле». Любопытны сведения летописца о князе Владимире Андреевиче Старицком. Рассказав об его «нужной», т. е. насильственной, смерти вместе с матерью, женой и дочерью, летописец говорит, что в живых были оставлены только сын Владимира (Василий) и его меньшая дочь, отданная за королевича (Магнуса). Василий позже получил даже «вотчину» своего отца, город Дмитров, и умер в 1574 г. Это известие рисует нам Ивана Грозного в ином свете, чем показания иностранцев, рассказывающих о поголовном уничтожении детей Владимира Старицкого. В лице Василия Владимировича мы имеем, таким образом, последнего удельного князя, если не считать царевича Дмитрия Углицкого.

Наше внимание останавливает и другой любопытный факт — отсутствие в летописце известий о разорении Новгорода Грозным, хотя под 1570 г. упоминается о свержении с новгородского архиепископского стола Пимина и о поставлении Леонида с характерной припиской: «тогда же многих бояр и приказных людей казнили».

Летописный сборник, где помещены краткие заметки, в XVII в. принадлежал Кириллово-Белозерскому монастырю. В заметках на полях рукописи, пополняющих текст, также говорится о Кириллове монастыре. Но в тексте летописи есть указания на Вологду. Повидимому, летописец первоначально был написан в Вологде, а позже, не позднее конца XVI в., с него была снята копия в Кирилловом монастыре. На известия летописца обратил внимание еще П. М. Строев, отметив его как любопытный «для времени ц. Иоанна IV»; [1] но это указание не было использовано позднейшими историками. В рукописи краткие летописные заметки помещены на листах 100—106.

[1] П. Строев. Библиологический словарь, стр. 363, СПб., 1882.

При дальнейших поисках несомненно будут найдены и еще некоторые записи эпохи опричнины. Так как это время освещено в литературе очень слабо, то небесполезно указать на несколько известий, записанных в различные хронографы и неизвестных или мало известных в исторической литературе. Таков, например, летописец XVII в., принадлежавший в 1770 г. С. П. Кострову. В нем читаем следующие известия времени Грозного: [1]

«В лето 7074-го (1566) году. Великий государь царь и великий князь Иван Васильевичь Московский и всеа Росии самодержец учинил у себя на Москве опришлину, перешел из Кремля города из двора своего, перевезся жити за Неглинну реку на Воздвиженскую улицу, на Арбат, на двор князь Михайловской Темрюковича, и изволил государь на том дворе хоромы себе строити царьские и ограду учинити, все новое ставити. Такожде повеле и в слободе ставити город и двор свой царьский, а князем своим и боляром и дворяном велел в слободе дворы ставити и избы розрядные и почал государь в слободе жити князь великий Иван Васильевичь со всеми боляры своими а к Москве стал приезжати з боляры своими на время как ему годно...

Лета 7077 (1569) году. Царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии самодержец, силный и храбрый, громил в осень славный и великий Новград. Того же году недород был великой хлебного плоду: рожь обратилась травою мялицею и бысть глад велий по всей вселенней.

О совершенном разорении Великого Новеграда. В лето 7078 (1570) году государь царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Руси собра все свое воинство и поиде на Великий Новград, и тамо многое множество людей новгородских побиша и богатества много взяша. Такожде поиде и ко Пскову граду и Псков много воевав и богатество бесчисленное множество взяли московское воинство. И громил их за то царь Иван Васильевичь за их измену великую, что новгородцы хотели здати Великий Новград и другий град Псков с пригородки своими и хотели обоими городами поклонится королю литовскому отдати...

Того ж (7089) лета по повелению великого государя царя и великого князя московского и всея Руси бысть на Москве казнь великая всяких чинов людем за их вину, а на площади казнили гостей изменников и торговых людей и воинских и иных по рассмотрению своему, кто чего достоин, и после того времяни бысть на Москве тишина велия в людех и безмолвие великое во всех русских городех».

Следует отметить, что эти казни совпадают с осадой Пскова Стефаном Баторием.

Приводим текст кратких записей, о которых говорилось выше.

1533 г. Лета 7042. Преставися князь великий Василие Иванович всеа Русии, был на государстве 26 лет, а всех лет поживе 54 лета. По нем седе на государьстве сын его князь великий

[1] Всесоюзная Б-ка им. Ленина, Ундольск., № 110, л. 219 и сл.

Иван с материю своею великою княгинею Еленою. Тое же зимы князя Юриа Ивановича поимали.

1535 г. Лета 7043. Воеводы государевы князь Михайло Кислогорбатой да князь Иван Овчина воевали Литовскую землю у Мстиславля и острог взяли. Тое же весны заложен бысть на Москве другой город камен. Того же лета литовские люди пришед, а с ними изменники государевы князь Семен Бельской да Иван Ляцков Стародуб взяли.

1536 г. Лета 7044. Князь Юрий Иванович в нужи преставися. Того же лета город на Болахне поставили.

1537 г. 7045-го. Поиман бысть князь Андрей Иванович и посажен в набережной в оружейничей полате.

1538 г. Лета 7046. Князя Андреа Ивановича декабря не стало в нужи. Тое же весны априля преставися великая княгини Елена, а князь великий после матери 8 лет.

1539 г. Лета 7047. Сведен бысть с митропольи Данил и сослан в Осифов, а на его место в митрополиты поставлен бысть Асаф Скрыпицын, игумен Троицкой.

1541 г. Лета 7049. Князя Володимира Андреевича государь пожаловал из нятства и с материю выпустил. Того же лета приходил на Оке к берегу Крымский царь, а с ним государев изменник князь Семен Бельской. И божьею помощию устрашася государева воинства возвратися вспять.

1542 г. Лета 7050-го. Асафа с митрополии свели и в Кирилов сослали, а на его место в митрополиты поставили Макариа архиепископа Новгородцкаго. Того же лета поставлен бысть в Новгород архиепископ Феодосей, игумен Хутынской.

1544 г. 7052. Свершена бысть на Москве церковь Воскресение Христово на площади. Того же лета убиен бысть князь Андрей Михайлович Шуйской.

1546 г. Лета 7054-го. Казнил государь на Коломне князя Ивана Кубенского да Демида да Василья Михайлова Воронцовых.

1547 г. Лета 7055. Был государь зиме в Новегороде и во Пскове и на Тихвине помолитись и приехав к Москве нарекся царем государем и женился, а понял дщерь Романа Юрьевича Анастасию. Того же лета пожар был болшой на Москве.

1548 г. 7056-го. Пошол был государь х Казани и воротился в Работки.[1]

1550 г. Лета 7058-го. Был государь под Казанью зимою.

1551 г. Лета 7059-го. Позлащен бысть верх на Москве у Пречистыя у соборныя. Тое же зимы новгородцкую архиепископию Феодосей оставил, а на его место поставлен бысть архиепископ

[1] На полях вставлено другим почерком конца XVI в.: «Того же лета Жигимонта короля Польского не стало, и на его место посадили на королевство сына его Жигимонта Айгустуса». Далее на полях тем же почерком: «Лета 7057 в Новгороде в Великом у Софеи за олтарем под диачими избами обретены мужей и жен 21 мощи во плоти с знамены, а на иных и ризы не истлеша, а паметухов на них нету».

Пимин. Того же лета на Свиаге город поставили. Того же лета на Проне Михаилов город зарубили.

1552 г. Лета 7060. Приходил к Туле Крымской царь, а князь великий в ту пору на Коломне был, и царь к берегу не пошел, воротися, а князь великий с Коломны шед Казань взял 61-го, октября 1.

1554 г. Лета 7062-го. Родися великому князю сын царевич Иван. Того же лета князь Юрьи Шемякин с товарищи шед Асторахань взяли.

1555 г. Лета 7063. Поставлен бысть первый архиепископ в Казань Гурей Полев. Того же лета Николин образ Великорецкого был на Москве. Того же лета Ивапу Большому Шереметеву было со царем Крымским на поле дело.

1556 г. Лета 7064-го. Князь Петр Щенятев с товарищи Свейскую землю воевали. Того же лета князь великий в Серпохове был и людем служилым большой смотр был.

1557 г. Лета 7065-го. Родися великому князю сын царевич Федор.

1558 г. Лета 7066. Приехал к великому князю служити князь Дмитрей Вишневецкой. Того же лета царь Шигалей да князь Михайло Глинской воевали ливонских немец. Того же лета воеводы государевы поимали ливонские городы: Юриев болшой, Сыренеск, Керепеть, Ракобор, Лаюс и иные ливонские городки поимали.

1559 г. Лета 7067-го. Алексей Данилович Басмано[в] с товарищы ливонской город Ругодив взяли. Того же лета воеводы князь Иван Федорович Мстиславской да князь Петр Шуйской с товарищи ливонской город Вильян взяли и старого магистра в нем взяли и к великому князю прислаша. Да воеводы же государевы Иван Хирон Петров с товарищи из под Вильяна под Колыванью были и землю ливонскую воевали, а большие воеводы дожидали их под Пайдою.

1560 г. Лета 7068-го. Царица великая княгиня Анастасия преставися.

1561 г. Лета 7069-го. Царь и великий князь Иван Васильевич женися вторым браком, а поиял княжну Марию Мирдюкову дочь князя Черкасского.

1562 г. Лета 7070-го. Царь и великий князь ходил на Литовскую землю и отчину свою град Полтеск взял и отчича его литовского пана Довойна поимал и к Москве сослал.

1564 г. Лета 7072-го. Преставися Макарей митрополит, а на его место поставлен бысть на митрополию Афонасей, что был Андрей протопоп Благовещенской.

1565 г. Лета 7073-го. Преставися князь Юрий Васильевич, брат великого князя Иванов.

1566 г. Лета 7074-го. Афанасей митрополит оставил митрополию и соиде жити к Михайлову Чюду. На его место поставлен

бысть в митрополиты Филип Колычев, что был на Соловках игумен.

1567 г. Лета 7075-го. Царь и великий князь был на Вологде и летовал со царицею и царевичи.[1]

1568 г. Лета 7076-го. Митрополита Филиппа с митрополии свели с безчестием, а в митрополиты поставлен бысть Кирил архимандрит Троицкой.

1569 г. Лета 7077-го. Царь и великий князь был со царицею и с царевичи в Кирилове монастыре и на Вологде.

1570 г. Лета 7078-го. Царица и великая княгини Мариа преставися. Того же году государь женися третьим браком, понял дщерь Василья Собакина Марфу, с полгоду жива не была и преставися. Того же году и мор был силен по всей Русской земли, а государь тогды жил в своем селе в слободе Александровской. Того же году князя Владимира Андреевича и с материю и со княгинею его и з дочерью нужной смерти предаша, оставиша сына его князя Василиа, да дочь меншую и даша ея за королевича. Того же лета Пимина с архиепископии с Новогородцкие сведоша, а на его место поставиша Чюдовского архимандрита Леванида. Тогда же многих боар и приказных людей казнил.

1571 г. Лета 7079-го. Крымской[2] царь Сагин Гирей пришед к Москве посады пожже на Вознесениев день, а на завтрее и прочь поиде, и грех ради наших в городе вся изгореша.

1572 г. Ле[та] 7080-го. Тот же царь Крымской пришед с похвалою, хотя грады разоряти и христианство погубляти, и реку Оку в трех местех перелез со многим воинством и божьею невидимою помощию государя нашего воеводы на людей его приходили во многих местех и лучшего его воеводу Дивии мурзу поимали и многих людей его побили и самого царя прогнаша, а князь великий в ту время в Новегороде в Великом был. Того же году зиме государь царь и великий князь был в Немецкой земли, хотел итти х Колывани и возвратися, понеже весна стала рано, а воеводы его немецкой городок Пайду тогда взяша.

1573 г. Лета 7081-го. Князь великий князя Василья Володимеровича пожаловал, дал ему отца его[3] город Дмитров.

1574 г. Лета 7082-го. Князя Василья Володимеровича не стало и положен бысть на Москве со отцем во Архаггеле.

---

[1] На полях тем же почерком написано: «и в Кирилове с Вологды был».
[2] В подлиннике — «црымской».
[3] На полях тем же почерком написано: «отчину».

III

ЛЕТОПИСНЫЙ ОТРЫВОК О ПОСТРОЙКЕ ГОРОДОВ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ.

В конце XVI в. на восточных окраинах Московского государства и в Поволжье было построено много городов. Приблизительное время возникновения этих городов известно, но точная дата их построения во многих случаях устанавливается с трудом. Издаваемый отрывок летописи, несмотря на всю свою краткость, дает ряд интересных сведений, отмечая из года в год даты построения новых городов. Так, по указанию отрывка, в 1578 г. поставлен Козьмодемьянск, в 1583 г. — Кокшайск, в 1584 г. велено поставить Тобольск, в 1585 г. поставлен Шанчюгин, в 1586 г. — Самара, Уфа (город Уфинской), Тюмень, в 1588 г. — каменный город в Астрахани и Царицын на Волге, в 1590 г. — Саратов и Цивильск, в 1591 г. — Яранск, в 1595 г. — Уржум, в том же году начали строить каменный город в Казани.

Интерес автора отрывка к строительству городов повидимому не был случайным. Автор был хорошо осведомлен о событиях конца XVI — начала XVII вв. Интересно его отношение к Борису Годунову. Для него Годунов — «благоверный царь», который «венчался царским венцом и диадимою и помазася святым миром на Московское царство». В таком тоне можно было говорить о Годунове только во время его царствования. Летописный отрывок кончается 1602 годом. Можно думать, что он был написан около этого времени. В отрывке говорится о стоимости ржи в Казани и в Нижнем Новгороде в 1601—1602 гг. Может быть это указывает на место, где был написан отрывок, автор которого, вероятнее всего, был приказным в одном из поволжских городов.

Отрывок летописи печатается по рукописи Государственного Исторического Музея (Синод. собр. № 415), где он помещен на листах 312 об. — 313. Рукопись по своему составу представляет сборник, написанный скорописью XVII в. и подаренный в Троицкий монастырь в том же веке старцем Тихоном Казанцем.

1569 г. В лето 7077-го году царь государь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии волю свою учинил опришнину. А того же году и на Новград Великий опалу свою положил и городу свободу устроил и нача в ней жити любезно.

1571 г. В лето 7079 был на Москве большой пожар майя в 26 день на Вознесение господне. Того же лета и Крымсково приход был.

1578 г. В лето 7086 повеле поставити град Козмодемьянской на Волге.

1583 г. В лето 7091 г. повеле поставити на Волге град Койшайской. В лето 7091 царь государь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии самодержец преставися, во иноцех Иона.

1584 г. В лето 7092 майя в 17 день царевичь князь великий Феодор Иванович всеа Русии венчася царским венцем и диадимою и помазася святым миром на Московское царство и на все государства Российския земли. И при его благодатней державе нача злоба оскудевати, а благостыня наипаче множитися, и Росийское царство наипаче разширятися. И поручи ему

государю бог царство Сибирское и повеле на Тоболе град поставити в лето 7092. Того же году и в Черемисе Царев город.

1585 г. В 93 году поставлен Шанчюгин.

1586 г. В 94 году поставили на Волге город Самару. Того же году поставили город Уфинской. Того же году поста[влен] город на Юмени в Сибери.

1588 г. В лето 7096 повеле поставити в Асторохани град каменной. Того же году поставлен град Царицын на Волге. Того же году пришел из Царяграда Иеремей патриарх в царствующий град Москву, благословил и совершил в патриархи Иева митрополита Московскаго, отселе на Москве стало патриаршество, 7096.

1590 г. А в 98-м году поставлен город Саратов. Того же году поставлен город в Черемисе-Цивилской.

1591 г. В 99 году поставлен град в Черемисе Ераньской.

1595 г. А в 103-м году поставлен град Уржум.

1595 г. А в 103 году почали делать град каменной в Казани.

1598 г. В лето 7106 генваря 7 день благоверный царь государь и великий князь Федор Иванович всеа Русии оставль сей прелестный свет и отиде в будущий покой. А царствовал государь 14 лет и всего поживе 41 лето и седмь месяц. И царица государыни и великая княгини Ирина Федоровна всеа Русии пострижеся во иноцех Александра и преставися в лето 7000. Того же лета стоял в Серпухове государь царь и великий князь Борис Федоровичь всеа Русии со множеством войска прежде приятия царского венца против Крымского царя. В лето 7107-го сентября в 6 день благоверный государь царь и великий князь Борис Федоровичь всеа Русии венчася царским венцем и диадимою и помазася святым миром на Московское царство и на все государства Российские земли, а у него сын князь Федор да дочь Ксения.

1601 г. В лето 7109 бысть лето дожди непрестанные и рожь и ярь замокли, и зазимовали на поли.

1602 г. А во 110-м году рож на цвету мороз побил и те обе лета рож купили в Казани в полтара рубли и в 60 алтын, а на Москве купили и в Нижнем в 3 рубли четь, и был глад велик и на люди урон велик. На Москве велел государь погребать мертвых, хоронили на день человек по 100, и 90 и 300 и умерло людей в 7 месяцев 50 000.

С. Б. ВЕСЕЛОВСКИЙ

МОНАСТЫРСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ В МОСКОВСКОЙ РУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI В.

Монастыри и монашество появились на Руси одновременно с принятием христианства. В подражание византийским образцам монастыри приняли то же разнообразие форм, какое существовало на Востоке. С течением времени на Руси преобладающим типом стали монастыри княжеские и так называемые ктиторские, т. е. основанные частными лицами. Такие монастыри обыкновенно находились в городах или на окраинах городов. Главным источником существования их была хлебная и денежная руга, т. е. содержание, получаемое ими от князей и ктиторов. Некоторые монастыри получали от князей право собирать определенные пошлины, например, торговые на городском рынке.

При такой экономической основе у монастырей не было стимулов заводить сколько-нибудь значительное хозяйство, тем более земледельческое, и привлекать в свою среду новых сочленов. В своей внутренней жизни они находились в полной зависимости от князей и ктиторов.

Приблизительно с середины XIV в., в связи с переходом митрополичьей кафедры из Киева в Москву, в истории монашества северо-восточной Руси происходит перелом. Господствующим типом множества возникавших вновь монастырей становятся так называемые пустынножитные и общежитные монастыри с самыми строгими уставами восточного образца. Монастыри основываются вдали от городов, иногда действительно в «пустынях», т. е. в ненаселенных местностях. Не имея дотаций и руги от князей и ктиторов, они, естественно, должны были браться за хозяйство. Монахи таких монастырей были заинтересованы в расширении своего дела и привлечении новых членов. Это придавало монастырям такого типа большую силу экспансии и этим объясняется быстрое распространение таких монастырей и чрезвычайно быстрый рост их землевладения.

Получая земли, размножаясь и богатея, пустынножитные монастыри в XV в. становятся крупной экономической силой и занимают в феодальной иерархии видное место, оттесняя на второй план иерархов белого духовенства. К концу XV в. монастырское землевладение достигает таких размеров, что вызывает реакцию в среде служилых людей, белого духовенства и даже среди некоторых представителей монашества. Отзвуком этой реакции была знаменитая полемика иосифлян, последователей Иосифа Волоцкого, и нестяжателей, противников монастырского землевладения, последователей Нила Сорского.

Служилый класс, осознавший в монашестве опасного врага своих землевладельческих интересов, в развернувшейся вокруг этого вопроса полемике выдвинул крупных представителей. Полемическая

литература в сильных выражениях обличала монашество: богатство развращает монахов; большое хозяйство и владение землей отвлекает их от основных целей монашества и втягивает в многочисленные ссоры и тяжбы с соседними землевладельцами и крестьянами; при больших податных привилегиях монастырская земля «выходит» из службы и из тягла, и «воинский чин», т. е. служилые люди, должен обслуживать и оплачивать монастырские земли.

Вел. князь Иван III сочувствовал нестяжателям, но по присущей ему осторожности не решался занять определенную позицию. При ликвидации независимости Новгорода он встретил поддержку в служилом классе и конфисковал в Новгороде все частновладельческие земли и весьма значительную часть земель св. Софии, т. е. новгородского архиепископа, а также новгородских монастырей. Но вопрос о монастырском землевладении в коренных областях Руси был сложнее, и Иван III ограничился частными мерами. Так, например, известно, что после присоединения к Москве Ярославского княжения он запретил Ярославскому Спасскому монастырю приобретать земли за пределами княжения. В истории таких крупнейших монастырей как Троицкий Сергиев и Кириллов Белозерский за последние два десятилети XV в. и в первое десятилетие XVI в. мы наблюдаем столь значительное сокращение новых приобретений, что какие-то меры правительства представляются более чем вероятными.

При великом князе Василии III (1505—1533 гг.) и в малолетство Ивана IV рост монастырского землевладенья возобновляется в прежних темпах, причем очень большое количество земель монастыри и иерархи церкви приобретают не путем дарений частных лиц, а покупками. Очевидно, они обладали в это время значительными свободными средствами и находили выгодным вкладывать их в землю.

В середине XVI в. Московская Русь переживала время большого и разностороннего подъема. Во внешней политике это выразилось в завоевании Казанского и Астраханского царств. Одновременно был предпринят ряд крупнейших реформ в государственном и местном управлении, в организации военных сил и в церковном управлении. На так называемом Стоглавом соборе 1551 г., созванном главным образом для реорганизации церкви в широком смысле слова, т. е. белого и черного духовенства, были поставлены также вопросы о податных привилегиях и о землевладении духовенства. От иерархов церкви, конечно, нельзя было ожидать удовлетворительного их разрешения, но правительство царя Ивана подхватило эти вопросы и после собора сделало несколько попыток разрешить их.

В исторической литературе эта эпоха «великих реформ», к сожалению, разработана очень слабо. Чтобы не отвлекаться от темы, расскажу только о тех мерах, которые касались непосредственно монастырского землевладения и в литературе остались неосвещенными.

В 1551 г. был предпринят пересмотр всех жалованных грамот монастырей и белого духовенства. Часть грамот, подвергшаяся существенным изменениям, была заменена новыми. Большая часть грамот была подтверждена, причем в подтверждениях на обороте их были внесены изменения. Все подтверждения датированы 17 мая 1551 г.

В архиве Троицкого монастыря сохранилось несколько десятков грамот, подтвержденных 17 мая 1551 г., которые дают возможность выяснить основные положения пересмотра монастырских привилегий.

Во-первых, была отменена привилегия монастырей не платить тамги, т. е. 10-процентного сбора со всех торговых сделок — главного таможенного налога. Второе существенное изменение, внесенное в

жалованные грамоты, касалось монастырских городских дворов и слобод. Так впервые, кажется, был поставлен этот важный вопрос, окончательно разрешенный только через сто лет Уложеньем царя Алексея 1649 г. При пересмотре грамот монастырям было разрешено держать в городе лишь одного дворника, и только на него распространялись старые податные привилегии и неподсудность местной власти. Все прочие монастырские люди в городе должны были нести налоги наравне с черными городскими людьми и были подсудны местному наместнику.

Одновременно с пересмотром жалованных грамот состоялся приговор царя с освященным собором относительно монастырских и церковных вотчин. Указ об этом датирован 11 мая 1551 г.[1] Основные положения его состояли в следующем: «вперед архиепископам и монастырям вотчин без царева великого князя ведома и без доклада не покупати ни у кого, а князьям и детям боярским и всяким людям вотчин без доклада не продавати-ж». Покупатель не разрешенной царем купли лишался вотчины, а продавец — денег, полученных за вотчину. Чтобы ослабить сопротивление духовенства, указ сделал в его пользу важную уступку — все земли, купленные или полученные вкладами, т. е. дарениями, до этого указа, не подлежали отныне выкупу. Вкладов по душам указ не запрещал, но поставил их под контроль правительства. Дело в том, что одновременно с этим приговором была введена обязательная регистрация всех земельных сделок в Поместном приказе.

Таким образом все земельные приобретения монастырей и духовенства отныне ставились в зависимость от усмотрения царя и под контроль Поместного приказа. Возможно, что это несколько замедлило рост монастырского землевладения, но лично царь Иван IV, как мы увидим дальше, до последних лет своей жизни не проявлял себя противником монастырского землевладения: когда под влиянием чрезвычайных обстоятельств над служилым землевладением разразилась катастрофа, и рост монастырского землевладения за счет служилого принял небывалые размеры, то царь Иван отнесся к этому совершенно безразлично.

В исторической литературе принято изображать царя Ивана как принципиального врага княжат и их землевладения. Даже историки, не симпатизирующие царю Ивану, ставят ему в заслугу, что он разрушил княженецкое землевладение, принизил потомков бывших удельных князей и низвел их на уровень рядовых служилых людей. В действительности, если царь Иван и оказался врагом княжеского землевладения, то это проявилось совсем не в том виде, как изображали историки. Рассмотрим этот вопрос, поскольку он имеет отношение к монастырскому землевладению. Изучая вопрос по актам, мы видим, что царь Иван одинаково не препятствовал разоряться и отчуждать свои вотчины монастырям как княжатам, так и нетитулованным служилым землевладельцам.

Среди районов старого княжеского землевладения Стародуб Ряполовский занимал несомненно первое место по количеству и размерам вотчин. Духовная грамота царя Ивана (около 1572 г.) перечисляет большое количество владений с указанием владельцев, стародубских княжат, вотчины которых будто бы были «поиманы», т. е. отобраны царем Иваном. Эти показания духовной были едва ли не главным аргументом для историков, видевших в опричнине меру, направленную прежде всего против землевладения бывших удель-

[1] ААЭ, I, № 227.

ных княжат. Необходимой критики этого источника не было и нет до сих пор. Не обращали никакого внимания на то, что духовная дошла до нас в позднейшем списке неизвестного происхождения, что царь Иван после написания духовной прожил еще лет 12 и что духовная никакого практического значения не имела. В общем духовную следует считать черновиком проекта, составленного неизвестно когда и с какими целями. Только этим можно объяснить полное несоответствие духовной с практикой мобилизации вотчин стародубских князей, которую мы можем выяснить по монастырским актам. Мы видим, что за все время царствования Ивана IV стародубские князья распоряжаются своими вотчинами, как будто не существовало ни духовной 1572 г., ни указов 1551, 1562 и 1572 годов, направленных якобы против землевладения княжат.

По актам нам известны следующие сделки стародубских князей на земли в Стародубе.

В 1552 г. кн. Мих. Юр. Норок Ромодановский с разрешения царя дал Московскому Богоявленскому монастырю село Якимовское с двенадцатью деревнями. В том же году кн. Андр. Ив. Ковров дал Владимирскому Рождественскому монастырю три деревни в Кривом бору и четыре в Заводичах.

В 1554 г. душеприкащики кн. Вас. Ив. Осиповского дали Троицкому монастырю село Завражье с деревнями.

В 1555 г. кн. Вас. Ив. Пожарский дал Спаса Евфимьеву монастырю девять пустошей по реке Луху, оценив их в 240 рублей.

В 1557 г. он же дал тому же монастырю еще семь пустошей с рыбными ловлями в Лухе и в озере Богоявленском. В том же году кн. Пожарские дали тому же монастырю пустошь Клестово, оценив ее в 80 рублей.

В 1558 г. кн. Григ. Сем. Пожарский дал тому же монастырю сельцо Богоявленское.

В 1560 г. кн. Евдокия Шемякина Пронская (урожд. Стародубская) дала Троицкому монастырю село Алексино с деревнями. В 1565 г. она подтвердила вклад духовной грамотой, по которой дала сверх того Московскому Богоявленскому монастырю село Глумово с деревнями.

В 1567 г. кн. Ив. Сем. Ковров дал Спаса Евфимьеву монастырю село Рождественское с четырьмя деревнями и девятью пустошами.

В 1569 г. кн. Ив. Вас. Черный Пожарский дал тому же монастырю село Троицкое в Пожаре.

В 1570 г. Аграфена Стародубская с сыном Иваном Никитичем дала сельцо Хмелеватое и $1/_6$ села Пантелеева. Никита Мих. Стародубский дал Троицкому монастырю деревню Ломки с шестью деревнями, а вдова кн. Аф. Андр. Ромодановского — село Татарово с 47 деревнями.

В 1570 или 1571 г. Богд. Петр. Ромодановский дал тому же монастырю половину сел Шустова и Никольского с рядом пустых деревень.

В 1571 г. Мих. Ив. Столб Пожарский продал Б. Ф. Пожарскому деревню Три дворища в Мугрееве стану.

В 1572 г. (год отмены опричнины) Ив. Никит. Стародубский дал Троицкому монастырю все село Пантелеево и по другой данной подтвердил дачу села Хмелеватого. Бор. Давид. Тулупов дал село Воскресенское. Спаса Евфимьев монастырь в том же году получил следующие земли: по духовной Ив. Петр. Пожарского село Дмитриевское с 23 деревнями в Мугрееве было завещано в пожизненное владение матери, с условием отдать после смерти монастырю; три

деревни там же по духовной были даны монастырю в уплату долга завещателя; Марья, вдова Вас. Ив. Коврова, и ее сестра Федосья, вдова Петра Бор. Пожарского (урожденные кн. Мезецкие), дали свою приданую вотчину, село Лучкино с тринадцатью деревнями. Кроме того, Марья дала вотчину мужа, сельцо Андреевское в Коврове,

В 1573 г. Фед. Ив. Пожарский дал тому же монастырю шесть деревень в Мугрееве.

В 1574 г. вдова Аграфена Стародубская дала Троицкому монастырю вторую половину села Хмелеватого. Никита Ив. Ковров дал Спаса Евфимьеву монастырю четыре пустых деревни в Коврове и рыбные ловли в реке Клязьме.

В 1577 г. Ив. Ос. Ковров дал тому же монастырю сельцо Шешовку в Заудочах.[1]

Сопоставляя приведенный мартиролог вотчин стародубских князей с духовной царя Ивана, мы видим, что очень многие владения, перечисленные в духовной как отобранные у стародубских князей, в действительности были даны в разное время монастырям, и притом большею частью теми же самыми лицами, которые упоминаются в духовной как бывшие владельцы этих вотчин. После этого становится очевидным, что вопрос о политике царя Ивана в отношении княжеского землевладения нуждается в пересмотре.

Список земель, утерянных стародубскими князьями в Стародубе, интересно дополнить сведениями о вотчинах, приобретенных ими в разных уездах государства за предшествовавшее столетие и розданных монастырям в годы кризиса.

В 1558 г. сыновья кн. Ив. Ал. Кривоборского дали Троицкому монастырю половину села Танища с тринадцатью деревнями на реке Суде в Белозерском уезде. Другую половину той же вотчины они дали в 1561 г. Кириллову монастырю. В том же 1558 г. по духовной Дав. Фед. Палецкого Ипатьев монастырь получил село Михайловское с деревнями на реке Шаче в Костромском уезде.

В 1560 г. Тим. Фед. Пожарский дал Троицкому монастырю куплю жены, деревню Гущино в Звенигородском уезде.

В 1568 г. Ив. Бор. Ромодановский дал Троицкому монастырю сельцо Халезово с пятью деревнями в Дмитровском уезде.

В 1569 г. Никита Мих. Стародубский дал тому же монастырю село Льялово на реке Клязьме в Московском уезде.

В 1570 г. Ив. Ив. Гундоров дал тому же монастырю деревню Чупрово в Залипенской волости Владимирского уезда, оставив за собой пожизненное владение и получив 100 рублей сдачи, «чем долг платить».

В 1573 г. Фед. Ив. Пожарский дал тому же монастырю село Калмань в Юрьевском уезде.

В 1583 г. Бор. Дм. Палецкий, с разрешения царя Федора, дал Кириллову монастырю село Вильгощ с 51 деревней в Бежецком уезде.

Вклады стародубских князей монастырям вовсе не были исключением. Так же разорялись и раздавали свои родовые и благоприобретенные вотчины княжата и других родов. В общем, если говорить о «политике» царя Ивана в отношении княжат, то следует притти

[1] Акты князей Ковровых из Грам. Колл. Экон. напечатаны Л. Савеловым в приложении к статье «Род князей Ковровых» (Сборн. статей в честь М. К. Любавского, стр. 290—294, П., 1917). Акты Пожарских напечатаны им же в приложении к статье «Родословие князей Пожарских» (Летопись Историко-родословного общества, вып. 2, 1906 г.). Прочие акты указаны в источниках диаграммы (см. стр. 101).

к выводу, что она нисколько не отличалась от его политики в отношении служилого землевладения вообще.

Переходя к рассмотрению роста монастырского и церковного землевладения, необходимо сделать несколько замечаний, без которых читателю будет трудно понять прилагаемую диаграмму.[1]

За время с 1552 по 1590 гг. мною учтено 657 владений, приобретенных монастырями и церковными учреждениями. У читателя естественно возникает вопрос, насколько полны эти сведения и не случайны ли они. Об исчерпывающей полноте списка приобретений, учитывая состояние источников, не могло быть и речи. Поэтому я взял три десятка крупнейших монастырей и принял все меры, чтобы собрать по ним возможно полные сведения. Относительно таких крупнейших монастырей, как Троицкий, Кириллов, Ипатьев, Симонов, Чудов, Макарьев Колязин, Иосифов Волоколамский и другие, мы имеем очень полные сведения. На долю одного Троицкого монастыря приходится 392 владения, т. е. более половины всех монастырских приобретений. Дело в том, что неравномерность распределения богатств между монастырями была так же велика, как и между частными лицами. В то время было всего не менее 200 монастырей, но четвертая часть их или совсем не имела крестьян или имела менее пяти дворов. Это были так называемые нищие монастыри, братия которых вела жалкое существование, питаясь милостыней и бродя по миру. На противоположном полюсе было десятка полтора монастырей, которым принадлежало не менее $^3/_4$ всех монастырских земель. Эти монастыри оставили большие архивы, и владения их учтены довольно полно.

Следует также обратить внимание на поуездное распределение тех 657 владений, которые были приобретены монастырями за счет служилого землевладения.

Рассматривая прилагаемую диаграмму, мы сразу замечаем, что территория, на которой монастыри приобрели огромное количество земель, составляла небольшую часть всей Московской Руси и обнимала только центральные уезды. В общем территория эта соответствовала той части государства, которая, по правительственной терминологии, называлась замосковными городами. Этот район, с небольшими оговорками, соответствовал в общем территории удель-

---

[1] Главные источники диаграммы — Фонд Грамот Коллегии Экономии в ГАФКЭ. Фонд имеет две рукописные описи — по уездам и в хронологическом порядке актов. По этому фонду важны работы С. Шумакова: четыре выпуска Обзора Гр. Колл. Экон., изданные в «Чтениях Общ. Ист. и Др.» и отдельно, вып. 1 — Бежецкие и алатырские акты, М., 1899; вып. 2. Тексты и обзор белозерских актов, М., 1900; вып. 3— Верея, Волоколамск, Дмитров и Звенигород, М., 1912; вып. 4 — Кострома, Галич и Переяславль Залесский, М., 1915. В «Чтениях» же напечатаны С. Шумаковым Угличские акты, М., 1899. Тверские акты напечатаны С. Шумаковым же в двух выпусках, в «Трудах Тверской учен. арх. комиссии», Тверь, 1896—1897.

Архив быв. Троице-Сергиевой лавры хранится ныне во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. Из него особенно важны большие сборники списков грамот за №№ 519, 520, 523, 527, 530, 531, 533 и 536. Троицкие акты XV—XVI вв. в количестве 1896 номеров приготовлены мною к печати и сданы Институту Истории АН.

По Кириллову монастырю кроме актов Белозерского уезда, напечатанных С. Шумаковым, три сборника списков в Ленинградской Публичной биб-ке им. Салтыкова-Щедрина, Ф. Q. IV, №№ 120, 113а и 113б. Хронологический список земельных приобретений Кириллова монастыря дан Н. Никольским в приложении к его работе: «Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до 2-й четверти XVII в. (1397—1625)», СПб., 1910.

Большой сборник списков всевозможных актов Симонова монастыря, 1666 г. — Моск. Гос. Ист. музей, Сим. собрание № 58.

Акты Макарьева Колязина монастыря в подлинниках и списках — ГАФКЭ, Арх. Колязина монастыря, кн. №№ 1 и 4.

Распределение владений по уездам

Бежецкий уезд	78 влад.	Владимирский	24 влад.
Костромской	78 »	Белозерский	18 »
Московский	75 »	Волоколамский	18 »
Переяславский	74 »	Пошехонский	11 »
Дмитровский	66 »	Юрьевский	10 »
Тверской	50 »	Коломенский	9 »
Кашинский	47 »	Ростовский	7 »
Муромский	30 »	Звенигородский	6 »
Стародуб Ряполовский	27 »		

Оболенский, Зубцовский и Ярославский уезды по 5 влад.

Рузский и Старицкий уезды по 4 влад.

Вологодский. Галицкий, Новоторжский, Рязанский, Серпуховский и Боровский уезды по 2 влад.

Клинский, Малоярославецкий, Новосильский, Серпейский и Угличский уезды по 1 влад.

Распределение владений по монастырям и церковным учреждениям

Монастыри

Троицкий Сергиев в Радонеже	392 влад.	Данилов Переяславский	6 влад.
Кириллов Белозерский	43 »	Ярославский Спасский и Московский Богоявленский	по 5 »
Макарьев Колязин	39 »	Саввы Сторожевский, Антоньев Краснохолмский и Никола на Болоте	» 4 »
Ипатьев Костромской	37 »	Горицкий Переяславский и Серпуховской Высоцкий	» 2 »
Симонов Московский	26 »		
Иосифов Волоколамский	22 »		
Стефанов Махрищский	16 »		
Спаса Евфимьев	11 »		
Чудов	10 »		

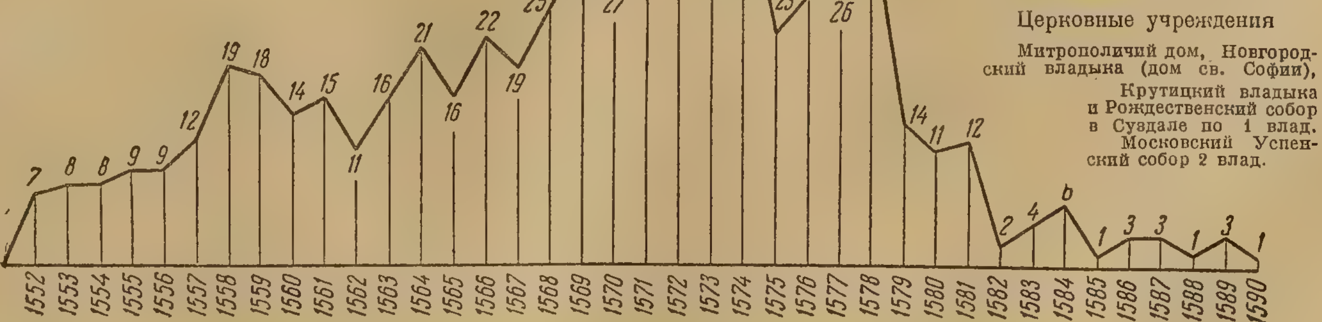
Рождественский во Владимире, Спаса Прилуцкий на Вологде, Можайский Лужецкий. Аврамьев Городецкий, Рождественский в Боголюбове, Терехов Рязанский, Киржацкий Благовещенский, Спасо-Преображенский, Ферапонтов, Кириллов Новоозерский, Николаевский, Переяславский и Новодевичий Московский по 1 влад.

Церковные учреждения

Митрополичий дом, Новгородский владыка (дом св. Софии),

Крутицкий владыка и Рождественский собор в Суздале по 1 влад.

Московский Успенский собор 2 влад.



ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ МОНАСТЫРЕЙ И ЦЕРКОВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЗА 1552—1590 гг. (дарения, покупки и закладные)

ной Руси первой половины XV в. Это становится вполне понятным, если мы знаем основные этапы истории частного землевладения.

Дело в том, что вотчинное землевладение приблизительно в середине XV в. достигло наибольшего распространения. С конца XV в., со времени объединения Руси под властью московских государей, основой земельной политики московского правительства становится раздача земель только на поместном праве. Поэтому во всех уездах, которые были присоединены, завоеваны или вновь заселены с конца XV в., вотчинных земель либо не было совсем, либо их было ничтожное количество. Частных вотчин не было совсем в пятинах Великого Новгорода, во Пскове, Торопце, Луках Великих, в Смоленске и Дорогобуже, в южных уездах, частью вновь заселенных, как, например, в Орловском, в восточных уездах, в Арзамасском и Алатырском. Небольшое сравнительно количество вотчин было в северных уездах — Белозерском, Вологодском и Галичском, на востоке — в Нижегородском, на юге — в Тульском, на юго-западе — в Вяземском.

Понятно, что в таких уездах служилым людям нечего было давать и продавать монастырям, так как помещик не имел права отчуждать данную ему в поместье землю. Вследствие этого политический и экономический кризис, охвативший все государство, вызвал катастрофу служилого землевладения только в районе старого вотчинного землевладения.

Еще одно замечание. Рассматривая распределение монастырских приобретений по уездам, следует иметь в виду, что уезды, сложившиеся исторически, в разное время, были очень различны по размерам. Так, на Звенигородский, Рузский, Старицкий, Зубцовский, Клинский и другие уезды приходилось по одному, по два, четыре и шесть владений, но это вовсе не значит, что в этих уездах кризис служилого землевладения был менее интенсивным, чем, например, в Костромском уезде, на который приходится 78 владений, утерянных служилыми людьми, так как Костромской уезд был одним из самых крупных и по территории раз в десять-пятнадцать превосходил Клинский, Зубцовский и другие мелкие уезды. Учитывая это обстоятельство, мы приходим к выводу, что больше всего пострадали именно центральные уезды государства: Московский, Дмитровский. Переяславский, Тверской, Кашинский, Юрьевский, Владимирский и другие. Заоцкие уезды, т. е. лежавшие на юг от Оки, никогда не привлекали монахов старых крупных монастырей, и в них монастырское землевладение никогда не получило такого распространения, как в междуречье Волга — Ока и на север от этого района.

Что касается северных, так называемых «поморских» уездов, населенных черными (государственными) крестьянами, то там экономический кризис отразился слабо, а политического кризиса (опричных переселений землевладельцев) не было совсем. Поэтому в поморских уездах рост монастырского землевладения в рассматриваемый период протекал нормально, в прежних темпах, не имеющих ничего общего с катастрофой служилого землевладения в центре государства.

Остается сделать еще два замечания — относительно размеров владений и о влиянии экономики и политических событий на движение вкладов и продаж вотчин монастырям.

Данные, купчие и другие грамоты лишь в виде исключения указывают размеры владений в четвертях (четверть в трех полях равнялась $1\frac{1}{2}$ дес.). Изредка в этих актах дается оценка владений в серебряных рублях того времени. Иногда по позднейшим писцовым описаниям удается определить размеры того или иного

владения, если оно описано отдельно и не слилось с другими землями монастыря. Поэтому пришлось отказаться от сколько-нибудь точного учета размеров владений, тем более, что даже полный учет земель, приобретенных монастырями, дал бы очень мало, так как относительное количество этих земель во всей массе служилых (вотчинных), монастырских и церковных земель определить совершенно невозможно. Между тем учет количества вкладов и продаж дает сравнимые величины на протяжении всего XVI в., так как соотношение крупных, средних и мелких владений, как объекта указанных сделок, было довольно устойчиво. В рассматриваемый период мелкие владения, приблизительно в 50—75 десятин, равно как и крупные владения, в 1000 десятин и больше, составляли меньшинство. Подавляющее большинство владений, насколько мне удалось установить, были участками в 200—500 десятин.

По вопросу о влиянии внешних событий на колебания движения вкладов и продаж по годам следует заметить, что продажи составляли в рассматриваемый период небольшое меньшинство. Например, в 1570 г. на 27 отчуждений приходится всего одна продажа, в 1571 г. — на 66 дарений приходится только три продажи. Выделение в диаграмме продаж было нецелесообразным потому, что значительная часть вкладов сопровождалась получением от монастыря денежной сдачи, иногда столь большой, что вся сделка была по существу полупродажей. Дарения вызывались очень сложными мотивами. Побуждения обрядово-религиозные, как поминание душ, пострижение, погребение в монастыре и т. п., сплетались чрезвычайно разнообразно и прихотливо с чисто практическими соображениями. Например, некоторые дарения обусловливались одновременно и записью в вечное поминание души вкладчика, и принятием его в монастырские слуги со всеми вытекавшими из этого выгодами. Получаемая от монастыря сдача шла на уплату долгов вкладчика или на надел приданым сестер или дочерей и т. п.

Особо следует сказать о дарениях, при которых вкладчик сохранял за собой пожизненное владение всей вотчиной или частью ее для себя лично, для жены и детей. Такие дарения в рассматриваемом периоде были особенно частыми. Вотчина становилась собственностью монастыря, который прикрывал ее своим иммунитетом, и вкладчик мог спокойно доживать свою жизнь под защитой монастыря.

Еще одно замечание. Очень часто удается вскрыть, что причиной отчуждения вотчины были крупные несчастия, постигшие вкладчика и его семью. Например, нередки вклады родителей, потерявших при жизни всех детей. Много вкладов принадлежит вдовам и сиротам служилого человека, умершего в походе или убитого в бою.

Подводя итоги сделанным выше замечаниям, можно сказать, что, несмотря на влияние таких невесомых мотивов как поминание душ и таких личных и семейных мотивов как бездетность, все отчуждения вотчин, т. е. дарения, продажи и заклады, в большей или меньшей степени находились в зависимости от экономических и политических условий жизни. Общее ухудшение экономики, повышение смертности от эпидемий или в боях и походах, опалы и казни были главными и ближайшими причинами роста и колебаний по годам вкладов и продаж.

Некоторый рост отчуждений наблюдается уже в 1552—1557 гг. Это — годы завоевания Казани и Астрахани и столкновений с крымскими татарами. Кровопролитный бой с татарами на Судбищах (быв. Тульской губ.) в 1555 г. надолго остался в памяти служилого люда. С 1558 года становится несомненным влияние первых ливонских

походов. К моменту учреждения опричнины количество отчуждений несколько понижается, но затем, под влиянием опричных выселений, опал и казней, рост отчуждений принимает катастрофический характер.

В актах монастырского землевладения сохранилось много отражений и отзвуков опричнины, которые позволяют осветить целый ряд вопросов земельной политики царя Ивана. В первую очередь следует обратить внимание на акты принудительных переселений служилых вотчинников и помещиков, принявших в опричнине характер колоссальной социальной и экономической катастрофы.

Дело Ф. Гр. Желтухина показывает, что земельная перетасовка служилых людей началась до массовых выселений опричнины и производилась, повидимому, в тех же формах, которые были применены в опричнине. Желтухин имел небольшую вотчину в Гуслицкой волости Московского уезда и служил кн. Владимиру Андреевичу Старицкому. В марте 1562 г. его вотчина была взята к дворцовому селу Богородицкому, вероятно царскому, а Желтухин получил эквивалент — сельцо Алымово в Вышгороде Верейского уезда. На эту вотчину Желтухин получил от кн. Владимира Андреевича жалованную несудимую грамоту.[1] После учреждения опричнины царь Иван в январе, феврале и марте 1566 г. произвел с кн. Владимиром Андреевичем три мены землями, взяв у него между прочим Верейский уезд и московские волости — Гуслицу, Раменейце, Вохну и другие.[2] Желтухин был выселен из Верейского уезда, сельцо Алымово было у него отобрано, и взамен его он получил вотчины в Вохне и в Раменейце Московского уезда, которые были в поместьях за дьяками Лашей Зиновьевым и Ив. Гавриловым.

В послушной грамоте царя Ивана (9 марта 1566 г.) Желтухину сказано: «Пожаловал есмя теми деревнями Ф. Гр. Желтухина против его вышегородские вотчины, сельца Алымова... в вотчину-ж, против пашни середней земли ста и десяти четвертей, против сена трехсот тридцати копен, против леса тридцати десятин. А по книгам письма Вас. Замыцкого да Савлука Иванова 7064-го в тех деревнях, что были за Лашею за Зиновьевым да за Иваном за Гавриловым, пашни 112 чети, сена 310 копен, леса 20 чети».[3]

Как можно видеть из дела Желтухина, размеры данной вотчины довольно точно соответствовали размерам отобранной. Конечно, такое точное соответствие эквивалента было возможно далеко не всегда, но и этот случай и другие подобные не оставляют сомнения в том, что в принципе при опричных выселениях «с городом вместе, а не в опале», т. е. не за вину, служилый землевладелец имел право на получение эквивалента, и на том же праве, на котором он владел землей, т. е. за поместье — поместье, за вотчину — вотчину. Так было с выселяемыми в земские уезды. Иначе было с опричниками: царь Иван, чтобы держать их в полной зависимости от себя, давал им в опричных уездах земли только на поместном праве, т. е. во владенье, обуславленное службой.

Выселение Краснослеповых из Суздаля в Муромский уезд интересно как образец такого наделения, когда по местным условиям не было возможности вычислить и отделить сколько-нибудь точно количество пашни, сена и других угодий. Как известно, Суздаль был взят в опричнину в самом начале, в числе первых городов. Краснослеповым

---

[1] Архив Троице-Сергиевой лавры, кн. 534, л. 19 об.

[2] РИБ, III, стр. 272.

[3] Архив Троице-Серг. лавры, кн. 530, по Москве № 78. 20 четей леса в трех полях равны 30 десятинам, как в сельце Алымове.

удалось очень быстро получить эквивалент — уже в сентябре 1566 г. они получили отдельную грамоту на вотчину в Муроме. В их суздальской вотчине числилось 72 четверти пашни (108 десятин) и 40 копен сена. При отделе им вотчины в Муроме «не дошло (т. е. нехватило) их меры пашни трех четвертей в поле, а в дву потому-ж, и в пашни место дано им сена, что осталось за мерою у тех же деревень, 30 копен. Да в пашни же место дано им лесу пашенного 3 десятины в одном поле, и всего за ними 2 деревни, а в них 4 двора крестьянских, а людей в них 4 человека, пашни в поле середние земли 30 чети да худые земли, и с тою пашнею, что им дано в пашни место сена и лесу, 42 чети в поле, а в дву потому-ж, сена 40 копен». Кроме того, Краснослеповым и их крестьянам было дано право пользоваться для своих нужд соседним бортным лесом.[1]

Так проходили выселения в начале опричнины, когда выселенцы получали довольно быстро и довольно точный эквивалент отбираемых у них в опричнину земель. Но когда опричнина захватила такие огромные уезды, как Костромской, Переяславский и Ярославский, когда количество выселенцев стало исчисляться тысячами, наделение их вотчинами и испомещение в земских городах стало крайне затруднительным, так как у правительства нехватало свободных и заселенных («жилых») земель. Теперь выселенцам приходилось хлопотать в течение ряда лет и довольствоваться далеко не равным возмещением отобранных земель, а главное — брать пустые земли. Возможно, что положение выселенцев в этом отношении ухудшал и возраставший разгул опричнины: землевладельцы выселялись немедленно, а новое пристанище они получали не сразу. Таубе и Крузе не жалели мрачных красок, чтобы очернить царя Ивана и в частности опричнину. К их сообщениям надо относиться с большой осторожностью, но в их рассказе о выселениях есть одно весьма правдоподобное замечание: «Такие тиранства совершал он (царь) вначале с соблюдением некоторых приличий, все таки терпимо, но чем дальше, тем хуже».[2]

Нетрудно представить себе, что при тогдашних условиях налаживать хозяйство, а тем более заводить его на новых местах было очень трудно. Постоянные военные походы отрывали служилого землевладельца от дома и вызывали расходы; много людей погибало в этих походах, оставляя после себя малолетних сирот. Крестьяне, разоренные тяжелыми налогами — старыми и новыми — и измученные эксцессами опричников, разбредались. Подмосковные и некоторые южные уезды несколько раз подвергались жестокому разорению со стороны татар. Уцелевшие от татар уезды страдали от недородов и эпидемий. Кроме того, массовые опалы и казни по приказу царя Ивана усиливали и обостряли стремление служилых землевладельцев отделаться от своих вотчин — продать или отдать их монастырям. При таких условиях старый обычай «устраивать свои души» путем вкладов монастырям и церквам принял катастрофический характер и привел к интенсивному обезземелению служилого люда.

Все эти явления нашли широкий отзвук и отражение в актах монастырского и церковного землевладения. Общая картина катастрофы была бы еще выразительнее, если бы в этих актах мы всегда находили непосредственный отзвук событий. В действительности же очень часто такого отзвука в акте нет, и только путем тщательного исследования и сопоставления акта с другими источниками нам

[1] Архив Троице-Серг. лавры. кн. 531, по Мурому № 18.
[2] Послание Таубе и Крузе, стр. 36 («Русск. Истор. Журнал», кн. 8, Пгр., 1922).

удается за трафаретными и сухими формулами какой-нибудь данной грамоты вскрыть тяжелую трагедию вкладчика и его семьи. Приведу несколько характерных примеров.

В 1572 г., т. е. в год отмены опричнины, опричник Курака Унковский дал Троицкому монастырю свою купленную деревню Дуплево (в Сурожском стану Московского уезда) по своей душе и по душам родителей, оценив ее в 53 рубля. По оценке можно судить, что вклад принадлежал к числу мелких. Данная грамота Кураки совершенно трафаретного содержания сохранилась в монастырском архиве.[1] Если мы справимся в позднейших описаниях Троицких владений, то увидим, что этот вклад в монастырь не поступил. Причина этого вскрывается, когда из других источников мы узнаем, что Курака Унковский вскоре после отмены опричнины был спущен по приказанию царя Ивана под лед. Такого конца Курака конечно не мог предвидеть, но едва ли можно сомневаться, что мысль обеспечить свою душу вечным поминанием пришла ему в голову под впечатлением многочисленных опал и казней, которым подвергались опричники при отмене опричнины и вскоре после этого.

Приведу еще более интересный случай. Предварительно замечу, что и раньше бывали случаи, когда даритель, отдавая свою вотчину монастырю, оставлял за собой или за женой и детьми право пожизненного владения и пользования всей вотчиной или частью ее. При таких условиях вотчина поступала под охрану монастырского иммунитета, и даритель чувствовал себя обеспеченным лично и за семью. В рассматриваемый период, в условиях общего экономического кризиса и грозных политических событий, подобные дарения стали очень частым явлением.

Знаменитый боярин Ив. Петр. Федоров был женат на вдове кн. Дорогобужского Марье Васильевне Челядниной, последней представительнице богатого и знатного рода Челядниных. Они не имели детей, и у них не было стимулов беречь свои многочисленные вотчины. Ив. П. Федоров держал себя независимо по отношению к царю Ивану и был открытым противником учреждения опричнины, но царь Иван, считаясь с родовитостью, богатством и высоким служебным положением Ив. П. Федорова, долго не решался расправиться с ним. Федоровы, несомненно, это понимали и предвидели, что рано или поздно очередь дойдет и до них. И вот в 7072 (1563/4) г., т. е. приблизительно за год до учреждения опричнины, М. В. Федорова, решив обеспечить себя на случай катастрофы, дала Троицкому монастырю село Кишкино-Челяднино в Коломенском уезде и село Богородицкое в Юрьевском уезде, оставив за собой право пожизненного владения. Это были довольно крупные владения, не менее 2 тыс. гектаров. Вскоре после учреждения опричнины и сам Ив. П. Федоров в 7075 (1566/7) г. дал свою вековую вотчину (с XIV в.) двум монастырям — Кириллову-Белозерскому и Московскому Новоспасскому, по полсвинам, село Старую Ергу в Белозерском уезде с вотчинным монастырьком и множеством деревень.[2] В данной грамоте он писал: «А доколева яз жив буду, и мне, Ивану, тем селом Воскресенским и с деревнями, всею вотчиной, владеть до своего живота». Как известно, Ив. П. Федоров был убит самим царем Иваном в сентябре 1568 (7077) года, все его многочисленные вотчины в разных уездах, в том числе указанные выше, подверглись нарочитому разгрому,

[1] Архив Троице-Серг. лавры, кн. 536, № 75.
[2] ГАФКЭ, Грам. Колл. Экон., № 820.

а вклады его самого и его жены не были утверждены царем Иваном. Таким образом, попытка Федоровых заложиться и укрыться за спину трех могущественнейших монастырей не удалась. Монастырским властям это было, конечно, досадно, и несомненно, что именно под влиянием их настойчивых ходатайств царь Иван пять лет спустя — в 1574 г. — дал от своего имени село Ергу Новоспасскому и Кириллову монастырям по душе убитого им Ив. П. Федорова.[1]

Интересный случай представляют три вклада Матвея, Григория и Юрия Григорьевичей Ловчиковых Троицкому монастырю. По первой данной грамоте 7078 (1569/70) г. они дали сельцо Афросимово с деревнями, на реке Уче, в Московском уезде. В 7080 г., т. е. в год отмены опричнины (1571/72 г.), они дали сельцо Махру на реке Дубне в Переяславском уезде, причем получили от монастыря 100 рублей «сдачи» — «дати по душе по своих родителех в иные монастыри». Еще через два года, в 1574 г., они дали самый большой вклад — село Крутец с деревнями, в Богаевской волости Владимирского уезда, «а сдачи есми взяли с тое вотчины денег 500 рублев, по отца своего приказу».[2] Ни в одной из этих данных грамот нет решительно никаких указаний на связь этих вкладов с опричниной, хотя она несомненна и очень интересна.

Дело в том, что отец братьев Ловчиковых — Григорий Дмитриевич — был видным опричником. По словам Шлихтинга, Гр. Дм. Ловчиков через кн. Аф. Вяземского попал в милость у царя Ивана, пользовался большим влиянием и служил в чине ловчего; «забыв о благодеяниях» своего покровителя, Ловчиков предал его и оклеветал.[3] Но это не спасло его, и он был казнен незадолго до отмены опричнины. Делая карьеру и обогащаясь в опричнине, Гр. Дм. Ловчиков не раз возвращался к мысли о судьбе своей души в загробном мире: в марте 1569 г. он дал 50 рублей Успенскому собору, а в августе 1571 г. дал такую же сумму Троицкому монастырю.[4] Несомненно по приказу отца, его сыновья дали в 1570 г. Троицкому монастырю сельцо Афросимово. Вотчины Гр. Дм. Ловчикова, как это бывало иногда в виде особой милости царя, не были конфискованы, и в 1572 г. его сыновья сделали второй вклад, вероятно тоже по приказу отца. В данной на третий вклад есть прямое указание на то, что он был сделан по распоряжению Гр. Дм. Ловчикова. После этих справок относительно Гр. Дм. Ловчикова связь данных грамот его сыновей с опричниной становится несомненной и не нуждается в комментариях.

В очень тяжелых условиях приходилось выселенцам из опричных городов заводить новое хозяйство, когда им удавалось получить эквивалент в городах земщины. Естественно, что многие из них стремились разделаться так или иначе со своими новыми вотчинами. Они продавали их, если представлялась возможность, частным лицам; но таких охотников было мало, и естественно, что создавшимся положением воспользовались прежде и больше всего монастыри. В монастырских архивах сохранилось множество актов, подтверждающих это.

В 1568 г. Ив. Сем. Пахов Ловчиков дал Симонову монастырю

[1] С. Шумаков. Обзор грамот Колл. Экон., вып. 2, по указателю.

[2] Архив Троице-Серг. лавры, кн. 536, № 140, кн. 531, по Владимиру № 3; Грам. Колл. Экон., № 8976; ср. Писцовые книги Московского государства, I, стр. 221, 827 и 796.

[3] «Новое известие о России», стр. 32, Л., 1934.

[4] Моск. Гос. Ист. музей, собр. Успенск. собора, кн. 64 (об. № 1148), л. 299; Вкладная книга Троицкого монастыря — Троицкий музей.

деревню Шелудякову в Лукомском стану Московского уезда, данную ему в феврале 1567 г. вместо вотчины, взятой в опричнину.

В 1569 г. Дм. Никит. Житов дал Иосифову монастырю две деревни в Волоцком уезде, данные ему вместо взятой в опричнину вотчины в Старицком уезде — села Михайловского Иворовской волости.

В том же году Скобеевы, выселенные незадолго перед тем из Костромы, дали Макарьеву Колязину монастырю четыре деревни в Жабенском стану Кашинского уезда, данные им вместо костромской вотчины. Тому же монастырю и там же дал четыре деревни П. Гр. Кренев, выселенный из Костромского же уезда.

Симонов монастырь, выхлопотавший у царя Ивана зачисление его в опричнину со всеми вотчинами в разных уездах, получил в том же 1569 году три вклада: в Московском уезде Андр. П. Житов, выселенный из Старицы и постригшийся в монахи, дал деревню Берляеву в Шахове стану; Оклячеевы дали две деревни в Терентьеве стану, вдова Гр. П. Пахова Ловчикова с детьми дала деревню Зубцово на реке Пахре в Шахове стану.

В 1570 г. Ив. Дм. Чуха Воронцов дал Троицкому монастырю село Наместково с тридцатью деревнями в Бежецком уезде, данное ему вместо села Красного в Костроме.

В том же году дьяк Илья Царегородцев и его родственник по жене Ив. Степ. Зубатого Федчищев дали Чудову монастырю четыре деревни в Быкове стану Московского уезда, полученные Федчищевыми вместо костромской вотчины.

В 1571 г. вдова Гр. Ив. Заболотского дала Троицкому монастырю село Воскресенское с пятью деревнями в Новосильском уезде, данное ее мужу вместо дмитровской вотчины.

В том же году Евдокия Вельяминова дала Ипатьеву монастырю пустую вотчину в Горетове стану Московского уезда, полученную ею вместо костромской вотчины.

Ив. Юр. Грязного Ховрин дал Симонову монастырю сельцо Якушино и деревню Болсунову в Лутосенском стану Дмитровского уезда, полученные им вместо малоярославецкой вотчины.

В 1572 г. окольничий Вас. Фед. Воронцов по приказу матери дал Троицкому монастырю село Ольявидово с тридцатью одной деревней в Повельском стану Дмитровского уезда, полученное ею вместо пошехонской вотчины.

Подобных примеров можно было привести еще много, особенно, если путем тщательных справок о личности дарителей или продавцов вотчин вскрыть происхождение тех вотчин, о которых в данных грамотах нет прямых указаний на получение их вместо земель, взятых в опричнину.

Приведу несколько случаев быстрой мобилизации земель, которые мне представляются заурядными.

Хомяковы, выселенные из Боровска при учреждении опричнины, в 1567 г. отдали свою вотчину в Московском уезде — деревню Басюнино — Симонову монастырю.

Выше было рассказано, что Ф. Гр. Желтухин в 1566 г. получил вместо своей вышегородской вотчины вотчину в Московском уезде; в 1572 г. он продал ее Бор. Беклемишеву.

Кн. Ром. Ив. Гундоров Стародубский при неизвестных обстоятельствах получил вместо своей стародубской вотчины, села Меховиц, вотчину во Владимире. В марте 1567 г. вместо владимирской вотчины он получил тринадцать деревень в Пехорском и Васильцове станах Московского уезда, которые незадолго перед тем были отобраны у Ив. Фед. Воронцова. Года через три Гундоров в 1570 г. продал

эту вотчину выезжему греку Константину Юрьеву, который в следующем же году часть этой вотчины продал, а другую часть отдал вкладом Троицкому монастырю. [1]

Кн. Дан. Ив. Засекин Ярославский лишился в разное время трех вотчин — дмитровской, переяславской и ярославской. Ярославская вотчина, сельцо Медведево с деревнями, была жалким остатком старинных владений ярославских князей. В селе Медведеве числилось 295 четей пашни, 202 копны сена и 10 десятин леса, т. е. всего около 470 десятин. Вместо ярославской и переяславской вотчин Засекин получил несколько деревень в Ильмехотской волости Владимирского уезда, которые в первой половине века входили в состав бобровничей слободы, в 1572 г. были в поместье за турчанином Николаем Яновым, а затем в полузапустошенном виде даны Засекину. В 1574 и 1577 гг. Засекин в два приема отдал эту вотчину Троицкому монастырю. [2]

Осенью 1572 г., после возвращения из Новгорода, царь Иван неожиданно для своих подданных отменил опричнину. Выселения прекратились, а прежние выселенцы получили право просить о возврате отобранных у них вотчин. Штаден, сам служивший в опричнине и лишившийся пожалованных ему в опричнине вотчин и поместий, говорит, что «опричники должны были возвратить земским их вотчины. И все земские, кто оставался еще в живых, получили свои вотчины, ограбленные и запустошенные опричниками... Когда эта игра (т. е. опричнина) была кончена, все вотчины были возвращены земским». [3] О запустошении земель, побывавших в опричнине, Таубе и Крузе говорят: «Бедный крестьянин уплачивал за один год столько, сколько он должен был платить [раньше] в течение десяти лет. Огромные имущества были разрушены и расхищены так быстро, как будто бы прошел неприятель». [4]

В действительности дело было далеко не так просто, как представил его Штаден. Изучая практику возврата вотчин (указа об этом мы пока не знаем), мы видим, что далеко не все выселенцы получили обратно свои вотчины, что в каждом отдельном случае им приходилось хлопотать, что возврат облекался в форму царской милости и затянулся на многие и многие годы. Едва ли можно сомневаться, что вотчины не возвращались тем, кто получил полный эквивалент отобранных у него земель. Затем неизбежно должны были возникнуть большие затруднения при отобрании земель у бывших опричников и испомещении их на других землях. Каждый возврат необходимо было оформить в Поместном приказе, который явно не справлялся с огромным количеством дел. Этим объясняется то, что позже при царе Федоре, возвращение опричнинных выселенцев на родные пепелища приняло стихийный характер: они самовольно возвращались в свои старые вотчины и владели ими по своим старым крепостям.

Запоздалый, но тем не менее очень интересный отклик этого мы находим в деле 1623 г. Новгородской чети о посылке писцов в Псков. Дьяки Новгородской четверти, составляя в 1623 г. наказ писцам, выписали в доклад государям о землях, некогда взятых в опричнину: «Которые будет вотчины у вотчинников иманы в опричнину, а вотчинники высланы в земское и роздаваны те их вотчины в поместья опричнинцам, а после тех помещиков те вот-

[1] С. Веселовский. Село и деревня в северо-восточной Руси, М.—Л., 1936.
[2] Архив Троице-Серг. лавры, кн. 531, по Владимиру №№ 15 и 21; ААЭ, I, № 290.
[3] Г. Штаден. О Москве Ивана Грозного, стр. 110 и 152, М., 1925.
[4] Указ. соч., стр. 36.

чины запустели, а ныне будет теми землями владеют прежние вотчинники по старым своим крепостям, а новых у них государевых грамот, как им те вотчины, взяв из раздачи, из порозжих земель отдаваны назад, нет, — и про то писцам сыскивати ли, сколько лет который вотчинник вотчиною владеет и сколько кто с вотчины имал в год какова дохода деньгами и хлебом и медом и иных каких доходов, и по сыску писцам те земли отписывати ли на государя и в книги те земли писати ли опроче, а тех вотчинников, кто теми землями владеют без государева указа и без крепостей, в государеве пене и во владенье давати ли на крепкие поруки с записьми в том, что им стать на Москве перед государем с собою вместе, и в тех землях что им государь велит указ свой учинити?» На доклад последовал указ, записанный думным дьяком Ив. Грамотиным: «Не писать того в наказ, — государь и святейший патриарх не велели, потому что застарело».[1]

Псков в опричнине никогда не был, так что подобных казусов при описании его и не могло возникнуть. Дьяки Новгородской чети могли этого не знать, но из практики описаний вообще они знали, что подобные случаи бывали. Тот же дьяк Ив. Грамотин в 1610 г., при боярском правительстве, разбирал дело Долгово-Сабуровых об их ярославской вотчине, взятой некогда в опричнину.[2]

Для нашей темы, т. е. для истории монастырского землевладения, возврат вотчин, отобранных в опричнину, интересен тем, что он так же послужил на пользу монастырям, как и выселения: возвращенцы, если можно так выразиться, так же часто разделывались со своими старыми вотчинами, как выселенцы с полученными взамен отобранных. Это понятно, так как опалы и казни продолжались, общая политическая и экономическая ситуация не изменилась, а сам царь Иван вовсе не думал принимать какие-либо меры против катастрофического обезземеления «воинского чина» и попрежнему равнодушно относился к этому.

При зачислении в опричнину Старицы из нее были выселены в числе других и Житовы, отрасль старинного тверского боярского рода Бороздиных. Вместо старицкой вотчины они получили вотчину на Волоке Ламском и в 1569 г. дали из нее две деревни Иосифову монастырю. После отмены опричнины они в 1574 г. получили обратно свою старицкую вотчину, и в том же году вдова Степ. Житова дала свою половину села Михайловского с деревнями Троицкому монастырю.[3]

Из Переяславля были выселены старинные мелкие вотчинники Таратины. В 1575 г. царь «пожаловал» Таратиных: «пустил» их служить попрежнему в Переяславле и вернул им их запустошенную вотчину — сельцо Селиваново с тремя пустошами. Три брата Таратины в том же году отдали свою вотчину Махрищскому монастырю, причем один из них выговорил себе пострижение и келью в монастыре.[4]

Для характеристики порядков при возврате вотчин большой интерес представляет дело костромских вотчинников средней руки Федчищевых Зубатого. Неизвестно, где они получили и получили ли вотчину при выселении из Костромы; известно только, что свою

---

[1] Акты писцового дела, изд. под ред. С. Веселовского, I, стр. 255, М. 1913.

[2] Л. Сухотин. Земельные пожалования при царе Владиславе 1610—1611 гг., стр. 3, М., 1911.

[3] Архив Троице-Серг. лавры, кн. 533, по Старице №№ 7 и 8.

[4] Там же, кн. 531, л. 809.

костромскую вотчину они получили обратно не сразу, а по частям, так и не получив, кажется, сполна.

В 1574 г. Ал. Ст. Федчищев дал свою долю, сельцо Заречье с четырьмя деревнями, Троицкому монастырю, причем получил от монастыря 100 рублей сдачи — «долг платити». Сверх того он выговорил себе пожизненное владение: «А жити мне, Алексею, и доходом владети тою вотчиною до своего живота, а вон меня, Алексея, из тое вотчины не выслати, ни в доходы мои не вступатись тое вотчины».[1] Неизвестно, почему Алексей и Михаил Федчищевы получили на эту вотчину отдельную и послушную грамоты только в 1577 г.[2] В 1578 г. Мих. Федчищев дал тому же монастырю свой жребий вотчины, выговорив для себя и для матери пожизненное владение.[3] В 1579 г. Федчищевы, владея совместно вотчиной, отданной монастырю, произвели раздел и в раздельной записи писали: «А которая наша вотчина за осподарем, и бог нас помилует, осподарь пожалует, старую ли нам вотчину отдаст или в прииск где против тое вотчины пожалует нас, и нам та вотчина делити пополам».[4] Надежды Федчищевых оправдались, и в том же 1579 г. они получили к сельцу Заречью смежные «недостаточные» чети земли против их старинной вотчины; им были даны 128 четвертей (немного менее 200 десятин) запустевшего села Шилова. Тогда же они взяли с Троицкого монастыря на уплату долгов 150 рублей, и Михаил написал данную грамоту на всю вотчину на тех же условиях, т. е. оставив за собой и за матерью пожизненное владение.[5]

Приведенные случаи Житовых, Таратиных и особенно Федчищевых показывают, что возврат вотчин после отмены опричнины уже не мог поправить дела и остановить рост монастырского землевладения за счет служилого. Федчищевы, отдав монастырю свою полузапустошенную вотчину, получив при этом 250 рублей на уплату долгов и сохранив пожизненное владение, совершили вовсе не плохую сделку, но земля как-никак досталась монастырю.

Приводимая диаграмма показывает, что катастрофа служилого землевладения, несмотря на отмену опричнины и возврат вотчин, продолжалась. 1571 год был исключительным по стечению бедствий — чумной эпидемии, общего недорода и голода в ряде мест, массовых казней и опустошительного татарского набега. В этот год монастыри приобрели рекордное количество земли — 69 владений. За семь лет после этого года, в 1572—1578 гг., они получили 225 владений — на год в среднем приходится немного более 32 владений. Если возьмем пять лет опричнины перед 1571 годом, получим 125 владений, т. е. в среднем по 25 владений в год. Рост монастырского землевладения резко падает за год до соборного уложения 1580 г.: на 1579 год приходится всего 14 приобретений. Мне представляется это не случайностью, а следствием глубокой реакции, начавшейся в обществе после ряда неудач и тяжелых поражений на западном фронте, которые подорвали авторитет царя Ивана, смирили его и заставили сдать многие позиции его непримиримой политики. Не настаивая на этом предположении, так как здесь возможны большие разногласия, перейду к фактам.

В январе 1580 г. состоялось соборное уложение освященного

---

[1] ГАФКЭ, Грам. Колл. Экон., № 5094.
[2] Там же, № 5102.
[3] Архив Троице-Серг. лавры, кн. 533, л. 39, по Костроме № 26; Грам. Колл. Экон., № 5106
[4] Грам. Колл. Экон., № 1328.
[5] Там же, № 5113.

собора и боярской думы о монастырском и церковном землевладении. Осенью 1581 г. был издан первый заповедный указ, лишавший крестьян права отказа и выхода. Наконец в июле 1584 г. (т. е. уже при царе Федоре) состоялось второе соборное уложение, подтвердившее январское уложение 1580 г. и сверх того отменившее монастырские «тарханы», т. е. податные льготы. Без преувеличения можно сказать, что эти три акта в истории Московской Руси были во многих отношениях поворотным моментом. Чтобы понять значение этих актов, необходимо хотя бы в общих чертах обрисовать расстановку классовых сил и значение этих актов для различных классов.

На первый взгляд акты эти ничем не связаны между собой, но в действительности они являются показателями и результатом борьбы одних и тех же классовых сил и были направлены на осуществление основных целей борьбы.

Главными действующими силами были «воинский чин», т. е. служилые землевладельцы, и духовенство. Объекты борьбы — земля и рабочие (крестьянские) руки. Духовенство распадалось на две категории, интересы которых во многих отношениях не совпадали и даже сталкивались. Иерархи церкви, возглавлявшие так называемое белое духовенство, были заняты управлением церкви, получали от него большие доходы и мало интересовались землей и сельским хозяйством. Митрополичий дом и некоторые епископии имели большие земельные владения, образовавшиеся в большей своей части еще в предшествовавшие века, и в совершенно ничтожной мере воспользовались катастрофой служилого землевладения. В рассматриваемый период иерархи и соборы получили по три владения, а всего шесть владений, т. е. немного более одного процента всех земель, потерянных «воинским чином». Все остальное досталось на долю монастырей.

Этим объясняется то, что на соборах 1580 и 1584 гг. иерархи, под давлением «воинского чина», заняли явно противомонастырскую позицию и провели постановления, которые как будто распространялись на все духовенство, в действительности же были направлены только против монастырей. Постановления соборов так хорошо известны, что нет надобности пересказывать их. Следует обратить внимание только на один существенный вопрос, который прошел незамеченным.[1]

Еще в 1551 г. правительство сделало попытку положить предел росту монастырского землевладения, а чтобы ослабить сопротивление монастырей, оно предполагало отменить право выкупа родичами тех земель, которые были даны монастырям или проданы до этого указа. Это было грубым нарушением исконного права родичей в течение сорока лет выкупать земли, отчужденные так или иначе их сородичем. Указ 1551 г. остался на бумаге, и выкуп родовых вотчин продолжался по-старому. В 1580 г., чтобы сломить сопротивление духовенства, пришлось сделать ту же уступку. Было постановлено, и в 1584 г. подтверждено, ни в каком случае не давать на выкуп земель, отчужденных церквам и монастырям по дарственным, купчим, закладным и т. п. Значение этого постановления станет ясным, если мы будем иметь в виду, какое огромное количество земель и при каких исключительных обстоятельствах перешло в руки монастырей за годы войн и массовых опал царя Ивана.

Когда был заключен мир с Польшей и Швецией, наступило успокоение, и началось медленное оздоровление экономики страны.

[1] Приговоры соборов — С. Г. Г. и Д., I, №№ 202 и 204.

Служилые люди стали понемногу оправляться и потянулись с челобитьями о выкупе вотчин к царю Федору. Монастырям приходилось отбиваться от выкупщиков, входить с ними в различные компромиссные сделки и прибегать к защите богомольного царя Федора. В архиве Троицкого монастыря сохранился целый ряд грамот по этим делам.

В 1586 г. Второй Тыртов бил челом о выкупе родственной вотчины, села Крутца Владимирского уезда, данной Ловчиковыми. Плещеевы и кн. Ив. Гундоров Стародубский били челом о своих вотчинах.[1] В 1587 г. Куракины и Голицыны били челом о крупной вотчине, селе Медведкове в Костроме, данном монастырю кн. Гр. Ан. Куракиным.[2]

В 1584 г. Самсон Дмитриев бил челом о выкупе сельца Харитонова во Владимирском уезде, которое было дано монастырю Барановым, получившим от монастыря 350 рублей сдачи, — «а сказал, что той вотчине по жене вотчич». В 1587 г. троицкие власти жаловались царю, что «та де их троицкая вотчина мимо нашего (т. е. царского) уложения взята и отдана Самсону Дмитриеву». Царь Федор указал отдать село Харитоново монастырю, взыскав в пользу детей Самс. Дмитриева по купчей (какой?) 140 рублей.[3]

В том же 1587 г. били челом о ряде вотчин — о селах Татарове, Хмелеватом, Шустове и Пантелееве — стародубские князья. В 1588 г. бил челом Ив. Сем. Елизаров — о селе Домнине в Муромском уезде.[4]

Интересен случай с селом Дмитриевским Переяславского уезда. Оно принадлежало Григ. Пахову Ловчикову и было продано им Баиму Воейкову, который дал его Троицкому монастырю. Неизвестно, на каком основании этим селом завладел «насильством» дьяк Вас. Щелкалов. В 1588 г. вмешались Ловчиковы, заявившие претензию выкупить село Дмитриевское у монастыря. По жалобе монастырских властей Ловчиковым было отказано, и монастырь получил жалованную грамоту на село Дмитриевское.[5]

Чтобы отделаться от выкупщиков и не доводить дела до царя или до суда, монастыри прибегали к различным сделкам — давали «сдачу» или «скуп» челобитчикам, отводили участки земли «на прожиток», в пожизненное владение, вдовам и сиротам вкладчиков, наделяли приданым «девок», сирот и т. п.

Вернемся к другой стороне дела — к лишению крестьян права отказа и выхода. Здесь расстановка борющихся сил была иная. Уложение 1584 г., подтверждая постановление 1580 г. относительно вотчин, одновременно отменяло церковные и монастырские тарханы. Равномерное распределение налогового бремени само по себе было важно для служилых землевладельцев, но за этим вопросом скрывался другой — «крестьяне, вышед из-за служилых людей, живут за тарханы во льготе, и от того великая тощета воинским людям прииде». В этом, т. е. в рабочих руках, и была вся суть. Иерархи церкви и монастыри, особенно крупные, благодаря тарханам имели возможность предоставлять крестьянам более легкие условия тягла. К тому же, располагая средствами, они могли сманивать и свозить к себе крестьян от маломощных служилых землевладельцев. Поэтому духовенство, особенно монастыри, не были заинтересованы в закрепощении крестьян. Для служилых землевладельцев, особенно для

[1] Архив Троице-Серг. лавры, кн. 527, 359.
[2] Там же, кн. 363.
[3] Там же, кн. 364.
[4] Там же, кн. 365 и 367.
[5] Там же, кн. 363.

средних и мелких, закрепощение крестьян было буквально вопросом жизни и смерти, так как и самая земля без рабочих рук не представляла для них никакой цены и даже была обузой, поскольку служилый человек с земли должен был нести службу и платить налоги.

Таким образом становится понятной связь между уложениями 1580 и 1584 гг. и заповедными указами о крестьянском невыходе, начиная с указа 1581 г. И соборные уложения и заповедные указы были результатом жестокой схватки одних и тех же классовых сил. Без рабочих рук земля для служилого человека не имела никакой цены, а получить эти рабочие руки и обеспечить их за собой служилый землевладелец мог только путем устранения конкуренции монастырей, экономически более сильных и пользующихся льготами при уплате податей, т. е. путем лишения крестьян права отказа и выхода. Так уложения 1580 и 1584 гг. в связи с закрепощением крестьян при помощи заповедных указов положили предел развитию монастырского землевладения и стали в истории его гранью двух периодов.

И население и правительство Московской Руси так привыкли к разрешению всех вопросов при помощи княжеских указов, что идея закона, общего и обязательного для всех, прививалась очень туго, и всякий закон на практике сопровождался исключениями. Поэтому и после уложений 1580 и 1584 гг. монастырям иногда удавалось приобретать новые земли. Рассматривая эти приобретения, сделанные после уложений, сразу замечаем, что они распадаются на две категории. В одних случаях вкладчиками являются высокопоставленные, близкие к правительству лица, которые получали, не в пример прочим, разрешение царя дать монастырю вотчину; такие вклады бывали и в XVII в., но они часто выкупались у монастырей родичами. Другую категорию составляют мелкие вклады и продажи мелких людей. Такие приобретения делались в расчете, что они останутся незамеченными и земля «застареет» за монастырем, т. е. сделки будут покрыты давностью.

Например, в 1585 г. кн. Ив. Мих. Глинский дал Троицкому монастырю село Логиново в Переяславском уезде. В 1586 г. вдова Мих. Вас. Яковлева, «доложа боярина Никиты Романовича Юрьева», дала тому же монастырю в уплату долгов мужа, за 900 рублей, село Горы с двадцатью шестью деревнями в Бежецком уезде. В 1587 г. Кириллов монастырь получил две вотчины в Коломенском и Ростовском уездах, с разрешения царя, от Агафьи Шереметевой, вдовы царевича Мих. Кайбулина. В 1589 г. боярин Дм. Ив. Годунов дал Ипатьеву монастырю село Исаково с деревнями в Костромском уезде, а вдова Мих. Вас. Годунова дала Троицкому монастырю село Башарово с пятнадцатью деревнями в Бежецком уезде. Для таких вкладчиков, как говорится, законы не были писаны. С течением времени и такие вклады делаются все реже и реже и часто выкупаются у монастырей родичами.

В заключение следует рассказать об одном явлении конца века, которое подтверждает высказанную нами мысль о связи между закрепощением крестьян и уложениями 1580 и 1584 гг. В 60—80-х годах монастыри, благодаря стечению неблагоприятных для служилых землевладельцев обстоятельств, приобрели огромное количество земель, не меньшее, быть может, чем за целое столетие до того. Между тем монашество давно уже утратило былую силу экономической экспансии и хозяйственность, которая давала ему возможность побивать частного землевладельца и на рынке рабочих рук, и на

рынке продуктов сельского хозяйства. Монашествующие, как выражалось уложение 1580 г., «ради пьянственного и непотребного слабого жития», не подобающего даже мирским людям, «в пустошь изнуряли» земельные богатства монастырей. Мы видели, что земли, приобретенные в это время монастырями, в значительной части были пустошами. Монастыри не имели ни достаточных средств ни стимулов, чтобы заняться восстановлением на них хозяйства. К тому же заповедные указы затрудняли призыв крестьян на пустые земли, а отмена тарханов лишала возможности сманивать крестьян льготами.

При таких обстоятельствах монастыри, чтобы как-нибудь использовать свои земли, стали раздавать их служилым и неслужилым людям в краткосрочную аренду «из оброка» и в пожизненное владение «из строенья». «Строить» землю означало расчищать покосы, распахивать пашню, призывать крестьян, возводить необходимые постройки, заводить скот и т. д. Сделка заключалась в следующем: желающий взять землю «из строенья» давал монастырю приличную сумму денег, в качестве вклада или в виде обеспечения соблюдения условий договора, и получал от монастыря участок, иногда большой, земли в пожизненное владение, с обязательством зазывать крестьян и завести хозяйство; после смерти строителя земля со всем строением, хлебом и скотом возвращалась монастырю. Если при заключении сделки деньги были даны как вклад, то они оставались в монастырской казне и шли на поминание души строителя. Если же они были даны как обеспечение, то монастырь возвращал их наследникам строителя. В числе строителей бывали неслужилые люди — «торговые мужики», попы, боярские холопы и т. п., но чаще всего это были служилые люди. Таким образом служилый человек принимал на себя роль сельского хозяина, а монахи превращались в совершенно бесполезных для государства капиталистов. Это противоречило основному принципу политики московского правительства — чтобы земля не «выходила» из тягла и службы. После уложений 1580 и 1584 гг. это явление приняло такие большие размеры, что обратило на себя внимание правительства и вызвало ревизию монастырского землевладения и хозяйства.

Этот интересный эпизод из истории Московской Руси, к сожалению, еще не исследован. Неизвестно, все ли монастыри были обревизованы, неизвестны программа ревизии и ее результаты. Пока есть сведения, что ревизии подверглись такие крупнейшие монастыри, как Троицкий Сергиев, Кириллов Белозерский и Ипатьев Костромской. В 1592—1594 гг. две комиссии писцов, Третьяка Вельяминова и Меньшего Волынского, произвели описание троицких владений во всех уездах; при этом они проверяли права монастыря на каждое владение и отписывали на государя все земли, на которые монастырь не представил правильных крепостей. Противозаконные сделки о сдаче земель на оброк или из строения писцы расторгали и заставляли монастырь вернуть контрагентам деньги.

Следы этой работы писцов мы находим в напечатанных Н. В. Калачовым книгах этих писцов.[1] Много интересного находится и в архивах Троицкого монастыря. Не входя в подробности вопроса, что потребовало бы много места, отмечу, что мысль произвести ревизию принадлежала несомненно правителю Борису Годунову; царь же Федор, благоволя монастырям, только мешал успеху ревизии, крайне неприятной, конечно, для монастырей. Так, например, в резуль-

[1] Писцовые книги Московского государства, СПб., 1872—1877.

тате ревизии в Рузском уезде у монастыря были отписаны село Андреевское и пустошь Тархово, в Дмитровском уезде — села Гавшино и Новое и пустоши Соколово, Серино, Подчертково (ныне село) и Стреково. В 1587 г. по челобитью властей и по указу царя они были возвращены монастырю. Тогда же в Муромском уезде монастырю были возвращены села Колычево и Матвейцево.[1] В 1586 г. у монастыря было отписано село Скоморохово в Юрьевском уезде, но в 1587 г. по указу царя оно было возвращено монастырю.[2]

При такой половинчатой политике о полном успехе ревизии не могло быть речи, но наиболее грубые нарушения указов вероятно были пресечены.

---

[1] Архив Троице-Серг. лавры, кн. 531, по Рузе № 2; кн. 533, по Дмитрову № 194; кн. 530, по Мурому № 32.

[2] Там же, кн. 530, по Юрьеву №№ 14 и 15.

П. А. САДИКОВ

МОСКОВСКИЕ ПРИКАЗЫ-«ЧЕТВЕРТИ» ВО ВРЕМЕНА ОПРИЧНИНЫ (1565—1584 гг.)

I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ «ЧЕТВЕРТЕЙ». ОПРИЧНИНА ЦАРЯ ИВАНА ГРОЗНОГО ЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одной из очень важных, очередных для исследования задач в истории Московского царства, выросшего к XVI в. из небольшого удельного княжества северо-восточной Руси до размеров огромного национального государства с сильной центральной властью, является процесс приказного строительства. Если сравнительно легко можно дать суммарную характеристику приказов вообще и любого из них в отдельности, то довольно мудрено изложить не только связный ход развития деятельности отдельного учреждения, но даже и чисто внешнюю его историю, последовательную смену в нем дьячьего состава и организацию его работы. Причина этого — гибель основной массы архивов приказов за XV—XVI вв. во время страшных московских пожаров 1571 и 1626 гг.

Это особенно ощутимо при наблюдении судеб приказов-«четвертей» или «четей», которые должны были бы стоять в самой гуще классовой борьбы между дворянином-помещиком и посадским и крестьянским населением, захватывая тем или иным путем обе враждующие стороны. Чети доставляли также и необходимые денежные средства для внешней борьбы, для грандиозных военных походов второй половины XVI в. Таким своим назначением чети резко выделяются из остальной нестройной и неуклюжей громады приказов, появлявшихся часто совершенно случайно, вне насущной в них государственной необходимости, и так же незаметно исчезавших.

Буржуазная историография высказала ряд мнений о происхождении четей, основанных частью на недостаточном охвате материала, частью на неверных теоретических предпосылках.[1] О том, как в действительности происходило образование четей, мне уже пришлось высказаться в другой статье.[2] В настоящем очерке, посвященном истории четей за время опричнины, полезно вкратце повторить основные ее выводы.

Еще до отмены в 1550-х годах «кормлений» в Москве над ними существовала известная контрольно-административная инстанция в лице особых «кормленых дьяков», которые «у кормлений будут» и кото-

---

[1] Свод мнений о происхождении четей — см. в работе Е. Сташевского. К вопросу о том, когда и почему возникли чети? («Киевск. унив. изв.», 1908 г., № 12, ч. 2), у С. Шумакова. К истории московских приказов («Юридич. записки», 1911 г., вв. II—III (VIII—IX) и И. Вернера. О времени и причинах образования московских приказов, вв. I—II, М., 1907—1908.

[2] «Кормленые дьяки» и вопрос о происхождении приказов-четей в Московском государстве XVI в.» («Сб. статей по русской истории, посв. С. Ф. Платонову», II, стр. 153—180, 1922).

рым «какие городы приказаны». Эти «кормленые дьяки» сидели по разным уже сформировавшимся приказам, и «кормленые» функции были поручены им вне зависимости от основных их деловых обязанностей, на основе личного поручения; поэтому дьяки сохраняли свои «кормленые» обязанности даже и при переходе на службу из одного приказа в другой. «Кормленая» деятельность таких должностных лиц заключалась: в выдаче кормленщику своей области («горсда») грамоты на кормление, а населению, соответственно, уставной грамоты или «доходного списка» кормления; в производстве вообще между служилыми людьми «кормленого верстания» по заранее составленным «кормленым спискам»; в наблюдении за правильностью суда кормленщика путем получения от него «судных списков». Дьяки должны были также рассудить кормленщика с его бывшими подчиненными, когда он «съезжал» с кормления, «счесть» кормленщика в «государевых деньгах», т. е. в той части доходов, какая поступала в государственную казну (если в кормление давалась известная отрасль управления), наконец — «ведать» кормленщика во всяких «приказных делах», поскольку это потребовалось бы при осуществлении «приказанного» кормленому дьяку контроля.

Когда волости, «приказанные» кормленым дьякам, стали откупаться и переходить на самоуправление, то именно этим дьякам в их «казны» начали поступать и оброчные «за наместничий доход и присуд деньги» (по иному — «кормленый окуп»); судебно-административный контроль стал осуществляться кормлеными дьяками и в отношении выборной мирской власти. Ход всей реформы, постепенный, не обязательный для населения и не всеобщий, вел к тому, что для одних местностей, где сидел наместник или иной кормленщик, кормленый дьяк по старине оставался только «кормленым», а для других, уже откупившихся, он становился предшественником «четвертного» дьяка. С переходом большинства волостей в число самоуправляющихся место «кормленого дьяка» заступал особый приказ — «четвертная изба», иногда все еще выдававшая грамоты на кормления и хранившая архив того «кормленого дьяка», из ведомства которого она образовалась.

Таким путем функции четей и по отношению к населению ее территории и по отношению к новому разряду служилых людей-«четвертчиков» вытекали из обязанностей «кормленого дьяка». Изменился лишь характер отношения: прежнего правителя в провинции сменила новая земская власть, бывшие правители оказались на положении пенсионеров этой власти, четь же явилась посредствующим звеном между обоими, для одних став одновременно и высшей судебно-административной и финансово-податной инстанцией, а для других — только кассой для получки причитавшегося им «государева четвертного жалованья». Вполне понятно поэтому очень большое значение четей в общей приказной системе: сравнительно «молодые», они сделались в XVI—XVII вв. одними из главнейших территориальных приказов, куда стекались, кроме «кормленого окупа», и многие другие мелкие местные сборы и пошлины; правильное их функционирование должно было отражаться и на земщине, и на дворянском слое, при Грозном усиленно рвавшемся к власти и стремившемся захватить ее у крупного феодала, боярина-князя.

Для 50-х — начала 60-х годов XVI в. наблюдаются несколько «кормленых» по преимуществу и затем, так сказать, «кормлено-четвертных» дьяков. Таковы, например, были: Юрий Сидоров (по основной своей службе — «казенный»), еще собственно «кормленый» дьяк; «кормлено-четвертные» — Угрим Льв. Пивов (в 1551 г. — «разрядный», затем

с 1553—1554 г. — начальник приказа Большого Прихода), Путило Нечаев («поместный»), Истома Ноугородов («казенный») и Иван Мих. Висковатов («посольский»). Преемник последнего, дьяк Вас. Бор. Колзаков, сидел уже в особой «избушке» — «четвертной»; образование этой четверти улавливается хронологически точно (1561 г.). Область, которою ведал Колзаков: Коломна, Кобылье городище, может быть — Вага, Каргополь (по последнему мы и условимся в дальнейшем именовать эту четь «Каргопольской») — вот, кажется, все скудные сведения, конечно не исчерпывающие даже в малейшей степени действительной сферы ведомства именно этой четверти. Она ранее других сложилась из ведомства кормленого дьяка и была, как четверть, некоторое время единственной. Но на ряду с ней, и одновременно, продолжали существовать ведомства других «кормлено-четвертных» приказных дельцов, аналогичные ей, лишь не носящие в документах явного наименования их четями: это были ведомства только что упомянутых Угрима Львова с. Пивова (известны территории, ему подчиненные — Владимирские волости, Ярославль, Вологда, Соль-Вычегодская, Устюг, Белоозеро) и Путила Нечаева (Двина и некоторые местности в Заонежских погостах). Дьяк Путило, однако, в самом конце 1550-х гг. (или в начале 1560-х, до 1562 г.) потерял свои обязанности по заведыванию откупившеюся Двиною: там дьячье управление повело к полному расстройству в хозяйстве, отразившемуся на взносе податей, и высшее заведывание Двиною снова перешло непосредственно к государевым казначеям, как это было до введения на Двине самоуправления (казначеи и при дьяке Путиле продолжали сбирать с Двины некоторые налоги, с других местностей поступавшие уже в особый приказ «Большой Приход»).

Так к 1565 году, к моменту учреждения опричнины, сложилось центральное управление провинциальными мирами. Четверти еще только формировались из ведомств того или иного «кормленого дьяка». Принцип личного «приказа» продолжал существовать и в четях. Поэтому мы и видим, что чети продолжительное время, почти до самого конца XVI в., очень часто «приказывались» таким дьякам, которые заведывали самыми разнообразными приказами; чети все еще по старине сохраняли характер личной «казны» былого «кормленого дьяка», не носили обычно прозвания, заимствованного от того или иного «города» подведомственной им территории, и отмечались в официальных документах по именам и прозвищам своих начальников. Особенно следует это отметить относительно тех четей, которые оказались с 1565 г. в «земской» половине Московского царства. Более четко выкристаллизовались четверти в опричнине.

С образованием в 1565 г. царского «особного двора» в правительственном механизме Московского государства произошли крупные перемены. Врезавшись клином в толщу московской территории, «государев удел» должен был, по мысли Грозного, не только явиться средством для решительной борьбы с феодальными князьями и боярством путем перетасовки их земельных владений, но и организующим ядром в создании возможностей для серьезной борьбы против врагов на внешнем фронте.[1] В последней одну из главнейших ролей должно было сыграть правильное государственное хозяйствование, исправное пополнение доходами «государевой казны», сильно пострадавшей от боярского правления и хищничества дьяков времен «избранной рады».

---

[1] Об этой стороне вопроса см. мою вводную статью к публикации материалов по истории опричнины («Из истории опричнины XVI в.», «Исторический Архив», № 3).

Игнорирование государственных интересов, расхищение денежного и земельного фондов, продажность и подкупность московской администрации — приказных дельцов, сидевших в центральных учреждениях — недвусмысленно запечатлены Грозным в его известных грамотах, присланных из Слободы в Москву, [1] а современник, опричник Генрих фон Штаден, зарисовал не менее яркую картину. Перечислив наиболее выдающихся из приказных дельцов, он о каждом пишет как о крупном казнокраде и, наконец, замечает: «За тем, кто пожелал бы пожаловаться великому князю, за тем внимательно следили и [потом] сажали его в тюрьму. Коли были у него деньги, он мог выйти вон, если же нет, он оставался сидеть, пока волосы не вырастали у него от головы до пупка. Все эти князья, великие бояре-правители, дьяки, подьячие, чиновники и все приказчики были связаны и сплетены один с другим, как звенья одной цепи. И если кто-нибудь из них так тяжко грешил, что заслуживал смерти, то митрополит мошной [своей] мог освободить его и пустить на все четыре стороны... Одним словом, все духовные и мирские господа, всяческой неправдой собравшие добро, говорили, ухмыляясь: «Бог дал» (Id est deus dedit). Так управляли они при всех прежних уже умерших великих князьях. Некоторые [из последних] заводили было опричные порядки, но из этого ничего не выходило. Так же повелось и при нынешнем великом князе...» [2] Эти порядки и были нарушены, по словам Штадена, опричниной. Из Слободы Грозный прислал строгий приказ: «Судите праведно, наши виноваты не были бы» («Sudite praveda, nassi winowath ne boliby»).

Управление выделенного «государева удела», «опричнины», строилось первоначально «по старине и пошлине», по действительно «удельному» образцу, с господством преимущественно личного «приказа» отраслей управления опричным «введенным боярам» и дьякам. Такое строительство своего нового «особного двора» сложилось у царя Ивана в результате, по всей видимости, неоднократных и длительных наблюдений как над своим собственным «вотчинным» хозяйством в дворцовых селах, так и над настоящим «удельным» хозяйствованием его двоюродного брата, кн. Владимира Андреевича.

Начиная с 1563 г. Иван усердно знакомится с жизнью и бытом провинции. В мае этого года он объехал Оболенск, Калугу, Перемышль, Одоев старый, Белев, Козельск, Воротынск [3] — все старые «удельные» гнезда князей Одоевских, Оболенских, Белевских, Воротынских, Перемышльских, Козельских. В этих уездах Грозный сам наблюдал и «великие отчины» княжат, и свои дворцовые села. Осенью того же года, с 21 сентября по 1 ноября, он побывал в гостях у кн. Владимира Андреевича — в Можайске и Старице, причем объехал и дворцовые села князя Владимира; вместе с последним Иван затем переехал в другие его вотчины, Верею и Вышгород, и здесь также осмотрел княжеские дворцовые села. Вернувшись в Москву, Грозный сейчас же, 26 ноября, «выменил» у кн. Владимира особенно понравившиеся ему Вышгород «с уездом» и в Можайском уезде волости Олешню, Воскресенскую и Петровскую. [4] На следующий год, 7 мая, царь вновь с семьей отправился «к Троице», а оттуда — в Можайск и Олешню. В этот свой «объезд», длившийся до 8 июня, он побывал также в Переяславле и «в селах своих, в Слободе, в Озерецком да в Можайску, и в Можайском уезде в новых селех и в Вяземском уезде в Круговых

---

[1] ПСРЛ XIII, ч. 2, стр. 392.

[2] Г. Штаден. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника, перев. И. Полосина, стр. 85, М., 1925.

[3] ПСРЛ, XIII, ч. 2, стр. 368.

[4] Там же, стр. 370—372.

селех, в Верее, в Вышегороде».[1] Наконец, осенью 1564 г. Грозный довольно долго прожил в Суздале, откуда вернулся «на спех», получив тревожные сведения о набеге татар на Рязань.

Все эти поездки дали Ивану, конечно, богатый запас наблюдений над приемами вотчинного, «удельного» хозяйствования с возможностью быстрого и непосредственного вмешательства самого хозяина во все отрасли управления вотчиною, с личным «приказом» доверенным лицам. И когда вслед за тем внешние и внутренние политические обстоятельства сложились так, что спешно пришлось выделять для испомещения образуемого «опричного» войска новую территорию, то в «государев удел» в первую же очередь поступили и почти все осмотренные Грозным в 1563—1564 гг. местности, а управление ими было построено па вотчинном образце.

Но до конца выдержано подобное управление в опричнине не могло быть никоим образом: приказная система появилась и в опричнине в результате внутреннего роста и развития последней; огромный царский «удел» не мог, конечно, управляться так, как простое частновладельческое имение.[2] Кроме того, с первых же шагов опричной власти она поневоле должна была считаться с наличием некоторых территориальных ведомств: с разными разветвлениями дворцового ведомства, наследием уже настоящей «удельной» старины, и с новообразовавшимися или образующимися из ведомств «кормленых дьяков» четвертями. Если первые естественно сливались, как чисто хозяйственные учреждения, с ведомством опричного дворецкого в «государеве уделе», то «четь», с переходом в опричное заведывание подчиненной ей территории, ее «городов», могла бы сохраниться только в виде передаточной кассы по выдаче «жалованья» своим четвертчикам: очевидно, доходы с волостей поступали бы в «удельную государеву казну» и уже оттуда перечислялись бы в ту или иную четверть, которая и производила бы выплату «четвертного жалованья».

Московская правительственная практика раннего времени не знала случаев разделения центральных органов на собирающие статьи государственного дохода и распределяющие их по отдельным установлениям и потребностям: наоборот, каждый почти приказ обычно жил тем бюджетом, который собирался им лично.[3] Поэтому, как увидим ниже, и четь с введением опричнины не исчезла, а была переведена в опричное ведение и в первый период существования «государева удела» (в 1565 — начале 1570-х годов), на основании указанного выше принципа централизации управления в опричнине, была поставлена в зависимость от опричного казначея — главного хранителя и распределителя царской «особной», «удельной», казны. На сохранение четверти в опричнине повлияло, конечно, и то, что она одной стороной своей деятельности предназначена была обслуживать как раз тех, кто в опричнине получил командное положение, т. е. среднего феодала, провинциальное поместное дворянство: «четвертчик», зачисленный в опричнину, только что наладившийся получать новое государево «четвертное» жалованье, не очень склонен был менять раз усвоенный порядок и вновь привыкать к какому-либо иному способу получения вожделенного вознаграждения.

Летопись, излагая мероприятия Грозного по введению опричного порядка управления и перечислив забранные в опричнину местности,

[1] Там же, стр. 384.

[2] Об управлении в опричнине подробнее см. в моем очерке «Из истории опричнины царя Ивана Грозного, I. К истории управления в опричнине» («Дела и Дни», 1921 г., кн. II, стр. 1—20).

[3] Этот порядок отметил и наблюдательный Штаден (указ. соч., стр. 83).

дает вполне ясное показание, что главным источником доходов нового «особного двора» должен был стать как раз «кормленый окуп за наместнич доход», который собирали со своих «городов» «кормлено-четвертные» и «четвертные» дьяки. Эти деньги и должны были быть пущены на удовлетворение интересов вновь набираемого служилого опричного корпуса: «И иные волости государь поимал *кормленым окупом*, с которых волостей имати всякие доходы на его государьской обиход, *жаловати бояр и дворян и всяких его государевых дворовых людей, которые будут у него в опришнине*». На всякий случай в указе об учреждении опричнины была сделана оговорка о возможности расширения денежных взысканий: «А с которых городов и волостей доходу не достанет на его государьской обиход, и иные городы и волости имати». На земщину возложена была и специальная контрибуция: «За подьем же свой приговорил царь и великий князь взяти из Земского приказа сто тысяч рублев». [1]

Все обязанности по наблюдению за сбором доходов и вообще по организации хозяйства в «государеве уделе» пали на казначея и подчиненные ему органы (в частности — на чети), и от правильности их работы и бесперебойности поступления «кормленого окупа» зависело многое в жизни опричнины, почему и в число своих «особных» казначеев, и в число их помощников-дьяков Грозный стремился поставить близких себе и доверенных людей и умелых дельцов-практиков.

II. ОПРИЧНЫЕ ЧЕТИ

Штат «государевых казначеев» в Московском царстве XVI в. не был точно регламентирован; перед началом опричнины насчитывалось трое казначеев: Федор Иванович Сукин (1543—1544 гг., умер 11 ноября 1565 г.), [2] Никита Афанасьевич Фуников-Курцов и Хозяин Юрьевич Тютин, казненный Грозным в 1568 г. [3] Но ни один из них не был казначеем в опричнине, хотя Никита Фуников и был в начале 1560-х гг. очень близок к Грозному; он погиб в общей расправе 1570 г. по обвинению в новгородском «изменном деле» вместе с рядом «опричных» и «земских» деятелей. [4]

Опричным казначеем был назначен Угрим Львович Пивов — человек, хорошо известный царю Ивану и пользовавшийся его доверием. Впервые знакомимся мы с ним еще в 1542 г., когда он служил одним из дворцовых дьяков и отчество его было не «Львов», а «Левкеин» (от уменьшительного имени отца «Левка») — знак, что вышел он не из очень значительной по своему социальному положению служилой семьи. [5] Так, лишенный своего родового прозвища, он и проходит перед нами во все время своей карьеры, и только документ более позднего времени вскрывает настоящую фамилию дьяка. Пивовы происходили из Смоленской земли, были «окольничьи смоленские», но в Москве «захудали», спустились до «послужильства» у своих

---

[1] ПСРЛ, XIII, ч. 2, стр. 395.

[2] С. Шумаков. Обзор грамот Коллегии Экономии («Чтения общ. ист. и древн. росс.», 1912, кн. III, стр. 5) и «Вкладная и кормовая книга Симонова монастыря», л. 133 (Рукописи ГПБ в Ленинграде, FIV, 348); перечисление (не совсем полное) казначеев XV—XVI вв. см. у В. Саввы. О посольском приказе в XVI в., в. 1, стр. 270—280, Харьков, 1917.

[3] О смерти в 1568 г. Хозяина Тютина см. у А. Шлихтинга. (Новое известие о России времени Ивана Грозного. «Сказание» Альберта Шлихтинга, в перев. А. Малеина, стр. 23, Л., 1934).

[4] Н. Карамзин. История государства российского, IX, прим. 299.

[5] «Сборник Русск. историч. общества», LIX, стр. 149; Н. Лихачев. Разрядные дьяки в XVI в., стр. 236, СПб., 1888.

знатных смоленских земляков, кн. Бельских; некоторые из них служили дьяками, и только через близость свою к Грозному один, Роман Михайлович, получил думное дворянство и служил в заменившем опричнину «дворе».[1] В 1549 г. Угрим Львов сопровождал Грозного в Казанском походе; в эти годы (1549—1551) он сидел младшим дьяком в Разряде в компании с такими видными дельцами как печатник Никита Фуников-Курцов, родич царского крестного отца, «старца» Троицкого монастыря Иова Курцова, и дьяк Андрей Васильев, будущий начальник Посольского приказа и доверенный царя в 1565 г. (он объявлял московским «чинам» грамоты об учреждении опричнины).[2] Угрим Львов выполнял и обязанности «кормлено-четвертного» дьяка, а с 1553—1554 г. стал начальником очень важного, только что выделившегося из ведомства казначеев, финансового приказа «Большого Прихода», которым и заведывал, повидимому, до 1561 г., когда стал вторым печатником, товарищем знаменитого Ивана Мих. Висковатого.[3] Уже в это время Угрим Львов пользовался особым доверием Грозного и едва ли не был думным дьяком. По крайней мере, в июле 1555 г., когда Грозный стоял с войсками в Коломне, ожидая набега крымцев, а из Польши пришли послы от виленского епископа, то по московскому посольскому этикету принять их должен был митрополит — конечно с полного одобрения и ведома царя; на переговоры с послами митрополит должен был пригласить казначея Хозяина Юрьевича Тютина и дьяка Угрима Львова, а из других приказных людей прибрать, кого и сколько будет «пригоже». Митрополит исполнил приказание в точности и в ответном донесении царю не упомянул никого из других дьяков, которые были с ним на приеме послов, кроме Угрима.[4] Если «ближняя дума» вся могла быть с царем в походе, то из «приказных людей» с ним было всего семь дьяков; из остававшихся в Москве был выбран, очевидно, наиболее доверенный (другой, Ф. И. Сукин, также участвовал в походе), который вместе с казначеем конечно сам (а не митрополит) и подобрал себе весь штат для аудиенции и провел все переговоры.[5]

Дальнейшая карьера Угрима Львова мало известна, и в актах он появляется перед нами уже сразу в роли опричного казначея. Однако один документ конца XVI в. проливает некоторый свет на постепенные этапы его возвышения. Именно, в 1598 г. небезызвестный впоследствии «деятель» времен самозванщины, ясельничий Мих. Игн. Татищев, местничаясь с Вас. Яковл. Щелкаловым, писал в своей челобитной: «У вас, государей, печатники сиживали за вашими царскими столами у яселничих, а Василей Щелкалов — печатник и дьяк. А у яселничего, государь, у Петра Зайцева печатник Иван Новосилцов всегда сидел, и печатники ж, государь, Угрим Львов сын Пивов и Иван Михайлов сын Висковатой всегда сидели у Петра Зайцева и у Василья Дровнина...»[6]

[1] «Сб. Русск. истор. общ.», LXXI, стр. 71; Н. Лихачев. Думное дворянство в боярской думе XVI столетия, стр. 15, СПб., 1896 (Оттиск из «Сборника Археол. института», в. VI); «Древняя российская вивлиофика», XIV, стр. 349—350 (Роман Пивов — «из двора» в 1578 г.).

[2] Акт о разрядстве воевод в декабре 1549 г. был скреплен печатником Н. А. Фуниковым, думным разрядным дьяком И. Е. Цыплятевым, первым дьяком А. Васильевым и вторым—Угримом Львовым (Н. Лихачев. Разрядные дьяки в XVI в., стр. 236—239, 553); о походе на Казань—«Древнейшая разрядная книга», стр. 138, М., 1902.

[3] О деятельности Угрима Львова как «кормлено-четвертного» дьяка см. мою статью «Кормленые дьяки»., стр. 175—177.

[4] «Сб. Русск. истор. общ.», LIX, стр. 468—469.

[5] Древнейшая разрядная книга, стр. 173.

[6] Н. Мятлев. Челобитная Михаила Татищева («Летопись историко-родословного общества в Москве», в. I, стр. 4 и сл., 1907).

Очень характерно и крайне интересно соединение имен Висковатого, Пивова и Зайцева в указании Мих. Татищева, что все трое «сиживали» за царскими «столами», т. е. приглашались в более или менее интимную компанию Грозного, куда, конечно, не было доступа простому дьяку. Что представлял собою Ив. Мих. Висковатый, назначенный печатником в феврале 1561 г., — хорошо известно; П. В. Зайцев, сделавшийся в 1562—1563 г. членом «ближние думы государевы», с 1565 г. вступил в ряды самых активных и виднейших опричников — рядом с такими людьми упоминается и Угрим Львов Пивов. Можно полагать, что и печатником он сделался одновременно с Висковатым. По крайней мере, официальная летопись под 3 февраля 1561 г. занесла любопытное известие, очевидно имевшее в глазах современников значение некоей «реформы» и потому достойное мемориальной записи: царь «переменил» печать «меншую» своего отца в. кн. Василия Ивановича, «а учинил печать новую складную».[1] Произошло какое-то расширение ведомства печатника, и к одной из печатей (при «большой») назначен был новый печатник Ив. Мих. Висковатый (вместо ушедшего в казначеи Н. А. Фуникова-Курцова), а у другой, «меншей», «перемененной», стал второй близкий к Грозному и его постоянным сотрудникам человек — Угрим Львов Пивов.

Печатничество очень часто служило ступенью к занятию должности казначея, с которым и до этого печатник находился в постоянном деловом сотрудничестве, выполняя свои обязанности на Казенном дворе. То же было, конечно, и с Пивовым. И когда, вскоре после учреждения опричнины, умер престарелый «боярин и казначей» Ф. И. Сукин, в «земщине» «первым» казначеем сделался такой близкий царю человек, как Н. А. Фуников-Курцов (в обход старого казначея — Хозяина Тютина, оттертого на второй план), а в опричном государевом уделе все доходы стал собирать казначей Угрим Львов. Он не выдвигается, однако, вперед и держится несколько в тени, как и многие другие видные дельцы опричнины. Только в одной грамоте от 12 июня 1569 г. встречаем мы имя казначея Угрима Пивова, но уже как настолько важного, «большого» человека, что в обращении к нему его называли полным отчеством — «вич». По этой грамоте, выданной в Вологде, одной из опричных резиденций Грозного, за крепкими каменными стенами которой у него хранился богатейший запас всяких ценностей, мы узнаем отчасти и об обязанностях и круге ведомства «опричного казначея». Грамота была дана по челобитью Кирилло-Белозерского игумена Кирилла, обратившегося к Ивану, когда тот был «в своей богомолье в Кирилове монастыре», с просьбой относительно новых монастырских приобретений в Каргопольском уезде и в Турчасовском стану. Угрим Пивов получил от царя приказание записать в «опришнине» «в книги» вотчинные монастырские земли, сделать распоряжение о сборе пошлин с новоприобретенных монастырских угодий и дать на эти владения «жалованную» грамоту.[2] Как видно, сфера ведения казначея в опричнине была значительно шире, чем в земщине, где вотчины и поместья давно уже записывались за владельцами в «вотчинных книгах» особой Поместной избой, выделившейся из «Казенного двора» еще в 1550-х годах. Точно так же и различные пошлины и налоги, распределявшиеся уже в Московском государстве по различным приказам, в государевом «уделе» находились еще в ведении казначея, во

[1] ПСРЛ, XIII, ч. 2, стр. 331. О перемене печати см. также у Н. Лихачева, Дело о приезде Поссевина, стр. 251 («Летопись занятий Археогр. комиссии», в. XI).
[2] П. Садиков. Из истории опричнины XVI в., № 37.

власти которого было «велеть» их брать или льготить. Наконец, что особенно важно, та «жалованная грамота», относительно выдачи которой монастырю обязан был распорядиться Угрим Пивов, была выдана кирилловским «старцам» из опричной четверти дьяка Кургана Лапина — следовательно, именно казначей являлся верховным начальником этого приказа в опричнине.[1]

О конце деятельности и жизни такого незаурядного опричного дельца, первого «особного», «удельного» царского казначея, каким был Угрим Львович Пивов, мы, к сожалению, ничего не знаем. О Пивове больше нет упоминаний — ни летописного ни актового характера. В рассказах об общей расправе Грозного в 1570-х годах, когда погибли и многие прежние «земские» сослуживцы, и такие близкие товарищи Пивова, как Н. Фуников и И. Висковатый, многие видные опричники, имя казначея Угрима Пивова не встречается.

Итак, по только что изложенным данным, «чети» в 1560-х годах находились под началом у казначея. Со следами несомненного вмешательства его в «четвертные дела» мы встретимся в дальнейшем изложении истории этих приказов — вмешательства, построенного на основании того общего «удельного» порядка хозяйствования, который замыслил ввести у себя Грозный, разъезжая и осматривая свои дворцовые села еще в 1563—1564 гг.

Разбор сохранившихся свидетельств о четвертях, действовавших в пределах «государева опричного удела», необходимо начать с изучения судеб той единственно известной «доопричной четверти», которая условно была названа нами «Каргопольской» и территория которой, повидимому, в основном[2] и была включена в число опричных земель непосредственно в 1565 г.

Этой четвертью ведал еще с 1561 г. дьяк Василий Борисов с. Колзаков.[3] Не совсем ясно, долго ли он оставался во главе своего приказа после учреждения опричнины, т. е. после января — февраля 1565 г. Во всяком случае, в конце этого года его место занял другой человек, а В. Б. Колзаков в 1566 г. служил уже в «земщине», где и был, по всей видимости, даже старейшим среди всех других «земских» и не «думных» дьяков.[4]

В первые, переходные, моменты, когда опричное управление еще находилось в периоде формирования, четверть была поручена дьяку Федору Рылову. До этого своего назначения он служил на невидном, но «близком» к царскому «обиходу» месте — «конюшенным дьяком» и участвовал вместе с Иваном IV в ливонских походах 1559 и 1563 гг. Происходил он из старинной средней руки и достатка провинциальной служилой семьи Рясиных-Рыловых, и в «государев удел», на ответственное место, попал уже пожилым человеком (у него были взрослые дети), повидимому именно в силу своего постоянного общения с Грозным в его интимном быту.[5]

---

[1] Архив ЛОИИ, сб. №112, отд. IV, № 58; другой список: ГПБ, рукоп. бывш. СПбургской духовн. академии, А П/47, лл. 285 об.—301.

[2] Заведывание такими местностями, которые не были забраны в 1565 г. в опричнину (например, Коломенские волости и Псковские пригороды), с переходом этой части в опричнину должно было, конечно, перейти к какому-либо иному «кормлено-четвертному» дьяку.

[3] См. П. Садиков. Кормленые дьяки..., стр. 168—169.

[4] По «приговорной грамоте» Земского собора 2 июля 1566 г. Вас. Колзаков значился первым среди «дьяков и приказных людей»; он также приложил руку к соборному акту в числе избранных семи дьяков, из которых по крайней мере четырех надо считать думными (Собр. гос. грам. и дог., I, № 192).

[5] Древнейшая разрядная книга, стр. 212, 236. Рыловы происходили из мелких детей боярских Бежецкого у.; несколько позднее двух сыновей дьяка, по всей видимости,

О деятельности Ф. Рылова в четверти дошло до нас два известия. Так, уже 6 ноября 1565 г. он выдал и скрепил «сотную грамоту» (сохранился отрывок в списке) на некоторые волости Подвинской четверти Важской земли, забранной в опричнину с самого начала.[1] Несколько позднее, в 1566—1567 гг., Рылов подписал и выдал большую «платежницу», составленную, очевидно, в его приказе, по Каргопольским и Турчасовским писцовым книгам Якова Сабурова и Ивана Кутузова «с товарыщи» (1556/57 г.).[2]

Федор Рылов очень недолго, однако, пробыл единоличным управителем «чети», уступив первое место в ней лицу, гораздо более важному и более соответствовавшему тому значению, какое приобретала четверть по мере расширения и оформления территории «государева удела» и его центрального управления. 16 августа 1566 г. уже новый дьяк Дружина Володимеров подписал известную грамоту о зачислении в ведомство опричнины «именитых людей» Строгановых (в виду перехода в опричнину центра их вотчин — Соли Вычегодской). Через месяц, 21 сентября, он послал Анике Фед. Строганову и Климке Проезжему «с товарищи» в Соль Вычегодскую предписание обмерить у Вондокурских и Пачеозерских ключников оброчный хлеб и продать его «по тамошнему и по усолской цене, по чему у Вычегодцкие Соли меж себя ржи и овса и ячмени четверть купять». «А что на том хлебе денег возмете, — добавлялось в посланной грамоте, — и вы б те денги все сполна привезли на Москву к нашей казне и отдали в четверть диаком Дружине Володимерову да Федору Рылову».[3] 25 марта 1568 г. все тот же дьяк Дружина скрепил и жалованную грамоту Анике Строганову на земли по реке Чусовой.[4] Дружина Володимеров действительно занял первое место в чети несколько позднее Ф. Рылова: в июне — июле 1566 г., когда Рылов уже с год как хозяйничал в четверти, выдавая подчиненным ей областям грамоты, дьяк Дружина выполнял еще обязанности «второго» посольского дьяка и только после замены его в этой должности дьяком Казарином Юрьев. Дубровским стал начальником чети.[5]

С этой поры «Каргопольская» четь приобрела вид обычного московского приказа с двумя дьяками-«товарищами» во главе и со штатом подьячих (одного из них, Ивашку Савина, мы знаем).

мы наблюдаем в числе помещиков Ярославского у., волости Черемхи, причем материальное положение их до возвышения отца было далеко не блестящим. (ГАФКЭ, Писцовые книги по Ярославлю 7076—7077 гг. Вас. Фомина и Григ. Сукина, № 582, лл. 487—488 об., 496—497 об.); С. Веселовский. Синодик опальных царя Ивана как исторический источник («Проблемы источниковедения», III).

[1] Архив ЛОИИ, Акты Спасо-Прилуцкого монастыря, № IV, П. 14. «Сотная» не имеет начала; относим ее к Ваге на основании указания, что «список с сотные писал Захарко Федоров Ростовские волости церковный дьячек», и упоминания крестьян волостей Кодимы, Сельца (Селецкой вол.) и Нижней Тоймы, расположенных у Северной Двины и издревле входивших (как и волость Ростовская) в состав Подвинской четверти Шенкурской округи Важской земли (см. М. Богословский. Земское самоуправление на русском севере в XVII в. I, стр. 5, М., 1909). «Сотную» в четверти «правил с книгами» подьячий Иванко Савин, четыре года спустя занявший в своем приказе место Фед. Рылова.

[2] ГАФКЭ, Городовые книги по Каргополю, № 1, лл. 2—98 об.

[3] А. Введенский. Торговый дом XVI—XVII веков, стр. 91—92, Л., 1924. Подлинник (ГАФКЭ, Фамильный архив Строгановых) скреплен печатью с изображением «единорога», а не обычного московского «двуглавого орла»; печать эта в XVI в. употреблялась в опричнине.

[4] ДАИ, I, № 119. Соответственно основной жалованной грамоте (см. там же, № 118) предоставлялась льгота на 10 лет, т. е. до 25 марта 1578 г.

[5] Н. Лихачев. Библиотека и архив московских государей в XVI столетии, стр. 109—110, СПб., 1894.

Впрочем, следует отметить в отношениях между дьяками Др. Володимеровым и Рыловым один бытовой штрих, характерный для московской приказной среды и дающий возможность предполагать, что управление четью фактически осуществлялось единолично: Др. Володимеров был близким свойственником Рылова, его зятем,[1] и, конечно, отодвинул в тень своего старика-тестя (может быть и посаженного-то в опричную четь лишь временно и впоследствии покинувшего этот приказ одновременно с дьяком Дружиною). Как мы видели, важнейшие грамоты, вышедшие из чети, заверялись именно Др. Володимеровым, а на долю Ф. Рылова оставалась заверка сотных и платежниц.

Из документов, вышедших из чети за время управления ею Др. Володимеровым, особый интерес представляет грамота «с прочетом», посланная 20 апреля 1567 г. на Чаронду Аргуну Иванову с. Захарьина «и во все городы нашие опричнины таможником и мытчиком, которые емлют с купцов всякую нашу пошлину и которые вперед иные верные и откупные таможники и мытчики будут».[2] Дело шло о предоставлении Кирилло-Белозерскому монастырю права беспошлинного провоза товара и торга, по старой монастырской жалованной грамоте.

Подобная «окружная» грамота значительно расширяет наши представления как о характере ведомства опричной «четверти», так и об объеме подведомственной ей территории: ее начальник не только распоряжается по всем опричным городам, но и получает вместе с обычными «четвертными» доходами («кормленым откупом») также и важнейшие опричные косвенные торговые налоги.

Если прибавить, что в эту же четверть (по грамоте 15 сентября 1566 г. Строгановым) поступали также и разные второстепенные сборы с оброчных угодий и что на ряду с этим там же ведались такие первостепенные плательщики как Строгановы, то широкий охват финансового ведомства приказа не подлежит сомнению: четверть явно становилась главным средоточием всех опричных доходов. Однако четверть была связана с казначеем даже в самых мелких своих поступлениях: деньги за оброчный хлеб привозились «к казне» и затем уже поступали в четверть дьякам.

На фоне этих данных становятся ясными и показания других источников, на первый взгляд, казалось бы, противоречивые и сбивчивые. Вполне понятными становятся, например, известия о центральном административно-судебном ведении и финансовых инстанциях таких огромных опричных «уездов», как Двинская земля. Там, в результате неудачного заведывания областью со стороны «кормленого дьяка» Путила Нечаева, в конце 1550-х — начале 1560-х годов произошло большое расстройство в платеже податей и налогов; около 1562 г. Двина была изъята из ведомства дьяка и вновь, по старине, возвращена в непосредственное ведение казначеев.[3] Такой порядок, судя по некоторым документам, целиком сохранился и в то время, когда Двинский уезд в 1565 г. был уже забран в опричнину (с соответствующей, конечно, заменой прежнего общеземского казначея казначеем «особного двора» государева). Подобное заключение можно сделать, следя за упоминанием в сохранившихся платежных «отписях» одной из крайних северных волостей нижней половины Двинской земли — Лодмы о вносимых населением приказных пошлинах:

---

[1] Н. Лихачев. Разрядные дьяки, XVI в., указатель, стр. 16.

[2] См. П. Садиков. Из истории опричнины XVI в. («Историч. Архив», III, № 18).

[3] См. П. Садиков. Кормленые дьяки.., стр. 174.

в 1564—1568 гг. лодомские волощане вносили подати («кормленый оброк» и другие) именно в такое учреждение, где главными начальствующими лицами являлись не дьяки, а казначеи.[1] То же можно сказать и относительно центральной судебно-административной власти над Двиною. В одной «духовной» грамоте (12 февраля 1567 г.) завещатель, «старец» Архангельского монастыря Арсений, так выразился по поводу своих оставшихся еще невершенными гражданских дел (иски по заемным кабалам): «...И яз того на Григорье да на Невере [бывшие земские судьи нижней половины Двинского уезда] искал и на их товарыщах перед судьями Нижней половины перед Яковом Дмитриевым сыном с товарыщи. И Яков нас в том судил да дал дело наше в доклад к Москве, и нынечи тот список в казне у царевых великого князя дьяков...»[2] Данные, кажется, довольно определенные: казначей, сидевший в государевой «казне», и его дьяки должны были вынести свое решение по поводу поступивших к ним «докладных» дел.

Этими «дьяками», зависимыми от казначеев, и для Двинской части Поморья, как и для всех других опричных местностей, являлась все та же упомянутая нами четверть Дружины Володимерова и Федора Рылова. До нас дошли «Книги «Платежница» поморские Пустозерские волости с книг писма и дозору Василия Огалина да подьячего Степана Федорова лета 7082; и збирати по ней государеву дань на два года, на 85-й да на 86-й год, данщику Третьяку Асеневу».[3] По этой «платежнице», составленной в 7083 (1574/75) г., писцы заинтересовались оброком с некоторых описанных ими рыбных ловель по Ледовитому океану и впадающим в него речкам и получили следующее разъяснение от местных властей: «А пустозерские таможники, Третьяк Коровин[4] с товарыщи, и целовалники сказали про ту десятую рыбу,[5] что у них в волости теми тонями владеют двиняне и *пеняжене,* а в государеву казну за ту десятую рыбу оброку не дают тому десять лет, а про оброк не ведают же, дают ли они государю в казну с тех угодей по шти рублев на год, что в книгах написано, а сказали, что учали двиняне и пеняжене тот оброк платити в *четверть дьяка Дружины Володимерова, как Двиньская земля приписана была к государеве опричнине*» (л. 32 об.). Таким образом, двинские поморы-рыбаки, промышлявшие по Пустозерскому побережью, сразу же после «поимания» их родных мест в опричнину стали платить и денежный и натуральный оброк в опричную четверть, которая, очевидно, явилась для них главной

[1] О возможности по упоминанию в документах судить об определенных пошлинах и о взимавших их соответственных центральных учреждениях—см. «Кормленые дьяки..», стр. 172—173; Лодомские «отписи» напечатаны в «Русск. Ист. Б-ке», XXV, «Акты Лодомской церкви», №№ LXXXII, LXXXIII (оброк за наместничий доход,) LXXXIV, LXXXV (оброк), LXXXVII (оброк), XCI (без упоминания о пошлинах и месте платежа в Москве).

[2] Рукоп. отдел. библ. АН СССР, собрание бывш. Архангельского древлехранилища. «Списки с древнейших грамот Архангельского монастыря XVII в.», лл. 102—116; «Список з духовной изустной памяти раба божия инока Арсения»; цитир. место— л. 111, ср. еще л. 112.

[3] Там же, № 28. 6. 61.—Платежница на 43-х лл., по листам подписана дьяком Большого Прихода Степаном Лихачевым; на последнем листе (оборот) скрепа подьячего того же, очевидно, приказа: «С писцовыми книгами справил подъячей Тренка Десятого». Тогда же Вас. Третьяков с. Агалин и подьячий Степан Федоров с. Соболев «дозрили» и Колу, острог и уезд (С. Веселовский. Сошное письмо, II, стр. 602, М., 1916; подробнее об этом письме см. ниже).

[4] Вероятно, тот же Третьяк «Асенев», для которого в качестве инструкции и была выдана из Большого Прихода цитируемая «платежница».

[5] «Десятая рыба» — семга, сбор которой с поморских тоней на царский обиход шел повсюду.

финансовой инстанцией в Москве. Самая Пустозерская волость осталась в «земском», и попавшие в опричнину двиняне и пинежане настолько почувствовали себя эмансипированными от местных (пустозерских) данщиков и сборщиков, что последние не могли даже дать точный ответ на официальный запрос писцов — не уклоняются ли пришельцы от платежа местных законных оброков и даней.[1]

Личная судьба первых чисто опричных четвертных дьяков — Др. Володимерова и Ф. Рылова — также далеко не безынтересна. Наблюдение над прошлой деятельностью первого из них дает возможность сделать некоторые заключения и о том, почему именно ему, а не какому-либо иному приказному дельцу пришлось в опричнине, вместе с казначеем Угримом Львовым Пивовым, вести пополнение и распоряжаться удельной царской казной. Не надо забывать при этом, что как на Пивова, так и на подчиненного ему «четвертного» дьяка Дружину выпала нелегкая обязанность не только взыскивать обычные «четвертные» и другие доходы с собственно «опричного» населения, но и как-то добыть от «земщины» стотысячный чрезвычайный налог «за государев подъем». Правда, сведений о мерах, предпринятых ими по поводу последнего сбора, не сохранилось, но, во всяком случае, для всех подобных операций были необходимы большая опытность, крупный организаторский талант, а также суровая непреклонность, если того требовали обстоятельства.

О Федоре Рылове мы уже говорили. Это был, по всей видимости, довольно случайный человек в приказном мирке. Иное представлял собою дьяк Дружина. Его следует отождествлять с крупным приказным дельцом 1550-х годов — «казенным» дьяком Дружиною Лазаревым, принимая «Володимеров» или «Володин» (как читается его подпись на упомянутой выше «окружной» грамоте Аргуну на Чаронду 1567 г.) за отчество дьяка, а «Лазарев» — за его родовое прозвание («Дружина Володимеров сын Лазарева»).[2] При таком допущении вся карьера дьяка Дружины становится вполне ясной. Это был видный давний деятель под началом у казначеев и участник особых приказных междуведомственных комиссий. Некоторое время он нес обязанности и по дипломатическому ведомству, также ближайшим образом еще связанному с деятельностью государевых казна-

[1] Нахождение Пустоозера в «земщине» несомненно. Однако пустозерские «данщики» вели постоянные сношения с опричниной — как служебные, поставляя соболей на государев обиход, так и «неофициального» характера. В Пустоозере, например, проживал «данщик» Петр Вислоухов, о котором в «платежнице» (л. 12 об.) отмечено: «Да пустоозерской же данщик Петр Вислоухов да целовальники Якуш Шалакуша да Кирилко Кузмин збирают царя и великого князя дани с Югорской самоеди по шти сороков соболей на год». Вислоухов постоянно бывал в опричнине и имел с опричниками тесные дружественные и деловые связи. Г. фон-Штаден, рассказывая о ненцах, говорит: «Земля их лежит приблизительно в 700 милях от Москвы. Имя теперешнего сборщика дани с [самоедской] земли — Петр Вислоухий. Он не может требовать с этих народов ничего сверх того, что они дадут ему [сами] по доброй воле... Я имел дела и дружбу с Петром Вислоухим, [сборщиком] на Пустоозере, который собирает годовую дань соболями с самоедов» (Г. Штаден. Указ. соч., стр. 117—118, 143).

[2] Такое отождествление обоих дьяков «Дружин» действительно необходимо. Во-первых, этим устраняется совершенно необъяснимая разорванность сведений о первой половине служебной карьеры дьяка Дружины Володимерова (до 1566 г.) и о второй — дьяка Дружины Лазарева. Во-вторых, — и это главное — сохранились две грамоты с подлинными подписями обоих дьяков, причем, приняв во внимание хронологическую разницу в 14 лет, необходимо признать, что сделаны они одним и тем же почерком (Архив ЛОИИ, по описи 1927 г., № 221—грамота «с прочетом» 1558 г. марта 13 и № 328—грамота «с прочетом» 1572 г. сентября 1). Обе грамоты направлены на Двину, касаются вопроса о ружном хлебе, получаемом Архангельским монастырем, и в монастырском архиве были склеены вместе.

чеев, игравших в это время большую роль в сношениях Московского государства с иноземцами.[1] Поручение управлять четью в опричнине при том обширном характере ведения этого приказа, какое мы отмечали выше, именно дьяку Дружине понятно: к отправлению новых усложненных обязанностей четвертного дьяка привлечено было лицо, очень опытное в подобных делах. Наконец, явная зависимость опричной чети от власти опричного казначея становится понятной не только из общей структуры опричного управления, построенного по старинному «удельному» образцу, но и благодаря личному знакомству дьяка Дружины с главою опричного казенного ведомства: Угрим Львов Пивов поставил во главе чети хорошо ему известного, опытного, бывшего «казенного» дельца, с которым приходилось бок-о-бок работать и вместе разрешать междуведомственные вопросы. Значение Дружины Володимерова в опричнине было, повидимому, столь велико, что ему поручались иногда и обязанности опричного разрядного дьяка. Мы знаем, например, подписанную им грамоту от 3 июня 1567 г. по местническому делу таких крупных опричников, как Ив. Дм. Колотка-Плещеев и кн. Дм. Ив. Хворостинин.[2]

Летом 1569 г. в опричной четверти произошла, однако, смена начальствующего состава. Причиной этого едва ли не послужили большие неурядицы во взимании податей в Поморье как раз тогда, когда шла оживленная подготовка к энергичным наступательным действиям в Ливонии, а Грозный собирался даже нанимать каперский флот для организации отпора шведскому и польскому пиратству в Балтийском море. Для всего этого нужны были средства, и всякие перебои в их поступлении в опричную казну болезненно на ней отзывались. Принятые четвертью крутые меры хотя и дали желательный эффект, но вызвали усиленное «запустение», что едва ли все-таки входило в специфическую задачу московского опричного правительства.

О «смуте» в Поморье дошли неполные и не совсем точные рассказы торгового иноземца — голландца Симона ван Салингена, проживавшего в то время на севере. «... В 1568 г., когда началась опричнина (Aufrissung),[3] — передает Салинген, — жители Холмогор, принадлежавшие к опричнине (Ufrissung) великого князя, пожаловались великому князю на то, что жители Варзуги завладели их вотчиной, отчего произошел раздор, описывать который здесь нет надобности или было бы слишком долго. Тогда из Москвы был отправлен некто Басарга Федорович (Bassarga Fedorowitz), с несколькими дворянами и челядью, оштрафовать вместе с варзужанами деревни Шую (Suyen), Кемь (Kieni), Кереть, Кандалакшу и Умбу за то, что они не предупредили раздора, происшедшего между жителями Холмогор и варзужанами, и упомянутый Басарга собрал несколько тысяч рублей с вышеназванных деревень».[4]

Память об опричном погроме — «правеже» податей в волостях Кольского полуострова — долго сохранялась в умах современников,

---

[1] О деятельности Дружины Лазарева под началом у казначеев см. указанную ст. «Кормленые дьяки».., стр. 172; также П. Садиков. Из истории опричнины XVI в., № 78 (грамота 7074 (1565—66) г. Толгскому Ярославскому монастырю о вотчине кн. Фед. Жирового Засекина). Последняя дата—последнее упоминание дьяка Др. Лазарева: далее, хронологически, в документах выступает уже дьяк Др. Володимеров.

[2] Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., стр. 115.

[3] Салинген, конечно, ошибается, указывая дату начала опричнины; вероятно, здесь надо подразумевать начало опричнины в Варзуге (ср. далее).

[4] А. Филиппов. Русские в Лапландии в XVI веке («Литер. Вестник», 1901 г., I, кн. 3, стр. 304—305).

и известия о нем получили широкую огласку. Население приравнивало «правеж» Басарги к самым страшным стихийным бедствиям. Так, Генрих фон Штаден, описывая пути в Московию, кратко, но выразительно замечает о Шуе: «Шуя Корельская — бухта и незащищенный посад; опустошен опричными»;[1] а в «сотной грамоте» с книг Вас. Дементьева с. Агалина и подьячего Ст. Соболева 1574—1575 гг. по волости Керети читаем: «...Запустели Керецкои волости дворы и места дворовые пустые и тони и варницы и всякие угодья от лета 7076-го году от лихова поветр[ь]я и от голоду и от Босаргина правежу и от Двинского иску».[2] Сами писцы-дозорщики 1574—1575 г., проверявшие платежеспособность некоторых волостей московского севера, как «земских», так и «дворовых» (т. е. бывших опричных), должны были констатировать всю неправоту «иска» двинян перед варзужанами и уменьшить наложенный было на Варзугу оброк, предварительно произведя тщательное расследование всеми доступными для них средствами, «потому что Двиняне государевых многих доходов перед Варзужаны не додавали».[3]

Сохранившиеся «опросные речи» некоторых «приезжих людей» настолько красочно рисуют отдельные детали в «споре» двинян и варзужан и так характерны для настроения людей «опричного времени», что позволяем себе привести их in contexto. Допрашивались два представителя монастырей, имевших промысловые угодья на Кольском полуострове: «старец» Антониева-Сийского монастыря Илья и «старец» Герман из Никольско-Корельского монастыря. Дозорщики В. Д. Агалин и Ст. Ф. Соболев, надо полагать, видавшие виды приказные дельцы, и те растерялись перед открывшейся им картиной запустения, разрушения и произвола, которую представляла собою Варзуга спустя 6—7 лет после «Басаргина правежа». Они с тревогой запросили Илью и Германа:

«Скажите, старцы, по своей черной ризы[4] — про Вар[зуж]скую волость и про угодья, от Пороские ямы от волост[и] за 3 версты, и в нем по реке до монастырского устья Варзуге реке, и по монастырскому берегу рыбные тони и сенные покосы и всякие угодья, от Умбские межи от речки Оленицы, а в Мурманской конец до речки до Пялицы, чьи то угодья истари, тони и речки и леса и пожни и всякие угодья? И почему те[м] двиняне ныне владеют, и в реке в Варзуге [у] Пороских ямь забор[5] преж сего бывал-лы? И в волости в Варзуге отчего дворы и луки и варницы и мелницы запустели, и куды с тех дворов люди розошлися и в котором году, и хто пустых дворов хоромы розорил, и отчего государева таможная пошлина и жемчюжная десятина залегла? Да в Мурманской конец, по морскому берегу речки и тони, речка Пулонга да речка Кабалья да речка Лиходеева, и меж тех речек всякие рыбные ловли и луки, чьи то истари было и хто теми угодьи ныне владееть?»

Илья и Герман отвечали осторожно и несколько уклончиво, явно опасаясь задеть интересы двинян-насильников, с которыми были связаны, так как их монастыри находились в опричной Двинской земле: «Мы, господине, зазнали за 11 лет, что тою рекою Варзугою и до

[1] Г. Штаден. Указ. соч., стр. 64.

[2] Сборн. грам. Коллегии Экономии, II, № 138, стр. 461; ср. стр. 454 и 458.

[3] «Сборн. материалов по истории Кольского полуострова в XVI—XVII вв.», Л., 1930, № 6, стр. 33 («Материалы Комиссии экспед. исследований АН СССР», в. 28). Промышленники-поморы, пользуясь своим «опричным» положением, не очень склонны были к аккуратному внесению оброков за морские промысловые угодья — см. указанные выше сведения по Пустоозеру.

[4] Т. е. на основании своего «чернечества», монашеского обета показывать правду, без принесения обычной в таких случаях присяги-«крестоцелования».

[5] Особое приспособление для запруды реки.

морского устья и берегом, от Оленицы и до Пялицы всеми угодьи, варзужане владели и до межеванья князя Григорья Вяземского да Басенка Федурина; а у Пороских ямы у варзужан забора не было — был, господине, забор у варзужан повыше волости. И после, господине, межеванья и отводу князя Григорья Вяземского да Басенка Федурина теми всеми згодьи промышляли двиняне, от Порожские ямы до устья и морским берегом по обе стороны реки Варзуге, от речки Оленицы да до Пялицы, а забор, господине, на ямы ниж волости держали двиняне. А в Мурманской конец, речки от Пялицы — про те, господине, речки нам неизвесно, за кем те речки были и хто ныне теми речками владеет. А про Варзускую, господине, волость слышели есми слухом: запустела от гладу и от мору и от Басаргина правежу. А про дворы, господине, неизвесно нам, хто Варзуские волости дворы секл и розвозил, занеже, господине, мы живем далече от Варзуские волости за морем, за солемянем.[1] То, господине, наши речи, скажем по своей черной ризы».[2]

Монахи сообщили очень ценные подробности, указав на «межеванье и отвод» кн. Гр. Вяземского и Басенка Федурина как на такой момент, после которого двиняне захватили угодья Варзужской волости; вполне очевидно, что «межеванье» это было произведено в результате «победы» двинян над варзужанами, т. е. после «Басаргина правежа», а Варзуга, главный объект всех происшествий и домогательств, именно с этого времени была «поимана» в опричнину и включена в Двинской уезд, куда она исстари тянула в силу своего географического положения.[3] Из позднейших известий выясняется, что кн. Григорий Вяземский присоединил к Двинской земле не одну только Варзужскую волость, но все его межевание было предпринято для усиления Двинского уезда новыми территориальными участками вместе с сидевшими на них тяглецами. К Мезенскому стану, например, он присоединил две большие волости — Олему по р. Вашке и Малую Немьюшку по р. Немьюге — «что отмежевал от Вычегодского уезду от Удоры к Пенеге и к Мезени князь Григорий Вяземский в опричнину», как замечает писцовая книга 1623 г., сохранившая память о самом характере межевания.[4]

«Земские» волости Кольского полуострова были жестоко наказаны; шедшая, видимо, во главе оппозиции их двинянам Варзуга была присоединена к опричнине; Басарга Федоров «доправил» для опричной казны и ее основного финансового органа — «чети» дьяка Дружины Володимерова — огромные «доходы». Но следом за Басаргою по Кольским волостям был послан специальный дозорщик-писец Третьяк Зайцев, который и обнаружил вопиющее запустение в промысловых угодьях: «доход» был куплен, очевидно, очень дорогой ценой.[5] Едва ли не в результате этой двинской «смуты», в виде своеобразной компенсации уже за «расходы» по правежу Басарги, в 1568/69 г. не было произведено отмежевание к опричному Каргопольскому уезду (т. е. в ведомство той же опричной чети) и нового куска «земщины» — Водлозерской волости Обонежской пятины Новгородской земли, которая в 1568 г. числилась еще в «земском».[6]

---

[1] «Соломя» на северном наречии означает «пролив».
[2] Архив, ЛОИИ, Акты Антониева-Сийского монастыря, № 427.
[3] М. Богословский, Указ. соч., I, стр. 15—16. О ведомстве Варзуги впоследствии в «дворовой» (опричной) четверти см. ниже.
[4] Там же, стр. 17.
[5] Сборн. грам. Колл. Эконом., II, № 138, стр. 453—454.
[6] Об отделе Водлозерской волости см. далее. Летом 1569 г. данный староста М. Г. Тяполков уже «писал и мерил» отмежеванную волость, а самое решение об «отмежевании» произошло конечно ранее.

Все эти передряги на крайнем севере государства отразились, надо думать, весьма неблагоприятно в центре — на лицах, непосредственно связанных с наблюдением и получкой «государевых податей». Напрашивается сам собою вывод, что именно за это в качестве конкретного повода мог пострадать казненный в 1568 г. старый «земский» казначей Хозяин Юрьевич Тютин, очевидно недоглядевший или попустительствовавший варзуганам и жителям других кольских земских волостей в их «борьбе» против двинян, допустивший самый факт «жалобы» на них, «земских», со стороны «опришных». Опричный же четвертной дьяк Дружина Володимеров, хотя и сумевший крайне сурово «выбить» необходимые деньги из опальной «земщины», но также допустивший чрезмерное опустошение богатых северных промысловых угодий, отделался сравнительно легко: он был лишь переброшен на службу в «земское», где и занял вскоре место, вполне соответствовавшее обнаруженным им способностям — по сыску и наказанию «преступников».[1]

Как бы то ни было, но 26 августа 1569 г., когда, по приказанию опричного казначея Угрима Льв. Пивова, Кирилло-Белозерскому монастырю понадобилось получить жалованную грамоту на вновь приобретенные земли в Турчасовском стане Каргопольского уезда, по берегам Белого моря, монастырь получил эту грамоту из опричной четверти уже за приписью нового начальника, дьяка Кургана Лапина.[2]

Иван-Курган Васильев с. Лапин не служил, кажется, до того в опричнине. Среди московских дьяков, подписавших соборное определение 1566 г. и участвовавших в самом земском соборе, имени его мы не встречаем. Не значится он и по разрядам — вероятно он служил где-либо в провинции, на малозаметном и неответственном приказном деле. Но с июля 1567 г. и до половины июня 1569 г. он неожиданно появляется на крупном посту — едет дьяком в посольстве боярина Ив. Мих. Воронцова и Вас. Ив. Наумова в Швецию.[3] Начальником опричной четверти он сделался очевидно сейчас же по возвращении.

Помощником Кургана Лапина, «вторым дьяком», в четверти был назначен прежний подьячий этого приказа — Иван Савин. Деловая преемственность, таким образом, сохранялась. Четвертные дьяки Курган Лапин и Иван Савин выполняли, по документам, все те же обязанности, что и их предшественники. Так, например, сохранился список с «сотной» грамоты «с книг с Каргополских, что отмежевал Ондрей Иванович Плещеев да подьячей Ушак Микитин от Ноугородцкого от земского рубежа от Обонежские пятины к государеве царсве и великого князя опричнине к Каргополю Водлозерскую волость, а после того писал и мерил те примежеванные земли данной староста

---

[1] ААЭ, I, № 280 (РИБ, XXXII, № 246); «Синбирский сборник», Разрядн. кн., стр. 34; «Древн. Росс. Вивлиоф.», XIII, стр. 120; П. Садиков. Из истории опричнины XVI в. стр. 176. Около 1576 г. Др. Володимеров умер — в 1577 г. его вдова была монахиней. (Н. Лихачев. Разр. дьяки XVI в., указатель, стр. 16). Дьяк Фед. Рылов, ушедший из чети вместе со своим зятем, совершенно исчез со служилого московского горизонта — как опричного, так и земского. Как Др. Володимеров, так и Фед. Рылов, повидимому, были казнены: их имена были записаны в известные «синодики» Грозного (С. Веселовский. Синодик опальных царя Ивана).

[2] Архив ЛОИИ, сборн. № 112; отд. IV, № 58; другой список: ГПБ в Ленинграде, рукоп. бывш. СПбургск. духовн. акад. АП/47, лл. 285 об. — 301 (ср. Н. Никольский. Кирилло-Белозерский монастырь., I, в. 2, прил. I, стр. XLVIII—L, СПб., 1910).

[3] «Сб. Русск. истор. общ.», CXXIX, стр. 125, 127—170; ПСРЛ, XIII, ч. 2, стр. 407.

Микула Григорьев сын Тяполков с товарищи лета 7070 седмаго». Сотная была выдана 4 марта 1570 г., «а подписал царев и великого князя дьяк Курган Лапин, а назаде по ставом сотные пишет: «Иван Савин к сей сотной грамоте руку свою приписал»; да назаде ж сотные пишет: «Правил подьячей Стефанец Ковезин».[1] В том же 1570 г. крупнейшие опричники — торговцы Строгановы — заплатили за сольвычегодских крестьян ряд податей (за «наместнич доход и присуд», «водное мыто», дань, деньги за оброчный хлеб и «всякие подати») «в четвертной приказ дьяку Кургану Лапину да Ивану Савину».[2]

Постепенно, однако, круг ведомства опричной четверти все более и более расширялся. Так, кроме отечественных капиталистов Строгановых, Курган Лапин наблюдал и за всем торгом английской «Московской» компании, принятой в опричный «государев удел» по привилегии 20 июня 1569 г., причем по статьям 9 и 14 привилегии в опричнине ведались не только те фактории англичан, которые были расположены на опричной территории, но и вообще все имущество компании, независимо от его местонахождения (дворы в Москве на Варварке и др.).[3] Англичане вскоре попали в «опалу»; привилегия была уничтожена Грозным, и 8 августа 1570 г. Строгановым было предложено строго следить за подчинением английских купцов общим правилам торговли иностранцев в Московском государстве. По склейкам эта грамота была подписана «товарищем» Кургана Лапина — дьяком Иваном Савиным.[4]

Дьячество Кургана Лапина и Ивана Савина совпало с большим переломом в жизни всего «государева удела»-опричнины, которым, как известно, ознаменовалось начало 1570-х годов. После набегов крымцев 1571—1572 гг. «царь опришнину отставил», и самое название ее, по словам современника, «никто не смел поминать» под угрозой торговой казни.[5] Многие «земские» служилые люди получили обратно свои запустошенные опричниками вотчины; возвращались также и все незаконные, вымученные опричниками по кабалам, деньги. Ряд виднейших опричных «деятелей» 1560-х годов были казнены или подверглись опале.

Во главе такой опричной «реакции» стал сам Грозный, но это было только временным явлением. Не углубляясь в выяснение общих причин подобного поворота дел (это увело бы слишком далеко от

---

[1] ГАФКЭ, Городовые книги по Каргополю, № 1, лл. 292—297. После Новгородского погрома в опричнину были взяты Обонежская и Бежицкая пятины, но Водлозерская волость, расположенная на северо-запад от Каргополя вокруг Водлоозера, и в XVII в. делилась еще на две части: одна из них тянула к Заонежским погостам Обонежской пятины, другая — к Каргопольскому уезду (М. Богословский, Указ. соч., стр. 14; прил. I, стр. 5, 13). По «сотной» 1570 г. четь получала все доходы, как свои, «за наместнич окуп», так и все мелкие местные сборы и налоги Большого Прихода; только относительно пустых деревень, отданных на льготу (по 28 сентября 1576 г.), замечено, что деньги «вытные в Болшем Доходе писаны», т. е. очевидно взимались общеземским приказом Большого Прихода. Андрей Плещев «писал» и другие волости Обонежской пятины (Д. Самоквасов. Архивный материал, II, стр. 405—406, М., 1909).

[2] А. Дмитриев. Пермская Старина, в. VI, Пермь, 1895; «Материалы», № 3 (стр. 132).

[3] И. Любименко. История торговых сношений России с Англией, вып. I, стр. 44—45, Юрьев, 1912. Единственный русский перевод привилегии 1569 г. приведен в сборнике «Торговля и торговый капитал в Московском государстве», стр. 83—95, Л., 1926.

[4] А. Дмитриев. Указ. соч., в. VI, «Материалы», № 2 (стр. 130—131). Подлинник (с точной датой и с подписью дьяка Ив. Савина) хранится в Архиве ЛОИИ, «Строгановские столбцы».

[5] Г. Штаден. Указ. соч., стр. 110.

основной темы настоящего очерка) и отдельных его сторон, касающихся редукции феодальных «земских» владений, следует, однако, сказать, что все перемены вовсе не означали уничтожения «государева удела»: он продолжал свое существование под новым названием «двора», а прежние «опричные» служилые люди сделались «дворовыми» царскими людьми. Наоборот, «раздел» между обеими частями Московского царства в 1570-х годах одно время был официально подчеркнут: появился «удельный» «князь Иван Васильевич Московский» и «земский» «великий князь всея Руси Симеон Бекбулатович». Если исчезли термины «опричник» и «опричный», замененные словом «дворовый», то названия «земщина» и «земский» официально сохранялись. И «опричный порядок» — преследование крупного феодала-вотчинника и укрепление поместного сына боярского, стремившегося захватить новые «землицы» и обеспечить их рабочими руками крестьян, которые прочно сидели бы на этой земле, — в 1570-х годах продолжал развиваться, не меняя своего иногда очень бурного темпа. Грозный, в зависимости от необходимости, по-старому «перебирал» «людишек» и земли; во «двор» забирались новые территориальные комплексы и единицы, а бывшие там выбрасывались обратно в «земское».

Значительные перемены произошли в 1570-х годах в административной машине прежней «опричнины», а теперь «двора государева». Вместо принятого на первых порах упрощенного управления «удельного» образца, во «дворе» появились уже приказы, параллельные подобным же земским учреждениям.[1] Кризис управленческого аппарата наметился даже несколько ранее образования «двора» — сразу же, как только обнаружилась возможность указанной опричной реакции.

Сейчас же по возвращении Грозного из новгородской «экспедиции» 1570 г. в опричном высшем управлении почуяли, что царская опала на этот раз захватит и опричных дельцов. В опричных «верхах» начался переполох. Наблюдательный Генрих фон Штаден дал чрезвычайно любопытную бытовую зарисовку отражения первых шагов опричной реакции в недрах самой опричнины. «Когда великий князь, — пишет Штаден, — пришел в Старицу, был сделан смотр, чтобы великому князю знать, кто остается при нем и крепко его держится... Великий князь поехал в Александрову слободу и распорядился там постройкой церкви. Я же не поехал с ним, а вернулся в Москву. Потом все князья и бояре, которые сидели в опричных дворах, были прогнаны: *каждый, помня свою измену, заботился только о себе.* Когда великий князь приводил это в исполнение, в стране еще свирепствовала чума. Когда я пришел на опричный двор, все дела стояли без движения. Начальные бояре косо посмотрели на меня и спросили: «Зачем ты сюда пришел? Уж не мрут ли и на твоем дворе? — Нет, слава богу», — ответил я. *Тогда уж они больше не спрашивали меня, что я здесь делаю».*[2] Такое полное равнодушие к тому, кто и зачем толкается на запретном опричном дворе, в высшей степени показательно для характеристики настроения опричной администрации в то время.

На истории опричной четверти весь этот процесс опричной ломки отразился существеннейшим образом. К сожалению, в виду полного, повидимому, отсутствия документальных данных и невозможности

---

[1] О развитии приказов в опричнине подробно см. П. Садиков. Из истории опричнины царя Ивана Грозного («Дела и Дни», кн. 2, стр. 1—20).

[2] Г. Штаден. Указ. соч., стр. 145 (курсив мой. — *П. С.*).

представить хотя бы приблизительные соображения о конкретных причинах и поводах происшедших перемен, приходится ограничиться лишь их фиксацией. Наблюдаемые изменения могут быть сведены к следующему.

Во-первых, четверть раскололась, и из нее были созданы две: «Каргопольская» (условное название) и новый приказ, уже в документах получивший наименование «Двинской четверти». Во-вторых, четверти стали вполне самостоятельными приказами, наравне с прочими «дворовыми» учреждениями, и никакой зависимости их в 1570-х годах от «дворового» казначея более не наблюдается. Последний вообще как-то стушевывается и отходит на второй план. В-третьих, «дворовые» четверти получили новый состав дьяков, а подведомственные им территории, в связи с общими «переборами» «дворовых» и «земских» областей, также были несколько перекроены, причем некоторые прежние «опричные» земли оказались теперь в ведении аналогичных же «земских» учреждений. Наконец, необходимо отметить, что «дворовые четверти», сохраняя свое старое значение основных финансовых центральных органов «государева удела», были попрежнему очень гибкими учреждениями и во второй половине 1570-х годов пережили новые «реформы», вытекавшие из тех общеполитических условий, в которые попало тогда государство Московское в своей напряженной борьбе на внешнем фронте.

Дошедшие до нас сведения о «Каргопольской дворовой четверти» очень отрывочны и поддаются группировке и осмыслению с большим трудом. Повидимому первое и самое раннее документальное упоминание о ней встречается в 1573 г.: Кирилло-Белозерский монастырь просил вследствие притеснений каргопольских сборщиков разрешить ему самому вносить в Четвертной приказ дань и оброк с каргопольских монастырских вотчин и получил на это грамоту от 16 февраля 1574 г. за приписью нового дьяка Андрея Федоровича Клобукова.[1] Был ли последний непосредственным преемником Кургапа Лапина — трудно сказать, но во всяком случае Клобуков занял место в четверти не ранее 1572—1573 гг.[2] От 6 января 1575 г. до нас дошла «оброчная», выданная Устюжскому Михайло-Архангельскому монастырю, на половину наволока в Уфтюжской волости, где земским волостным властям приказывалось оброк «привозити к Москве и отдавати в Четвертной приказ»;[3] грамота (в издании) не имеет подписи выдавшего ее дьяка, но относим и ее к той же четверти Андрея Клобукова, так как Устюг (взятый в опричнину еще в 1565 г.) имел волости, настолько тесно переплетенные в тягловом и местно-административном отношении с Сольвычегодским уездом,[4] что, по всей видимости, и центральное их заведывание находилось в одном приказе. Необходимо также отметить, что в «доопричное» время и Устюг и Соль Вычегодская ведались одним и тем же «кормленым» дьяком,

[1] Архив ЛОИИ, сборн. № 112, отд. IV, № 62; другой список — ГПБ в Ленинграде, рукоп. б. СПб. духовн. академии, АП/47, лл. 301 об. — 302 об.

[2] Андрей Клобуков на соборе 1566 г. значится дворянином 2-й статьи; в 1570 г. он еще не имел дьяческого звания, но в 1571/72 г. служил уже вторым разрядным дьяком — по всей видимости, в «земском разряде» (СГГ и ДI, № 198; «Сб. русск. ист. общ.», LXXI, стр. 566 (1568 г.), 626 (1570 г.); Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., стр. 462—463. В Разрядном приказе (земском) Клобукова сменил, вероятно, дьяк Данило Качалов (Н. Лихачев. Указ. соч., стр. 470). В разряде предполагавшегося похода 1572 г. зимою в Новгород, а из Новгорода в «Свицкие немцы» Клобуков указывался дьяком «из земсково» (В. Вельяминов-Зернов. О касимовских царях и царевичах, ч. 2, стр. 12—13, СПб., 1864).

[3] В. Шляпин. Акты Велико-Устюжского Михайло-Архангельского монастыря, ч. 1, № CXXXIII, стр. 158—159, В. Устюг, 1912.

[4] М. Богословский. Указ соч., I, стр. 22—23.

а несколько позднее (в 1580 г.) мы имеем и прямое свидетельство о ведении Устюжского уезда в «дворовой» чети.[1] Очевидно, в качестве «четвертного» дьяка А. Ф. Клобуков в 1577 г. давал по приказам выписи с книг каргопольских писцов Дм. Ростопчина и Гр. Чиркова 1573—1574 гг.[2]

Наконец последнее дошедшее известие о четверти Андрея Клобукова очень интересно, так как сохранило чрезвычайно редкие для этого времени сведения не о финансово-податных, а о судебно-административных четвертных функциях. Именно 6 июня 1577 г. корельскому воеводе Вас. Конст. Кобылину было приказано сыскать и судить дело по жалобе некоего Гришки Вас. с. Роднева, «с Вотцкие пятины из Нижные Корелы», на разбои и грабежи. «Да и пошлины бы еси с тех дел, — прибавлялось в грамоте, — доправя на виноватом, прислал к нам на Москву в Четверть дьяку нашему к Ондрею Клобукову».[3] Грамота была подписана Вас. Колударовым, очевидно в качестве «второго» дьяка.

В этой грамоте внимание останавливается и на той территориальной единице, которая оказалась в ведении четверти дьяка Андрея Клобукова, — на пограничном новгородском пригородке Кореле, нынешнем Кексгольме, до этой поры находившемся в числе «земских».

Но в 1576 г. в «уделе князя Ивана Васильевича Московского» числится, например, и «Порховский уезд» Шелонской пятины.[4] А как раз в 1577 г. в числе «дворцовых» («дворовых») городов на ряду с такими «старо-опричными» городами как Белев, Козельск, Перемышль или Лихвин, значатся и пограничные по новгородско-псковскому рубежу Опочка, Красный, Себеж[5] — очевидно «поиманные» на царя в виду их военно-стратегического положения в борьбе за Ливонию. На том же основании во «двор» был зачислен и Корельский уезд, расположенный по северному побережью Ладожского озера и постоянно бывший объектом препирательств между шведами и Москвою. Его волости примыкали к Заонежским погостам опричной Обонежской пятины, и едва ли под «погоскими» крестьянами, которые также упомянуты в грамоте корельскому воеводе, не следует подразумевать обитателей Заонежских погостов. В таком случае последние, очевидно, также ведались в «Каргопольской» четверти Андр. Клобукова.

«Вторым» дьяком в четверти некоторое время и при Клобукове продолжал сидеть начавший в ней свою карьеру старый дьяк Ив. Савин, так как упомянутый выше Василий Колударов еще в 1574 г. служил в провинции дьяком в Казани.[6] Покинул Колударов четверть вместе с Клобуковым, в 1577 г.,[7] когда и сама «Каргопольская» четверть окончила свое существование, слившись вновь с четью «Двин-

[1] См. ниже; П. Садиков. Кормленые дьяки.., стр. 177—178.

[2] Архив ЛОИИ, сб. № 112, отд. IV, №№ 73 и 74.

[3] А. Юшков. Акты, представленные в Разрядный приказ, № 208, М., 1898. В случае невозможности решить дело самому, Кобылину предписано было также выслать в четверть и обоих «исцов» и «судные» списки, «как корельские и погоские крестьяне восмдесят шестого году с нашими наместнича доходу и с оброчными деньгами поедут к нам на Москву».

[4] См. Новгородские писцовые книги, V, стр. 571.

[5] «Военный журнал», 1852 г., № 2, отрывок из разрядных книг: «Ливонский поход царя Иоанна Васильевича Грозного в 1577 и 1578 гг.», стр. 98—99.

[6] Грамота от 4 августа 1574 г. воеводе казанскому боярину кн. П. А. Булгакову и дьяку Вас. Колударову (иером. Амвросий Орнатский. История российской иерархии, VI, стр. 535, М., 1815).

[7] В 1578/79 г. Колударов служил уже в «Земском» — в Ямской избе («Древн. росс. вивлиоф.», XIV, стр. 350; «Военный журнал», 1853 г., № 6 — «Ливонский поход царя Иоанна Васильевича в 1577 и 1578 гг.», стр. 101.

скою». Но прежде чем говорить об этом этапе в «истории» дворовых четей, следует обратиться к разбору известий о «Двинской» дворовой четверти — другой, выделившейся из единого в 1560-х годах опричного Четвертного приказа.

В уже цитированных нами лодомских мирских отписях, начиная с 1572 г., твердо устанавливается упоминание «дьячих и подьячих пошлин», а упоминание пошлин «казначеевых» совершенно исчезает.[1] Отсюда делаем вывод, что для Двинской земли, где вмешательство в дела со стороны опричного государева казначея несомненно наблюдалось в 1560-е годы, когда Двиною ведала опричная четь дьяка Дружины Володимерова (а затем Кургана Лапина), подобное вмешательство совершенно исключается в 1570-е годы. Двинским уездом стало ведать учреждение, в котором начальниками являлись только дьяки.

С другой стороны, мы не раз также упоминали, что в 1573/74 г. северные окраины Поморья, как «земские», так и «дворовые», были подвергнуты новому описанию-«дозору» с целью точного уяснения обнаружившейся «пустоты» и платежеспособности этих, казалось бы наименее затронутых общим экономическим кризисом, областей Московского царства. Дозорщики Вас. Дем. с. Агалин и подьячий Степ. Фед. с. Соболев усиленно раздавали на оброк пустые места и промыслы. Книги их дозора не сохранились до нашего времени, но имеются некоторые косвенные сведения и документы, позволяющие судить, кем направлены были дозорщики. Так, сохранилась, например, уже разобранная нами в другой связи «платежница» 7082 (1573/4) г. Пустозерского «земского» уезда, выданная из приказа Большого Прихода, который, видимо, и озаботился самым производством дозора по Пустоозеру и держал у себя дозорные книги для составления необходимых документов.[2] Подлинные дозорные книги всех волостей Кольского уезда,[3] в том числе, как мы также уже знаем, и на отошедшую в 1568—1569 гг. к Двинскому опричному уезду Варзужскую волость, находились в конце XVI в. в Новгородской четверти, ведавшей в царствование Федора Ивановича всем севером России, у дьяков Ивана Вахромеева и Ив. Нормацкого, и были унаследованы ею из архива своей предшественницы — «дворовой» Двинской четверти времен Грозного. Действительно, в «сотной» грамоте, выданной 6 мая 1575 г. волощанам Варзужской волости, читаем: «А давати им в цареву и великого князя казну оброку по тому ж, как было преж сего... *А платити им тот оброк в государеву казну с тех своих дворов в четверть дьяка Офанасья Дедьянова ежегодь*».[4] «Сотная» была снабжена царскою печатью, подписана и скреплена назади дьяком Афанасием Игнатьевым с. Демьяновым: следовательно, в этой именно чети, выдавшей «сотную», и хранились Кольские книги 7082 г., да и составлены они были, наверное, по ее распоряжению. Указывая варзужанам их платежную инстанцию в Москве,

[1] В 1572 г., например, низовский выборный судья Ероф. Фом. с. Ярыга взял от лодмян «оброк царев и великого князя за наместничь доход... с пошлиною з дьячею и подьячих» (РИБ, XXV, Акты Лодомской церкви, № XCVI); см. также «отписи»: 17 ноября (№ CVI) и 21 ноября 1573 г. (№ CVIII), 23 декабря 1573 г. (№ CIX), 9 декабря 1574 г. (№ CXIII), 1574 г. (№ CXIV), 17 ноября 1575 г. (№ CXVI).

[2] Ср. С. Веселовский. Сошное письмо, I, стр. 52, М., 1915.

[3] О дозоре 7082 г. Кольского у. см. А. Андреева. О подложности жалованной грамоты Печенгскому монастырю 1556 г. («Русск. ист. журн.», 1920 г., кн. 6, стр. 139—140). «Сотные» и «выписи» с Кольских книг сохранились: на погост Норицкий Кольского у. («Сборн. матер. по истории Кольского полуострова», № 5, список), на волость Варзугу (там же, № 6, список) и на волость Кереть («Сборн. грам. Колл. Экон.», II, № 138, подлинник, выданный самими писцами).

[4] Материалы по истории Кольского полуострова, № 6, стр. 33.

Вас. Агалин и Степ. Соболев конечно фиксировали ту, которая в момент их дозора (1573 г.) являлась фактически действенной. Можно смело считать, что таковою для Варзуги и в этом году являлась уже четверть Аф. Демьянова, а так как Варзужская волость еще с 1568—1569 гг. входила в состав Двинской земли, то и последняя ведалась этой же четвертью.

Справки о служебном продвижении Аф. Демьянова приводят все к той же хронологической дате — 1572/73 г., как к началу его деятельности в качестве «опричного»-«дворового» четвертного дьяка; таким образом, эта дата совпадает с началом деятельности в «Каргопольской» четверти дьяка Андр. Фед. Клобукова. Афанасий Демьянов, происходивший из средней руки поместного дворянства, в разряде зимнего похода 1572 г. на «Свейские немцы» был записан в числе отправлявшихся с царем дьяков «из опришнины»;[1] поход не состоялся, а Демьянов был назначен заведывать вновь образованным Двинским «опричным» («дворовым») четвертным приказом. Впоследствии (в 1624 г.) его сын Яков, местничаясь с Ив. Прох. Писемским, так характеризовал переход своего отца в дьяческую службу: «...Дед, государь, мой и батюшко служили по Переяславлю Залесскому и по Ярославлю, а из службы батюшка моего государь царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии изволил взяти к тайным делам во дьячество».[2]

Афанасий Демьянов очень недолго сравнительно пробыл начальником чети. В конце 1575 г. он, один из доверенных Грозного, сидел уже в приказе Большого («Земского») Дворца и в качестве дьяка этого приказа подписывал грамоты монастырям.[3] Преемниками его были два очень приметных лица в дьяческой среде 1570—1580-х гг. — Андрей Васильевич Шерефединов и Улан Айгустов.

О них известно из «отписи» от 7 ноября 1576 г. «излюбленного судьи» Низовской луки Двинского уезда Никона Ермолина, который обещал лодомским крестьянам, получая с них оброк: «Заплатити мне, судьи, тот царьской оброк на Москве в цареву и великого князя казну *в Четвертной в Двинской приказ* царевым великого князя дьяком Андрею Шелефединову да Улану Айгустову на строк на Дмитреев день Селунского 85-го году».[4] Здесь, кажется, мы впервые встречаем территориальное наименование четверти, сделанное, правда, в акте, вышедшем из-под пера провинциального приказного лица, и потому замкнутое в узких сравнительно пределах местных двинских кругов и не приобретшее признания в документах, отправляемых непосредственно из самого этого приказа.

Дьяк Андрей Васильевич Шерефединов в 60-х годах довольно долгое время состоял на посольской службе,[5] а в феврале 1570 г. был отправлен в Смоленск навстречу литовским послам и пробыл там до 29 июня 1571 г.[6] По возвращении он, по указаниям разрядных книг, был записан в поход 1571/72 г. на «Свицкие немцы» как

[1] «Древн. Росс. Вивлиоф.», XIII, стр. 422; В. Вельяминов-Зернов. Указ. соч., II, стр. 12—13.

[2] Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., стр. 156—157.

[3] Там же, стр. 489. Как «дворцовый» дьяк, он подписывал и жалованные грамоты Важским монастырям: подтвердил в 7083 г. «несудимую» 1548 г. Богословскому монастырю и подписал «жалованную несудимую» Клоновскому монастырю в 1577 г., марта 3 («Сборн. грам. Колл. Экон.», II, №№ 203 и 205). Вага в это время ведалась в земской чети А. Я. Щелкалова (см. ниже).

[4] РИБ, XXV, Акты Лодомской церкви, № CXIX.

[5] Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., стр. 466—467; «Сб. Русск. ист. общ.», LXXI, по указателю.

[6] «Сб. Русск. ист. общ.», LXXI, стр. 621—623.

дьяк «из земского», а во время второго похода Грозного (1572—1573 гг.) оставался в Москве на Земском дворе, т. е. был одним из главных лиц, обязанностью которых было поддерживать административный порядок в столице.[1] Вскоре он, однако, перешел на службу по «дворовому» ведомству и стал дьяком «Разряду дворового» (в 1574 г.), будучи очень приближенным к царю человеком, сопровождающим его в переездах из одной резиденции в другую (Старица, Олешня).[2] По всей видимости, Шерефединов выполнял обязанности и думного дьяка в «государевом уделе»-«дворе»: по крайней мере датский посол Ульфельд называет его «канцлером» наравне с несомненно «думным» дьяком в «Земщине», Андр. Яковл. Щелкаловым.[3] Вместе с тем очень возможно, в связи с подготовлявшимся новым «разделом» Московского государства на «удел князя Ивана Васильевича Московского» и «великое княжение Симеона Бекбулатовича всея Руси» и новым кардинальным перебором «людишек» и их поместных и вотчинных владений — Андрей В. Шерефединов в мае — июне 1575 г. вершил дела и в «земской» (вернее — общегосударственной) Поместной избе.[4] Поручение ему заведывания после Аф. Игн. Демьянова Двинскою дворовою четвертью являлось, таким образом, лишним доказательством большого значения этого дьяка в московском правительственном механизме. Опираясь на свою близость к Грозному, на родство свое с любимой последним фамилией Пивовых, Андрей Шерефединов показал себя как беззастенчивый насильник и самоуправец, от которого тщетно пытались обороняться его соседи по имениям.[5] Едва ли особенно мягким поэтому было и управление подвластным ему, как «четвертному» дьяку, населением.

Помощник его, Улан Айгустов, был в буквальном смысле слова «испытанный» в борьбе против «Земщины» человек: еще в феврале 1571 г. он, состоя тогда в подьячих, был подвергнут пытке и сознался, что доводил «по науку» царского шурина кн. Мих. Темгрюковича Черкасского «многие лихие дела» на Василия Щелкалова.[6] Поплатившись потерей своих земельных владений, Улан Айгустов не только не разделил участи вскоре казненного кн. Михаила, но даже сделал большую служебную карьеру, перейдя «во двор» и сев вторым дьяком в Двинской чети.

Территориальный объем последней не замыкался северно-поморскими землями. 30 декабря 1576 г. дьяки Шерефединов и Айгустов выдали тарханную грамоту Кирилло-Белозерскому монастырю на села в опричном-«дворовом» Дмитровском уезде,[7] а 9 марта 1577 г. — общую тарханную грамоту тому же монастырю на его вотчины во всех «дворовых городех» и уездах: Вологде, Пошехонье, Ростове,

---

[1] «Синбирский сборник», «Разрядная книга», стр. 31, 34; «Древн. Росс. Вивлиоф.», XIII, стр. 422.

[2] Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в, стр. 467—469; Н. Мятлев. Родословные разведки, прилож. III, стр. 30 («Летопись истор.- родословн. общ. в Москве», 1911 г., в. I—II).

[3] «Путешествие в Московию датского посланника Иакова Ульфельда в 1575 году» («Чтения общ. ист. и древн. росс.», 1883 г., кн. 2, стр. 30).

[4] Всесоюзн. б-ка им. Ленина. Собр. рукоп. Троице-Сергиевой лавры, № 530, л 947; см. также ниже. О поместной избе — единой для опричнины и земщины — см П. Садиков. Из истории опричнины царя Ивана Грозного, («Дела и Дни», кн. 2. стр. 15—16).

[5] А. Юшков. Акты, № 220; Н. Лихачев. Сборник актов, в. II, № XV, СПб., 1895.

[6] ААЭ, I, № 280.

[7] Архив ЛОИИ, сборн. № 112; отд. IV, № 66; другой список ГПБ в Ленинграде. рукоп. СПб. дух. акад., АП/47, лл. 210—214.

Каргополе, Поморье и «в иных городех».[1] В этом перечне останавливает внимание упоминание Каргополя, которым, как мы уже знаем, ведала другая дворовая четверть — дьяка Андрея Фед. Клобукова. Но 1577 год с самого начала ознаменовался большим движением среди всего высшего московского служилого люда, в том числе и дьяков. Дело в том, что начались приготовления, а затем и постепенное выступление в большой поход, предпринятый под личным предводительством Грозного с целью «итти очищати свою отчину Вифлянскую землю». В мобилизации участвовали в качестве активных лиц Андрей Клобуков и Андрей Шерефединов, чем и объясняются некоторые, на первый взгляд, противоречия в документах. Поход этот, потребовавший огромного напряжения всех московских сил и расходования значительных материальных ресурсов, повлек и новое переустройство в опричном «дворовом» ведомстве — обе чети вновь, как в 1560-х годах, объединились в один «дворовый Четвертной приказ», который в таком виде просуществовал до самой смерти Грозного.

Уже 10 февраля 1577 г. была составлена разрядная роспись русского войска, и дьяк Андр. Фед. Клобуков получил очень важное и ответственное назначение — состоять в числе начальников артиллерии, «у наряду».[2] Эти обязанности по подготовке к походу не могли, конечно, не отразиться на мирной деятельности Клобукова по управлению одной из «дворовых» четвертей: хотя он юридически еще и числился ее начальником, но на деле ею уже заведывал другой дворовый четвертной дьяк, Андрей Шерефединов. Этим и объясняется выдача Шерефединовым Кирилло-Белозерскому монастырю общей тарханной грамоты 9 марта 1577 г., несмотря на то, что документы упоминают о существовании чети Андрея Клобукова еще в июне этого года.[3]

Однако в самое же ближайшее время и Андрей Шерефединов был назначен к участию в походе: 8 мая 1577 г. Грозный «расписал свой государев полк, как ему иттить на свое и на земское дело в немцы», и среди «дворовых» дьяков, которые должны были состоять при его особе в походной царской канцелярии, значился и Шерефединов. Сам царь отправился ранее, 21 апреля, сначала к Троице помолиться, затем в Александровскую слободу, а оттуда, «не займуя Москвы», — прямо в Новгород, приказав «людем по росписи... быти с собою государем в полку».

Таким образом, оба дьяка должны были выступить в поход, и обязанности их в четях должны были выполнять уже иные лица — хотя бы их «товарищи», вторые дьяки Вас. Колударов и Улан Айгустов. Однако и последние ушли из четвертей вслед за своими начальниками. Андрей Клобуков, как самое деятельное лицо в походе — военнослужащий в артиллерии, двинулся вперед; Шерефединов же, по всей видимости, смог еще несколько задержаться в Москве; по крайней мере еще 8 октября 1577 г. на Двину была послана грамота с приказанием собрать «всякие четвертные доходы», отправить о том же грамоту в Варзугу и все собранные деньги прислать «на Москву в четверть к дьяку нашему к Ондрею Шерефединову», но по склейкам

---

[1] См. П. Садиков. Из истории опричнины XVI в., № 73. 11 марта 1577 г. Кириллов монастырь получил аналогичную грамоту и из «Земщины», за подписью дьяка приказа Большого Прихода Степана Лихачева (там же).

[2] Все последующее изложение основано на уже цитированном разрядном отрывке «Ливонский поход царя Иоанна Васильевича Грозного в 1577 и 1578 гг.» («Военный журнал», 1852 г., №№ 1, 2, 3, 4, 5; 1853 г., №№ 5, 6).

[3] А. Ф. Клобукову, кроме хлопот по подготовке артиллерийского снаряжения, поручались в это время и другие дела, связанные с походом (Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., стр. 475—476). Клобуков в неудачной битве под Кесью (Венденом) попал в плен в числе других московских воевод.

грамота была подписана уже новым дьяком — Андреем Арцыбашевым.[1] Можно предполагать, конечно, что последний в это время был помощником Шерефединова, сменив в таком случае Улана Айгустова, так как скрепа грамот на обороте в московской приказной практике была обычно делом «вторых» приказных дьяков; однако скорее всего здесь мы встречаем документ, вышедший именно в период «междудьячества»; грамота была написана еще от имени Шерефединова, но заверить ее должен был уже новый начальник чети.

Грамота эта, сохранившаяся только в отрывке (нехватает начала), очень важна для характеристики того финансового напряжения, которое переживала страна в результате длительной непрерывной войны. Она подчеркивает и то значение, которое имела «дворовая» четверть, как один из важнейших правительственных прессов для выжимания необходимых в войне ресурсов из наименее затронутых общим хозяйственным кризисом областей Московского царства. Грамота содержит также конкретные угрозы двинянам, если они не соберут всех требуемых денег и не обеспечат правильного поступления доходов с Варзужской волости, и назначает очень краткие сроки для присылки собранного в Москву: с Двины — «в той ж день по Дмитрееве дни Селунского» (т. е. к 26 октября), а с Варзуги — «на Филиппово заговейно» (к 14 ноября).[2]

Бедственное положение двинян и варзужан осложнилось еще более от того, что этот указ попал к ним с сильным запозданием — на другой день после срока, назначенного грамотой уже для поступления денег в самый приказ в Москве.[3] Память о «Басаргине правеже» еще не изгладилась, и приходилось напрягать все усилия, чтобы вновь не подвергнуться грозному московскому правежу. К сожалению, результаты этого требования дворовой чети нам пока, за отсутствием сведений, неизвестны.

Некоторое время Андрей Арцыбашев как будто один ведал объединенной дворовой четвертью. Так, им лично были подписаны 2 апреля 1578 г. две грамоты на Двину (в Холмогоры, в Нижнюю половину, Уну, Неноксу и Варзугу): Николо-Корельскому мона-

---

[1] Архив ЛОИИ, Куроостровские столбцы, № 45.7. 117.

[2] С Двины требовали деньги: «...[за ямчужное?] дело, и за поралскую белку и заморской оброк с Терьские стороны, и з церковных земель за обежную дань и за посопной хлеб и всякие оброки, и с пожен и с пустошей и с непашенных дворов и с новых припашей, и за рыбные ловли с рек и с озер и с тонь морских, и загубской оброк, и казначеевы и диячие и подьячих, и анбарные, и пищалные, и кормовые денги, и замытные, и судовые, и людцкие, и семожные, и пудовые, и пятинные, и померные, и подъемные, и рукознобные, и свалные, и привязные, и з гостина двора поворотные, и банные, и томожные, и явочные пошлины и за десятую рыбу оброчные денги по окладам и верного бранья...»

Как видно, в четверти спешили собрать все, даже мельчайшие «оброки и дани», с грозным приказанием—«против прошлого 85-го году все сполна, без недобору, часа того». Предписывалось изыскать и новые доходы, по инициативе двинских местных властей: «А будет которые четвертныедоходы по вашему сыску прибудут ис пуста в жило, и вы б и те прибылые доходы збирали на нас в правду, по нашему крестному целованью, да те прибылые доходы и которые неокладные пошлины привезли к нам на Москву на тот же срок». Из чети грозили: «А не зберете тех наших наместничих и волостелиных оброчных и дан и и ямских денег и всяких доходов... по окладу всех сполна и к нам... не привезете, и нам по вас послати ис прогонов и велети на вас те наши всякие доходы доправити и прогоны взяти вдвое, а самим вам от нас быти в казни; а грамоту б есте меж себя по станом и по волостям посылали не издержав ни часу». В Варзугу приказано было отправить грамоту «о таможных и оброчных и о волостелиных откупных оброчных денгах», «часа того с кем будет пригоже, не издержав ни часу». «А с кем имянем отошлете, — строго приказывалось из чети, — и вы бо том к нам отписали; а не отошлете тое наши грамоты в Варзугу часа того и у себя ее задержите и варзужские крестьяне с нашими денгами для того к нам на Москву на срок, которой у них в грамоте писан, не приедут, и нам те оброчные денги и с прогоны велети взяти на вас».

[3] Внизу грамоты помета: «Привез сее грамоту государев посланник Семейка Домнин октября в 27 день».

стырю — об освобождении его владений от земских повинностей и невзимании оброка с монастырских соляных промыслов и рыбных ловель[1] и таможенному двинскому старосте — о ненарушении торговых льгот Кирилло-Белозерского монастыря.[2] Но вслед затем у Арцыбашева появился и помощник — совсем, повидимому, новый человек среди дьяков московских центральных учреждений, так как все крупные дельцы или были с Грозным в походе, или сидели по другим приказам. Именно 11 мая 1578 г. Каргопольским данным старостам был отправлен указ с приказанием дать Кирилло-Белозерскому монастырю рыбные ловли по реке Онеге, «повыше Корелского Белово острова», исчислить оброк и привозить его «на Москву в четверть дияком нашим Андрею Арцыбашеву да Алексею Исакову з данными деньгами вместе».[3] Судя по последним словам грамоты, четь Арцыбашева и Исакова не впервые уже сносилась по разным делам с каргопольскими мирскими властями и была для них постоянной инстанцией платежей, объединив к этому времени, по всей видимости, обе прежние «дворовые» четверти — А. Шерефединова и А. Клобукова.

Если Алексей Исаков был новичком среди приказных дьяков, то его старший товарищ Андрей Гаврилов с. Арцыбашев давно был на пути к большой служебной карьере. В 1575 г. он служил «товарищем» известного московского приказного воротилы дьяка Андр. Яковл. Щелкалова в одном из находившихся под его руководством приказов — повидимому в «Казанском, Нижегородском и Мещерском дворце».[4] С 5 марта 1576 г. по 3 января 1577 г. он ездил вместе с кн. Захар. Иван. Сугорским в качестве «легкого посла» к германскому императору Максимилиану II[5] и по возвращении занял место «второго» разрядного дьяка при другом Щелкалове — Василии Яковлевиче.[6] Последняя должность оказалась, однако, слишком скромной для его административных способностей. И когда понадобился энергичный и настойчивый человек, который смог бы в достаточной мере обеспечить денежными средствами военные потребности, заведывать обеими бывшими дворовыми четвертями поставили Арцыбашева. «Второй» дьяк четверти, Алексей Исаков, очень недолго прослужил в этой должности и скоро был сменен человеком, имевшим весьма характерное для опричной поры прозвание — дьяком Семеном-Собакою Васильевым,[7] в свою очередь затем

---

[1] ААЭ, I, № 299; РИБ, XXXII, № 277.

[2] Архив ЛОИИ, сборн. № 112, отд. IV, № 76.

[3] ГБП в Ленинграде, Q. IV, 113а, стр. 1081—1083; другой список: архив ЛОИИ, сборн. № 112, отд. IV, № 79.

[4] 12 февраля 1575 г. Арцыбашев подписал вместе с А. Я. Щелкаловым жалованную грамоту на рыбные ловли Астраханскому Троицкому монастырю (АИ, I, стр. 359). Возможно, впрочем, что он в это время был одним из дьяков Большого («Земского») Дворца, так как все монастыри обычно ведались в этом приказе, а подпись на грамоте Щелкалова объясняется тем, что в «Казанском Дворце» ведалась Астрахань и, следовательно, те промысловые угодья, о которых шла речь. Подобная заверка грамот в двух инстанциях встречалась, хотя и не часто, в московской практике.

[5] Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными, I, стр. 625—660, СПб., 1851.

[6] Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., стр. 470—471; Акты Московского государства, I, № 21.

[7] В 1578 г., 25 декабря, дьяки А. Арцыбашев и Семен-Собака Васильев «взяли в государеву цареву и великого князя казну в Четвертной приказ с Вычеготцкие Соли с посаду по... жалованной грамоте и по книгам писма Ивана Мичюрина с товарыщи Прилутцкого монастыря с их монастырского двора за наместничь и их пошлинных людей доход и за присуд оброку и ямских и пищальных денег и за поминочные соболи и за поплужную пошлину и соколья оброку и пошлин казначеевых и дьячих и подьячих» 29 алт. $1^1/_2$ д., также «с их же монастырских з живущих с трех варниц оброку» 1 руб. 32 алт. 4 д. («Описание собрания свитков, находящ. в Вологодском епарх. древлехранилище, 1533—1551», в. VI, стр. 11, Вологда, 1903).

уступившим место носителю не менее красочной клички — дьяку Тимофею Федорову с. Волку.

От времени управления Андрея Арцыбашева объединенною дворовою четвертью дошло до нас сравнительно много документов. В большинстве случаев они аналогичны уже известным нам из обозрения предшествующих этапов «истории» опричных четвертей и вносят кое-какие данные и для характеристики административно-судебных функций четвертных дворовых дьяков. Так, например, 14 февраля 1581 г. и 7 апреля 1582 г. «по государеву цареву и великого князя» указу дьяки Андрей Арцыбашев и Тимофей Федоров с. Волк выдавали откупные грамоты крестьянам Троице-Сергиева монастыря на улов в Двинском у., в Варзуге «десятой рыбы семги», причем откупные деньги с новою «наддачею» против прежнего оброка приказывалось платить «в государеве в дворовом в четверном приказе до своего откупного сроку за два месяца».[1] 7 декабря 1581 г. те же дьяки отдали распоряжение двинянам о взносе в «дворовую четверть... с оброчными деньгами ежегод», откупных денег за дровяной и квасной промыслы в Неноксе.[2] Антониев-Сийский монастырь, особенно покровительствуемый Грозным, получил от дьяка Тимофея Федорова «оброчную» грамоту «по государеву цареву и великого князя... слову» на две монастырские пустые деревни Горки в Двинском уезде на Матигорах в Верхнем «конце»; оброк монахи обязаны были уплачивать «з данными деньгами вместе на Москве в государеву казну в дворовой четверти государевым дияком Ондрею Арцыбашеву да Тимофею Федорову».[3] В 1581/82 г. Троице-Сергиев монастырь выхлопотал от того же Тимофея Федорова жалованную грамоту на право беспошлинной торговли и провоза соли на Холмогорах, Двине, Каргополе, Устюге, Тотьме.[4] В Тотьму же 14 июля 1582 г. была отправлена грамота, также за его подписью, Данилу Строганову, о разрешении Троицкому монастырю поставить амбар и двор для приезда монастырских людей с приказанием их «от обид беречи накрепко».[5]

Есть сведения, что в 1582 г. Соль Вычегодская ведалась «во всем» в «дворовой четверти», и последняя, безусловно, все та же объединенная дворовая четь Андрея Арцыбашева: в этом же году спор о ямском деле вычегжан с яренчанами, которые ведались в «земском» на Казенном дворе, судила в Москве боярская комиссия во главе с кн. Ф. М. Трубецким, а грамоты подписывались и посылались «товарищем» Арцыбашева, дьяком Т. Федоровым.[6] Он же подписал 7 января 1582 г. ввозную (послушную) грамоту Троицкому

[1] РИБ, XXXII, №№ 292 и 294 (см. также ААЭ, I, № 312, а обе грамоты — в «Сб. грам. Колл. Экон.», II, прилож., №№ 236а и 255а).

[2] «Арханг. губ. ведом.», 1851 г., № 40 (Ненокские акты — из бумаг П. Ф. Кузьмищева, № 5).

[3] Архив ЛОИИ, Акты Сийского монастыря, № 340; документ (подл.) не датирован, но, очевидно, должен быть отнесен к 1581 г., так как сохранилась подлинная расписка (от 1 января 1583 г.) дьяка С. Сумарокова, преемника Т. Федорова в качестве «второго» дьяка в чети, об уплате монастырем за дер. Горки «в Четвертной приказ по государеве грамоте за приписью дияка Тимофея Федорова», сразу за два года (7090-й и 7091-й) оброчных денег (там же, № 514); подобная же расписка от 28 декабря 1583 г. (там же, № 524); 12 декабря 1583 г. была отправлена двинским данным старостам и грамота «с прочетом» о неправеже с Горок никаких податей, в виду уплаты их монастырем в Москве; грамота запечатана «дворовою» печатью с изображением «единорога» (там же, № 523).

[4] «Сб. грам. Колл. Экон.», I, № 254; П. Иванов. Описание государственного архива старых дел, стр. 230—232, М., 1850.

[5] ААЭ, I, № 315.

[6] М. Богословский. Указ. соч., стр. 11, прим. 2; И. Гурлянд. Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII в., стр. 302, Ярославль, 1900.

Сергиеву монастырю на сельцо и пустоши в Балахнинском у. в Стрелицкой волости, пожалованные «против» Переяславской монастырской вотчины, которая была отписана к дворцовому селу Тимофеевскому.[1] А 10 февраля 1582 г. эти же дьяки (подпись на грамоте Т. Федорова) удовлетворили ходатайство игумена Толгского Ярославского монастыря Феодосия о защите против насилий со стороны архимандрита Спасского монастыря, который мучил на правеже и держал в монастырской тюрьме толгских крестьян. Грамота запечатана была старою «опричною» печатью с изображением «единорога».[2] 2 марта 1583 г., за подписью сменившего Тим. Фед. Волка дьяка Семейки Сумарокова была отправлена в Устюг грамота, подтверждающая независимость крестьян Устьянских волостей от жителей Тотемского уезда в податном и административном отношении.[3]

Все перечисленные выше грамоты касаются обычных будничных дел Дворового четвертного приказа, возглавляемого Андр. Г. Арцыбашевым и последовательно сменявшимися его помощниками — дьяками А. Исаковым (1578 г.), Семеном Вас. Собакою, Тимоф. Фед. Волком (до половины 1582 г.) и Семейкою Сумароковым.[4] Но были моменты, когда четверти приходилось осуществлять и гораздо более важные задания. Отражением этого является, надо думать, грамота от 24 августа 1581 г. на Двину и в Варзугу о спешном сборе всех податей и присылке их «на Москву в четверть к диякам... к Ондрею Арцыбашеву да к Тимофею Федорову». Грамота была писана в Старице, где тогда жил Грозный. Крайне любопытно, что она представляет собою буквальное текстуальное повторение грамоты, вышедшей еще из четверти Шерефединова 8 октября 1577 г. и подробно нами цитированной.[5] Но тогда последняя явно была вызвана необходимостью быстрой мобилизации средств для предпринимаемого грандиозного, увенчавшегося большими успехами, похода. Грамота же 1581 г. — результат уже крупных неудач в Ливонской войне, когда были сданы Полоцк, Великие Луки, Озерище, ряд замков в Ливонии, был осажден Псков, а Нарва находилась накануне падения. Очевидно, проживая при царе в Старице, дьяки имели при себе и какую-то часть своего архива, откуда достали «отпуск» (черновую) наиболее «грозной» грамоты, приказали «справить» ее заново подьячему и отправили — на этот раз значительно более во-время — за два месяца до обусловленного срока уплаты требуемых податей. Делались исключительные попытки выжать из опустевшей и истощенной страны все возможные средства для продолжения войны и поправления так несчастливо сложившихся на фронте обстоятельств.[6]

Если четвертные «дворовые» дьяки сопровождали Грозного в его «удельных», «дворовых», резиденциях, причем возили с собою и часть своих коробей с документами, то, очевидно, у них там были свои приказные «избушки», как и у дьяков других приказов (например,

---

[1] Д. Самоквасов. Архивный материал, II, стр. 114—115, М., 1909. (Эта же грамота издана А. Кабановым. Материалы по истории Нижегородского края из столичных архивов, в. III, № 39, стр. 59—60, в «Действиях Нижегородской ученой архивной комиссии», XIV, Н. Новгород, 1913; ср. также С. Шумаков. Материалы для истории Нижегородского края, в. I, стр. 15, Н. Новгород, 1898).

[2] ААЭ, I, № 313; РИБ, XXXII, № 295.

[3] М. Богословский. Указ. соч., I, стр. 25, прим. 4.

[4] Подьячим в чети в 1582 г. отмечается Офонька Варламов.

[5] Архив ЛОИИ, «Куроостровские столбцы», № 45, 7.120. Грамота сохранилась в отрывке (нет начала), подписана Т. Федоровым, а «правил подьячей Офонка Варламов».

[6] РИБ, XXV, Акты Лодомской церкви, № CXXI; также: CXXVIII, 1578 г. ноябрь: CXXIX, 1579 г. апрель; CXXXIV и CXXXV, 1581 г.; CXXXIX, 1582 г.; CXLVIII—CLII, CLVII, CLIX, 1583 г.

Посольского). Но основное помещение приказа находилось в Москве. Внешнее положение «дворовой четверти» в это время очень хорошо определяет следующее место в «отписи» одного земского судьи Вознесенского стана Двинской земли, данной им в 1582 г.: «И заплатити мне те оброчные деньги на Москве в государеву цареву великого князя казну в дворовой стороне в Четвертном приказе государевым дьяком Андрею Арцыбашеву да Семену Сумарокову».[1] Здесь характерно упоминание не просто «дворового четвертного приказа» или «дворовой чети», а именно «в дворовой стороне» находящегося строения — следовательно, расположенного не в ряду московских приказов в Кремле против царского дворца, а где-то в прежнем опричном, теперь «дворовом», царском «жеребьи», поблизости от сгоревшего в набег крымцев 1571 г. удельного-«опричного» дворца Ивана Грозного.

Дьячество Андрея Арцыбашева во вновь объединенном с 1577 г. Дворовом четвертном приказе совпало с крупнейшими неудачами в области внешней московской политики (крах наступления в Прибалтике) и с жесточайшим внутренним хозяйственно-экономическим кризисом. В таких условиях сделана была одна очень любопытная попытка концентрации финансового аппарата и средств: Андрею Арцыбашеву «с товарищи» было передано заведывание важнейшим общеземским финансовым приказом, «Большим Приходом», превратившимся в «Дворовый Большой Приход». В сущности повторялось то же, что было предпринято Грозным еще в первые моменты учреждения опричнины: тогда, за свой «подъем», он «приговорил» с «земщины» в счет своей удельной-опричной казны перевод 100 тыс. руб.; теперь в опричное ведомство перешли определенные окладные посошные доходы, собираемые особым учреждением.

Приказ Большого Прихода, выделившийся в 1553—1554 гг. из ведомства государевых казначеев, собирал ряд очень важных прямых и косвенных налогов, введенных в первой половине XVI в.: деньги «ямские» и «приметные», за «городовое», «засечное» и «ямчужное дело» (селитряное), также «пищальные», таможенные, «полоняночные» и ряд мелких оброков и податей; туда поступали иногда оброчные деньги с запустевших поместий, если последние отдавались на оброк; приказ вообще контролировал состояние захудавших поместных земель. Большой Приход часто выдавал и тарханные и другие льготные грамоты привилегированным землевладельцам. Но его функции, как учреждения общегосударственного, а не областного характера, в ряде случаев нарушались деятельностью других приказов; в особенности это, повидимому, надо сказать относительно опричных и «дворовых» местностей, где «чети» в большинстве случаев, как мы имели возможность наблюдать, забирали и такие доходы, которые по правилу должны были бы поступать в Большой Приход. В 1570-х годах старшим, «первым» дьяком Большого Прихода был Степан Лихачев. С его подписью грамоты встречаются еще в июне 1579 г.,[2] но в ноябре этого года Степан Лихачев уже сидел дьяком в земской Ямской избе,[3] а его приказ был соединен с Дворовою четвертью под руководством дьяка Андрея Арцыбашева. Так образовался Дворовый Большой Приход.

[1] РИБ, XXV, Акты Лодомской церкви, № CXLIV.

[2] См. подпись на жалованной грамоте Валаамскому монастырю от 1578 г., июня 18 (ААЭ, I, № 300; также РИБ, XXXII, № 279); ср. АИ, I, № 200; Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., указатель, стр. 46—указание на грамоту от 26 июня 7087 (1579) г.

[3] И. Вахромеев. Акты Спасского Ярославского монастыря, I, № XLIX. (Степан Лихачев подписал грамоту о ямских охотниках при постройке яма; аналогич-

Известны всего четыре документа, упоминающие об этом учреждении, и все они показывают, что Дворовый Большой Приход ничем не отличался в своей деятельности от Большого Прихода 1550—1578 гг. Так, во-первых, 15 января 1581 г. в старую опричную-«дворовую» область Ростов, по челобитью вдовы царевича Михаила Кайбуловича «старицы Огафьи», был отправлен приказ Ив. Мошкову, чтобы он произвел «обыск» ее вотчины, запустевшей «от лихово поветрея и от хлебново недороду и от насилства и от наших податей», и «обыскной список и за печатью прислал к нам на Москву в наш Дворовый Болшой Приход к диякам нашим к Ондрею Арцыбашеву да к Тимофею Федорову».[1] Во-вторых, 4 марта 1583 г. была отправлена грамота также в «дворовую» землю — Двину, воеводам П. А. Нащокину и Залешанину Ник. Волохову о постройке города Архангельска. Воеводам приказано было строить город по одобренным царем «росписи и чертежу» и урегулировать дела с вотчинными землями Архангельского монастыря, которые отойдут «под город и к городу и под посады и для животинново выпуску и для всяких городовых нуж», отделив монастырю соответственное количество земли и угодий. «И что им против того отделите, и что с тое земли, что им против того отделите, — приказывалось воеводам, — в год шло наших всяких доходов каких порознь, и вы б то все велели написати в книги подлинно порознь, да те книги за поповыми и за дьяконовыми и за земских судей и за старостиными и за целовальниковыми и за лутчих людей руками прислали к нам на Москву в наш в дворовой Болшой Приход к дьяком нашим, к Ондрею Арцыбашеву да к Семейке к Сумарокову... А о наряде о городовом и о железе указ вам учиним часа того».[2] Если к этому прибавить грамоту от 30 декабря 1582 г. в Ярославль с распоряжением по поводу перевоза, принадлежащего Спасскому монастырю,[3] и грамоту «с прочетом» в Дмитров от 10 ноября 1583 г. о пустошах Троицкого монастыря, то этим, кажется, и ограничатся наши сведения о «Дворовом Большом Приходе».[4]

Что Дворовый Большой Приход был именно старым «общеземским» Большим Приходом, действительно перешедшим в ведение «государева двора» и дьяков Дворового Четвертного приказа, а не каким-либо новым «дворовым» учреждением, указывает и тот факт, что другие приказы получали из него «памяти» и ссылались на них при своих распоряжениях так, как будто никакого иного Большого Прихода и не существовало. Так, например, в 1582 г. из Пушечного приказа было предписано Кирилло-Белозерскому игумену Игнатию с братьею сварить «всею вотчиною» «емчуги добрые» и прислать ее в Пушечный приказ. Указ был дан после справки в

ные грамоты подписывались ямскими дьяками; например, 24 февраля 1579 г. — дьяком Вас. Колударовым (там же, № XLVII). Вас. Колударов был в Ямской избе в 1579 г. («Древн. Росс. Вивлиоф.», XIV, стр. 349—350). 12 декабря 1579 г. подобную грамоту выдали дьяки «Дворового» ямского приказа Стах. Иванов и Меньшой Башев (там же, № L). В 1581 г. Степ. Лихачев был дьяком в Смоленске (Памятники дипломатических сношений, X, стр. 40, СПб., 1871; «Дело о приезде Поссевина», стр. 10, в «Летописи занятий археографической комиссии», XI, отд. III).

[1] ДАИ, I, № 225. Подписал дьяк Тимофей Федоров. По описанию — печать у грамоты «дворцового приказа», т. е., вероятно, с изображением «единорога».

[2] ААЭ, I, № 318 (РИБ, XXXII, № 306).

[3] И. Вахромеев. Акты Спасского монастыря, I, № LV. Аналогичную грамоту послал 12 апреля 1565 г. костромским городовым приказчикам дьяк Большого Прихода Иван Булгаков по поводу перевоза через Волгу, принадлежащего Ипатьевскому монастырю (АИ, I, № 176).

[4] С. Шумаков. Обзор грамот Колл. Экон., в. III, стр. 88 («Чтения общ. ист. и древн. росс.», 1912 г., кн. 3).

Большом Приходе, сколько селитры обязан давать монастырь:[1] «А по памятем за приписми дияков наших Болшого Приходу написано: Кирилова монастыря вотчины на Белеозере, в Бежетцком Верху, на Углече, на Костроме, в Ростове, в Дмитрове, в Пошехонье, в Клине — всего семнадцать сох с полусохою и полполполчети сохи. А по нашему указу велено... тою Кириловскою вотчиною варити емчюги тритцать пять пуд, на соху по два пуда». Игумен бил челом, что пропущена вотчина монастыря в Вологодском уезде, и в Пушечный приказ вытребовали дополнительные сведения: «А по памяти за приписью диака нашего Семейки Суморокова 91-го году, октября в 29 день, написано: на Вологде Кирилова монастыря вотчины девятпадцать сох бес трети и полполтрети сохи». Сообразно с последней памятью и было высчитано количество причитавшейся с монастыря селитры.[2] Не может быть никаких сомнений, что в этом случае мы встречаемся именно с тем Большим Приходом, который нам известен под названием «дворовый», хотя в грамоте он так не назван: дьяк Семейка Сумароков был «товарищем» Андрея Арцыбашева начиная со второй половины 1582 г.

Интересен и перечень городов, податные сведения о которых сосредоточивались в этом Большом Приходе: на ряду с «земскими» (Бежецкий Верх, Кострома,[3] Углич, Белоозеро[4]) сведения даются и о «дворовых» (Ростов, Дмитров, Пошехонье). Учреждение, пославшее в Пушечный приказ сметы о количестве причитавшейся с монастырских вотчин селитры, одинаково вело учет податным обязанностям землевладельцев как на «земских» землях, так и на «дворовых». Самый эпитет «дворовый» прилагался к нему лишь в тех случаях, когда грамота направлялась в «дворовые» земли или касалась лиц, ведавшихся в «государеве дворе». Но, конечно, совершенно невозможно определить, где именно была написана та или иная грамота — в «дворовой» ли чети, помещавшейся в «дворовой стороне» Москвы, или в старом здании приказа Большого Прихода, внутри кремлевских стен: при едином дьячьем штате такое смешение было неминуемо для московских приказных людей XVI в.

Андрей Арцыбашев и Семейка Сумароков просидели в обоих приказах некоторое время спустя после смерти Грозного. Как дьяк Большого Прихода, Андрей Арцыбашев летом 1584 г. подписал подтверждения очень большого количества жалованных грамот монастырям. Грамоты с его подписью встречаются еще в начале января 1585 г.[5] Но из четверти он и Сумароков ушли по всей видимости несколько ранее.[6] Объединение обоих приказов прекрати-

---

[1] В Пушечном приказе, таким образом, было сосредоточено управление самым производством селитры, но при замене непосредственной поставки ее денежным налогом последний, как мы знаем, уплачивался в Большом Приходе с самого момента его учреждения.

[2] ААЭ, I, № 317 (РИБ, XXXII, № 300).

[3] Кострома была взята в опричнину в 1567 г., но с начала 1570-х гг. опять вернулась в «земское».

[4] Белоозеро, опричное еще с 1560-х гг., в начале 1570-х гг. частично вернулось в «земское»; им в это время ведала четь Вас. Як. Щелкалова.

[5] И. Вахромеев. Акты Спасского монастыря, I, №№ LVI, XXIII. Грамоты с подписями Арцыбашева за это время см. у Н. Лихачева. Разрядные дьяки XVI в., стр. 474, прим. 3 к стр. 473.

[6] Последнее указание на эту четверть имеем при жизни Грозного от 1 февраля 1584 г. (следовательно, до ликвидации его «двора». Именно из нее была послана грамота земским судьям Чухнечемской, Ухтостровской, Ровдогорской и Великокурской волостей Двинского у. об урегулировании взносов податей с земель «обнищавшего» «убогого монастырька» в Чухнечемской волости; в случае невозможности решить дело на

лось Большой Приход стал попрежнему самостоятельным учреждением, а «Дворовая четверть», как территориальный приказ, была перекроена на ряду с другими, «земскими», четвертями. Основная масса северных областей Поморья ушла в четверть дьяка Андрея Яковл. Щелкалова, а Соль Вычегодская, например, и Устюг с 1584 г. начали ведаться в четверти дьяка Дружины Пантел. Петелина. Уже в декабре 1584 г. сотник Андреяновского стана в Двинской земле обязался отвезти в Москву вместе с податями и деньги «в челобитье государева дияка Ондрея Щелкалова», а в январе 1585 г. другой двинский земский сборщик должен был везти собранные подати «к Москве и заплатити на Москве в государеву казну в четвертном приказе в Двинском государеву дьяку Андрею Яковлевичу Щелкалову».[1]

По старой памяти сборщики продолжали называть «Двинскою» четь А. Щелкалова еще в 1587 г.[2] Впоследствии привычный термин стирается в «отписях» земских властей, и в 1592 г. в них уже просто значится «четверть государева дьяка Андрея Щелкалова».[3] Но история формирования новых четвертей из территориальных комплексов бывшей «Дворовой чети» А. Арцыбашева и С. Сумарокова и «четей земских» — уже иная тема. Теперь же необходимо перейти к обзору истории «четей» в земщине.

III. ЧЕТВЕРТИ В «ЗЕМЩИНЕ»

Уцелевшие до сих пор документальные сведения о «земских» четвертях настолько скудны и отрывочны, что процесс их развития невозможно представить даже в тех самых общих чертах, как это было сделано относительно «четей» в опричнине. Как уже отмечалось выше, учреждение «государева удела» в 1565 г. застало четверти еще на первом этапе их истории, когда они только что формировались из отдельных ведомств «кормлено-четвертных» дьяков. Единственная вполне сложившаяся к тому времени «четвертная изба» была включена со своей территорией в опричнину. «Земские» области были расположены главным образом по окраинам государства, где действовали другие приказы, также имевшие территориальный характер (различного рода «дворцы» — Рязанский, Тверской, Казанский и Мещерский). Недаром наблюдательный Генрих фон Штаден, отметив в своих записках ряд «дворцов»,[4] не упомянул ни об одной «четверти». Известия о четях в «Земщине» приурочиваются в документах уже к следующему десятилетию — к 70-м годам XVI в.; но и в начале «раздела» Московского государства на две части все же можно указать по крайней мере на одно лицо из дьячего мира, которое безусловно выполняло обязанности земского «четвертного» дьяка, хотя прямо в актах так и не называется. Это был очень видный московский дьяк Посольского приказа Андрей Васильев.[5]

С именем Андрея Васильева (в его «четвертной функции») связано несколько документов. Известна грамота с его подписью от 14 фев-

месте приказано было, чтобы судьи «суда своего и сыску список и обоих исцов и по них записи поручные прислали к нам к Москве в четверть к диаком нашим» («Сб. грам. Колл. Экон.», I, № 276; АИ, I, № 211).

[1] РИБ, XXV, Акты Лодомской церкви, №№ CLXVI и CLXX.

[2] Там же, № CLXXXVI.

[3] Там же. № CCXLV.

[4] Г. Штаден. Указ. соч., стр. 79—82.

[5] Об основной служебной карьере и деятельности дьяка А. Васильева см. у Н. Лихачева. Разрядные дьяки XVI в., по указателю; его же. Библиотека и архив московских государей в XVI столетии, стр. 102—109, СПб., 1894.

раля 1567 г. в Соль Галицкую И. И. Лугвицыну-Мичурину о правильном взимании таможенных пошлин с крестьян сел Симонова монастыря Дятлова и Демьянова, которые были отписаны от «земского» еще Костромского уезда к опричному Галицкому.[1] Здесь может возникнуть недоумение по поводу того «города», куда был направлен указ: по летописи в опричнину был забран «Галич со всеми пригородки»; следовательно, как будто бы в опричнине должна была ведаться и Галицкая Соль. Однако летописные указания слишком обобщают то, что на самом деле происходило при переходе той или иной территории из общего комплекса «всех государств московского царствия» в особный государев удел: в «поиманых» на содержание последнего уездах далеко не все земли попадали в опричное ведомство, но очень часто существовала сильнейшая чересполосица, от которой страдало население и которая запутывала донельзя правовые и бытовые отношения. Повидимому то же было и в Галицком уезде: какие-то местности в нем — надо думать, что вся Солигалицкая «волость» — еще находились в земском; да и сам челобитчик, Симонов монастырь, только в 1569 г. «со всею вотчиною» был «пожалован», принят в опричнину, а до той поры он испытывал крайнее неудобство от двойного подчинения — опричным и земским властям.[2]

Другая грамота была отправлена Андреем Васильевым в следующем, 1568 г., 24 мая, также «к Галицкой Соли Ване Петрову сыну Мичюрина» по челобитью того же Симонова монастыря. Дело шло опять о спорах с «опришными людьми». Монастырь имел «у Соли у Галицкой» старинное сельцо Борисовское с деревнями, расположенными по реке Вексе, на которой среди своих деревень и на своей земле симоновские монахи поставили «для монастырьские усолские службы» мельницу. Однако эти права их оспаривались чухломскими крестьянами, принадлежавшими к опричному ведомству и исхлопотавшими грамоту к Ив. Ив. Лугвицыну, «а велено... ему та их монастырьская мелница, что на реке на Вексе по... прежней грамоте сыскати да сыскав очистити». «И нынече... Иван Лугвицын тое монастырьскую мелницу велит сметати», — прибавляли челобитчики-симоновцы. Вопрос был очень щекотливый: затрагивались интересы опричнины, а с другой стороны и Симонов монастырь был один из влиятельных и близких к Грозному московских духовных феодалов. Поэтому Андрей Васильев поступил осторожно; он решил проверить вновь все дело и приказал Ване Мичурину: «И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б про то сыскал, на чьей земле та монастырьская мелница стала и сколь давно и почему ту мелницу ныне Иван Лугвицын хочет сметати и которые наши земли х той мелнице пришли и порух каких нашим селам или деревням и угодьям от той мелницы нет ли; о том бы еси о всем сыскал подлинно да нам отписал, а мелницы до нашего указу метати не велел».[3]

Кроме Соли Галицкой Андрей Васильев ведал в качестве «четвертного-кормленого» дьяка и другими местностями. 26 октября 1568 г.

---

[1] См. П. Садиков. «История опричнины XVI в., № 11.

[2] В летописи (ПСРЛ, XIII, ч. 2, стр. 304) при перечислении взятых в опричнину в 1565 г. местностей сказано: «Город Галич со всеми пригородки, с Чюхломою, и с Унжею, и с Коряковым и з Белогородьем». Соль Галицкая в этом перечне не упомянута. О симоновских селах Дятлове и Демьянове, их спорах с галицкими попами и о переходе Симонова монастыря в опричнину только в 1569 г. — см. П. Садиков. Из истории опричнины царя Ивана Грозного, II, Опричные государевы богомольцы («Дела и Дни», 1922 г., кн. 2).

[3] Гос. ист. музей в Москве, собр. рукоп. бывш. Симонова монастыря, № 58, лл. 763—764; подлин. в ГБИЛ, Акты И. Д. Беляева, № 137. На грамоте справа подьячего Истомы Евского.

он выдал, например, грамоту на кормление в гор. Ряжском;[1] а по рассказам Генриха фон Штадена ему же в 1560-х годах были подчинены и некоторые местности в Вотской пятине: «Андрей Васильевич сидел в Посольском приказе. Здесь ведались все немецкие и татарские дела и сюда же поступали сборы с Корельской земли».[2] Действительно, сохранились указания, что в Корельской половине Вотской пятины, в Островской переваре Никольского Сердовольского погоста, «лета 7077 [1568/69] по государеве грамоте речка Яналукса да два лука пустых Левоновские отданы на оброк кудесником Сенке Окулову да Савке Лаврову сыну Окулову, ямских и приметных денег имати не велено, платят на Москве дияку Ондрею Васильеву за всякие государевы подати оброку полтора рубли в год».[3]

Вот, кажется, все указания на «кормлено-четвертные» обязанности дьяка Андрея Васильева. В 1570 г. он был обвинен в «новгородском изменном деле», и, по всей вероятности, погиб во время казней по этому процессу, хотя такие современники, как Шлихтинг или Штаден, безусловно знавшие его лично, не упоминают его имени в числе казненных.[4]

С начала 1570-х годов преемником Андрея Васильева, очень возможно, стал дьяк Василий Яковлевич Щелкалов, сверх других своих многочисленных обязанностей уже заведывавший особою «избою»-«четвертью». Первое свидетельство об этом мы находим в грамоте за приписью дьяка Захарья Олтуфьева от 6 декабря 1573 г., которую получили ярославские городовые приказчики, посадские старосты и мелкие земские власти, с запрещением втягивать слободку «на мозжеельнике», принадлежащую Спасскому Ярославскому монастырю, в различные мирские протори и розметы; указ был дан по жалобе спасского игумена Феодосия, который «положил» в чети перед дьяком Вас. Щелкаловым старую монастырскую тарханную грамоту на слободку.[5] Как и в вышеописанном случае с Солью Галицкой в 1567 г., возникает недоуменный вопрос: почему во взятый в опричнину еще в первые годы Ярославль посылают грамоты из чети безусловно «земского» дьяка? Ответом на это может служить, во-первых, то же указание на опричную «чересполосицу»; во-вторых, надо помнить, что известие о чети Вас. Щелкалова относится к тому периоду, когда произошла уже «отставка» прежней опричнины и ряд земель был возвращен их прежним владельцам, причем даже некоторые целые уезды вернулись в «земское»;[6] наконец, в-третьих, сам челобитчик, Спасский монастырь, ведался в «земском»[7] и лишь в июне 1581 г., после просьбы о ведении в одном Дворцовом приказе «во всем», «а не в разных приказех», получил разрешение ведаться впредь в госу-

---

[1] А. Юшков. Акты, представленные в Разряд, № 194.

[2] Г. Штаден. Указ. соч., стр. 82.

[3] Д. Самоквасов. Архивный материал, II, стр. 376. В 1557/58 г. р. Яналуксой и луками владел (из оброка же) Ондрейко Марков, который платил оброчные деньги в Москве дьяку Путилу Михайлову, а обежную дань, ямские и приметные деньги — в Новгороде (ср. мою статью «Кормленые дьяки..», стр. 171). Любопытно указание на «профессию» оброчников Окуловых — «кудесники».

[4] Н. Карамзин. История государства Российского, IX, прим. 299.

[5] И. Вахромеев. Исторические акты Спасского Ярославского монастыря, I, № XLII.

[6] Об «отставке» опричнины и «редукции» земель в 1572/73 г. см. П. Садиков. Из истории опричнины XVI в., стр. 159—161, 169; также Л. Сухотин. К истории опричнины XVI в. («Журн. мин. нар. просв.», 1911 г., № 11 — специально о Ярославле стр. 56—59).

[7] См., например, грамоту 30 ноября 1576 г. из Большого Дворца (земского) от дворецкого кн. Ф. И. Хворостинина и дьяка Гавр. Михеева (А. Федотов-Чеховский. Акты гражданской расправы, I, № 81, стр. 222).

цареве уделе — во «Дворовом дворце».[1] Таким образом, в 1573 г. игумен Феодосий вполне мог, не нарушая принципа разделения опричного и земского управлений, «положить» свою жалованную грамоту на слободку в земской четверти Вас. Яковл. Щелкалова.

Точно так же, на тех же основаниях, четь Вас. Щелкалова распоряжалась на Белоозере в 1578 г., где опричные порядки стали действовать с 1569/70 г., но не захватили территории всего уезда, не коснувшись как вотчины Кириллова монастыря, так и части вотчинных, поместных и черных земель и самого Белозерского посада.[2]

Относительно других местностей, ведавшихся в четверти Вас. Щелкалова (до смерти Грозного), можно сказать очень немного. Так, за его подписью мы знаем грамоту, отправленную в 1578 г. в Кашин Федору Корсакову, с указанием, что старцы Кирилло-Белозерского монастыря «положили» перед Щелкаловым свои старые тарханные грамоты и что по ним обелен двор, купленный монастырем в Кашине на черной посадской земле.[3] В 1578/79 г. четь Вас. Щелкалова собирала доходы с Каширы.[4] Наконец в 1578—1580 гг. известны грамоты «с прочетом» в Соль Галицкую. В первой из них, подписанной Вас. Щелкаловым 30 марта 1578 г., приказано было не брать с запустевших варниц Симонова монастыря, по его жалованной грамоте, «с пуда и с помытки тамги», хотя бы эти варницы и были отданы монастырем на оброк солигалицким посадским людям, которые собираются, арендовав у симоновцев три пустых варницы, «поставить варницу на монастырьской земле, а засол к той варнице хотят привести с нашей земли».[5] Грамота обращена была к Ив. Мичурину (вероятно «Ване Петрову с. Мичюрину» грамоты 1567 г.), бывшему, очевидно, приказным человеком у Соли Галицкой и обязанному следить, чтобы не нарушались интересы царских дворцовых сел, с территории которых арендаторы хотели собирать рассол на свою будущую варницу. Вторая грамота, от 28 мая 1580 г., также направлена была к Ив. Мичурину по поводу челобитья Троице-Сергиевского монастыря, который просил дать ему на оброк две мельницы на р. Костроме; этими мельницами владел некий Яков Толстоухов. Монастырские старцы получали обе мельницы с обязательством «старого оброку и с новою наддачею платить в нашу казну, в четверть дьяку нашему Василью Щелкалову по три рубли по двадцати по три алтына по две

---

[1] И. Вахромеев. Акты Спасского Ярославского монастыря, I, № LII.

[2] 16 июля 1578 г. была отправлена, за приписью по ставам дьяка Сапуна Абрамова, грамота на Белоозеро Федору Пантелееву с приказанием произвести обыск о спорном «погостце Чалексе», который, по мнению Кирилло-Белозерского монастыря, должен был принадлежать к его вновь пожалованной вотчине, с. Мегре. Из Москвы приказано было произвести обыск и «тот бы еси обыск и переписи все и книги за обыскных людей руками и за своею приписью и за печатью прислать к нам к Москве велел, отдати в четверть дьяка нашего Василья Щелкалова часа того, не дожидаяся по себя пристава ис прогонов» (ГПБ в Ленинграде, собр. рукоп. СПбург. дух. акад., А I/16, лл. 813—814 об.; другой список: Архив ЛОИИ, Акты Белозерские). В том же 1578 г. Вас. Щелкалов давал справки о доходах с жалуемой Кириллову монастырю в Белозерском у. вотчины, основываясь на книгах Дм. Ростопчина, а дьяк Большого Прихода Степ. Лихачев выдал подобные же справки относительно своих доходов (с «платежниц»); значит, книги Ростопчина находились в четверти Вас. Щелкалова (ГПБ в Ленинграде, собр. рукоп. СПбург. дух. акад., А II/47, л. 319). О «поимании» в опричнину Белоозера и белозерских вотчинников — см. П. Садиков. Из истории опричнины XVI в., стр. 143—144 и №№ 74, 75, также АИ, I, № 217.

[3] ГПБ в Ленинграде, собр. рукоп. СПбург. дух. акад., А I/17, лл. 478 об. — 479.

[4] «Писцовые книги Московского государства», изд. Н. В. Калачовым, II, стр. 305, СПб., 1877.

[5] ГИМ, собр. рукоп. Симонова монастыря, № 58, лл. 701 об. — 702 об.

деньги ежегод безпереводно»; «поручная запись» в оброке с монастыря также должна быть взята «на Москве» — видимо в той же чети.[1]

Этими сведениями исчерпываются известные нам данные о «земской» чети Вас. Щелкалова за интересующий нас период времени.

Одновременно с нею действовали в «земщине» и другие четверти: дьяка Игнатия Зубова и находившаяся в управлении дьяков Приказа Казанского дворца.

Первая известна только из одной грамоты, отправленной из Москвы в Углич в январе (без числа) 1580 г. князю Дмитрию Шелешпанскому, по всей видимости, писавшему или дозиравшему Углицкий уезд. Кирилло-Белозерский монастырь обратился с просьбою об обмене в Угличе монастырского соляного амбара на пустое дворовое место, которым никто не владеет и с которого никто не платит в казну никаких податей. Кн. Шелешпанский получил приказание произвести розыск об этом месте и исполнил поручение. Тогда из Москвы за приписью по ставам дьяка Истомы Евского был послан приказ: «И ты б то пустое место отдал Кирилова монастыря игумену Козме з братьею и в книги бы еси за Кириловым монастырем то место написал, а то бы еси их старое место отписал на меня царя и великого князя; а станет хто о том месте бить челом и прошати то их старое место на оброк и что станет давати с того места оброку, и ты б о том о всем отписал к нам на Москву в четверть дьяку нашему Игнатью Зубову».[2]

Показание это очень интересно. Несомненно, что мы имеем здесь дело с особой четью, в которой начальником, «первым» дьяком, сидел дьяк Игнатий Филиппов с. Зубов,[3] а «вторым», его «товарищем» — «приписавший» грамоту по ставам дьяк Истома Дмитриев с. Евский.[4] С другой стороны, по содержанию своему грамота такова, что могла быть послана не из чети, а из другого приказа — например из Поместного, также ведавшего и отдававшего на оброк запустевшие земельные владения — тем более, что направлена она была писцу. И вот

---

[1] ГАФКЭ, грам. Колл. Экон., Галицкий у., № 3377/630; список: ГБИЛ, собр. рукоп. Троице-Сергиевской лавры, № 532, лл. 536 об. — 537 об. Обе грамоты имеют в клаузуле «прочета» любопытную формулировку: вместо обычного «в п е р е д для иных наших приказных людей» употреблено выражение «для п р е ж н и х приказных людей». Не скрыто ли здесь указание на возвращение «в земское» и вообще всех галицких «пригородков» (из них Соль Галицкая, повидимому, оставалась все время в «земщине»)? Тогда формула становится понятной: оспаривания прав монастырей следовало ожидать именно со стороны «прежних» опричных властей, обязанных как-то отчитаться за время своего управления перед новой «земской» властью.

[2] ГПБ, собр. рукоп. СПбург. дух. акад., А I/17, лл. 470—471. Вслед за грамотой в копийной книге имеется запись о выполнении указа, ясно определяющая положение в Угличе кн. Дм. Шелешпанского именно как писца, а не как какого-либо «приказного» человека.

[3] Об отчестве дьяка см. П. Д о л г о р у к и й. Российская родословная книга, ч. 3, стр. 133, СПб., 1850.

[4] Дьяк Истома Евский не раз, повидимому, сам участвовал в составлении писцовых книг. Так, например, он в качестве «молодого» подьячего «Истомки Евского» писал и выдавал оброчные с книг каргопольского писца Никиты Григ. Яхонтова, находясь при последнем во время производства описания («оброчная грамота» от 11 сентября 1560 г. Гр. Ник. Сидорову на рыбную ловлю по берегу Белого моря, выданная Н. Гр. Яхонтовым, за его печатью — списки: Архив ЛОИИ, Акты Белозерские; ГПБ, № Q. IV. 113а, стр. 712—713; т а м ж е, собр. рукоп. СПбург. дух. акад., А I/17, лл. 1175 об.—1176); он же подписал подлинную «сотную с каргополских книг писма Никиты Григорьевича Яхонтова с товарыщи лета 7070» (ГАФКЭ, Городовые книги по Каргополю, № 1, лл. 104—134; сотная за печатью Яхонтова и за подписью в конце подьячего Молчана Григорьева, а по ставам «к сей сотной Истома Дмитриев сын Евского руку свою приложил»). По окончании этого «письма» Евский стал, по всей видимости, подьячим в «Каргопольской» чети, продолжая служить там и по переводе ее в опричнину, при дьяке Ф. Рылове (на упомянутой выше «платежнице» с книг Я. Сабурова и Ив. Кутузова была «справка подьячего Истомы Дмитриева Евского» — в 1565/66 г.). В 1568 г. он выполнял такие же обязанности «четвертного» подьячего,

оказывается, что дьяк Игнатий Зубов в эти годы как раз заведывал Поместной избой, сменив в самом конце 1578 или в начале 1579 гг. прежних дьяков этого приказа — Андрея Мясного и Богдана Ксенофонтова, а «товарищем» его в это время был дьяк Яков Андреев с. Витовтов.[1]

Последний еще до своего назначения в Поместный приказ выдавал грамоты, которые по содержанию могли выходить также и из какой-либо «четверти» или от какого-нибудь «кормлено-четвертного» дьяка, подобно тому как делал это, например, посольский дьяк Андрей Васильев.[2] Из сопоставления этих известий напрашивается само собою предположение: дьяк Яков Витовтов — видимо «кормлено-четвертной» дьяк, — сделавшись «вторым» приказным лицом в Поместной избе, сохранил свои прежние обязанности, совместив их с новыми. Образовалась особая «четверть», но уже связанная не с лицом, а с учреждением. Ею и стали заведывать старший «товарищ» Витовтова по Поместной избе, Игнатий Зубов, и преемник Витовтова в качестве «второго» поместного дьяка — Истома Дмитриев с. Евский, сам когда-то прошедший школу писцового дела и прослуживший некоторое время подьячим у «четвертных дьяков»: сначала в опричной чети у Дружины Володимерова и Фед. Рылова, а затем под началом Андрея Васильева в «земском».

Эта «четь», соединенная с Поместным приказом одним и тем же составом дьяческого персонала, не оторвалась от приказа и тогда, когда Игнатий Зубов ушел из него,[3] а перешла в ведение нового начальника (с 1584 г.) Поместной избы, дьяка Елизара Вылузгина, что отмечено не только в документах русского происхождения, но и записано сторонним наблюдателем московской жизни — англичанином Флетчером.

Вполне естественно, однако, что в случаях, подобных описанному в грамоте от января 1580 г., происходило «смешение ведомств», так как дело касалось таких объектов, которые одновременно подлежали ведению и Поместной избы (закрепление за вотчинником-монастырем его новых владений путем указа о записи этих владений в писцовые книги при самом производстве «письма») и «чети» (производство «сыска», является ли данное дворовое место «белым» или тяглым, и в последнем случае — установление размеров оброка за него или

но уже в «земщине», под началом дьяка Андрея Васильева. Наконец, в 1577/78 г. Ист. Евский, уже в качестве дьяка, «верстал» вместе с окольничим Б. В. Шеиным детей боярских серпейцев и мещовцев (Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., прилож., стр. 54). Таким образом, всей своей предыдущей деятельностью Ист. Евский очень подходил к занятию места в четверти, и именно связанной с Поместным приказом.

[1] Сохранилась «память» из Разряда в Поместный приказ дьякам А. Мясному и Богд. Ксенофонтову от 30 сентября 1578 г. («Чтения общ. ист. и древн. росс.», 1886 г., кн. 1, «смесь», стр. 5—6; ср. Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., стр. 471). С другой стороны, в каширских писцовых книгах читаем: «В Коширском же уезде во всех пяти станах царя и великого князя порозжие земли, а преже того были за помещики, а ныне лежат пусты, не владеет им нихто; а по памяти помесных диаков Игнатия Зубова да Якова Витофтова за его Яковлевою приписью лета 7087 февраля в 25 день написано: приговорили бояре... те порожние земли раздати коширяпам, безпомесным новиком» (Писцовые книги XVI в., I, отд. II, стр. 1525, СПб., 1877). В конце декабря 1578 г. Андрей Мясной уже покинул дьячество в Поместном приказе и исполнял обязанности «разрядного» дьяка (Н. Лихачев. Указ. соч., стр. 487; об отчестве дьяка Витовтова см. там же, стр. 189).

[2] Так, например, он подписал 5 июня 1578 г. жалованную несудимую грамоту Коневскому монастырю на волость Горбайлу в Ореховском уезде Вотской пятины (ДАИ, I, № 122).

[3] В декабре 1584 г. Игнатий Зубов не был уже начальником Поместной избы — в это время он «писал» вместе с подьячим Бессоном Похировым Арзамасский уезд («Чтения общ. ист. и древн. росс.», 1902 г., кн. II; С. Шумаков. Сотницы, грамоты.. отд. II, №№ XI—II, XIX).

«обеление»). «Нормальные» отношения в аналогичных случаях между Поместной избой и соответственной «четвертью» можно наблюдать по упомянутой грамоте из чети Вас. Щелкалова, от 16 июля 1578 г. Тогда монастырь обратился с просьбой о пожаловании ему «против» вологодской монастырской вотчины села Мегры, Белозерского уезда, в Поместный приказ к дьяку Андрею Мясному, а тот отправил уже от себя «память» в четь Вас. Щелкалова, ведавшую управою и доходами по Белоозеру, с просьбой произвести подробное расследование существа челобитья, так как в Поместной избе не находили в писцовых книгах необходимых данных[1] и потому, очевидно, затруднились произвести желательный монастырю обмен владений.

Если можно предположить, что в известии о «чети Игнатия Зубова» 1580 г. мы встречаемся с приказом в начальный период его образования, — с приказом, в дальнейшем уже связанным с Поместною избою, то ничего определенного нельзя сказать о территории этой чети. Даже неоспоримое на первый взгляд указание на подведомственный ей Углич вызывает некоторые сомнения. Дело в том, что Углич — один из тех городов, который московские великие князья особенно охотно отдавали в «удел» своей меньшой братии;[2] последний раз Углич был центром особого «княжения» уже при царе Федоре — уделом его младшего брата, царевича Дмитрия (в 1584—1591 гг.). За время нахождения в «уделе» город с уездом не подлежал ведению московских центральных учреждений — хотя бы формально. И в «междукняжье» в Москве существовал особый «Углицкий дворецкий», который, правда, потом вместе со своим приказом — «Углицким дворцом» был объединен с Большим Дворцом (земским); в XVII в. город Углич (посад) ведался в Большом Дворце.[3] Таким образом, указание на ведомство в четверти Углича в 1580 г. очень интересно; вполне возможно, что в это время ведался в чети только посад, а уезд находился в ведении углицкого дворецкого и его «дворца», если последний к данному моменту не был слит с Большим государевым Дворцом. Во всяком случае, в «чети» дьяка Елиз. Вылузгина — преемника по Поместному приказу дьяка Игн. Зубова — Углич, как «удельный» город, уже не состоял.

Столь же сложное взаимоотношение между основным приказом и четью встречаем мы и при известиях о той четверти, которая была объединена в лице дьяка Андрея Яковл. Щелкалова с при-

---

[1] Вот как было изложено в «памяти» дьяка Андрея Мясного все дело: «... Бил нам челом Успенья пречистые богородицы Кирилова монастыря игумен Козма з братьею — в нынешнем 86-м году пожаловали есмя их против вологоцкие вотчины в отмен селом Мегрою, что было за Иваном Выротковым, в придачю, и то село Мегра от детей боярских и от белоозерцов и от вотчинников — от Григорья от Гневашева з братьею — землю и лес и покосы изобижено, и ставили-де на Мегорской земле деревни и починки: и как-де писали Белоозеро писцы Юрье Морозов с товарищи, и по челобитью мегорских крестьян сыскали по обыску землю и угодья, от их вотчины отписали на нас; и после-де того те дети боярские тою землею завладели; да к тому же-де селу к Мегре погостец деревня Чалекса истари-де тянула судом и всякими доходы с селом с Мегрою, и как-де оне били челом о селе о Мегре — и ту-де деревню погостец Чалексу в челобитной прописали неведы, и нам бы их пожаловати, велети про ту землю и про деревню погостец Чалексу сыскати». По всей видимости, в книгах Ю. Морозова были недостаточные сведения о положении всей вотчины, а Чалекса и вовсе не была записана, отчего и потребовался новый «обыск», чтобы произвести мену. Иван Выродков был казнен Ив. Грозным; его имя и его род занесены в списки «опальных» в известных синодиках.

[2] В XVI в. Угличем по духовной Ивана III владел его сын Дмитрий Иванович (С. г. г. и д., № 144).

[3] С. Веселовский. Указ. соч., II, стр. 636. Только Углицкий посад ведался в XVII в. Большим Дворцом; Углицкий уезд в это время находился в ведении сначала Большого Прихода, а затем Поместного приказа.

казом Казанского дворца. Здесь дело осложнялось тем, что и четь и Казанский дворец — оба были приказами территориальными, областными, не охватывали всего Московского государства; а Казанский дворец по существу ничем не отличался от четвертей — лишь образовался он совсем иными путями, да и ведомство его вследствие этого было значительно шире, чем у обычных четвертных дьяков.

«Казанский дворец» образован был вскоре после завоевания Казани и Астрахани для управления вновь приобретенными огромными территориями Поволжья и Прикамья, а затем в его ведение стали поступать в XVI в. все новые «примыслы» московской государственности, расположенные на восток, — местности «Сибирского царства». Но еще в самом начале деятельности Казанского дворца к нему были присоединены два других «дворца» — Нижегородский и Мещерский — приказы, возникшие из ведомств соответствующих дворецких, обязанных после присоединения к Москве княжеств Мещерского (конец XIV — начало XV вв.) и Нижегородского (XV в.) вести наблюдение за интересами Москвы на территории этих областей.

Можно довольно точно установить, кто ведал этот объединенный «дворец» во второй половине XVI в. Так, в 1542 г. Нижний Новгород находился в ведении боярина и дворецкого, властного распорядителя московскими делами в годы юности Грозного, кн. Ив. Ив. Кубенского,[1] казненного в 1546 г. Его преемником был Мих. Ив. Волынский, в «приказе» которого Нижний Новгород состоял в 1560 г.[2] В 1562 г. оброки с владений Нижегородского Печерского монастыря поступали в «Нижегородский дворец», а «боярином и дворецким Казанским и Нижегородским и Мещерским» акты в том же году отмечают все того же М. И. Волынского[3]—очевидно к этим годам произошло объединение всех трех «дворцов» под начальством одного лица. В 1565—1566 г. в качестве казанского «дворецкого» отмечен уже боярин Семен Васильевич Яковля, а дьяками при нем в Казанском дворце сидели Петр Шестаков с. Романова и Иван Никифоров с. Дубенской;[4] все трое участвовали в земском соборе 1566 г. и занесены в соборное постановление.[5] С. В. Яковля был привлечен по новгородскому «сыскному изменному делу» и, повидимому, окончил жизнь на эшафоте 25 июля 1570 г.[6] Дьяк Ив. Дубенской в 1569/70 г. служил, кажется, еще в своей прежней должности,[7] но начало 1570-х гг. внесло в администрацию приказа радикальные перемены. Во главе приказа стал уже не «дворецкий», а крупнейший приказный делец этого времени — думный дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов.

Андрей Щелкалов в 1570-х гг. совмещал много обязанностей. Являясь начальником Посольского приказа, он бывал и разрядным дьяком, отправлял и многие другие постоянные и временные поручения, — был влиятельнейшим и самоуправнейшим представителем мос-

[1] А. Кабанов. Материалы по истории Нижегородского края из столичных архивов, в. III, № 19, стр. 25 («Действия Нижегородской учен. арх. комиссии», XIV, Н. Новгород, 1913).

[2] Там же, № 15, стр. 18.

[3] Там же, №№ 16 и 21, стр. 35.

[4] Там же, №№ 25, 26, 28, 30.

[5] С. г. г. и д., I, № 192.

[6] Н. Карамзин. Указ. соч., IX, прим. 299.

[7] Во время пожара 1626 г. из Разрядного приказа среди других документов была вынесена «десятня 78-го году за приписью дьяка Ивана Дубенсково» по Владимиру (Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., прилож., стр. 67—68). О том, что Владимир ведался, возможно, в Казанском дворце, см. ниже.

ковской бюрократии.[1] Как раз со временем управления им Казанским дворцом совпадают и сведения о его особой «четверти».

В «Казанском и Нижегородском и Мещерском дворце» Андрей Щелкалов стал распоряжаться уже в 1570 г.,[2] явно заменив собою как «думный» человек, «думный дьяк», прежнего «дворецкого», также «думного», казненного боярина С. В. Яковля; в звании начальника этого приказа Щелкалов пробыл долгое время — по крайней мере до половины 1587 г.[3]

Его «товарищем» по Казанскому дворцу в самом начале 1570-х годов отмечается в документах дьяк Кирей Федоров с. Горин, скрепивший ряд грамот. Так, он подписал 6 августа 1572 г. грамоту Якову и Григорию Строгановым о посылке ратных людей против черемис и других народов Приуралья, производивших набеги по р. Каме; все сведения, собранные Строгановыми о движениях остяков и вогуличей, приказывалось присылать «с кем пригоже к нам на Москву в приказ Казанского дворца к диаком нашим к Андрею Щелкалову да к Кирею Горину»;[4] 5 марта 1573 г. он же подписал жалованную грамоту Астраханскому Троицкому монастырю. Астрахань всегда ведалась в приказе Казанского дворца.[5] Но с именем дьяка Кирея Горина связаны уже и такие грамоты, которые необходимо считать вышедшими не из собственно Казанского дворца, а из соединенной с ним «четверти». Грамоты эти относятся к Важской земле.

История этой богатейшей волости Поморья очень туманна. В 1565 г., с первых же моментов действия опричнины, Вага была «поимана» в «государев удел» и ведалась в опричной четверти дьяков Дружины Володимерова и Федора Рылова. При коренной перетасовке земель, начавшейся после 1572 г., Вага оказалась в числе областей, возвращенных в «земщину». По позднейшим указаниям важане платили доходы «в четверть Андрея Щелкалова» до того времени, когда Вага была отдана «во владение» Бориса Годунова.[6] Основываясь лишь на одном этом известии, можно было бы допустить, что Вага была подчинена чети А. Я. Щелкалова только в 1584—

---

[1] О различных сторонах служебной деятельности А. Я. Щелкалова и его исключительных по своему беззаконию и самоуправству поступках много данных собрано Н. Лихачевым, Разрядные дьяки XVI в., по указателю. По всей видимости, ко времени хозяйничанья в Казанском дворце А. Щелкалова с его помощниками следует отнести характеристику, данную Г. Штаденом: «В Казанском и Астраханском приказах (Auf der Kasanskene und Astrokansken Canzelei) или царства... [они] изрядно набили себе мошну [...] и в окрестных улусах луговой и нагорной черемисы» (Г. Штаден. Указ. соч., стр. 82; текст имеет пропуски, отмеченные издателем [...]).

[2] А. Юшков. Акты, представленные в Разряд, № 198 (1570 г., 29 октября), грамота в г. Василь; № 199 — грамота в Курмыш.

[3] О заведывании А. Щелкаловым «Казанским дворцом» см. Акты Моск. госуд., I, № 18 (1577 г.); А. Кабанов. Указ. соч., № 36 (1580 г., июль—грамота в Н. Новгород); АИ, I, № 209—I (грамота от 1581 г., февраля 24, нижегородскому воеводе Д. В. Сабурову и дьяку Поснику Шипилову о сыске по челобитью Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря их прав на владение рыбными ловлями по р. Волге); ДАИ, I, № 127 (1581 г., 30 ноября — грамота в Свияжск); А. Кабанов. Указ. соч., № 42 (Н. Новгород, декабрь 1584 г.), № 45 (Н. Новгород, январь 1585 г.); № 51 (1587 г., 17 февраля).

[4] Г. Миллер. Описание Сибирского царства, стр. 85, СПб., 1750, и в нов. изд. «История Сибири», прилож. 4, М.—Л., 1937 (та же грамота: ДАИ, I, № 120).

[5] АИ, I, № 184.

[6] 3 мая 1607 г. была послана «память» судейкам Тавренской вол. Важского у. о явке их на Верховажский стан с платежными отписями к Фед. Савину, посланному на Вагу со специальной задачей: «...велено ему на Ваге писать, сколко и по чему в Важском уезде платили государев оброк и всякие государевы доходы в четверть дьяку Андрею Щелкалову и после того по чему платили Борису Годунову в его владенье дань и оброк и всякие доходы и после Борисова владенья в Казанской и в Мещерской дворец» (АЮ, № 337, ср. АИ, II, № 348).

1585 гг.,[1] когда, после ликвидации «особного двора» умершего Ивана Грозного, в эту четь действительно поступило очень много областей Поморья, бывших в ведении «дворовой чети» А. Арцыбашева и С. Сумарокова. Однако до нас дошла грамота уже от 14 марта 1573 г. за приписью только что упомянутого выше помощника А. Щелкалова по Казанскому дворцу, дьяка Кирея Горина, «в Важеской уезд, на Подвинье, старостам и целовальником» по челобитью игумена северного небольшого Клоновского монастыря Сергия о размежевании монастырских владений с землями подвинских крестьян.[2]

У монастыря были постоянные столкновения со своими соседями, кончившиеся тем, что крестьяне сожгли монастырь в следующем, 1573/74 году. Хотя Кирей Горин и приказывал местным властям произвести размежевание и «беречь накрепко» монастырь от дальнейших «обид», этот поступок крестьян не вызвал, очевидно, соответствующего наказания «обидчиков» со стороны Горина. Тогда клоновские монахи попытались эмансипироваться от чети Андрея Щелкалова и стали хлопотать в 1577 г. о получении взамен сгоревшей грамоты новой — не в чети, а в Большом Дворце, у дьяка А. Демьянова, который совсем еще недавно был начальником «дворовой четверти», ведавшей соседними «дворовыми» Двинскими волостями, и потому хорошо был знаком с подобного рода делами. Попытка окончилась неудачей: Демьянов грамоту выдал, но подсудность для монастыря оставил прежнюю, и в 1586 г., при передаче Ваги в «путь» Борису Годунову, монастырь принужден был подтвердить свои права у своего «четвертного дьяка» А. Я. Щелкалова.[3]

Все это дело — типичный случай именно для деятельности «четверти», а не какого-либо иного приказа. И здесь, безусловно, надо усматривать указание на ту «четверть», о которой есть сведения, что она ведала Вагою «до Борисова владения», т. е. на четверть А. Я. Щелкалова, возможно, ведшего ряд дел не лично, а перепоручавшего их своим сотрудникам по основному своему приказу — Казанскому дворцу. Столь же характерен и другой документ, подписанный Киреем Гориным и также относящийся к Подвинской четверти Важской земли: судный список по делу о пожнях Троицкой волости, от 24 марта 1574 г.[4] Акт этот был скреплен Гориным, по всей видимости, уже в момент, когда он собирался покинуть и Казанский Дворец и «четверть», так как был послан в это время производить описание Бежецкого уезда.[5] Но один из его преемников по Казанскому Дворцу,

[1] Время пожалования Ваги Б. Годунову можно определить довольно точно: 8 июля 1586 г., явно в виду этого пожалования, была подтверждена «несудимая грамота» от 3 марта 1577 г. Важскому Клоновскому монастырю; подтверждение было подписано А. Щелкаловым, как «четвертным» дьяком, причем было оговорено: «... и ни въезжати к ним никому, опроче боярина и конюшева Бориса Федоровича Годунова и ево пошлинных людей, для того, что боярину и конюшему Борису Федоровичу Годунову Вага дана в путь» («Сб. грам. Колл. Экон.», II, № 205, 24 февраля 1587 г. Годунов уже выдавал от себя указные грамоты земским властям Кокшенгского стана Важской земли (там же, № 206, также в «Чтениях общ. ист. и древн. росс.», 1896 г., кн. 1, «смесь», стр. 24).

[2] «Сб. грам. Колл. Экон.», II, № 204.

[3] Там же, № 205.

[4] РИБ, XII, ст. 12.

[5] Он был дьяком при «писце» кн. Д. А. Друцком и поэтому 27 февраля 1574 г. подписал «льготную» И. Ю. Грязному на сельцо Кузьмодемьянское (М. Дьяконов. Акты тяглого населения, в. II, № 21). 11 мая 1574 г. Друцкой и Горин дали также «купчую» И. Т. Загрязскому на вотчину в Московском у. (А. Юшков. Указ. соч., № 201). Горин видимо еще не совсем покинул приказ и, наезжая в Москву, отправлял свои прежние обязанности; так, он, кроме указанной в тексте грамоты на Вагу от 24 марта 1574 г., послал 16 марта грамоту во Владимир Ив. Гр. Кореневу с приказанием ехать в Холуй и распорядиться о ненарушении льгот «казаков» Троице-

дьяк Семейка Фомин, продолжал ведать Вагу, хотя и посылал также грамоты в местности, подчиненные Казанскому дворцу непосредственно.[1] Так, 18 мая 1577 г. он отправил грамоту «на Вагу [в] Содролинскую волость данным зборщикам и старостам и целовальником» с разрешением Якову Аникиеву с. Строганову организовать на «пустых болотах» «железное дутье», если эти места никому не отданы на оброк «и земским людем в том тяготы и убытка не будет никоторого».[2]

Итак, из приведенных выше документальных свидетельств можно заключить, что Важская земля в 1570-х годах (и до самого, очевидно, пожалования ее «в путь» Б. Ф. Годунову в 1586 г.) ведалась в четверти А. Я. Щелкалова, которая была соединена с одним из управляемых им в то время приказов, Казанским дворцом, причем непосредственными исполнителями приказаний являлись его помощники-дьяки по этому последнему учреждению.

Той же чети Андрея Щелкалова были подчинены и некоторые другие местности севера Московского государства, не попавшие в «опричнину» или во «двор» государев. Это следует прежде всего сказать относительно Кольского у. (волостей Керети, Порьегубы, Умбы и Кандалакши). Туда 17 декабря 1583 г. была отправлена за подписью А. Щелкалова грамота «с прочетом» Максаку Федоровичу Судимонтову об освобождении Соловецкого монастыря и монастырской вотчины, расположенной в перечисленных выше волостях Кольского полуострова, от обязанности доставлять в Колу «к острожному делу» стрельцов и посошных людей. Грамота предупреждала: «А будет Соловецкие старцы вступаютца, а называют наших крестьян в тех волостях своими крестьяны, и ты б про тех сыскав к нам тотчас отписал».[3] Такая оговорка очень характерна, и невольно напрашивается сопоставление с приведенными выше грамотами в Важскую землю: во всех них проскальзывает определенное стремление как-то обеспечить не только интересы привилегированных землевладельцев (монастырей, Строгановых), но и охранить, по возможности, от «тягот» и «обид» земских людей, тяглецов и оброчников, иногда даже в ущерб интересам первых. Дело было, конечно, не

Сергиева монастыря (там же, № 23); неизвестно, входил ли Владимир в ведомство чети А. Щелкалова или был подчинен ему как дьяку Казанского Дворца; думаем, что второе более вероятно (ср. выше, стр. 156, прим. 7 и ниже—указания на Муром, стр. 162—163). По окончании переписи Кирей Горин служил в «земском» у «земского» «в. кн. всея Руси» Симеона Бекбулатовича (см. П. Садиков. «Из истории опричнины XVI в., № 69). С именами А. Щелкалова и К. Горина связан еще один акт — «послушная» от 10 августа 1572 г. крестьянам с. Правдина Углицкого у., пожалованным Иваном Грозным «по душе» кн. И. Д. Бельского в Спасо-Евфимьевский монастырь (АИ, I, № 182; С. Шумаков. Угличские акты, стр. 35): Углич-посад ведался в иной четверти, а уезд — там же или в «Углицком дворце». В данном случае вопрос разъясняется из того обстоятельства, что осуществление мероприятия по пожалованию было возложено Грозным персонально на двоих лиц («... по нашему приказу боярин наш Михайло Яковлич Моровов да дияк наш Андрей Щелкалов дали то село.»), причем дьяк и оформил его через подведомственный приказ; иными словами, здесь мы явно встречаемся с экстраординарным случаем, а не с общим правилом.

[1] Семейка Фомин подписал 12 декабря 1574 г. ввозную на поместье вдове Марье Аксаковой в Ирженском стане Арзамасского у. (А. Юшков. Указ. соч., № 202). Арзамас ведался в эти годы в Казанском и Нижегородском дворцах (А. Кабанов. Указ. соч., цит. места; С. Веселовский. Сошное письмо, I, стр. 572). 6 марта 1578 г. за подписью С. Фомина направлена была и грамота в Казань кн. Андрею Ногтеву о незаконности задержки судов Строгановых, причем всех, кто станет жаловаться на людей Строгановых, приказано было давать на поруки, «а за порукою чинити им срок ставитися на Москве в Казанском дворце» (Архив ЛОИИ, Строгановские столбцы, № 22. 3. 5).

[2] А. Введенский. Указ. соч., стр. 97—98.

[3] «Сборн. материалов по истории Кольского полуострова», № 8, стр. 39.

в «демократической политике» Андр. Яковл. Щелкалова или подчиненных ему дьяков, а объяснялось проще: «пустота», обнищание и неплатеж государевых податей достигали уже таких размеров, что необходимо было позаботиться и о тяглом населении. Недаром в 1572—1574 гг. неопричное Поморье «писали и дозрили» Вас. Агалин с товарищи и с такою тщательностью доискивались о причинах запустения: необходимы были большее внимание к тяглой массе и хотя бы минимальное ограждение ее от «сильных людей», чтобы не вынуждать ее покинуть родные места и не допустить «скитаться меж двор», избывая государевых даней и оброков.

Из восточных «земских» областей Поморья в четверти А. Я. Щелкалова ведалась Вятская земля, куда грамоты за его подписью писались с 1580 г. (последние известные нам документы за подписью А. Щелкалова относятся уже к 1590 г.).[1] Очень возможно, что там же ведалось и Пустоозеро, обитатели которого в 1570-х годах терпели «обиды» в платеже оброчных денег за промысловые угодья от опричников-двинян.[2]

Крайне запутаны сведения о ведании Андреем Щелкаловым Пермью Великою. Об этом мы имеем достаточно сведений, но очень трудно установить точно, является ли это ведомством приказа Казанского дворца или собственно «четверти».

Было уже сказано, что предписания Строгановым о посылке ратных людей против вогулов и остяков в начале 1570-х годов исходили от Андр. Щелкалова из Казанского дворца. Когда в 1578 г. истек, очевидно, льготный срок по грамоте, выданной Др. Володимеровым в 1568 г. из опричной чети Якову Строганову на новые вотчины по р. Чусовой, то в 1578-79 (7087) г. на свои Пермские вотчины Никита Строганов получил сотную грамоту за приписью А. Щелкалова.[3] Он же направил 10 августа 1580 г. грамоту в Пермь о неприкосновенности угодьев Чердынского Богословского монастыря.[4] Обе эти грамоты можно было бы считать отправленными из «четверти» Щелкалова.

От 1581 г. известно несколько подписанных А. Я. Щелкаловым грамот, связанных с мероприятиями Строгановых по защите границ их приуральских земель. 6 ноября этого года была отправлена Щелкаловым грамота пермскому наместнику кн. Ив. Елецкому и Никите Строганову об оказании помощи Семену и Максиму Строгановым по случаю набега на их слободы и деревни вогуличей.[5] А 20 декабря А. Щелкалов обратился с грамотой «с прочетом» «в Пермь Великую и в Камское Усолье старостам и целовальником, всем земским людем», в виду челобитья тех же Строгановых о разрешении им набирать «охочих казаков» для борьбы с «Пелымским князем» и вогулами. Грамота разрешала набор: «...которые будут охочие люди похотят итти в Оникеевых слободы, в Чюсовую и в Сылву и Яйву на их наем, и те б люди в Оникеевых слободы шли и с ними против чюсовских вогулич стояли, острогов и деревень и починков от их войны оберегали, а которые вогуличи на их остроги войною приходят и задоры чинят, и на тех бы вогулич приходили и над ними промышляли смотря по тамошнему, чтоб от войны оберечися и над ними поискати

---

[1] А. Спицын. Местное и областное управление на Вятке до XVIII столетия, стр. 9, Вятка, 1888. А. В.-н. Грамоты и акты Вятского Успенского Трифонова монастыря 1580—1714 гг., № 2 (1582 г.) и № 6 (1590 г.) — «Труды Вятской ученой архивной комиссии», в. I—II, отд. 2, 1906 г.

[2] Указанная там «платежница» была выдана из приказа Большого Прихода.

[3] А. Дмитриев. Пермская старина, II, прилож., №№ 1—3, Пермь, 1890.

[4] АИ, I, № 207.

[5] ДАИ, I, № 126; Г. Миллер, Указ. соч., прилож. № 6, М—Л, 1937.

и войною издосадити и вперед бы им не повадно [было] воровать. А вы б всею землею Пермскою с ними сопча стояли за один и промышляли сопча, чтоб на вас вогуличи вперед войною не приходили».[1] Такое воззвание к защите «общих», якобы, интересов пермичей и Строгановых, самое обращение ко «всей земле Пермской», роднит эту грамоту по ее тону с грамотами, вышедшими из «чети» дьяка в другие области Поморья — поэтому мы и относим ее за счет чети, а не Казанского дворца.[2] Все это, однако, область предположений; впоследствии, уже после смерти Грозного, когда Щелкалов перестал ведать Казанским дворцом, «четь» его до самой его опалы в 1594 г. ведала Пермью Великою. Но тогда и вообще произошли большие перемены и полная перекройка территориального состава всех бывших «четвертей» — и «дворовой», и «земских», а сфера деятельности Казанского приказа и «четверти», управляемой его дьяками, была разграничена значительно более четко.

Этого совершенно нельзя сказать о работе во время существования «государева удела» и «земщины». По всей видимости, смешение компетенции обоих приказов («чети» и «дворца»), при местно-территориальном характере обоих учреждений и едином дьячьем составе их, было настолько велико, что даже сами дьяки не всегда давали себе в этом отчет и путались в официальных документах. В этом отношении разительный пример представляет акт, вышедший из-под пера одного из помощников Андр. Щелкалова, дьяка Ивана Дорофеева с. Собакина.[3]

---

[1] А. Введенский. Указ. соч., стр. 62—63.

[2] Было бы чрезвычайно интересно установить, из какого приказа была послана через 10 дней, т. е. 30 декабря 1581 г., другая грамота «с прочетом» «в Пермь в Великую Василью Пепелицыну» («приказному человеку»). По своему содержанию она тесно примыкает к цитированной грамоте от 20 декабря и вызвана была теми же жалобами С. и М. Строгановых на набеги кн. Пелымского с вогулами; «... и в те-деи поры, — прибавляли челобитчики, — из их слобод, из острогов и засады бегают их люди и казаки и жилцы должные в Пермь в Великую, в Чердынь и в Усолье Камское, [и] ни с Пермидеи, ни з Усолья их людей и казаков и жилцов должных им не выдают». В виду этого В. Пепелицын обязывался наладить выдачу Строгановым их беглых людей, которых они «опознают» в Перми и в Усолье, «и крепости на них в службе положат»; «... и ты б, сыскав и распрося по крепостям, хто доведетца, тех людей Строгановых отдавал, а на казаков и на жилцов в их долгу давал управу по нашему указу». Резкий тон и категорическое приказание возвращать беглых казаков и кабальных людей прямо противоположны предложению Щелкалова пермичам и Строгановым действовать «сопча»; пермичи выставлены в грамоте стороной, нарушающей «государев указ». К сожалению, грамота, судя по изданию ее, не имеет подписи дьяка и потому нельзя относить ее к деятельности А. Я. Щелкалова (А. Введенский. Указ. соч., стр. 63—64).

[3] Дьяк Иван Дорофеев с. Собакин (или «Собака») в 1571/72 г. был в числе дьяков, расписанных в поход на «Свицкие немцы», значась в «земском» («Симбирский сборник», «Разрядная книга», стр. 31—32; В. Вельяминов-Зернов. Указ. соч., II, стр. 12—13); в начале 1572 г. он был в Новгороде, где Иван Грозный «на земской стороны взял диака Никиту Щелепина к Москве, а на его место поставил дияка Ивана Дорофеева Собаку» («Новгородские летописи», стр. 109, СПб., 1879). Ив. Собакин сравнительно недолго пробыл на этой службе; он вновь перебрался в Москву и устроился в «Казанском дворце» под руководством А. Щелкалова, побывав перед этим и дьяком Ямского приказа (грамоты из Новгорода Собакиным посылались еще 8 августа 1573 г.—Д. Самоквасов. Архивный материал, II, стр. 312; Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., стр. 54—55). Собакин, вероятно, сменил в Казанском дворце дьяка Кирея Горина, но, возможно, служил там и одновременно с ним, а затем с Сем. Фоминым. Такой «усиленный» состав приказа (вместо обычных двух дьяков) был вызван, во-первых, тем, что сфера ведомства приказа (и соединенной с ним «чети») была очень велика, а, во-вторых, А. Щелкалов был «думным дьяком» и в таких случаях не шел в счет обычной приказной администрации. В том же 1575 г. в Казанском дворце, очень возможно на короткое время, промелькнул в дьяках и Андрей Арцыбашев. В 1576 г. Собакин уже служил в «государеве уделе»: 1 марта этого года он подписал ввозную грамоту «князя Ивана Васильевича Московского» из Старицы Г. М. Елчанинову на поместье в «дворовом» Дмитровском уезде (А. Юшков. Акты, № 204).

20 июня 1575 г. дьяк И. Д. Собакин отправил в Поместный приказ дьяку А. В. Шерефединову длинную «память» по следующему вопросу. За два года перед этим, 15 июня 1573 г., некий служилый человек, старинный вотчинник Муромского уезда, Рахманинко Дмитриев с. Толызин, бил челом на Агафью Иванову дочь, вдову своего троюродного брата Андрея Васильева с. Зубарева-Толызина, и на ее приказчика Андрюшку Нохру: пользуясь отсутствием челобитчика, находившегося на «государевой службе» в Астрахани в продолжение трех лет, Агафья его «обидела» — жила в с. Толызине, вотчине своего покойного мужа и его, Рахманинка, «сильно» взяла при помощи своих людей «живота его из житницы 8 четвертей муки ржаные да 12 сотниц ржи да трои сани да трои колеса». По челобитью Рахм. Толызина была послана грамота в Муром Дан. Игн. с. Губину (вероятно — «приказному человеку» или губному старосте) с приказанием «дать Агафью Зубареву на поруки» и «учинити срок стати на Москве в Нижегородцком и в Мещерском дворце». Так как сам истец, Рахм. Толызин, уже успел вновь отправиться в поход, то Губин и назначил срок явки обоим, и обвинителю и обвиняемой, «как государева Какшажская служба минетца месяц спустя»; в назначенный срок оба явились в Нижегородский дворец, но «после того по их челобитью для государевы службы отсрочи дано им и дважды». В конце концов Агафья Зубарева была «обвинена». Окрыленный выигрышем этого пустячного, в сущности, уголовного дела, Рахм. Толызин затеял уже гораздо более сложный гражданский процесс — он задумал оттягать у своей родственницы ее долю в родовой вотчине. Дьяк Иван Собакин так изложил это в своей «памяти»: «А после обвинки перед дьяком Иваном Собакиным Рахманинко Толызин сказал, что его иск дошел; а искал Рохманин в четверти в Нижегородцком и Мещерском дворце и перед дьяком Иваном Собакиным на снохе на своей на Огафье на Ондрееве жене Зубарева-Толызина брата своего Ондреевы и своее вотчины». Началась судебная волокита. Обе стороны доказывали свои права документами, купчими и духовными, излагали свои родственные отношения. Наконец Агафья прибегла к последнему средству: она «дала» свою часть с. Толызина (очевидно фиктивно, с правом жить в имении до своей смерти) в Троице-Сергиев монастырь, который немедленно и выступил претендентом в лице «старца» Варсонофия Якимова, предъявившего дьяку Ивану Собакину «данную» Агафьи Зубаревой. В «данную» было включено условие: в случае желания вотчичей выкупить вотчину у монастыря, уплатить последнему 200 рублей. Рахманинко Толызин отступил перед такой суммой, и дьяк Иван Дорофеев отправил в Поместную избу «судимую память» с предложением записать спорную вотчину за Троицким монастырем «в вотчинные книги по государеву указу, каков государев указ в Поместном приказе о тех вотчинах, которые вотчины в монастыри дают по душам до выкупа».[1]

Несомненно, что и уголовное дело о захвате Агафьей Зубаревой не принадлежавшего ей имущества Рахмана Толызина, и последовавшая затем гражданская тяжба о вотчине должны были разбираться никак не в «четверти Казанского и Нижегородского и Мещерского дворца», так как «четверти» никогда не судили светских феодалов — служилых людей разных рангов и степеней — и были обращены

---

[1] ГБИЛ, Собр. рукоп. Троице-Сергиевской лавры, № 530, лл. 944—947. 1 апреля 1575 г. Ив. Собакин скрепил грамоту «с прочетом» в Нижний Новгород ключникам Ю. Матюнину и Я. Бухвалову по челобитью игуменьи Новодевичьего монастыря о невключении трех монастырских дворов в Нижнем Новгороде в число тяглых (А. Кабанов. Указ. соч., № 32).

к ним только одной стороной своей деятельности: выдавали им, своим «четвертчикам», положенное «государево четвертное жалованье», т. е. служили раздаточною кассою собираемых с «черного» населения налогов. Но в сознании дьяка Ив. Собакина его функции, как дьяка Приказа, ведавшего, очевидно, Муром с уездом «во всем», настолько сливались с функциями дьяка «четвертного», ведавшего обычно «судом и управою» лишь посадское и крестьянское население уезда да собиравшего (уже со всего уездного населения) свои «четвертные» доходы, что он назвал в официальном документе один из управляемых им приказов, «дворец», — «четвертью», хотя отлично знал о существенном различии обоих учреждений.

Следующим «городом» Московского государства, ведавшимся Андр. Щелкаловым в качестве «четвертного дьяка», можно считать Калугу. Туда 7 марта 1579 г. Щелкалов отправил городовому приказчику грамоту «с прочетом», приказывавшую взимать с двора, вновь поставленного Строгановыми «для своего приезду» (прежний их двор был взят «на государя», а общего «гостинного двора» в Калуге не существовало), торговые «приезжие» пошлины, как и с остальных «всяких торговых приезжих людей», и запрещавшую брать с этого двора какие-либо иные налоги, «потому что приезжие пошлины сойдут с них болши податей».[1] Случай этот близок к делу о подобном же «дворе» — складочном товарном амбаре Кириллова монастыря в Угличе, которое было разрешено именно «четвертью» другого дьяка, Игнатия Зубова. Наконец, очень возможно, что уже в это время А. Я. Щелкалов ведал в своей четверти и соседнюю с Калугой Тулу, куда 30 января 1585 г. он послал «осадному голове» грамоту, в виду челобитья туляп «всем городом» о пожаловании вновь выстроенному в Туле монастырю мельницы.[2] То же самое можно сказать и относительно Суздальского уезда, соседнего с Муромом, который был подчинен А. Щелкалову; в 1585 г. суздальским приказным людям П. Ф. Колычеву и Аф. Радкову, в связи с жалобами Покровского женского монастыря, был отправлен указ, чтобы они «берегли, чтоб монастырских крестьян нихто не обидел и в монастырские вотчины наши посланники нихто не въезжал; а хто учнет монастырские вотчины обидит[и] и монастырским крестьяном продажи учнут делати, и вы б о том отписывали к нам па Москву в приказ дияка нашего Ондрея Щелкалова».[3]

Этими данными приходится ограничиться при обзоре сферы ведения «четверти» дьяка А. Я. Щелкалова, не выходя из намеченных хронологических рамок «опричного времени» и пределов позволительных допущений. Этими же сведениями приходится закончить и вообще наблюдения над «четвертями», действовавшими в «земской» половине государства Московского на протяжении 1565—1584 гг. Следует, однако, остановиться на разборе еще двух известий о четвертях, намеренно оставленных нами в стороне.

Первое из указанных известий относится еще к 1558 г. Именно в одном из частных «родословно-местнических сборников» находится

---

[1] А. Введенский. Указ. соч., стр. 100—101.

[2] В. Эйгорн. Список с грамоты ц. Федора Ивановича тульскому осадному голове о пожаловании мельницы тульскому монастырю Иоанна Предтечи 1585 г. января 30 («Чтения общ. ист. и древн. росс.», 1895 г., кн. 2, смесь).

[3] А. Кабанов и И. Катаев. Описание актов, собранных гр. А. С. Уваровым, I, № 59, М., 1905. Суздаль был забран в опричнину еще в 1565 г., но в 1570-х годах, по всей видимости, был возвращен в «земское», и туда посылались указы «земского» «вел. кн. всея Руси» Симеона Бекбулатовича. Тем, что он в это время ведался, возможно, четью А. Я. Щелкалова, не объясняются ли отчасти и упоминаемые нами выше грамоты за подписью К. Горина и Андр. Щелкалова? Обе грамоты направлены к удовлетворению интересов Спасо-Евфимьевского Суздальского монастыря.

следующее указание: «*Род Языковых.* 7059 году Низовец Языков был на псарне в пеших псарях при ловчем при Михайле Степанове сыне Кляпик-Еропкине в охоте у охотника псарного у Федки Усова, а сын его Низовцев 7066 году в Нижегородцкой четверти был в подьячих, а имя ему было Федка Низовцев сын Языков, и ныне судное дело доводное князь Ивана Белевского со князем Данилом Золотым в Посольском приказе цело, ветхо, за его приправою — «у подьячего у имрека».[1] Второе известие помещено в подобном же сборнике, но в другой редакции: «*Род Савиных.* Измайло Савин был во дьяцех, сидел в Галицкой чети меньше дьяка Тереха Лихачева 84 году».[2]

Прежде всего следует заметить, что подобные «родословно-местнические сборники» — источник в высшей степени мутный; составляемые служилыми людьми для «утягивания» своих соперников по местничеству, они включали в себя самые разнообразные кляузы, легенды и рассказы, опорачивавшие чужой «род» и «повышавшие» род и местническое достоинство их собирателя, составителя и владельца. Один из таких «сборников», записавший и оба указанных известия о четвертях, в настоящее время опубликован;[3] он поздний по своему происхождению (конца XVII в.) и очень недостоверен и подозрителен по приводимым там данным.

Затем, по поводу первого известия (о Нижегородской чети в 1558 г.) вполне определенно можно утверждать, что в нем мы имеем такое же смещение «Нижегородского и Мещерского дворца» с соединенною впоследствии с ним «четью» дьяка Андрея Щелкалова, которое сделал даже дьяк, сидевший в этих приказах, и которое более чем допустимо было сделать много лет спустя кому-либо из московских служилых людей, стремившихся укорить своих «местников» Языковых незавидною службою их предка. Дело шло, конечно, о «Нижегородском дворце», в котором, очень возможно, служил Федька Языков в качестве подьячего. Характерно, что и документ («доводное дело» между двумя служилыми князьями), на который, как на доказательство правдивости своих известий, ссылается составитель «сборника», хранился в XVII в. в Посольском приказе; последним одно время, в 1570-х годах, вместе с «Казанским, Нижегородским и Мещерским дворцом» ведал как раз Андрей Щелкалов. Наконец и по содержанию своему это «дело» не могло решаться в четверти, так как касалось, повидимому, какого-то происшествия уголовного характера между двумя служилыми людьми.

Другое известие (о «Галицкой чети» в 1575/76 г.) так же сомнительно. Не говоря уже о том, что упомянутый там Измайло Савин вовсе не известен в документах как дьяк, служивший в каком-либо из приказов, и относительно дьяка Терентия («Тереха») Григорьева с. Лихачева приведены свидетельства явно недостоверные. В эти годы он был занят дипломатической службой (переговорами с шведскими уполномоченными на р. Сестре), сидел много лет в Пушкарском приказе и ходил в походы в качестве артиллерийского чиновника.[4]

Таким образом, оба указанных известия не могут быть приняты, как основанные на недостоверных позднейших преданиях.

---

[1] Н. Лихачев. Разрядные дьяки XVI в., стр. 273—274, примеч.

[2] Там же, стр. 147, примеч. 1.

[3] Ю. Татищевым в «Летописи историко-родословного общества в Москве», в. II—III, 1910.

[4] О Тер. Гр. Лихачеве см. у Н. Лихачева. Разрядные дьяки XVI в., стр. 146—147; также «Сб. русск. ист. общ.», CXXIX, по указателю. Н. Лихачев, однако, принимает без оговорок показание приведенного им источника, не давая никаких соображений о его достоверности.

* * *

Пытаясь подвести некоторые общие итоги сделанному обзору истории четвертей за время наиболее бурного периода царствования Грозного, необходимо признать прежде всего, что обзор этот охватывает только одну сторону деятельности четей. Не сохранились документы, позволяющие обрисовать роль хотя бы одной вполне определенной четверти, как учреждения, обслуживающего тот класс, жизненные интересы которого вызвали образование этих приказов, т. е. московских феодалов — «служилых людей» разных чинов и рангов.

Из документов вполне возможно подобрать достаточное количество свидетельств о раздаче «четвертного жалованья», наблюдать, как простой мелкий «сынчишко боярский», «емлющий жалованье с городом», постепенно вырастает в «четвертчика», проследить тончайшие детали этого процесса, но все такие изыскания остаются вне истории учреждений, являясь только материалом для истории самого служилого класса. Как четверть расходовала свой бюджет, как подбирала она своих «четвертчиков», как все это отражалось на «черных» людях — остается неизвестным. История четей представляется поневоле однобокой. Зато не должно быть сомнений, что всю историю их, как органов, собирающих определенные доходы с населения, необходимо рассматривать в зависимости от общих условий, от потребностей «текущего момента», которые испытывала московская государственность как в своем «опричном», так и в «земском» проявлении.

Выросшие из специальных органов контроля над местным управлением, четверти стали очень важными, финансовыми по преимуществу, учреждениями. «Государев удел» оценил выдающуюся роль главной статьи бюджета четей, «кормленого окупа», и сделал именно его основой своего бюджета.

К отправлению обязанностей начальников четей в опричнине подбирались испытанные приказные дельцы, способные сурово и беспощадно проводить финансовую политику. В опричной чети, распространившей сферу своего ведения на всю территорию опричнины, постепенно стали собираться все опричные доходы — как важнейшие прямые налоги, так и косвенные, и мелкие местные сборы. Только сборы Большого Прихода («ямские, приметные, за городовое дело деньги» и т. д.) некоторое время еще шли в этот «общеземский» приказ. В начале 1570-х годов, в связи с переломом в жизни «государева удела» и превращением его из «опричнины» во «двор государев», единая опричная четверть 60-х годов была разделена на две, причем зависимость их от опричного казначея была уничтожена.

Все большее и большее напряжение всех сил страны в борьбе за Ливонию и жестокий экономический кризис второй половины XVI в. повели к тому, что в «опричнине»-«дворе» была проведена сначала концентрация четвертей в руках одного лица, Андрея Арцыбашева, а затем ему поручено было и ведание важнейшим общеземским финансовым приказом — «Большим Приходом». В этом случае все основные доходы обеих половин Московского государства — и «удельной» и «земской» — сосредоточивались в непосредственном заведывании опытного финансового работника — для изыскания и упорядочения средств к дальнейшему ведению изнурительных военных действий, последних попыток вернуть потерянное в борьбе за Ливонию.

«Земские» чети (может быть, в известной степени в виду чрезвычайно малого количества сохранившихся документальных данных) рисуются учреждениями значительно более скромными по своему значению, чем чети в «уделе государеве». Они более сохранили

характер старых областных-центральных касс, выросших из ведомств «кормленых» дьяков. Сведения о них сохранились уже только от 1570-х годов, да и деятельность их, как территориальных приказов, поневоле должна была быть сокращена очень сильно, после того как огромная часть государства попала в «государев удел», а за «земщиной» оставались преимущественно окраинные места и сильная чересполосица в центральных уездах (не говоря уже о том, что на этой территории действовали и другие территориальные приказы, ранее четей и иным путем образовавшиеся, но в известной степени им аналогичные и параллельные).

Однако и земские и опричные чети одинаково носят в себе признаки, развившиеся из ведомств «кормленых» дьяков: судят и рядят неслужилое население своих областей, дают ему льготные и тарханные грамоты, собирают с него «кормленый окуп» и мелкие местные оброки и дани и предоставляют ему в оброчное держание разные угодья и земли. Наконец можно думать, что и кадастровое описание, — хотя абсолютно затрудняемся сказать, в какой степени, — также находилось в ведении и руках четвертных дьяков.

Смерть Грозного и ликвидация его удельного «двора» повлекли радикальную смену бюрократического аппарата. Ряд лиц, как, например, А. Арцыбашев, хотя бы временно принужден был сойти со сцены. Братья Щелкаловы, наоборот, заняли место главных приказных воротил в соединенных вновь частях государства. «Большой Приход» отошел от сосуществования своего с «Дворовым четвертным приказом» и опять стал вполне самостоятельным учреждением. «Дворовая четь» не сохранилась целиком; она вместе с «земскими» четвертями была заново перекроена. Этот неустойчивый характер областной организации четвертей держался в течение всего конца XVI в., и только в начале XVII столетия чети более или менее прочно отливаются в территориальные же приказы, носящие названия уже не по именам своих начальников-дьяков, а — правда условно — по областям, им подчиненным. Принцип личного «приказа» отдельным дьякам известных территориальных комплексов постепенно исчез.

С. В. БАХРУШИН

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ ТОРГОВЫХ ЛЮДЕЙ В СИБИРИ В XVII ВЕКЕ

Русская торговля в Сибири в XVII в. еще не вполне утратила тот неприкрытый разбойничий характер, который типичен для ранней стадии торгового обмена. На ряду с другими формами эксплоатации колониальных народов одной из выгодных форм капиталовложения оставалось участие в военных предприятиях из доли добычи.

В этом отношении показателен следующий документ, относящийся к 1645 г.

Якутский служилый человек Яков Данилов, собираясь «итти на государеву службу в браты», взял «лошадь жеребца ворона, а с ним взял арчак, да потник, да узда, да попона» у илимского посадского человека Ив. Буторки на время похода: «а ходя на службу, та лошадь беречь накрепко, на аркане и на привязи не удавить и никуда ее не потерять, а как бог сносит на службу здраво, и ему, Ивану, лошадь взять назад с арчаком и с потником, и с уздою, и с попоною». За пользование лошадью служилый человек обязывался поделиться с предпринимателем добычей: «а что бог даст, ходя на службу, по государьскому счастью скота и ясырю и иного какого живота, и тот живот, — скот и ясырь, — доприводить мне, Якову, до него, хозяина, и, идучи до Ленского волоку, тот скот и ясырь беречь накрепко и своим небрежением скота и ясырю не распустить и, пришед на Ленской волок, тот живот, что ни даст бог, поделити с хозяином пополам, ему, хозяину, половину, и мне, Якову, половину ж». При этом оговаривалось: «а будет ту лошадь на службе сильная рука отобьют братские люди на драке, на войне», то Ивану Буторке «за ту лошадь цены не спрашивать на нем, Якове». Но рискуя своим добром, предприниматель хотел гарантировать себе известную прибыль неустойкой в случае неудачи предприятия по вине Якова Данилова: «А буде я, Яков, — писал последний, — хозяина службу своим небрежением лошадь охромею или безвестно утеряю, и на мне Якове за ту лошадь 25 рублев, а что скота или ясырю своим небрежением распущу, и за тот скот и ясырь платить цена, чем люди сторонные обсудят». Обязательства Якова Данилова были скреплены особой «записью» за подписью «площадного дьячка», и когда Яков «пришел с государевы службы», но ни коня по записи не отдал Ивану Буторке, ни «что ему бог дал на погроме скота и ясырю и живота» не привел к нему и с ним не стал делить, то Буторка возбудил против него иск.[1] Общий характер сделки близок к «покруте»: предприниматель-«хозяин» ссужает промышленным инвентарем человека, отправляющегося в данном случае на военный промысел под условием участия

[1] ГАФКЭ, Дела Якутского правления, вязка 3, ст. 5А.

в добыче исполу; со своей стороны заемщик дает на себя долговую запись и обязывается неустойкой.[1]

Такова самая простая форма участия в военном предприятии путем ссуды снаряжения служилому человеку под долю в добыче. Многочисленные челобитные служилых людей, в которых они жалуются, что на «государевы службы» они подымаются «должаючись великими долгами», свидетельствуют о том, что такая практика имела широкое применение. За спиной ратного человека, шедшего на грабеж «немирных землиц», стоял, как общее правило, торговый человек — ростовщик, снабжавший его всем необходимым для похода.

Но крупные торговые люди не ограничивались сравнительно скромной долей в военном грабеже. В течение XVII в. на частные средства было организовано несколько больших экспедиций, преследовавших одновременно и промышленные и военные цели: ловлю соболей и поиски рыбьего зуба, с одной стороны, и захват ясыря и всякой добычи — с другой.

Наиболее грандиозной экспедицией такого рода является поход Ярофея Хабарова.

Крестьянин Воложенской волости Устюжского уезда Ярофейко Павлов Хабаров Святитский, подобно многим своим соотечественникам, был привлечен в Сибирь расчетами на быстрое обогащение на соболиных промыслах. В 1628 г. он с братом Микифором Павловым пробрался в далекую Мангазею, а оттуда, в качестве целовальника при ясачном сборщике, еще дальше — в Пясицу; его брат «крутил» на Енисейском волоку шесть человек казанских татар, с которыми он и Ярофей, по словам их недоброжелателей, «промыслом добыли 8 сороков».[2] В 1630 г. Хабаров вернулся на Русь, но уже года через два он снова забрел в Сибирь, на этот раз на реку Лену, и осел здесь окончательно, покинув на родине «без приюта» жену Василиску с внуком и племянницей.[3] Здесь, на притоке Лены — Куте, «на диком месте, где и русские люди мало бывали», он завел соляную варницу, и пашни многие распахал, и мельницы устроил и всякие заводы завел «своим пожичишком».[4] В январе 1641 г. Хабаров был

---

[1] Еще любопытнее отношения, в которые стал в 1647 г. прикащик торгового человека Тихона Колупаева, Андрей Кирилов, к казацкой банде Ивашка Реткина, разбойничавшей на нижнем течении реки Лены. Застигнув его с 11 покрученниками «на низу по Лене реке в Жиганех на рыбных ватагах на Тобольском песку», казаки забрали у него коч со всею снастью, хлебные и промышленные запасы, пищали, порох и свинец и охотничьих собак. Сам Андр. Кирилов присоединился к их шайке, «взяли-де вы, казаки, у меня коч,— учал он им говорить,— возьмите-де и меня с собою», на что те согласились. Это не был случай простого грабежа. «Воровские казаки» выдали прикащику Колупаева «записку», которая составлена была у официального представителя власти на месте — у целовальника Кирилка Коткина, с обязательством выплатить за все взятое у него соболями: «и ему де в этом животе и платятся, — как показывал впоследствии один из них, — ... а запас де те беглые казаки у прикащика его (Колупаева) съели, а товары де его держат на всякую свою издержку и с иноземцами на новых реках торгуют, а прикащику де ево платят казаки за тот живот собольми». Итак, это тоже своеобразная форма помещения капитала, правда не совсем добровольная (ГАФКЭ, Сиб. прик., ст. 364; Дела Якутск. правл., вязка 3, ст. 8А; ср. ДАИ, III, № 56). Аналогичное явление представляет дело о разграблении в 1649 г. беглыми служилыми людьми имущества торговых людей, зарытого в ямах на Хромой реке. Вынутые запасы поделили «войском» на 24 пая, причем один пай, по обычаю промышленников, был выделен «Николе-чудотворцу» (Николин пай), а сети держали «войском» для ловли рыбы «собча». С владельцами рассчитались «по чести»,—«а что де казаком доставалось на пай, и в тех де паях всем войском давали... по 14 соболей за пай, а в тех соболях давали на себя кабалы». При выплате бралась «отпись», т. е. расписка (Дела Якутск. правл., в. 3, ст. 8А). Тут мы опять имеем дело, в конечном итоге, с принужденной формой ссуды под условием расплаты пушниной.

[2] ГАФКЭ, Приказные дела старых лет, 1630 г., №№ 71, 79.

[3] Сиб. прик., ст. 381.

[4] Там же; ДАИ, II, № 92.

челом о разрешении ему завести пашню на новом месте, на устье Киренги, причем отказывался от обычной в таких случаях правительственной субсидии.[1] Хозяйство Хабаров вел в широком масштабе, обрабатывая заимку силами наемных работников, имел лошадей, на которых пахал, а также занимался извозом на Ленском волоку; у него был прикащик Мих. Дм. Пивов, который в 1645 г. строил мельницу и нанимал работников.[2] Он скоро сделался одним из самых крупных хлеботорговцев в Якутском уезде: так, в 1641 г. он в Олекминском остроге дал взаймы торговому человеку Ивану Сверчкову 600 пуд. муки, а в следующем году запродал в Якутском остроге разным торговым людям 300 пудов; первый якутский воевода П. П. Головин взял у него на «государев обиход» целых 3000 пуд. хлеба.[3] Одновременно он производил и другие торговые операции: в 1639 г., например, у одного служилого человека в Якутске находился на хранении целый склад чрезвычайно ценного в Сибири товара — 57½ дюжин карт, принадлежавших Хабарову.[4] Скопленные деньги он пускал в рост, пользуясь общим безденежьем в Сибири: мы знаем случай, когда якутский служилый человек Еналей Бахтеяров «скупил» от него его должника Ивана Бутору, заплатив за него два коня и «досталь» деньгами.[5] Большие средства, собранные энергичным и жадным устюжским мужиком, создавали ему почетное положение на его новой родине: он пишется «торговым человеком»; в мирской общине на Ленском волоку он — первое лицо, и имя его ставится на первом месте в официальных документах.

Таким образом в лице Хабарова мы имеем яркого представителя торговой буржуазии XVII в., направившей свои усилия на эксплоатацию колоний, неразборчивой в средствах наживы, хищной и упорной.

В 1648 г. для предприимчивости Хабарова открылись новые перспективы. Слухи о богатствах вновь открытой Даурской земли уже привлекали в Приамурье жадных до добычи искателей приключений. Хабаров торопится первым использовать выгоды, которые представлял еще не затронутый царским завоеванием край, и с этой целью решает привлечь к делу вновь назначенного в Якутск воеводу Дмитрия Андреевича Францбекова. Он поспешил выехать навстречу к воеводе и в марте 1649 г. на Олекме подал ему челобитную, «а в челобитье своем написал, что ему, Ярке, итти по Олекме реке вверх на Шилку реку... с служилыми и с охочими промышленными людьми, без твоего государева жалования».[6]

Экспедицию, задуманную им, Хабаров снаряжал всецело за свой счет, «без государева жалованья». Он обязывался набрать 150 «охочих» людей, «и он де им на 150 человек на ссуду учнет давать хлебные и всякие запасы и суды и судовые снасти».[7] По словам Францбекова, участников похода «деньгами и хлебными запасы, и суды и ружьем, и зельем и свинцом ссужал и давал он, Ярко, сам».[8] «А ратным, государь, людем,—заявлял впоследствии Хабаров,— на корм и на платье, и на обувь на три годы всем деньги свои давал, а за то я, холоп твой, ничем не пожалован».[9] По его

[1] ДАИ, II, № 92; Сиб. Приказ, ст. 344; Дела Якутского правления, вязка 1, ст. 8.
[2] Дела Якут. правл., вязка 3, ст. 3А, л. 294; ДАИ, II, № 92.
[3] Сиб. прик., ст. 344; Дела Якут. правл., вязка 1, ст. 8.
[4] Дела Якут. правл., вязка 1, ст. 8.
[5] Там же, вязка 3, ст. 3А, л. 358.
[6] Сиб. прик., ст. 338, 339.
[7] Там же, ст. 389.
[8] ДАИ, III, № 72.
[9] Сиб. прик., ст. 344, л. 79.

словам, в 1649 г. «подъем» 70 ратных людей «стал (ему) $3\frac{1}{2}$ тысячи»; в следующем году он опять «вольных людей прибрал 117 человек»; на этот раз воевода отпустил с ним и служилых людей, но всего только 21 человек, «и тех я людей, — говорит Хабаров, — подымал своими же деньгами, и тот мне подъем для государевы службы стал в 4000 руб.». Таким образом, в первые два года он за свой счет снарядил 187 человек и израсходовал на их подъем, если верить ему, $7\frac{1}{2}$ тысяч рублей, сумму очень большую по тому времени.[1] Предметы снаряжения: «государев наряд» (пушки, свинец, порох, пищали, куяки), «железную рухлядь» (котлы и косы, серпы, сошники, уклад и железо кришное для устройства поселений), сукна Хабаров взял из казны, но с обязательством вернуть по окончании похода стоимость всего забранного. Поэтому он имел право все это называть «своим, а не... государевой казной»: «взял де яз из государевы казны, только де по обценке в долг... ходит то де я купил ту государеву казну», — неоднократно заявлял он.[2] Когда к нему обращались с упреками его товарищи, то он говорил им «таковы речи»: «что де вам, мужики, дело до государевы казны? Хотя де яз и продаю государеву казну, взял де государеву казну ту в Якутском остроге из государевы казны у воеводы Д. А. Францбекова да у дьяка у Осипа Степанова, только де по обценке в долг... словет де то купил... А вы де мне не указывайте и не бейте челом. А подите де вы, куды хотите, вам де что будет от государя какое жалованье, а у меня де писано к государю моими подъемами, а вы де на моих подъемах».[3]

По существу отношения между Хабаровым и прибранными им «охочими», «вольными» людьми соответствуют обычным отношениям предпринимателя и покручеников, нанимавшихся на соболиные промыслы. Эти отношения сводились к тому, что покрученик получал от хозяина «ужину», т. е. охотничью снасть, платье и продовольствие, и обязывался промышлять на него соболей из доли (обычно из трети) добычи.[4] В челобитных, подававшихся на Хабарова, его «полчаны» поэтому обыкновенно назывались его «покручениками». «Покручеников он, Ярко, *крутил*», — говорят про него торговые люди.[5] «Он, Ярко, — пишет в своей челобитной гость Василий Федотов, —... *крутил* покручеников итти в Даюры на Шилку реку». То же пишет про него и его «подкрутных людей» другой торговый человек Андрей Осколков.[6] Лалетин Матюшка Ворыпаев, сын которого подвергся нападению хабаровских ратных людей, бил челом «на устюжанина Яр. Павл. Хабарова... и на подкручеников его»,[7] в том числе на емчанина Ивашка Посохова, которого позднее мы встречаем в качестве «войскового подъячего».[8]

Наконец, в показаниях, данных товарищами Хабарова на следствии, они тоже выделяли из общей массы войска большую группу его «покручеников». Так, по словам того же Посохова, Хабаров, задумав устроить пашню на устье Урки реки, послал туда хлебные запасы «с наимными своими людьми», а «для селидбенного строения» «из войска прошал людей... да своих 20 человек покручеников посылал

[1] Сиб. прик., ст. 344, л. 70.
[2] Там же, л. 3.
[3] Там же, ст. 411.
[4] См. мою статью «Покрута на соболиных промыслах в XVII в.» в журнале «Труд в России», 1925 г. № 1.
[5] Сиб. прик., ст. 411.
[6] Там же, ст. 389.
[7] Там же, ст. 344, л. 74.
[8] Там же, ст. 460, л. 55.

туды же».[1] Из приведенных данных видно, что в глазах современников «прибор» Хабаровым вольных охочих людей отождествлялся с обычной «покрутой» — наймом ватаги па промыслы.

Наем этот скреплялся договором; по крайней мере, Вас. Федотов пишет, что участники экспедиции пошли с Хабаровым «по их договору». Если верить тому же Федотову, то в основе договора лежали обычные при покруте условия дележа добычи между предпринимателем и покручениками: Хабаров, по его словам, «подрядил с собою итти на соболиные промыслы из воли промышленных людей пополам и из трети». С своей стороны Хабаров снабжал их, как мы видели, «ужиною», всем необходимым инвентарем и продовольствием, тратил собственные деньги «на корм, и на платье, и на обувь» ратным людям и снабжал их оружием (пищалями, куяками, порохом, свинцом) и другими предметами, необходимыми в походе, например, котлами; он же доставлял средства передвижения, суда со снастями.[2]

Когда у Хабарова начались недоразумения с некоторыми из участников экспедиции, он «учал... грозить»: «вы де у меня съели запас на Тугире и на Урке и на всякой де пуд вы де мне заплатите по 10 рублев», и хотел править с них запасы «правежем немерным».[3] Договор был заключен на три года: первых 70 человек он, по его словам, «на три годы поднял своими животами»; в одной из своих челобитных он опять говорит, что «на три годы» снабжал ратных людей деньгами на корм, платье и обувь.[4] Взамен Хабаров считал себя в праве рассчитывать на львиную часть добычи. Когда его войско выразило было намерение осесть в одном из завоеванных городков, он стал говорить ратным людям: «мне де долги свои где взять, а вам де, тут живучи, долги мои платить?», а молодым людям, должникам своим, говорил про содомский блуд: «разве де вам тем долги мои платить?»[5]

Кроме покручеников в экспедиции Яр. Хабарова принимали участие и некоторые охочие люди на собственных своих подъемах. К числу их принадлежали, вероятно, и те служилые люди, которые с разрешения администрации вступили в ее состав. «А мы, государь, холопы твои.., — заявляли они, — многие на своих подъемах, а не на Ярофеевых, служили мы, холопы твои, тебе, государю, своими головами, с воды и с травы. А он, Ярофей, наши подъемы и нашу службу прихвалил к себе в подъемы и пишет к тебе, государю, ложно».[6]

Положение этих охочих служилых людей, поднявшихся на собственных подъемах, соответствует вполне положению своеужинников, примкнувших к промышленной ватаге. Их так и называет Матюшка Колыпаев в своей челобитной, жалуясь не только па Ярофеевых покручеников, но и «на своеужинников, которые с ним (Ярофеем) и племянником его пошли с Ленского волоку и которые своеужинники приставали к нему на Олекме».[7] Некоторые из этих своеужинников, совершенно так же, как и па соболиных промыслах, шли с собственными покручениками. К числу таких относится «новой Даурской земли охочий приборный служилый человек» Дружинка Вас. Попов. Простой промышленный человек, уроженец Соли Выче-

[1] Там же.
[2] Там же, ст. 344, л. 69; ст. 460.
[3] Там же, ст. 460, л. 13.
[4] Там же, ст. 344, лл. 69—70.
[5] Там же, ст. 460, лл. 28—29.
[6] Там же, л. 13.
[7] Там же, ст. 344, л. 74.

годской, он в 1649 г. ходил в Енисейск в наемщиках у устюжанина торгового человека Павла Фотиева Бизимова и в Якутск прибыл без товара; здесь он взял в долг у воеводы Д. А. Францбекова 600 рублей и на эти деньги снарядил девять покрученников для похода вместе с Хабаровым. «По моему, холопа твоего, челобитью, — говорит он сам в челобитной, поданной в 1651 г., — ходил я, холоп твой, на твою государеву службу в новую Даурскую землю с приказным человеком с Ярофеем Хабаровым своими девятью человеки, на своих проторах, должаючись великими долгами, хлебными запасы и оружьем, и порохом, и свинцом, и всякими служилыми заводы... И, будучи на тех твоих государевых службах, я, холоп твой, на боях в куяке и в шишаке и в наручнях, и бились мы, холопи твои, с даурскими людьми съемным боем с утра и до вечера».[1]

В 1652 г. все войско Яр. Хабарова состояло из 900 человек, из них 200 служилых и 700 «охочих», т. е. хабаровских покрученников и своеужинников.

Вся рать Хабарова составляла своеобразную военную артель — «войско», жившее на чисто казацких товарищеских началах. Награбленную добычу «дуванили» (делили) между собою по-товарищески. Военнопленных распродавало войско же: так, человек Францбекова Онашка Арасланов «купил из войска» пленную даурскую девку; самому Ярофею «продали из войска» дючерского парня, которого взяли казаки на погроме на Шингале реке.[2] Весь внутренний распорядок устанавливался самим войском: оно распределяло службы, и без его санкции нельзя было никого никуда назначить. Всякий раз, как предстояла новая служба, Хабаров должен был «прошать из войска людей». Когда Хабаров объявил служилым людям и вольным охочим казакам «государеву службу на гиляцких мужиков», то, по Ярофееву приказу, «жеребьи метали по пяти человек с десятка».[3] Но войско могло и отказать в исполнении требований приказного человека. Так, служилые люди его «не послушали и людей из войска и покрученников ему его не дали для селидбенного поселенья», когда он задумал завести пашню на Урке.[4] Никакого ответственного шага Хабаров не мог сделать «без войскового совету»: не мог, например, отпустить на волю аманата.[5] Его официальная переписка находилась под контролем войска. Когда он писал к государю из Албазина, «и тех отписок всем войском прошали у него, чтоб дал прочесть», и горько жаловались, когда «он тех отписок прочесть не дал, а писал своим умышленьем»; «что он писал, того они ничего не ведают».[6]

Снаряжая за свой счет «войско» для покорения Даур, Хабаров, не имевший наличных денег, нуждался в кредите. Кредит этот он нашел у воеводы Францбекова, который в сущности финансировал все предприятие. Дьяк Петр Стенщин писал со слов одного служилого человека, «что де он, Дмитрей, у себя на дворе при многих людех говорил такие речи, что Даурская служба стала ему недешево в Ярафейкове подъеме Хабарова, и что он с ним служилых и промышленных людей поднимал своими деньгами, пищали им и платье покупал и запасы свои ссужал, и животы де все он свои истерял; и стала де ему Даурская служба в 30000 руб. слишком,

[1] Сиб. прик., ст. 338.
[2] Там же, ст. 344.
[3] Там же, ст. 460, л. 19.
[4] Там же, л. 55.
[5] Там же, л. 7.
[6] Там же, л. 51.

в том числе за одним Яр. Хабаровым с 7000 рублев». «А послал, государь, он, Дмитрей, того Ярофейка в Даурскую землю, — пишет тот же П. Стеншин, — дав ему, Ярофейку, своих денег 2900 руб., и в том его Ярофейковой запасной для смертного часу духовной изустной памяти он, Дмитрей, велел отцу своему духовному Якутского острогу троецкому черному попу Перфирью и белому попу Стефану и руки свои приложить, и та его, Ярофейкова, духовная у него, Дмитрея».[1] Эти сведения подтвердились при обыске, произведенном у Францбекова его преемником по должности Ив. Павл. Акинфьевым в 1651 г. Среди найденных у него многочисленных кабал оказалась кабала «новой Даурской земли на приказного человека Яр. Хабарова займов у Вас. Нефедьева (лицо, очевидно, подставное) в 1363 руб. 25а. 2д.», кроме того, кабалы самого Хабарова на различных лиц на сумму 210 рублей, оставленные тоже, вероятно, в обеспеченье долга, и, наконец, упомянутая «запасная» духовная Хабарова.

Д. А. Францбеков кредитовал не одного Хабарова. За Друж. Вас. Поповым его денег было 600 рублей, которые он дал ему взаймы «в те же поры для той же Даурской службы». При обыске были найдены кабалы и на Попова: в 300 рублей Ивана Андр. Францбекова, брата воеводы, находившегося в Москве, и в 37 рублей того же Вас. Нефедьева. Раздавал Францбеков ссуды и отдельным служилым и промышленным людям, участвовавшим в походе: «а на иных по 100 и по 50 и по 40 рублев и по 30, а меньши того кому он в ссуду давал 30 рублев, в дачах не бывало». В уплату долга служилых людей он, по словам его недоброжелателей, забирал их жалованье: «а которых служилых отпущал... и он у них оклады их твое государево денежное и хлебное жалованье все себе емлет, а им дает, покупая, пищали и свинец и зелья и платье, в том на них сверх окладов емлет кабалы, и в те кабалы сверх займов треть денег невзятых, вместо росту, лишку прописывает; кому даст 10 руб., а кабалу на него напишет в 15 руб., а кому даст 20 руб., а кабалу напишет в 30 руб., а кому даст больши, и те кабалы пишет по тому же росчету, и с теми де он приписными деньгами тое даурскую службу причитает в 30000 руб. слишком».[2] Сам Хабаров пишет, что Францбеков «тех служилых людей, которые были со мною в полку на твоей государеве службе, многих ссужал».[3] Всего при обыске найдено было у него 64 кабалы на общую сумму 6763 руб. 15а. 4д., считая кабалы Хабарова и Попова.[4]

Это участие деньгами в чужом предприятии было, конечно, не бескорыстное. Недаром в Москве торговые люди обвиняли Францбекова в том, что он отпустил Хабарова «для своей бездельной корысти, из доли, что будет с ним поделиться».[5] Об этой доле, которой воспользовался воевода, дают представление результаты произведенного у него обыска, при котором было конфисковано 19 сороков 16 соболей, 2 сорока 30 пупков собольих, 41 лисица (в том числе шесть чернобурых) и иная менее ценная мягкая рухлядь, всего на 2123 р. 8а. 2д. и деньгами 3855 р. 28а., не считая кабал, которых, как сказано, было на 6763 руб. с лишком. Всего, сле-

[1] Там же, ст. 338.
[2] Там же.
[3] Там же, ст. 344.
[4] Там же, ст. 338.
[5] Там же, ст. 344.

довательно, благоприобретенные воеводою пожитки оценивались в очень большую по тому времени сумму — 12 742 рубля с копейками.[1]

Рискуя большими средствами, Францбеков был заинтересован в том, чтобы не выпускать из поля зрения своих должников. При экспедиции состоял его представитель, соблюдавший его выгоды, Анашка Арасланов, «для выбору его, Дмитрея Андреевича, ссудных денег на служилых людях». Он занимался и другими операциями: так, он купил «из войска» даурскую девку Ненгучи, очевидно, для своего патрона. Во время похода он пропал без вести, и на руках Хабарова осталось, «что животов его по выбору на служилых людях».[2]

Через посредство Францбекова Хабаров получил также очень большую ссуду из казны предметами снаряжения: пушки, пищали, порох, свинец, куяки, сукна, котлы, серпы, косы и уклад. Францбеков же снабдил Хабарова за счет казны хлебными запасами, для чего даже реквизировал хлеб у торговых людей. У Ивана Осколкова и у прикащика гостя Вас. Федотова, Сем. Нерадовского, он взял в 1649 г. 900 пудов хлеба, реквизицию эту повторил и в следующем году и, наконец, «в третий ряд» взял 400 пудов. Часть этих запасов он и отдал Хабарову, который крутил на те хлебные запасы покрученников итти в Дауры. Для нужд экспедиции Францбеков также поотнимал «сильно» у торговых людей суда и судовые снасти и отдал их Хабарову «под тех людей, которые с ним, Ярком, пошли по их договору».[3]

Наконец, Францбеков в 1650 г. придал всей этой частно-промышленной экспедиции характер государственного предприятия, а самому Хабарову создал официальное положение «приказного человека». «И воевода Дмитрей и дьяк Осип, — писал дьяк Петр Стеншин, — по твоему государеву указу дали ему наказную память и в той наказной памяти без твоего государева указу написали ему, Ярофейку, целым именем с «вичем» — Ярофею Павловичу, и посольскую речь из своего наказу, как он, Дмитрей, по указу блаженные памяти отца твоего государева... с Москвы посылан был в немцы в Стекольну, и в той посылке речи писаны ему, Ярофейку, как ему к даурским князцом послов посылать и речь от тебя, государя, говорить, без твоего ж государева указу». Напоминая далее, что Хабаров по своему социальному положению простой пашенный крестьянин, Стеншин язвительно замечает: «и твоя государева пашня, а не токмо, государь, что ему такая твоя государева даурская служба и посольская речь за обычай, нигде тот Ярофейко на твоей государеве на службе преж сего в посольстве не бывал, и ничего, опричь пашни, тот Ярофейко не знает».[4]

Враги Хабарова были правы. Несмотря на покровительство, которое ему оказывал якутский воевода, несмотря на звание «приказного человека» и на «наказную память» с «посольскою речью», экспедиция, снаряженная по его личной инициативе и на средства, взятые им взаймы, носила определенный характер частного предприятия. Организуя поход в Дауры, Хабаров, как справедливо утверждали его недоброжелатели, «государеву делу не радел, радел своим нажиткам, шубам собольим».[5] Недаром служилые люди, присматриваясь к аферам своего предводителя, говорили ему: «государеву казну продаешь и от того себе, приказный человек Ярофей Хабаров, корысть

[1] Соб. прик., ст. 344.
[2] Там же.
[3] Там же, ст. 389.
[4] Там же, ст. 338.
[5] Там же, ст. 460, л. 6.

получаешь великую».[1] Ни для кого не было тайной, что и воевода Дмитрий Андреевич «послал... того Ярофейка Павлова в Даурскую землю не для государевы службы, для своей бездельной корысти и нажитку».[2]

В первую очередь при снаряжении экспедиции имелись в виду соболиные промыслы. Вас. Федотов прямо пишет, что Хабаров покручеников крутил «на соболиные промыслы». Товарищи по походу обвиняли его даже в том, что он радеет исключительно «соболиному промыслу». На Алдане он отбил у Андр. Матв. Ворыпаева двенадцать покручеников, «и те, государь, покрученики промышляли в том году на него, Ярофия, и промысел у него, Ярофия, был на всякую ужину по 2 сорока по 4 соболя с пупки и с хвосты».[3] На ряду с посылкой на промыслы покручеников Хабаров приобретал пушнину, скупая ее у коренных жителей — «добрые соболи и лисицы обводом у иноземцев покупал».[4]

Другим источником наживы для Хабарова была продажа участникам похода забранных из казны в долг предметов снаряжения, а тем из них, которые предполагали поселиться во вновь захваченных странах, — предметов обзаведенья. Он «учал продавать пищали и порох, и свинец, и сукна, и котлы, и серпы, и косы, все продавать дорогою ценою, пищаль да 2 фунта свинцу, да котел фунта в 4 по 60 рублев и по 70 и больши», «косу по 2 рубли, а серп по рублю». Его обвиняли даже в злостной спекуляции. Заняв покинутый жителями городок князца Банбулая, он стал устраивать здесь часть своей рати на постоянное поселенье, тем более, что в окрестностях городка имелись поля с несжатым хлебом, брошенные коренными жителями при бегстве. Хабаров уже «жеребий метал, и по жеребью изволил господь бог тут в Банбулаеве городе жить, и он, Ярофей, учал продавать косы и серпы государевы дорогою ценою». «А мы, холопи твои государевы, — заявляли впоследствии его товарищи, — покупали косы и серпы, потому что хотели с поля хлеб жать (посеянный даурцами), а тебе, государю, служить и поселиться постоянство сделать; а он, Ярофей, продавал косы и серпы не для поселенья, а продавал он, Ярофей, для ради торгу, корысти своей. И жил он, Ярофей, в Банбулаеве городе три недели, и как распродал косы и серпы, и захотел плыть на низ, и августа 25 день поплыл на низ, а место покинул пусто».[5]

Крупный доход приносила Хабарову продажа вина участникам экспедиции: «он, Ярофей, почал в та поры пива и вина курить и вино продавать в чарки, а пиво в ведра служилым людям и охочим казакам дорогою ценою и в напойных деньгах кабалы имал, и от того продажного питья его, Ярофеева, в конец задолжали».[6]

Но главным источником дохода являлась военная добыча и основной целью экспедиции был грабеж. Он начался еще с мирных ясачных людей: на устье Олекмы «государевых якутов грабили, и из пищалей по них стреляли».[7] Широкий простор открылся для грабителей на Амуре: беспощадно жгли «жительники» даурских людей, их самих рубили «в пень», а жен и детей имали в плен и увозили с собою. После «погрома» делили добычу: Ярофей приказывал «жен и

---

[1] Там же, л. 12.
[2] Там же, ст. 338.
[3] Там же, ст. 344, л. 75.
[4] Там же, ст. 460, л. 22.
[5] Там же, лл. 3, 6, 5.
[6] Там же, л. 5.
[7] Там же, ст. 338.

детей и шубы собольи подуванить». Много пленных Хабаров присвоил себе; его обвиняли в том, что он даже аманатов и языков «взял к себе на двор», а иных роздал «советникам своим» и заставил «толочь и молоть солод».[1] При дележе добычи он скупал (а может быть брал даром за долги) у своих служилых людей доставшийся им полон: так, казак Микифор Ермолаев продал ему взятого на погроме на реке Шингале дючерского парня; другого парня, взятого на том же погроме, ему продали «из войска»; наконец он у служилых же людей купил даурскую девку.[2]

Грабежу подвергалось не одно коренное население; не было пощады и русским промышленникам, когда они попадались на пути. На Олекме пограбили товары, хлебные запасы и всякие «заводы» у покручеников солевычегодца Павла Бизимова и его товарища Петра Савельева. На Алдане Хабаров у Андр. Матв. Ворыпаева не только взял силою покручеников, но и пограбил в его зимовье хлебные запасы, русские товары и промышленное снаряжение на 1460 рублей с лишком, а самого Андрюшку бил на смерть и хотел «посадить в воду». У прикащика и покручеников Вас. Федотова он поотнимал «сильно» хлебные запасы, пищали, порох, свинец, судовые снасти и одного из покручеников взял «сильно» в «вожи» на Шилку.[3]

Это был чисто разбойничий набег: нигде не задерживаясь, плыли вперед за новой добычей, сжигая городки даурских князцов и собственные временные становища. Когда товарищи советовали Хабарову укрепиться в городке князца Толги, «потому что хлебом и ясаком промышлять тут было можно, место то стало середь земли, и город крепок», он цинично отвечал: «мне де долги где взять, а вам, тут живучи, долги мои платить?.. нажитку нам тут не будет!». «И, седчи де в дощаник, — рассказывали впоследствии его полчане, — поплыл на низ, а мы де, служилые люди, поневоле, заплакав, поплыли за ним же... А на поплаве он, Ярко, и город Толгин зажег, и тот де город сгорел».[4]

В этом грабительском набеге Хабаров неожиданно столкнулся с другой такой же шайкой, преследовавшей те же цели грабежа и добычи. Часть собственной его рати — 130 человек с Стенькою Вас. Поляковым и Костькою Ивановым во главе — понахватали несколько гиляцких князцов в аманаты и «середи Гиляцкой земле» поставили острожок с башнями, «и тарасы зарубили и хрящем засыпали для иноземского приступу», и стали собирать ясак с окрестных жителей. Когда подплыл сам Ярофей, он сразу стал во враждебные отношения к своим бывшим сотоварищам, называл их «ворами» и хотел их грабить, так что те, «видя его, Ярофеево, озорничество», жили в своем острожке «с береженьем». Хабаров, с своей стороны, неподалеку от острожка поставил зимовье «в одну улицу» и приступил к блокаде неприятеля. Когда с моря приехали к городку гиляки с ясаком, Ярофей послал к ним ясаула Вас. Панфилова с толмачом и велел им говорить: «что де вы, мужики, идете к ворам и ясак даете, мы де их побьем, воров, и ваших де князьков (аманатов) повесим», и отогнал их. Через несколько дней приехали дючеры с ясаком в сорок одном струге; он опять послал их уговаривать: «к ворам де вы не ездите и под аманаты ясаку не давайте!» Затем он приступил к военным действиям: учинил раскаты, на раскаты

[1] Сиб. прик., ст. 460, лл. 4, 5, 10.
[2] Там же, ст. 344.
[3] Там же, ст. 338, 344 (л. 75), 389.
[4] Там же, ст. 460, лл. 28—29.

вкатил пушки и велел стрелять из них и из мелкого оружия по острогу, грозясь «подуванить» «статки» осажденных. Когда бомбардировка, продолжавшаяся «с раннего обеда до вечера», оказалась безрезультатной, он стал готовиться к приступу и учал «щиты делать». Осажденные, «по совету промежу собою», сдались. Хабаров приказал острог сломать и «сожечь кузнецам на уголье и на дрова».[1]

Таким образом экспедиция Хабарова преследовала прежде всего обогащение предпринимателя. Вложив в поход крупные денежные средства, Ярофей Павлов торопился вернуть с лихвою произведенные им затраты и «радел», говоря словами его недоброжелателей, исключительно «своему нажитку».

Частный характер похода в Дауры не укрылся от глаз современников. Когда Францбеков стал реквизировать хлеб у торговых людей и снабжать им экспедицию, в которой он был лично заинтересован, потерпевшие резко запротестовали. Вас. Федотов жаловался, что воевода злоупотребляет своей властью и субсидирует из казенных средств частное предприятие: взял у него хлебные запасы «будто на тобя, государя», и отдал Яр. Хабарову, который на те хлебные запасы крутит покрученников. О том же бил челом и другой торговый человек Андр. Осколков.[2]

Экспедиция Хабарова не является единственным примером такого рода большого предприятия государственного значения, организованного частным лицом и на частные средства.

В 1651 г. промышленный человек Юшко Селиверстов подал тому же Францбекову челобитную, в которой сообщал об открытиях, совершенных им в 1649 г.: «был он на море, и есть де в то море выпали реки многие: Чюхча река, да Ковыма река, а за Ковымою рекою есть четыре реки Нонандара (Анадырь) да Чондон (Пенжина). А люди по тем рекам живут многие, а языки разные — чюхчи, ходынцы, коряки, няняулы (анаулы) и иные роды и языки многие. И те иноземцы тебе, государю, наперед сего (ясаку) не плачивали». Селиверстов и брался «с охочими промышленными людьми» привести все эти народы «под государьскую руку» и сулил ежегодно собирать с них по 5 пудов рыбьей кости «вместо ясачного соболиного сбора», а впоследствии и мягкую рухлядь. Францбеков и ему разрешил «прибрать» в Якутске «охочих промышленных людей», каковых он «прибрал» четырнадцать человек. Так как хлебных запасов в государевой казне оказалось мало, то Францбеков дал ему хлеб из собственных своих запасов и «ссужал» его деньгами «на подъем». Наконец, он дал ему государев коч со снастью, и экспедиция выехала 20 июля 1651 г. Таким образом и это предприятие финансировалось в значительной степени воеводой и было оборудовано «на Дмитреевых проторах Францбекова». При обыске у него на дворе было впоследствии найдено кабал на Селиверстова на очень большую сумму. Ссуда Селиверстову из казны, «что с ним пошло судов и судовых снастей к иноземцам то государево жалованье и хлебных запасов», определялась в 3674 р. 26 а., и в 1658 г. новые воеводы, М. Лодыженский и Ф. Тонково, стали взыскивать с него эти деньги как долг казне. Селиверстов этот долг признал и в счет его внес 51 пуд 12 грив. рыбьей кости и 28 соболей и 27 пупков: взято было также у него «собинного его сбору» 17 пуд. 8 грив. кости, всего на 2281 р. 18 а. $4\frac{1}{2}$ д. Кость эта была добычей, привезенной Селиверстовым с моря. Таким образом мы имеем дело

[1] Там же, лл. 14—15, 19.
[2] Там же, ст. 389.

с промышленным предприятием, где в качестве предпринимателей выступают совместно частное лицо и казна. Казна ссужает «в отдачу» своего прикащика необходимым снаряженьем: хлебными запасами, деньгами, товарами и судном; Селиверстов с своей стороны имеет в виду «кликати охочих людей и их ссужать», иначе говоря, нанимает покручеников для сбора рыбьей кости. Присоединяются к нему и своеужинники, вроде Артемья Осипова, который писал, что он «на... государеву службу с Кавыми реки с ним Юрьем подымался и займовал... с великою приписью в заемные кабалы», и «учинился... (ему) тот подъем ста по полутора рублей и больши». Все эти «охочие люди», которых Селиверстов собрал «итить морем и кость промышлять», фигурируют в документах в качестве его «полчан».

Добыча делилась между казною и промышленником, в пользу которого идет кость «собинного сбору»; в казну должно было поступать около $^2/_3$ добычи, а промышленнику — $^1/_3$, обычная доля при расчете промышленников с предпринимателем. Лодыженский и Тонково, однако, не разобрались в этой своеобразной форме отношений и подвели обязательства Селиверстова к казне под понятие простого долга.

В основе экспедиция «охочего человека» Селиверстова преследовала две цели: она отправлялась не только «для ради кости рыбьего моржего зубу к морю на Анадырь реку», но и «для прииску новых землиц и для прииску ж неясачных иноземцев». Один из участников экспедиции, названный выше Артемий Осипов, хорошо определил эту двойственную цель экспедиции, когда хвалился в своей челобитной: «И пришед, государь, я с ним, Юрьем, на Анадыр реку и к морю ходил с товарищи и твою государеву явленую прибыль, что он, Юрье, явил у моря на корге кость, промышляли своими промыслишками и работишкою... и ту, государь, явленую прибыль — кость, рыбей зуб, 50 пуд у моря на корге добыли и к тебе, государю, в казну положили». И дальше он сообщал, что после отъезда Юрия Селиверстова он на Анадыре взял аманатов — четырех ходынских мужиков и трех анаульских. Таким образом и тут промышленные цели соединялись с военно-разбойничьими.[1]

К тому же приблизительно периоду относится еще одна крупная промышленная экспедиция, приобревшая большую известность своими открытиями. В 1646 г. партия промышленных людей с мезенцем Исаем Игнатьевым во главе проехала с Колымы на восток и вступила в торг с чукчами, обменивая свои товары на рыбий зуб. По слухам о выгодах, которые сулила такая торговля, на следующий год снарядил экспедицию прикащик торгового человека гостиной сотни Алексея Усова — Федот Алексеев Попов холмогорец, причем к ней с разрешения колымского прикащика присоединился служилый человек Семен Дежнев. В июне 1647 г. четыре коча вышли из устья Колымы в море, но начавшаяся буря заставила их вернуться. Неудача не остановила предприимчивого Федота Алексеева. На следующий год он снарядил в сообществе с другими торговыми людьми новую экспедицию в еще более обширных размерах: на шести кочах ехало девяносто промышленных людей. В партию вошли прикащики уже известного нам гостя Василья Федотова — Безсон Астафьев и Афанасий Андреев — со своими покручениками. Как и в предшествующем году, к экспедиции был прикомандирован Семен Дежнев. К сожалению, нам не известны основания, на которых организовалась

[1] Сиб. прик., ст. 534, 1567, л. 214; Колониальная политика Московского государства в Якутии XVII в., «Сборн. арх. мат»., №№ 21, 47, 115, Л., 1935.

эта экспедиция, и мы можем только предполагать, что они мало чем отличались от описанных выше.

Промышленно-военные экспедиции организовали за свой счет и служилые люди, выступавшие в таком случае как крупные предприниматели. Так, казачий десятник Михаил Стадухин с Посником Ивановым с товарищи, всего пятнадцать человек, в 1633 г. били челом о разрешении итти на Вилюй для прииску неясачных туземцев, «из прибыли во сте соболях», т. е. с тем, чтобы поставить в казну 2½ сорока соболей; все остальное должно было итти в пользу участников предприятия. Экспедиция увенчалась успехом: на Вилюе был захвачен аманат калтаульского рода и с него было взято 3 сорока соболей. В 1641 г. тот же Стадухин собрал ясак с мемельских тунгусов на Оемоконе. Затем он на коче плавал по Индигирке и морем до Колымы и взял у юкагиров трех аманатов, а в последующие годы с Анадыра «зимою перешел с товарыщи своими на лыжах с нартами нос на Пенжину... и с той реки перешел... на Изигу (Гижигу) реку... а с тое Изиги реки пришел... в судне на Дирянду реку (Товуй)», где поимал в аманаты трех тунгусов и, наконец, добрался до Охотского острога. Экспедиция продолжалась двенадцать лет, причем Стадухин не только не пользовался государевым жалованьем — хлебным и денежным, но еще пускал в оборот собственные средства. На Оемокон он поднимался «на своих лошадях, и те лошади покупал». «И подъем стал мне, холопу твоему, — писал он в челобитной на имя царя, — рублев в 60». «На государеву дальнюю службу в новое место» он ссужал промышленных людей «своим животом, оружьем и свинцом и порохом», «и те промышленные люди за тот мой подъем, — говорил он, — платили мне, холопу твоему, собольми четыре сорока». Таким образом и тут мы имеем все черты частного предприятия, преследовавшего «нажиток» предпринимателя-ростовщика, и Стадухин горько жаловался впоследствии, что якутский воевода В. Н. Пушкин лишил его плодов его операций, отобрав в казну полученных им соболей.[1]

Пример военно-промышленных предприятий наглядно показывает место торгового капитала в деле феодального захвата Сибири. Торговый капитал нередко предварял наступление служилых людей и расчищал им дорогу в «немирные землицы», но методы завоевания им территории и эксплоатации населения принципиально ничем не отличались от тех, которые применялись военными агентами феодально-крепостнического государства. Эта роль торгового капитала определяется уже в XVI в. Можно с уверенностью сказать, что такой же характер военно-промышленной экспедиции носил поход Ермака. Организованный «из своих пожитков» Строгановыми, снабдившими участников «мздою и одеянием ратным», «оружием воинским и запасы многими», он преследовал в первую очередь доход предпринимателя, чьим «промыслом и подмогою» он совершался, вместе с тем подготовляя к феодально-военному захвату колоний.

---

[1] Там же, ст. 1567, лл. 204—206.

С. К. БОГОЯВЛЕНСКИЙ

ХОВАНЩИНА

События 1682 г. неоднократно привлекали внимание исследователей и были предметом изучения со стороны М. П. Погодина, Н. Г. Устрялова, Н. Я. Аристова, Е. Белова, А. Н. Штрауха и др.[1] Но ход событий далеко не выяснен, и разно оценивается роль отдельных их участников как в Москве, так и далеко за ее пределами. Все упомянутые историки использовали один и тот же материал, напечатанный в различных изданиях, материал, который дает много сведений о драматических происшествиях начала и конца волнений, но очень скуп относительно середины их. Настоящая работа вызвана стремлением связать разорванные части и в то же время пересмотреть использованный материал, так как толкование его приводило исследователей к различным выводам. Достаточно сравнить концепции М. П. Погодина, видевшего во всех событиях направляющую руку царевны Софьи, и Н. Я. Аристова, задавшегося целью опровергнуть подобный взгляд.

Опубликованные по интересующему нас вопросу материалы многочисленны и на первый взгляд вполне надежны как свидетельства современников, однако пользоваться ими без надлежащей критической оценки никак нельзя. По важности сообщаемых сведений, по полноте их и по наибольшей надежности на первом месте надо поставить труд Сильвестра Медведева: «Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве».[2] Автор пережил время стрелецких волнений, был очевидцем многих событий, записал свои впечатления вскоре после самых событий и подкрепил свой рассказ рядом официальных документов, вставленных в текст рассказа. Но он сторонник царевны Софьи, и это сказывается не столько в том, о чем он говорит, сколько в том, о чем он умалчивает.

Рассказ другого современника событий 1682 г., А. А. Матвеева,[3] отражает симпатии автора в другом направлении: он сторонник Петра и Нарышкиных, сам сильно пострадал во время волнений, и ждать от него беспристрастной оценки событий не приходится. Кроме того, он был очевидцем событий лишь в течение нескольких дней, а затем ему пришлось скрываться в глухих закоулках Москвы и за Москвой, переодевшись в крестьянское платье. Свои записки Матвеев писал не под свежим впечатлением пережитых событий, а много лет спустя: он, между прочим, упоминает о

---

[1] М. Погодин. Семнадцать первых лет в жизни имп. Петра Вел., М., 1875; Н. Устрялов. История царствования Петра Вел., I, СПб., 1858; Н. Аристов. Московские смуты в правление царевны Софьи Алексеевны, Варшава, 1871; Е. Белов. Московские смуты в конце XVII в. («Журнал мин. нар. просв.», 1887, № 1 — 2). А. Штраух. Стрелецкий бунт 1682 г., М., 1928.

[2] Цитируем по изданию Общ. истории и древностей российских с предисловием и примечаниями А. Прозоровского.

[3] Собрание разных записок, изд. Ф. Туманским, ч. I, 1785 г.

кончине сестры Петра Натальи, последовавшей 18 июня 1716 г., т. е. через 34 года после описываемых им событий. Он дает неточные даты и перепутывает события двух стрелецких восстаний.

Большую ценность имеет донесение датского резидента в Москве Бутенанта фон Розенбуша,[1] дающее яркую картину положения дел во второй день волнений, когда Розенбушу пришлось быть невольным свидетелем того, что происходило внутри Кремля. В правдивости донесения нет никаких оснований сомневаться. К сожалению, донесений Розенбуша после 16 мая не имеется. «Diariusz zaboystwa tyranskiego senatorow moskiewskich w stolicy roku 1683»[2] имеет меньшую ценность: автора не было в Москве во время майских событий, и он составил свою записку приблизительно через год после событий по рассказам очевидцев; он сильно путает даты, и его записка носит явные следы обработки с применением литературных приемов.

Напечатанные С. М. Соловьевым отрывки разрядных записей представляют собой основной материал, которым пользовались исследователи, вполне ему доверяя. Однако можно указать на одну фразу, которая заставляет предполагать, что эти записи составлялись не по мере развертывания событий, а значительно позже. Под 4 мая перечисляются участники дневаний во дворце и в Архангельском соборе у гроба царя Федора, а затем прибавлено: «а в те дневанья во всю шесть недель переменялись у постели великого государя те-ж спальники»; следовательно, записи составлены не раньше половины июня, по крайней мере в той части, которая воспроизводила майские события.[3] Возможно, что именно несвоевременная запись событий была причиной отдельных неточностей, о которых будет сказано в своем месте. Сильвестр Медведев приводит выдержку из записной книги Разрядного приказа,[4] т. е. из официальной разрядной книги, о двоевластии царей и регентстве царевны Софьи. Такой записи нет в опубликованном С. М. Соловьевым списке, но в этом списке имеется ряд бытовых подробностей, которых нет в других списках; поэтому последний надо признать списком частной редакции, что, конечно, снижает его цену. Крайняя безграмотность списка, напечатанного Соловьевым, с полной очевидностью показывает, что он вышел отнюдь не из рук разрядных подьячих, придерживавшихся определенной орфографии.

Беглый обзор главных источников показывает, что все они имеют свои недостатки, и для проверки их показаний надо привлечь новый материал, извлекая его из неизданных документов приказного делопроизводства. Для составления настоящей статьи были просмотрены дела приказов Разрядного, дворцовых, Посольского и соединенных с ним четвертных, а также книги Печатной конторы.

I

Стрелецкое войско отживало свой век. Постоянные войны с западными соседями, далеко ушедшими вперед в области военной техники, требовали от московского войска сложной военной выучки. Между тем

---

[1] Н. Устрялов. Указ. соч., I.

[2] См. Н. Аристов. Указ. соч., стр. 7 и сл.

[3] С. Соловьев. История России с древнейших времен, III, стр. 940—976. В Дополнениях к А. И., т. X, стр. 23 и сл. также напечатан небольшой отрывок разрядной записи, не вполне сходный с публикацией С. М. Соловьева, где имеются дополнения бытового характера, которые можно приписать лицу, бывшему очевидцем майских событий: а) на кн. Черкасском «кафтан изодрали»; б) Ромодановского убили «против Посольского приказа протозаном»; в) 16 мая стрельцы пришли на Постельное крыльцо «с ружьем»; г) Степана доктора «в нищенском образе привели вверх и отдали за караул».

[4] С. Медведев. Указ. соч., стр. 65—67.

стрельцы были столько же воинами, сколько купцами и ремесленниками. Получая от правительства недостаточное содержание, которое к тому же разграблялось головами, т. е. полковниками, стрельцы нуждались в приработке и занимались мелкой торговлей и ремеслами, которые кормили их больше, чем получаемое ими жалованье. Некоторые из рядовых стрельцов накапливали значительные капиталы, брали казенные подряды и приобретали в рядах лавки.[1] Об этом говорит и Матвеев с некоторой долей преувеличения: «Стрельцы всемерно тогда уклонилися в чрезмерные свои купеческие промыслы, покупя себе везде в рядах знатных многочисленные лавки, от чего всемерно обогатились и из прибытков тех своих по неслыханному во всей Европе солдатом такому порядку отменилися из стрельцов в купцы».[2]

В связи с усложнением военной техники от стрельцов стали требовать, чтобы они свой досуг отдавали не ремеслам и торговле, а военным упражнениям. В 1639 г. стрельцов уже учили солдатскому строю, и тульские стрельцы, отданные в науку полковнику Александру Крафорду, заявили свой протест: «Они де искони вечно в солдатском учении не бывали... и им де, будучи в солдатском учении, в конец погибнуть и промыслов своих отбыть».[3] Но обстоятельства складывались неблагоприятно для стрельцов: московские войска переходили на иностранный строй, солдатские, рейтарские и драгунские полки быстро вытесняли иррегулярную дворянскую конницу. Стрельцы оказались бы ненужным пережитком старины, если бы отказались подчиниться требованию времени и остались бы не солдатами, специалистами своего дела, а скорее промышленниками с интересами и привычками мирного труда, от которых им было трудно отказаться. Неопределенность переходного времени не могла не сказаться у стрельцов в их повышенной возбудимости и подозрительности.

При таком положении притеснения и вымогательства полковников были для стрельцов особенно чувствительны и вызывали резкий протест. Полковники присваивали себе часть жалованья стрельцов и заставляли их бесплатно работать на себя. Насколько полковники преуспевали в своем личном обогащении, может показать пример Матвея Кравкова, командовавшего солдатским полком, примкнувшим к восставшим стрельцам. На него был сделан начет в 10 тыс. рублей, сумма по тому времени огромная. Но интересна не эта цифра, так как претензии могут быть сильно преувеличены; более показательна та сумма, которую Кравков собрал в несколько дней. Он давал деньги в долг, между прочим также и Хованским. Собрал ли он долги или имел свободную наличность, но к 4 июня он уплатил 6246 р. 50 к. и после этого продолжал собирать деньги и вносить в счет затребованной суммы. Надо заметить, что у Кравкова еще оставалась в резерве возможность заложить свои вотчины.[4]

При царе Федоре стрельцы дважды подавали жалобы на голов. По первой челобитной произвести расследование было поручено временщику Языкову; по его докладу челобитчики были биты кнутом. Второе выступление стрельцов было более энергично: челобитье было поддержано угрозами или, как сказано в разрядной за-

[1] Москва в прошлом и настоящем, ч. 2, стр. 72—73; А. Штраух. Указ. соч., стр. 16.
[2] А. Матвеев. Указ. соч., стр. 123.
[3] Владимирского стола ст. 39, лл. 174, 210; Московского стола книга 58, л. 22.
[4] Частная переписка кн. П. И. Хованского, его семьи и родственников («Старина и новизна», X, стр. 339, 345—347).

писи, стрельцы хотели «сбунтовать». Это произвело сильное впечатление на правительство, и стрельцам было обещано, что полковник Грибоедов, против которого главным образом было направлено челобитье, будет сослан в Тотьму, и вотчины будут у него конфискованы. Это обещание не было исполнено, и Грибоедов поплатился лишь отставкой от службы. Раздражение против полковников сменилось недоверием к правительству, которое взяло под свое покровительство полковников. Это настроение выразилось в отказе одного полка стрельцов присягнуть царю Петру минуя старшего брата Ивана. К чему стремился этот полк, предпочитал ли он видеть на престоле Ивана, еще менее способного к управлению государством, чем Петр, неизвестно. Надо подчеркнуть, что после требований экономического характера последнее выступление стрельцов носило чисто политический характер. На третий день царствования Петра стрельцы подали челобитную на полковников двенадцати полков, по показанию разрядной записи, и шестнадцати — по свидетельству Медведева (т. е. почти на всех голов находившихся в Москве полков), «в насильствах, налогах и во всяких разорениях». Прежде стрельцы выступали разрозненно, отдельными полками, на этот же раз челобитная исходила ото всех стрельцов, к которым присоединился и солдатский полк, подавший жалобу на своего начальника Кравкова. Положение приняло очень серьезный характер. Правительство, во главе которого стояла царица Наталья Кирилловна, обнаружило сильную растерянность и поспешило дать стрельцам полное удовлетворение: полковники были биты кнутом и батогами и принуждены были выплатить стрельцам огромные суммы без всякой проверки правильности предъявленных претензий.

Защищая свои интересы, стрельцы в то же время находились под влиянием общего настроения недовольства и неуверенности. Непрерывные войны, финансовые эксперименты с введением унифицированной соляной пошлины и медных денег не могли не подорвать общего благосостояния. Недоимки в податях при всей строгости взыскания их, вынудившие даже снижение оклада стрелецкой подати, жалобы представителей всех городов на оскудение и конечное разорение показывают всю серьезность положения.[1]

С другой стороны, XVII век — это век временщиков, управлявших государством не в силу своих талантов, а вследствие личной близости к царю. Все эти Морозовы, Милославские, Языковы преследовали свои личные интересы, произволом, хищениями, интригами, выдвижением близких людей давали тон всему служилому люду. Медведев тонко подметил всеобщее падение политических нравов. «Того же 7190 лета, во время зимнее начаша люди зело, ради неправд и нестерпимых обид, себе стужати и друг на друга глаголати, яко той неправду дест, иный на того, наипаче же на временников и на великих судей и на начальных людей, яко мздоимательством очи себе послепили; яко же пишется: мзда ослепляет очи и премудрых. Тако и тогда всюду не точию в мужех, но в женах словеса от обид и в неполучении правных дел всюду происходили».[2]

Добившись с помощью угроз удовлетворения своих экономических претензий — денежных взысканий с полковников и жестокого их наказания, стрельцы не успокоились на этом, так как могли ожидать возмездия, когда правительство окрепнет. Ожидался приезд из ссылки опытного администратора А. С. Матвеева, который должен был

[1] АИ, V, № 77.
[2] С. Медведев. Указ. соч., стр. 37.

стать ближайшим помощником Натальи Кирилловны в управлении государством. Нарышкины как будто не понимали всей опасности момента. На место удаленных от двора временщиков при царе Федоре — Лихачевых, Языковых — выдвинулась группа новых, родственников царицы — Нарышкиных, не имевших за собою никаких заслуг и никакого опыта в государственных делах. Выше всех был поставлен брат царицы Иван Кириллович Нарышкин, в 23 года получивший сан боярина и оружничего, что не могло не вызвать сильного возмущения во всех кругах, особенно среди стрельцов, немало потерпевших от боярской неправды.

По свидетельству Медведева, среди стрельцов раздражение не только не улеглось, но «наипаче нача огнь гневный в них на начальников, к тому же в прибавку и на иных времянников... горети».[1] Между стрельцами начались совещания о дальнейших действиях. Сторонники активного выступления успешно боролись с более умеренными. Последние группировались преимущественно вокруг Стремянного полка — личной охраны царя. Некоторые из противников активного выступления были убиты. Стрельцы уже не первый раз подавали свой голос при разрешении политических вопросов. В 1648 г. они поддерживали городское движение, а в 1662 г. подавляли его и оставили по себе дурную память. Солдаты полка Кравкова в 1662 г. получили на каждого по 1 рублю денег и по отрезу кумача за то, что «в Москве и в Коломенском к ворам бунтовщикам не приставали».[2] Теперь сторонники активных действий взяли верх, и стрельцы ждали только приезда Матвеева, чтобы сделать его своей первой жертвой.

II

Выступление состоялось 15 мая, в годовщину убиения царевича Димитрия, что вполне соответствовало слуху, пущенному стрельцами, будто Нарышкины убили царевича Ивана. Этому слуху стрельцы конечно не верили; даже убедившись, что царевич жив и здоров, они не остановились перед избиением намеченных жертв.[3] И Матвеев и Розенбуш утверждают, что стрельцы имели список лиц, подлежащих уничтожению, составленный, как говорит Матвеев, при участии Ивана Михайловича Милославского. Разговоры о роли Милославского в этом деле действительно ходили по Москве, что видно из любопытного розыска о подьячем приказа Большой казны Тимошке Назарьеве. Этот подьячий в ночь на 12 апреля 1684 г., назвавшись Михаилом Григорьевичем Нарышкиным, проник в покои царя Петра, чтобы благословить обоих царей, Ивана и Петра, иконами, как указал ему во сне Николай чудотворец, и потребовать, чтобы цари сослали в отдаленные города боярина И. М. Милославского и его единомышленника Шакловитого. На допросе с пыткой Тимошка Милославского «бранил матерно и называл вором, что он бояр побил: сам же де он к стрельцам письма посылал по приказам, да он же стрельцов и посек и в ссылки разослал». Тимошка при этом просил нож, «он де, Тимошка, его зарежет для того, что он хотел в. г. Петра Алексеевича известь».[4] Следствие установило, что подьячий был в ненормальном

[1] С. Медведев. Указ. соч., стр. 51.

[2] К. Базилевич. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве, стр. 106.

[3] По свидетельству Матвеева, стрельцы, направляясь в Кремль, взяли с собой только копья, обрубив длинные древки; следовательно, они заранее решили сбрасывать свои жертвы на копья (А. Матвеев. Указ. соч., стр. 141).

[4] Приказного стола Разрядного приказа ст. 1314.

состоянии, но его слова несомненно отражали ходившие в народе слухи.

Восстание стрельцов, явившееся следствием общего политического положения и нарушения их экономических интересов, в своем развитии до известной степени переплеталось с придворными интригами. Большинство историков повторяют утверждение Матвеева, что в майских событиях 1682 г. видна направляющая рука царевны Софьи, которая подняла стрельцов через посредство главным образом И. М. Милославского, собиравшего заговорщиков в своем доме и дававшего советы, как надо действовать. Между прочим приводилось сообщение того же Матвеева, что после раскрытия заговора Цыклера Петр приказал вырыть из земли тело И. М. Милославского и жестоко над ним надругался. Этот поступок объясняют местью Петра за события 1682 г., но такое объяснение не имеет прочного основания, так как после свержения Софьи Петр не мстил другим руководителям восстания, как например Толстым, Озерову и пр. Ненависть к Милославскому легко объясняется теми притеснениями, какие претерпели Петр и Наталья Кирилловна при царе Федоре, когда фактически правителем государства был И. М. Милославский. Некоторые исследователи, в том числе и С. М. Соловьев, ссылаясь на Diariusz zaboystwa, где приводится речь Софьи, произнесенная ею перед народом при выходе из собора после отпевания царя Федора, утверждают, что Софья прибегала к агитационным обращениям к народу.[1] Едва ли нужно доказывать всю неправдоподобность этого обращения, представляющего обычный для того времени литературный прием — вкладывать в уста действующих лиц вымышленные речи, которые соответствовали бы их образу мыслей и настроению. Матвеев определенно указывает, что первое публичное выступление Софьи было только 17 сентября, когда она потребовала от Натальи Кирилловны выдачи стрельцам Ивана Кирилловича Нарышкина.[2]

Ряд фактов и соображений противоречит тому взгляду, что волнения среди стрельцов были вызваны интригами Софьи. Прежде всего нельзя забывать, что волнения начались еще при царе Федоре, когда Софье они были совершенно не нужны. Далее Матвеев указывает на постельницу Федору Семенову, как на посредницу между Софьей и стрельцами. Об этой Федоре имеется несколько строк в «Созерцании кратком» С. Медведева. Он рассказывает, что 25 мая в Стрелецких приказах появилась Федора Семенова, которая приглашала стрельцов итти во дворец, за что и была арестована. Если бы она была посредницей до этого, то была бы известна стрельцам и не подверглась бы задержанию. Стрельцы не стали бы допытываться, «по чьему научению она те слова говорила».[3] Заметим, что Федора Семенова была постельницей не Софьи, а Марфы Алексеевны.

Тонкий и осторожный политик, И. М. Милославский, решившись на такое рискованное предприятие, как открытое восстание, должен был бы озаботиться обеспечением себе прочного и почетного положения, а между тем переворот принес ему только огорчения. Получив в управление приказы Пушкарский, Рейтарский и Иноземский, он через несколько дней был смещен. Далее имя его упоминается в разрядах очень редко. Вследствие ссоры с Хованским он опасался за свою жизнь, «ездя по подмосковным своим вотчинам, всячески укрываясь как бы подземный крот», как выразился Матвеев.[4]

[1] С. Соловьев. История России, III, стр. 892.
[2] А. Матвеев. Указ. соч., стр. 159.
[3] С. Медведев. Указ. соч., стр. 63.
[4] А. Матвеев. Указ. соч., стр. 182.

Только тогда, когда положение Софьи упрочилось, Милославский появляется при дворе и в июле сопровождает царей в троицком походе.[1]

При составлении списка намеченных жертв Милославский никак не мог бы допустить включение в него лиц, ему близких. Известно, что бояре, стоявшие во главе приказов, подбирали себе в ближайшие помощники угодных им лиц. Близким лицом к Милославскому, его правой рукой, был думный дьяк Аверкий Кириллов: они работали вместе более пяти лет, когда Милославский при царе Федоре был фактическим правителем государства и заведывал одновременно целой группой приказов. Другим помощником Милославского был думный дьяк Григорий Богданов. Оба они попали в проскрипционный список. Пострадал также Петр Абрамович Лопухин, ближайший помощник Милославского по управлению приказами Пушкарским, Рейтарским и Иноземским в 1679—1680 гг.

Руководя восстанием стрельцов, Милославские, надо думать, озаботились бы о том, чтобы Иван был немедленно провозглашен царем и регентство перешло в их руки. Но между избиением Нарышкиных и первым требованием о восстановлении прав Ивана прошло 8 дней, и провозглашение двоевластия прошло не совсем гладко.

Больше указаний имеется на участие в стрелецких волнениях боярина Ивана Андреевича Хованского. Конечно, не он вызвал эти волнения, но он мог содействовать тому, что движение стрельцов приняло политический характер. Как и стрельцы, он ненавидел временщиков. Гордый своим происхождением от Гедимина, он не мог примириться со своим положением боярина не у дел, в то время как мало родовитые Лихачевы, Языковы, а потом Нарышкины завладели влиянием на царя и заняли руководящие места в управлении государством. Открыто выступать против временщиков он не решался, помня, как Алексей Михайлович, защищая Ордина-Нащокина, велел сказать ему, боярину князю Хованскому, потомку великих князей: «Тебя, князь Ивана, взыскал и выбрал на службу великий государь, а то тебя всяк называл дураком, а тебе своею службою возноситься не надобно».[2]

Князь Иван Андреевич сидел без дела, а сына его Петра Ивановича систематически держали вдали от Москвы: то на южной границе, то на Двинском воеводстве. В то же время Хованские испытывали материальную нужду. Старик Иван Андреевич Хованский писал сыну Петру: «А ты живи поопаснее и не сорь напрасно денег». Но сорить было нечем. Насколько плохи были дела Петра Ивановича, видно из письма его к сыну Андрею: «Да писали вы о том ко мне, что у вас хоромы завалились, а построить нечем; а как я поехал, и вы с тех мест хлеб и дрова и сено покупаете. И я то, ей-ей, ведаю в конец про то и без вашего письма. И я хошь и последнее платьишко свое продам и лошадей своих, а к вам денег пришлю с человеком своим с станицею. А нынеча я бога свидетеля поставлю на душу свою, если у меня была одна копейка, и я бы тое на двое рассек, половину бы к вам прислал. Верите ли богу, когда я и стал государю работать, и я над собой такой нужи и бед не видал». Далее, обращаясь к жене, Хованский продолжает: «Князь Андрею вели бить челом патриарху и князь Юрью Алексеевичу (Долгорукову) и Артемон Сергеевичу (Матвееву) без челобитной, так словесно о том, что уж мне доходит на Дону два годы на службе великого государя, а под-

---

[1] Собрание разных записок, изд. Ф. Туманским, VII, стр. 68.

[2] С. Соловьев. История России, III, стр. 62.

моги мне, хлебного жалованья и денежного на другой год не дано, жил так без жалованья. А с челобитной отнюдь бы не бил челом».[1] Письмо это характерно для высокомерного потомка Гедимина: он сидит без денег, семья в нужде, но челобитной подавать не хочет, чтобы не было никакого доказательства, что он унизился до просьбы.

Рассмотрение списка потерпевших в майские дни наводит на мысль, что он составлен не без участия Хованского. За что пострадал кн. Г. Г. Ромодановский? Стрельцы объясняли его убийство неудачей под Чигирином, но за ним числились и крупные заслуги, тогда как постоянными поражениями известен был не кто иной, как кн. И. А. Хованский — suis cladibus notus, по выражению Мейерберга. Но Хованские помнили, что когда в 1668 г. кн. П. И. Хованский отказался быть полковым воеводой с Г. Г. Ромодановским по местническим счетам и отказ этот поддержал его отец, князь Иван Андреевич, то последний был отправлен в тюрьму, а сын выслан в полк с провожатым на простой телеге.[2] Думный дьяк Аверкий Степанович Кириллов также был недругом Хованских. Когда Петр Иванович был воеводой на Двине, то родственник его И. И. Чаадаев убеждал его, чтобы он занимался делами, а не охотой и лошадьми, так как Аверкий Степанович на него негодует: прежде за Двинской землей никогда недоимки не числилось, а теперь небрежением воеводы появилась и недоимка; и «то великий зазор, — передавал Чаадаев слова Кириллова, — что ты наперед свое все выбрал, а государево оставил».[3] Думный дьяк А. Кириллов, посадский человек, осмелившийся сделать строгое внушение родовитому князю Хованскому, был убит 16 мая.

Еще одно замечание. Стрельцы перебили или сослали начальников и дьяков Стрелецкого приказа, но есть серьезные основания думать, что много лет стоявший во главе Стрелецкого приказа кн. Юрий Алексеевич Долгоруков не значился в проскрипционном списке и что показание разрядной записи, будто стрельцы затребовали его выдачи в первую голову, не соответствует действительности. 15 мая стрельцы распределили свои силы в соответствии с разработанным планом, чтобы захватить намеченные жертвы. Большая часть заняла Кремль, а отдельные группы появились и на Никитской, и за Москва-рекой, и в Немецкой слободе. Казалось бы, что старик Долгоруков, бывший последние шесть лет начальником Стрелецкого приказа, еще совсем недавно распорядившийся наказать стрельцов-челобитчиков, должен был быть первой жертвой. Однако стрельцы пришли на двор Долгорукова значительно позже, когда принесли тело убитого ими Мих. Юр. Долгорукова с извинениями, что сгоряча убили его (кстати сказать, Михаил Юрьевич никогда не был начальником Стрелецкого приказа, как вслед за Матвеевым повторяли исследователи). Стрельцы принесли также на двор боярина Салтыкова труп его сына, убитого по недоразумению. Неосторожные слова старика Долгорукова о грядущем возмездии как будто развязали кипевшее против него негодование: он был убит и над трупом его жестоко надругались. Очевидно кто-то до сих пор покровительствовал Долгорукову и сдерживал стрельцов. Это была не Софья, фавориту которой, кн. В. В. Голицыну, писала его мать, что от кн. Юрия Алексеевича «добра не будет».[4] Но у Хованского были основания защищать Долгорукова, своего благодетеля. Вот что писала П. И. Хованскому

[1] Переписка Хованских, стр. 313—314.
[2] Дворцовые разряды за 1668 г.
[3] Переписка Хованских, стр. 371.
[4] Временник Общ. ист. и древн. росс., XII, стр. 34.

его жена в 1678 г.: «Пожалуй, государь Петр Иванович, изволь к нам ехать, не мешкав. А пожаловал о тебе заступил у государя и сделал то, что тебе к Москве быть, батька наш милосердый отец князь Юрье Алексеевич. А батюшку князь Иван Андреевичу пошел сего-ж числа указ, велено к Москве быть все его-ж заступлением. Пожалуй, отец мой, не изволь мешкать ни зачем, изволь все покинуть. Ей, нам вера не имеется, что очи твои видеть». [1]

В грамоте, разосланной из Саввинского монастыря по всем городам о сборе дворянского ополчения, Софья определенно указывает на Хованского как на подстрекателя волнений, вошедшего в соглашение со стрельцами тотчас же после смерти царя Федора. [2] То же самое должен был говорить в Польше посланный туда И. И. Чаадаев, родственник и друг семейства Хованских. [3] Полковник Иван Полтев, у которого стрельцы еще до 15 мая выбили на правеже 2300 рублей, в челобитной, поданной после смерти Хованского, пишет, что правеж производился «по науски князь Ивана Хованского». [4] Diariusz zabovstwa» также говорит о подстрекательстве со стороны Хованского. [5]

Приведенные подробности необходимы для того, чтобы понять, почему Хованский с самого начала волнений оказался в роли руководителя стрельцов, получил в управление Стрелецкий приказ и фактически отстранил от управления Наталью Кирилловну. До 1682 г. он имел такое же отдаленное отношение к стрельцам, как и всякий полковой воевода, имевший под своей командой и дворян, и рейтар, и стрельцов. По приказной службе (он шесть лет управлял Ямским приказом) он мало сталкивался со стрельцами. В последний свой поход в 1678 г. Хованский командовал Новгородским разрядом, к которому были присоединены новгородские и псковские стрельцы, и именно они сохраняли полное спокойствие во время волнений.

Ход событий можно представить так. Хованский злобствовал против временщиков — Матвеева, Языкова, Нарышкиных. Когда стрельцы выступили с жалобою на полковников, Хованский тайно подстрекал их, указывая на пристрастие Языкова при разборе справедливых жалоб стрельцов. Вероятно от него и пошел слух о том, что Иван Нарышкин примерял корону. Будучи допущен «в комнату», Хованский явился источником рассказов о дворцовых делах. Постепенно втягиваясь в заговор, Хованский не сумел рассчитать свои силы. Как на войне он бросался в атаку на неприятеля, не сопоставив своих сил с неприятельскими, и терпел поэтому поражения, так и теперь он начал борьбу с временщиками, не подумав о последствиях и не имея определенного плана действий.

Возвратимся к проскрипционному списку, о котором говорят Матвеев и Розенбуш. Выше уже указывалось, что список намеченных стрельцами лиц, данный в разрядной записи, не может быть признан правильным в отношении Ю. А. Долгорукова. Неправилен он и в отношении М. Ю. Долгорукова, так как он был убит лишь потому, что раздражил стрельцов своим начальническим тоном. Это утверждает и Розенбуш. [6] Выделив из списка погибших Долгоруковых, Ромодановского и Салтыкова, остальных можно разделить на две категории: 1) лица, признанные врагами государства, временщики, отравители царя Федора, разорители государства — Языков, Матвеев,

[1] Переписка Хованских, стр. 30.
[2] С. Медведев. Указ. соч., стр. 100.
[3] Польские дела 1682 г., № 11/в.
[4] Дворцовый архив, № 20894.
[5] Н. Аристов. Указ. соч., стр. 9.
[6] М. Погодин. Указ. соч., стр. 43.

Нарышкины, немецкие доктора Гаден и Гутменш и др.; 2) враги стрельцов — дьяки Стрелецкого приказа М. Прокофьев, Ларион Иванов, бывший до назначения в Посольский приказ дьяком Стрелецкого приказа, полковники стрелецких полков Дохтуров, Горюшкин и др. Главным лозунгом было истребление бояр — узурпаторов власти. То же самое наблюдалось и в 1648 г., когда стрельцы выступали против временщиков. Как доносил шведский резидент Померенинг королеве Христине, стрельцы заявили, что они «сражаться за бояр против простого народа не хотят, но готовы вместе с ним избавить себя от их, бояр, насилий и неправд, и затем пошли в присутствии его царского величества и стали опустошать и разорять дом Бориса Морозова, находящийся в Кремле».[1]

Избиение неугодных стрельцам людей продолжалось три дня и окончилось казнью Ивана Нарышкина, после чего стрельцы объявили себя удовлетворенными. Они были всесильны и, вымогая у Розенбуша деньги, говорили: «Согласись лучше добром, а то не оставим ни одной живой души; ты знаешь, что теперь наша воля и тебе не причинено никакого зла потому только, что нас все боятся».[2] Все три дня центральный административный аппарат не работал. Что происходило в это время в Кремле, красочно описано Розенбушем. Приведенный 16 мая в Кремль как сообщник доктора Гадена, Розенбуш увидел, что весь Кремль заполнен густой толпой стрельцов, очень возбужденных. Хованский при Розенбуше спрашивал стрельцов, не следует ли отправить Наталью Кирилловну в монастырь, и это было встречено одобрительными криками. Среди стрельцов находились вдова Федора, царица Марфа Матвеевна, и царевна Софья Алексеевна, с согласия которых Хованский распорядился освободить Розенбуша.[3] Роль Хованского понятна в связи с его участием в подготовке восстания. Ясно также положение Марфы Матвеевны: регентство за малолетством Петра должно быть в руках его матери, царицы Натальи, запуганной последними событиями и находившейся под угрозой заточения в монастырь; поэтому для соблюдения хотя бы фикции законности распоряжения исходили от другой вдовствующей царицы. За спиной Марфы Матвеевны, существа совершенно бесцветного и неопытного, стояла царевна Софья, не имевшая никакого права на власть, как одна из многочисленных дочерей Алексея Михайловича, даже не старшая из них. Связанная строгим церемониалом дворца, согласно которому царевнам не дозволялось появляться перед народом, она могла быть известна в тесном кругу придворной знати, бояр, пожалованных «в комнату», в числе которых был и И. А. Хованский, так как ухаживала за больным братом Федором, но в народе и среди стрельцов ее знали только по имени. Недаром Наталья Кирилловна была так шокирована появлением Софьи на похоронах царя Федора, что удалилась из церкви.

III

Надо полагать, что Хованский и Софья составили список начальников приказов, записанный в разрядной книге под 16 или 17 мая, конечно с одобрения стрельцов. Для более удобного обозрения перемен, происходивших в бюрократической верхушке в течение 1682 г., приводим в таблице список судей главнейших приказов.

---

[1] К. Базилевич. Городские восстания в Московском государстве в XVII в., стр. 35.

[2] М. Погодин. Указ. соч., стр. 55; Н. Устрялов. Указ. соч., I, стр. 342—346.

[3] М. Погодин. Указ. соч., стр. 55.

ПРИКАЗНЫЕ СУДЬИ 1682 г. [1]

Названия приказов	Конец правления ц. Федора Алексеевича	При Петре до 15 мая	Состав 17—21 мая [2]	Состав 22 мая — 17 сентября	Назначения 18 сентября — 1 января
Аптекарский	боярин кн. Н. И. Одоевский и б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. Н. И. Одоевский и б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. Н. И. Одоевский и б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. Н. И. Одоевский и б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. Н. И. Одоевский и б. кн. В. Ф. Одоевский
Б. Дворец и Дворцовый судный	б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. В. Ф. Одоевский
Б. Казна и Б. Приход	б. И. М. Милославский	б. И. М. Милославский	*б. кн. Н. И. Одоевский, б. В. С. Волынский, д. дв. А. И. Ржевский*	д. дв. А. И. Ржевский	*б. М. Л. Плещеев*, А. И. Ржевский
Земский	ст. И. А. Поливанов	ст. И. А. Поливанов	*ок. М. П. Головин*	б. М. П. Головин	б. М. П. Головин
Пушкарский, Иноземский, Рейтарский	б. кн. М. Ю. Долгоруков, д. дв. В. А. Змеев	д. дв. В. А. Змеев (до 8 мая)	*б. И. М. Милославский*	*б. кн. Ф. С. Урусов* (с 25 мая), *б. кн. Н. И. Одоевский* (5 июня), *б. М. Л. Плещеев* (11 августа)	б. М. Л. Плещеев (5 ноября), *б. кн. В. В. Голицын* (20 дек.)
Казанский	б. кн. Я. Н. Одоевский	б. кн. Я. Н. Одоевский	б. кн. Я. Н. Одоевский	б. кн. Я. Н. Одоевский	б. кн. Я. Н. Одоевский
Казенный	М. П. Лихачев	М. П. Лихачев	*Д. М. Башмаков* (20 мая)	*С. Ф. Толочанов* (с 20 июня)	С. Ф. Толочанов
Конюшенный	ок. И. Т. Кондырев	ок. И. Т. Кондырев	ок. И. Т. Кондырев	б. И. Т. Кондырев	б. И. Т. Кондырев
Оружейная палата	б. И. М. Языков	б. *И. К. Нарышкин*	—	*б. П. В. Шереметев* (с 21 июня)	б. П. В. Шереметев и ок. А. И. Чириков (с 21 декабря)
Патриаршие	И. Ф. Лызлов	И. Ф. Лызлов	И. Ф. Лызлов	И. Ф. Лызлов	И. Ф. Лызлов
Печатный	Д. М. Башмаков	Д. М. Башмаков	Д. М. Башмаков	Д. М. Башмаков	Д. М. Башмаков
Поместный	ок. кн. И. М. Коркодинов	ок. кн. И. М. Коркодинов	*б. кн. И. Б. Троекуров и д. дв. Б. Ф. Полибин*	б. кн. И. Б. Троекуров и д. дв. Б. Ф. Полибин	б. кн. И. Б. Троекуров и д. дв. Б. Ф. Полибин
Посольский	д. д. Ларион Иванов	д. д. Ларион Иванов	*б. кн. В. В. Голицын*	б. кн. В. В. Голицын	б. кн. В. В. Голицын
Разбойный	—	—	ок. М. С. Пушкин	—	*б. кн. М. Г. Ромодановский*
Разрядный	б. кн. М. Ю. Долгоруков, д. дв. В. А. Змеев, д. д. В. Семенов	б. кн. М. Ю. Долгоруков, д. дв. В. А. Змеев, д. д. В. Семенов	д. д. В. Семенов	д. д. В. Семенов, *д. д. Ф. Шакловитый*	д. д. В. Семенов, д. д. Ф. Шакловитый
Сибирский	ок. И. И. Чаадаев	ок. И. И. Чаадаев	ок. И. И. Чаадаев	ок. И. И. Чаадаев	ок. И. И. Чаадаев, *б. кн. И. Б. Репнин* (с 22 декабря)
Стрелецкий	б. кн. Ю. А. Долгоруков	б. кн. Ю. А. Долгоруков и *ок. кн. Г. А. Козловский*	*б. кн. И. А. Хованский и д. дв. В. А. Змеев*	б. кн. И. А. Хованский, д. дв. В. А. Змеев	д. дв. В. А. Змеев, д. д. *Ф. Шакловитый* (с 10 декабря)
Судный	Д. П. и А. П. Протасьевы	Д. П. и А. П. Протасьевы	*ст. кн. А. И. Хованский, кн. М. и В. Жирового-Засекины*	б. кн. А. И. Хованский, кн. М. и В. Жирового-Засекины	*б. Б. П. Бутурлин, б. А. С. Шеин* (с октября), *П. В. Шереметев* (с 21 декабря)
Хлебный	б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. В. Ф. Одоевский	б. кн. В. Ф. Одоевский
Холопий	Соединен с Судным			*ст. кн. Ф. Ф. Волконский* (с 23 июня)	ок. кн. Ф. Ф. Волконский
Ямской	Соединен со Стрелецким		*ок. И. Ф. Бутурлин*	ок. И. Ф. Бутурлин	ок. И. Ф. Бутурлин

[1] Курсивом обозначены новые назначения.
[2] Назначения указаны в разрядной записи под 17 мая, но тут же перечисляются лица, назначенные на дежурство у гроба царя Федора 16 мая, и потому некоторые исследователи относят назначения к 16 мая.

Несмотря на то, что верховная власть в течение 1682 г. обновлялась два раза (Федор, Петр, двоевластие Ивана и Петра), целый ряд приказов не менял своих руководителей: Аптекарский, Большой Дворец, Дворцовый судный, Казанский, Конюшенный, Патриаршие, Печатный, Сибирский и Хлебный. С вступлением на престол Петра изменение в составе высшей бюрократии свелось к тому, что на посту начальника Оружейной палаты И. К. Нарышкин сменил И. М. Языкова. 17—21 мая состоялись назначения на места убитых приказных судей. На место Долгорукова в Стрелецкий приказ был назначен И. А. Хованский, место Лариона Иванова в Посольском и в соединенных с ним четвертных приказах занял фаворит Софьи кн. В. В. Голицын. Кроме того некоторые из прежних судей были отставлены и на их места назначены новые: кн. Н. И. Одоевский, судья Аптекарского приказа, получил в управление важнейшие финансовые приказы — Большую казну и Большой Приход; вместо кн. Коркодинова в Поместный приказ назначили кн. Троекурова; вместо Протасьевых Судный приказ поручили кн. А. И. Хованскому; Ямской приказ, соединенный прежде со Стрелецким, получил самостоятельность, и во главе его был поставлен И. Ф. Бутурлин; вместо Змиева заведывание Иноземским, Рейтарским и Пушкарским приказами передали И. М. Милославскому, но на этом посту он пробыл только несколько дней и был заменен кн. Ф. С. Урусовым. Если прибавим к этому, что в июне в Оружейную палату был назначен П. В. Шереметев, то должны будем признать, что никогда еще высшая московская бюрократия не имела столь ярко выраженного аристократического характера, не включала в свой состав так много представителей знатнейшего боярства, как после восстания стрельцов, направленного против самовластия бояр.

Стрельцы имели в составе высшего правительства только двух представителей — И. А. и А. И. Хованских, занявших наиболее видные приказы, Стрелецкий и Судный (последний образовался из трех прежних приказов: Владимирского судного, Московского судного и Холопьего). Из-за своего высокомерия Хованские не сумели составить вокруг себя группу преданных им людей. Среди судей мы видим только их родственника И. И. Чаадаева, уже более года заведывавшего Сибирским приказом. Зато среди судей были их враги. Опытный администратор И. М. Милославский, в первые годы правления царя Федора державший в своих руках всю власть, не был удобен ни для Хованского, ни для Софьи, властный характер которой не позволял ей делиться властью даже с близким родственником. После падения Хованских И. М. Милославский жил еще три года, но Софья не допускала его к делам, и имя его в Разрядных книгах встречается только при описании придворных церемоний. Ссора его с Хованским зашла так далеко, что он опасался за свою жизнь. Кн. В. В. Голицын также был соперником и недоброжелателем Хованских. Действуя в согласии с Софьей и от ее имени, Голицын был легальным правителем государства и по мере упрочения власти Софьи мог все более и более противодействовать планам Хованского, на что тот жаловался дьяку Украинцеву. «Досадует на тебя, — писал Украинцев Голицыну, — что ведаешь ты настоящее дело, да не остерегаешь того и не так поступаешь, не опасая здоровья своего».[1] Неприязненные отношения завершились открытой ссорой и дракой, в которой приняли участие люди Голицына и стрельцы. Голицын подал челобитную с жалобой на избиение своих людей и не-

[1] Приказные дела новой разборки, № 949.

правильный разбор дела в Стрелецком приказе Хованским: «Мстя мне недружбу, что у меня с сыном его, с боярином с кн. А. И. Хованским, ссора».[1]

Среди других судей находим рядом с приверженцем Софьи Голицыным бояр, которые, по показаниям Матвеева, принадлежали к числу благожелателей Нарышкиных и содействовали избранию на царство Петра, минуя старшего брата: Одоевских, Троекурова, Урусова, Шереметева[2] и др. Перед лицом общего врага недавние соперники примирились и выделили из своей среды в состав высшей администрации наиболее опытных деятелей. В управлении государством из более видных бояр не принял участия только кн. М. А. Черкасский, личный недруг Голицына.[3]

Приказные дьяки, главные двигатели государственного механизма, остались прежние, за исключением тех, кто пострадал в майские дни. 15 мая приказы действовали нормально, было составлено и подписано обычное количество бумаг; Печатный приказ запечатал даже больше грамот, чем 14 мая. Очевидно утренняя работа приказов приближалась к концу, когда стрельцы вошли в Кремль. Два приказа, соединенные вместе, — Холопий и Судный, были разгромлены и все дела изорваны; впоследствии Судный приказ должен был вести переписку с Разрядом, чтобы восстановить хотя бы список подьячих с их окладами и список городов, ведомых в приказе.[4] Деятельность приказов была быстро восстановлена. 17 мая были назначены начальствующие, 18 мая приступили к работе приказы Печатный, Поместный и Казанский, а в следующие дни — остальные. Более других замешкался Стрелецкий приказ, прежний начальник которого был убит, новый еще не вошел в свою роль, два дьяка сосланы и заменены другими (кстати, впоследствии оказавшимися вовсе не на стороне Хованского), несколько подьячих скрылись.[5]

Чем же занимались приказы по возобновлении своей деятельности? Они стали запечатывать и рассылать грамоты, составленные до 15 мая, как будто ничего не случилось; потом пошли обычные текущие дела. Просматривая списки бумаг, вышедших из недр приказов, можно остановиться только на одной особенности делопроизводства: обилие дел, связанных с удовлетворением стрелецких ходатайств. Такие дела проводились в ускоренном порядке. Для примера приведем даты составления грамоты и ее посылки по назначению: об отказе пустоши кн. Урусову от 30 мая — послана 6 июня; послушная Пушечникову на поместье от 31 мая — послана 7 июня; о взыскании с Калязина монастыря подможных денег стрельцам от 8 июня — послана в тот же день; о взыскании с тверских посадских людей подможных денег стрельцам от 15 июня — послана 16 июня и т. д.[6]

Такое усердие всецело объясняется страхом, внушенным стрельцами дьякам, которые, однако, всегда готовы были помешать планам стрельцов и Хованского, если это не грозило им самим непосредственной опасностью. Конечно не без ведома дьяков распоряжение о ссылке Нарышкиных и других стрелецких недругов выполнялось так медленно, что до самого конца волнений ни один из ссыльных

---

[1] Московского стола ст 639, л. 69.

[2] А. Матвеев. Указ. соч., стр. 117.

[3] «Современник», 1858 г., № 4, стр. 27.

[4] Владимирского стола ст. 188, л. 101; Московского стола ст. 643, л. 144.

[5] Подьячий Петр Исаков показал, что в «смутное время он, Петр, с Москвы ушел для того, что хотели его убить стрельцы» (Следств. дело о Ф. Шакловитом, I, стр. 153).

[6] Печатной конторы книга беспошлинная 63.

не доехал до места ссылки: вместо Яика некоторые оказались в Нижнем или Симбирске, вместо Кольского острога — в Ипатьевском монастыре, в Торжке, в Вологде и т. д.[1] Оценка поместных и вотчинных владений полковника Грибоедова никак не могла быть выполнена, и 21 августа только еще соображали, кого из дворян назначить для этого дела.[2] Многие приказные люди, опасаясь расправы со стороны стрельцов, предпочитали сидеть дома или уехать в деревню. По словам Медведева, «мало не вси и приказные судилища опустеша безлюдством».[3] В Москве трудно было сыскать дворян, которых можно было бы командировать для исполнения различных поручений: описи имущества, сбора доходов, поимки преступников и пр. Для всего периода волнений, при каждом обострении положения характерно одно явление — бегство из Москвы дворянства и приказного люда. Поэтому в самое критическое время Хованский и стрельцы не располагали полноценным административным аппаратом. Дьяки, сидевшие в приказах, как увидим далее, предпочитали слушаться распоряжений начальников приказов, а не Хованского, даже тогда, когда он легально пользовался правом распоряжаться текущими делами.

Итак, восстановление нормальной работы приказов не только не упрочило положения стрельцов и Хованского, но в значительной мере поколебало его: административная машина оказалась не в руках восставших. В первое время это было не так заметно, поскольку страх парализовал всякие попытки противодействовать стрельцам, распоряжавшимся престолом.

IV

По свидетельству Розенбуша, «все три дня, пока продолжался бунт, стрельцы действовали от имени царя Ивана Алексеевича, хотя никого ни о чем не спрашивали и делали все, что хотели».[4] Для Хованского, стремившегося удержать в своих руках власть, не представлялось существенным, кто будет царем, так как оба претендента не могли самостоятельно управлять государством; важнее был вопрос — кто будет регентом. В первое время для Хованского царь Петр был более удобен, так как стоило только отстранить Наталью Кирилловну, и из Нарышкиных не оставалось бы никого, кто мог бы по праву родства с царем претендовать на власть; при царе же Иване на первое место естественно выдвигался И. М. Милославский, соперник очень опасный. Поэтому Хованский предложил стрельцам удалить Наталью Кирилловну в монастырь, и стрельцы, как говорит Розенбуш, кричали во славу царя Петра и царевича Ивана. Далее Розенбуш прибавляет, что стрельцы согласились на то, чтобы царица Наталья осталась при сыне. Тут Розенбуш объединяет два момента, в промежутке между которыми произошло удаление И. М. Милославского. Для Софьи было невыгодно заточение Натальи Кирилловны в монастырь, так как это усиливало позиции Хованского. Хованскому же избрание Ивана представлялось более выгодным, так как участие царевны в управлении казалось или невозможным по придворным традициям, или неопасным; он не мог предвидеть будущей роли Софьи и обращается не к ней одной, а ко всем царевнам.

В дальнейшем стрельцы, руководимые Хованским, и Софья действуют согласно. 28 мая стрельцы поставили вопрос о двоевластии,

---

[1] Приказного стола ст. 1152, л. 123.
[2] Приказные дела старых лет, 1684 г., № 154, д. 910.
[3] С. Медведев. Указ. соч., стр. 58.
[4] М. Погодин. Указ. соч., стр. 48.

и поставили его очень жестко. Они заявили Хованскому, что все полки и «иные многие люди» желают, чтобы были два царя, и грозили новыми волнениями, если их требование не будет исполнено. Думные люди в присутствии стрельцов беспрекословно «согласны учинились». Последовавшее затем собрание всяких чинов, долженствовавшее изображать собою земский собор, прошло не так гладко: «ови глаголаху, что двум царем в едином государстве быти трудно, инии же вещаху, что дело будет полезно государству».[1] Наконец все согласились на двоевластие, и царям были принесены поздравления.

Но собор не разрешил двух существенных вопросов — какой из царей должен считаться старшим и кому должно быть поручено управление государством. Софья завела сношения непосредственно с стрельцами. 25 мая выборные от стрельцов явились во дворец и были приняты царем Иваном, и царевнами; Петра при этом не было. Стрельцы заявили, что в их полки приходила постельница Федора Семенова и говорила, что царь Иван «болезнует о своем государстве да и государыни де царевны о том сетуют». Следовательно, из дворца настраивали стрельцов в пользу царя Ивана и царевен; результатом этого явилось требование стрельцов, чтобы Иван был первым царем, а Петр — вторым. Хотя второй вопрос — кому управлять государством — не был поставлен, но он находился в тесной связи с первым, и царевны бурно выразили свою радость, говоря: «В том де воля божия есть и впредь будет; а они де, выборные, не собою то говорят, но божие о том изволение, и богом они в том наставляеми».[2] Снова был созван собор, согласившийся с требованием стрельцов. Только тогда была принесена присяга обоим царям. Благодарность стрельцам выразилась в том, что велено было их поить и кормить по два полка в день. Следующим актом было вручение регентства царевне Софье, о чем запись в Разрядной книге помещена под 29 мая.[3]

В Разрядной книге под 26 мая записаны два события — наречение царем царевича Ивана и выступление холопства: «Того ж числа били челом великим государем люди боярские разных домов о свободе, чтоб им быть бескабально и воровские составные челобитные подносили. И великие государи указали их ловить стрельцам и приводить и приводя их пытать и казнить, а иных бить кнутом за их воровское составное челобитье».[4] Между указанными двумя событиями очевидно существовала тесная связь. Вопрос о позиции холопов беспокоил стрельцов с самого начала волнений. Вторгшиеся в Кремль стрельцы прежде всего разгромили Судный и Холопий приказы, где хранились документы о холопстве, и объявили всех

---

[1] С. Медведев. Указ. соч., стр. 61.

[2] Там же, стр. 64.

[3] Медведев приводит выписку из Разрядной книги, по которой, принимая власть, Софья приказала ставить ее имя наравне с царскими именами на постановлениях верховной власти. Однако это распоряжение не выполнялось не только во время «хованщины», но и несколько месяцев позже, приблизительно до февраля 1683 г. — См. ДАИ, X, стр. 178. Даже в 1688 г., в период наибольшего могущества, Софья искала более прочного основания, чтобы стать наравне с царями. В этом году афонскому архимандриту Исаии кн. В. В. Голицын наказывал, чтобы он исходатайствовал перед восточными патриархами грамоты, «чтобы царевне Софье царскую корону носить и вкупе с великими государями во всяком правиле поминатися». (Н. Каптерев. Приезд в Москву афонского архимандрита Исаии; «Творения св. отцов», кн. 3, 1889 г).

[4] С. Соловьев. История России, III, стр. 963. Повидимому паникой были охвачены не одни стрельцы; по крайней мере, судя по отсутствию записей в книгах Печатного приказа с 26 по 29 мая включительно, все приказы или некоторые из них не работали.

холопов свободными; впрочем, в тот же день они убили несколько холопов, бывших в Кремле при боярских лошадях. Призыв стрельцов к свободе очевидно показался холопам недостаточно убедительным, и они обратились к царю с челобитьем об уничтожении кабал. Это обращение к власти повлекло за собой пытки и казни. Палачами явились те самые стрельцы, которые так недавно возвестили освобождение холопов от кабальной зависимости; они были подкуплены властью, не мешавшей удовлетворению их требований. Движение холопов, хотя и не приняло широких размеров, все же испугало и правительство и стрельцов, так как холопы, во множестве проживавшие на боярских дворах, представляли реальную грозную силу, которая могла быть направлена и на революционный путь — против власти бояр, под руководством стрельцов, и в противоположную сторону — против стрельцов под руководством бояр. Число холопов в Москве значительно превышало число стрельцов: по расчету самих стрельцов, преувеличенному под влиянием страха, против каждого стрельца можно было выставить 20 холопов. Против такой силы стрельцы могли найти защиту только у боярской власти. Поэтому они охотно взяли на себя роль палачей и недостаточно энергично поддержали Хованского в его стремлении захватить власть в свои руки.

Страх перед холопами, которые после избиения их челобитчиков были настроены враждебно по отношению к стрельцам, становился все сильнее. В разрядной записи читаем: «Июня в 5 день была тревога во всех приказех (полках), а взымали в то число боярских людей, а в приводе они сказали, будто собирались боярские люди в Марьинской роще и хотят рубить стрелецкие приказы, и в тое тревогу была стрельба во всю нощь везде из всякого ружья, и утрея их пытав, казнили за их воровство».[1] Следствием паники явилась подача 6 июня стрельцами челобитной, в которой они просили опубликовать царскую грамоту с похвалой за их майское выступление, направленное против врагов трона и религии. Вместе с тем стрельцы торжественно заявляли, что они с холопами ничего общего не имеют. Стрельцы искали опоры в общественном мнении, не считая себя в безопасности.

Разрозненные силы холопов оказались неопасными, но бояре могли объединить эти силы под своим руководством и отомстить стрельцам за майские события. Большую тревогу вызывали слухи, будто Одоевские собираются вешать стрельцов, будто бывший дьяк Михаил Вешняков, известный под кличкой «Чертовский», и сын его Матвей, бывший стрелецкий полковник, нанимают холопов по 20 человек против каждого стрельца. Слухи оказались ложными, виновные в распространении их были казнены. Напуганные стрельцы поспешили соорудить на Красной площади столп, на котором выставили царскую грамоту, воспроизведенную на металлической доске. «И то, — говорит Медведев, — ради их в то время дерзости все дозволено».[2] Но стрельцами руководила не «дерзость», а панический страх: «И с того числа немногие дни были без стрельбы, а во всех слободах стреляли из ружья».[3]

---

[1] С. Соловьев. История России, III, стр. 963.

[2] С. Медведев. Указ. соч., стр. 67.

[3] С. Соловьев. История России, III, стр. 964. М. Погодин на стр. 31 уже указанной нами книги утверждает, не приводя, однако, никаких обоснований, что хронология разрядной записи перепутана и что слухи о движении холопов надо относить к 5, 13 и 15 июля, а не к июню. Поправку М. Погодина никак нельзя принять, так как показания С. Медведева вполне подтверждают в данном случае хронологию

Боязнь перед боярской силой не помешала стрельцам и Хованскому держать в страхе представителей власти. Первая половина июня была порой высшего могущества Хованского и стрельцов. Когда полковника Кравкова[1] держали на правеже по иску солдат, его жена писала жене П. И. Хованского: «Будь печальница князю Петру Ивановичу, чтобы он, батька наш, отписал к батюшку князю Ивану Андреевичу и брату князю Андрею Ивановичу... а дела все у них в их волю, что они изволят, то и творят».[2] Однако Хованские мало пользовались своим могуществом, и о проявлениях самоуправства с их стороны мы знаем очень немного. Знаем только, что они в некоторых случаях самовольно сменяли городовых воевод[3] и раздавали от царского имени жалованные грамоты, не сообщая в приказы, кому они даны[4] (о взыскании с монастырей и городов подможных денег стрельцам будет сказано ниже); но все это единичные случаи, не говорящие о систематическом характере узурпации власти. После падения Хованских пострадавшие так или иначе от их самоуправства поспешили подать челобитные о восстановлении своих прав; таких челобитных сохранилось очень немного. Нет также указаний, что Хованские вмешивались в общегосударственные дела. В этих делах стрельцы не были заинтересованы и опираться на них было бесполезно — интересы стрельцов были направлены в другую сторону.

Стрельцы начали свое выступление как мстители за притеснения со стороны полковников и продолжали его как защитники трона, почему и присвоили себе название Надворной пехоты. По словам Саввы Романова, выборные стрельцы называли рядовых «дворяне государские», как бы воскрешая время опричнины и противопоставляя себя дворянам земским.[5] Но они опасались возмездия за кровавые события и им предстояло сделать выбор — или ввести военную диктатуру или взять на себя роль защитников угнетенного мира. Для того и другого требовался талантливый вождь, а у стрельцов был только Хованский, которого так нелестно аттестовал Алексей Михайлович. В первом случае надо было иметь дело с вооруженным дворянством и полками иноземного строя, причем дворянство было явно враждебно стрельцам, а сотрудничество иноземцев и руководимых ими полков было весьма проблематично; во втором случае надо было составить широкую программу общественного переустройства и встать на революционный путь.

Стрельцы заняли неопределенную позицию: с одной стороны, они оказывали сильное давление на правительство в тех делах, которые затрагивали их интересы, с другой — выдвинули убогую политическую программу. Большая часть челобитья от 6 июня заполнена изложением нужд самих стрельцов, которые более точно переданы в жалованной грамоте, удовлетворявшей челобитье по всем пунктам. Прежде всего запрещалось называть стрельцов бунтовщиками и изменниками. Далее предлагалось полковое устройство относить на

разрядной записи; с другой стороны, совершенно неправдоподобно, что паника стрельцов совпала с днем прений с раскольниками (5 июля). Погодин был введен в заблуждение не вполне выдержанным хронологически рассказом Медведева.

[1] В 1685 г. Кравков в чине генерала был назначен якутским воеводой (АИ, V, стр. 202).

[2] Переписка Хованских, стр. 415.

[3] Новгородского стола ст. 322, л. 702.

[4] Московского стола ст. № 618.

[5] Летописи русской литературы и древности, V, стр. 147.

государственный счет, запрещалось заставлять работать на начальников, увеличивались подъемные при дальних посылках, отменялись службы на житных дворах по приему хлеба, устанавливалась очередность службы полков и пр. К стрельцам же относилось запрещение «без именного в. г. указу их (надворную пехоту. — *С. Б.*) и никаких людей казнить и в ссылки ссылать и без подлинного розыску наказания чинить», так как оно было связано с запрещением называть стрельцов и примкнувших к ним людей изменниками. Был в грамоте еще один пункт, касавшийся неприкосновенности стрельцов: «Полковником для своих прихотей им, надворной пехоте и солдатом, безвинно никому никакого наказанья не чинить, а винным наказание чинить по розыску с подлинным свидетельством, смотря по вине, кто чего достоин, при пятидесятниках и десятниках, а солдатов при урядниках; а кнутом их, надворные пехоты и солдат, на Москве без в. г. указу из Стрелецкого приказу, и в полкех и в городех без ведома бояр наших и воевод им, полковникам, не бить». Следовательно, полковничий суд и в мелких делах должен был контролироваться младшим командным составом.

Постановления жалованной грамоты общего характера сводятся к трем пунктам.

«1. Которые в Москве в приказех начальные люди, дьяки и подьячие, и им со всяких чинов людей посулов никаких не имать и дела всякие делать и вершить безволокитно.

2. На Москве во всех приказех у нашей в. г. всякой казны и у денежного сбору быти выборным людем у приему и расходу из гостей и из гостинной сотни и из черных сотен изо всех посадских людей; а в городех таможенных и кабацких голов и товарищей их по сборным книгам считать в тех городех; а деньги и счетные списки, что по тем счетным спискам доведется взять недоборных денег, и то все присылать к Москве.

3. Из нашея государевы казны денег и товаров и никакие казны без нашего в. г. именного указу из приказов начальным людем и дьяком и подьячим давать не указали». Вместе с тем стрельцы отказывались от всякого сотрудничества с холопами: «А что ныне бояр и окольничих и думных людей и всего государства домов боярские люди к ним приобщаются в совет, чтобы им быти из домов свободным, а у них с ними, боярскими людьми, ни с кем приобщения и думы нет». Соответственно с этим заявлением стрельцов грамота выставляла перед ними требование: «Ныне и впредь к боярским людем не приставать и в совет их к себе не принимать; а будет и впредь боярские и иных чинов люди в каком воровстве объявятся, а они про то сведают, и им их имать и приводить в Стрелецкий приказ».

Первый пункт содержал общие фразы, второй касается техники сбора доходов, третий предусматривает одно из практиковавшихся злоупотреблений. О реформах не было и речи. Более того, стрельцы заявили, что у них «на государский дом и на государский синклит и на весь чин Московского государства думы нет и не бывало», т. е. они считают себя поборниками существующего порядка — порядка, который мало кого удовлетворял. Таким заявлением стрельцы поставили себя в ложное и очень опасное положение. Недовольных элементов в стране было очень много, но интересы и нужды разных классов были так разнообразны, что объединить их можно было только под лозунгом свержения власти, к которой всяких чинов люди относились очень неприязненно. Избиение бояр заставило многих насторожиться и с трепетом ждать, что будет дальше. Заявление

стрельцов о верности правительству разрушило все надежды недовольных. Вместе с тем запутались отношения стрельцов и власти, и получилось явное противоречие между торжественной декларацией стрельцов и их действиями. С одной стороны, они объявили себя верными слугами власти, а с другой — из чувства самосохранения они не могли отказаться от постоянного давления на власть. Медведев утверждает даже, что стрельцы претендовали на участие в делах правления: «И тщахуся, безумнии и глупии, государством управляти, не ведуще, яко, по словеси любомудрых, буих и в разуме непостоянных совет никогда же состоится».[1] Но силы стрельцов были очень ограничены.

В Москве было 14 198 стрельцов в 19 полках; вместе с солдатским полком, присоединившимся к ним, насчитывалось около 15 тыс. воинов. Будучи в Москве единственной организованной военной силой, они могли занять город, и только. Полки иноземного строя, расположенные на западной и юго-западной границах, численностью превосходили стрельцов и могли быть стянуты к Москве. Еще опаснее была дворянская иррегулярная армия, интересы которой никак нельзя было сочетать с интересами стрельцов. С другой стороны, московские стрельцы не представляли однородной массы. Прежде всего не было равенства в положении полков; привилегированным был «Стремянной» полк — лейб-гвардия, имевший значительные выгоды от близости ко двору. Матвеев свидетельствует, что два полка, в том числе Стремянной, очень неохотно примкнули к общестрелецкому движению; потом Стремянной полк стал на сторону Софьи и охранял двор в Коломенском и Воздвиженском. Но и в каждом полку между стрельцами можно подметить расслоение на такие же социально-экономические категории, начиная от мелкого торговца вразнос с капиталом менее 1 рубля и кончая крупным предпринимателем с значительным капиталом,[2] какие существовали на посаде и между которыми шла непрерывная классовая борьба. Разъединяли стрельцов и религиозные взгляды: согласно показанию Саввы Романова, стрельцы делились на никониан и старообрядцев приблизительно поровну — одни защищали Никиту Пустосвята, другие принимали участие в его поимке и казни.

Рознь между стрельцами сказалась с самого начала волнений. А. Матвеев сообщает, что стрельцы еще до 15 мая стали избивать «пятидесятников, пятисотных, десятников истинных и других умных и заслуженных людей, которые-б всегда смело уняли их и не допустили ни до каких злых дел». Тот же автор рассказывает, что к боярину А. С. Матвееву, возвращавшемуся из ссылки, явились шесть стрельцов и тайно предупредили о грозящей ему опасности. Деление стрельцов на две группы наблюдалось и позднее. По словам Матвеева, еще до 15 мая стрельцы «назначили изо всякого полка по нескольку персон быть выборным людем, которые умнее и коварнее в делах и мочные в тех полках над ними, стрельцами, тогда были, а именно Борис Одинцов, Обросим Петров, Козьма Черный и другие».[3] Выборные, по одному от каждого полка, вели переговоры с Софьей и Хованским, принимали участие в религиозных спорах и т. д. Таким путем из среды стрельцов выделилась группа, отстаивавшая их интересы. Выборные постоянно посещали дворец и виделись с представителями правительства, может быть даже иногда принимали участие в обсуждении государственных дел. Они отражали

[1] С. Медведев. Указ. соч., стр. 58.
[2] Москва в прошлом и настоящем, II, стр. 72—73.
[3] А. Матвеев. Указ. соч., стр. 130.

настроения большинства стрельцов, боролись с меньшинством, отправляли в ссылку неугодных лиц.[1]

Между выборными и рядовыми стрельцами иногда происходили недоразумения. В одном из писем думного дьяка Посольского приказа Е. И. Украинцева кн. В. В. Голицыну рассказывается, что два стрелецких полка потребовали платы за устройство валов на Белгородской черте. Даже Хованский нашел такое требование незаконным, так как устройством валов всегда занимались ратные люди, и это входило в круг их обязанностей; выборные тоже просителей «не похвалили». Обиженные челобитчики «ссылались по полком письмами и негодуя в том на выборных людей, что будто они у них то теряют и уговаривают, взяв за то из казны скуп всякий и дав на себя в том письма с крепостью».[2]

Итак, среди стрельцов не было единства, и это ослабляло их силу и было основной причиной их поражения. Другой причиной была изолированность стрельцов, не встречавших поддержки у населения московского посада.

В своем челобитье от 6 июня стрельцы показывали, будто вместе с ними бьют челом также гости, гостиная сотня, посадские люди всех черных слобод и ямщики; по выражению Медведева, стрельцы «присовокупили себе в челобитье и многие чины». Гости очевидно здесь упомянуты лишь для придания челобитной большего веса, так как, конечно, они не одобрили бы такого пункта: «А которые наши великих государей деньги на гостях и гостинных и суконных сотен долг, и на них выбирать и впредь им в долг нашей в. г. казны не давать». Гостиная и суконная сотни также не имели никаких оснований помогать стрельцам. Только на Украине среди агитаторов оказался гостиной сотни тяглец Афанасий Беляев.[3] Московские ямщики совершенно не упоминаются среди участников волнений.

Московских чернослободцев стрельцы тоже совершенно напрасно приписали к числу челобитчиков. Единственный пункт челобитной, касающийся специально чернослободцев, не мог вызывать у них сочувствия. Стрельцы требовали, чтобы их освободили от службы на житных дворах в качестве целовальников у хлебного приема и раздачи и возложили эту обязанность на чернослободцев. Это было тем более несправедливо, что хлеб из житных дворов шел преимущественно на продовольствие стрельцов и никогда не попадал в черные слободы. Когда постановление по указанному пункту стали приводить в исполнение, черные слободы подали челобитную, где указывали на и без того крайнее обременение их казенными службами, требующими ежегодно до 180 человек; работа же на житных дворах оторвет от обычных занятий еще 52 чернослободцев, а они «люди скудные и должные и от постоев и от пожаров разоренные». Ответом на челобитную явилось распоряжение возложить службу на житных дворах не только на черные, но и на дворцовые и казенные слободы.[4] Пока тянулись эти пререкания, стрелецкое восстание было подавлено, и служба на житных дворах осталась на обязанности стрельцов.

Стрельцы принимали деятельное участие и в городском восстании 1648 г., когда они громили дворы временщиков и успокоились, лишь получив значительные денежные суммы; позднее они

---

[1] Приказные дела старых лет, 1682 г., № 154; 1683 г., № 181; Печатной конторы книга беспошлинная 63, под 14 августа.

[2] Дела новой разборки, № 949, л. 17.

[3] Малороссийские дела, 1682 г., № 38

[4] Дворцовый архив, № 20784.

подверглись репрессиям. В 1682 г. многое напоминало события 1648 г., но необходимо подчеркнуть и крупные различия между ними. В 1648 г., когда произошло восстание посадских людей против бояр, стрельцы отказались принять участие в подавлении движения и перешли на сторону восставших. Интересы стрельцов, ремесленников и торговцев во многом совпадали с интересами посадских людей, но стрельцы находились в привилегированном положении: занимаясь торговлей и ремеслами без несения посадского тягла, они могли продавать свои товары по пониженным ценам и таким образом успешно конкурировать с посадскими людьми. Поэтому помощь стрельцов посадским была вполне понятна. Цель стрельцов была устранить людей и обстоятельства, мешавшие городскому торгу и ремеслу. В 1682 г. положение было иное. На этот раз инициаторами движения были стрельцы, посадские же люди не имели никакого желания помочь своим счастливым конкурентам и таким образом усилить их позицию. Городские интересы стрельцов сказались в том, что требования общего характера, высказанные в челобитной и жалованной грамоте, затрагивали главным образом жизнь города.

Черные слободы ждали разрешения ряда вопросов. Об одном из них мы уже говорили — это казенные службы, несение которых ничем не вознаграждалось; стрельцы попытались эти службы сделать еще более тяжелыми. Вопрос об «обелении» черных дворов представителями привилегированных сословий и о волновавшей слободы классовой борьбе между «лучшими» и «молодшими» чернослободцами не возбуждался стрельцами. Ясно, что от чернослободцев стрельцы не могли ждать ни сочувствия, ни поддержки. Отдельные лица из посадского населения примкнули к стрельцам, но таких лиц было немного, и документы говорят о них мало. В Москве был задержан и казнен в июне ярославец, посадский человек Иван Бизяев, который распространял среди стрельцов слух, что «хотят бояре стрельцов переводить всякими вымыслы». Под пыткой Бизяев признался, что он хотел «смущение учинити, к тому еще хотел выжечи Москву».[1]

Если черные сотни и слободы и не примкнули к стрельцам, то все-таки они поддерживали их косвенно: недовольные элементы из их среды угрожали власти, стремясь к ослаблению ее. Жалованная грамота тяглецу Дмитровской сотни Ивану Романову была дана за то, что он в 1682 г. «по выбору гостей и гостинной сотни служил в Сотенной палате не в очередь по неволе в соцких и, будучи в смутное время, был во всяком страховании и ужасе и сотенных людей от всякого мятения и дурна унимал и опасал и боярину М. П. Головину с тов., которые тяглецы в то время были в шатости, извещал».[2] Характерно, что этот Романов был ставленником

[1] С. Медведев. Указ. соч., стр. 93—94; С. Соловьев. История России, III, стр. 964.

[2] На основании приведенной выписки (Дела новой разборки, № 1355), трудно определить, в каком учреждении состоял Иван Романов. Термин «Сотенная палата» приложим и к органу сотенного самоуправления, и к особому учреждению, входившему в состав Земского приказа и занимавшемуся регулированием денежных и натуральных повинностей чернослободских миров. Сотенная палата при Земском приказе состояла из выбранных на мирских сходах старост и соцких («В Сотенную палату соцким и старостам» — ААЭ, IV, стр. 455, 1691 г.), имела свой штат подьячих (в 1662 г. коллективную сказку соцких и старост писал «Сотенной палаты подьячий Ивашко Артемьев» — «Чтения», 1890 г., III, стр. 265) и ходоков («Сотенной палаты, что у Земского приказа ходок Данила Макаров» — Дела новой разборки, № 1355, л. 78, 1695 г.), получала памяти и указы для сообщения сотням и слободам (ААЭ, IV, стр. 455), получала деньги, предназначенные для всех сотен («Московских черных сотен соцким и старостам вместо службы и тягла в Земский приказ в Сотенную палату послано 50 руб.» от москов-

гостей и гостиной сотни тяглецов, из чего можно заключить, что в обострившейся в черных сотнях классовой борьбе руководящую роль играли более зажиточные элементы, даже не входившие в состав черных миров.

Кроме чернослободцев в состав Московского посада входили жители многочисленных слобод дворцовых, казенных, монастырских и патриарших. В большинстве этих слобод шла внутренняя борьба между «лучшими» и «молодшими», между зажиточной частью населения, захватившей власть на слободских сходах, и беднотой, на которую лучшие возложили непосильное налоговое и служебное бремя. В этой классовой борьбе стрельцы не стали на сторону угнетенных и не привлекли их на свою сторону. Однако в некоторых слободах молодшие стремились использовать смутное время и ослабление власти для наступления на лучших. В конце августа 1682 г. в московской Мещанской слободе, населенной выходцами из завоеванных у Польши земель и потому состоявшей в ведении Посольского приказа, был созван сход, преимущественно из лучших людей, для выбора старосты. Группа молодших ворвалась в схожую избу, разогнала сход и выбрала старосту из своей среды «не против своей меры, наглым озорничеством», как квалифицировали эти действия лучшие в своей жалобе.[1] 27 сентября в Бронной слободе был созван сход для сообщения царского указа, «чтоб стрельбы в Бронной слободе не было и мятежу никакого не чинили»; староста донес в приказ, что серебреник Илья Федоров вырвал у него царскую грамоту из рук, смял ее со словами, «что де тому указу верить нечему», и грамоту оставил у себя.[2] Московский посад не принял участия в стрелецком движении, и за это слободы получили жалованные грамоты, в которых говорится, что в слободах не все было благополучно и что старосты и соцкие с трудом охраняли порядок, будучи «во всяком смертном страховании и ужасе, сотенных людей от всякого мятения и дурна унимали и опасали».[3] Получив такие грамоты, представители слобод отправились в Троицкий монастырь с изъявлением благодарности.[4]

Показания жалованных грамот надо принимать с большой осторожностью. Дело в том, что жалованные грамоты писались на основании челобитий или по образцовым грамотам. Насколько фразеология челобитных страдает преувеличением, всем хорошо известно, и эти преувеличения попадали в текст жалованных грамот. Если же переписывались образцы, то иногда упоминались такие деяния, которых жалуемый и не совершал. Так было с жалованной грамотой, данной старосте Мещанской слободы Дорофею Замыцкому. Этот мещанин подал челобитную с просьбой дать ему грамоту на безъявочное варение пива и вина и на свободу от постоя, причем ссылался на свои заслуги, выразившиеся главным образом в том, что он, будучи старостой в 1681—1682 гг., привлек в слободу много новых тяглецов. Посольский приказ просил Земский прислать образец жалованной грамоты, какая давалась слободским старостам, и получил список с грамоты на имя Дмитровской сотни тяглеца Ивана Ро-

ских слобод ямщиков-торговцев — Прик. дела старых лет, 1675 г., № 289), давала справки по личному составу (справка о почерке Покровской сотни Лариона Анкудинова, «как он в Земском приказе в Сотенной палате был в соцких» — дело 1671 г. в Прик. делах старых лет, 1681 г., № 115). О Сотенной палате Земского приказа в исторической литературе нет, кажется, ни одного упоминания.

[1] Дела новой разборки, № 1327.

[2] Дворцовый архив, № 20870.

[3] Дела новой разборки, № 1355, л. 137.

[4] Московского стола ст. 639, л. 523.

манова. Цитата из этой грамоты приведена выше. Грамота Замыцкому почти дословно воспроизводит выражения грамоты Романову и перечисляет такие заслуги Замыцкого, которых не было ни в его челобитной, ни в справке, составленной в слободской приказной избе: «был во всяком смертном страховании и мещан от смятения и дурна унимал (в отпуске зачеркнуто «и опасал». — *С. Б.*) и боярину М. П. Головину с тов., которые мещаня в то время было в шатости, извещал». Замыцкий был старостой до 1 сентября 1682 г., так что после 17 сентября, когда Москвой управлял Головин, он уже не был старостой, и о «шатости» мещан извещения шли от его преемника Ивана Исаева, если только таковые были. Жалованные грамоты после ликвидации стрелецких волнений повидимому получили шаблонную форму.

Московские крестьяне не могли принимать участия в стрелецком восстании, так как их в городе было мало и у них с стрельцами не было никаких точек соприкосновения. Однако отдельные крестьяне упоминаются как агитаторы среди стрельцов. Крестьянин подмосковного патриаршего села Марфина Петр Воронин в Бутырской слободе возбуждал солдат сообщениями, будто по Троицкой дороге идут в большом числе боярские люди, конные и пешие, с пушками и будто он сам слышал пушечную пальбу.[1] Правительство потребовало в первую очередь выдачи Воронина вместе с кн. И. И. Хованским и Г. П. Языковым.[2] Крестьянин князя Юсупова агитировал в полку Бохина, и когда стрельцы этого полка послали нескольких человек из своей среды для переговоров с властями, он распространял слух, будто посланные перебиты.[3]

Вернемся к отношениям между стрельцами и холопами. Свободе, возвещенной стрельцами, холопы не поверили, но мысль о возможности освобождения от кабальной зависимости видимо увлекла их, и они подали коллективное челобитье (последнее указывает на то, что холопы где-то собирались и совещались). Господство стрельцов показалось холопам непрочным, и они обратились к власти. Впрочем, стрельцы после первого же порыва отказались от покровительства холопам, видя в них опасную силу, которая всегда может их смести. Кн. А. И. Хованский, водворившись в Судном приказе, стал накапливать документы, подобные тем, которые были уничтожены 15 мая как нарушающие общественную справедливость. В результате только немногим холопам удалось получить свободу. Освобожденные холопы старались закрепить свое новое положение каким-либо официальным документом: одни заставляли своих хозяев дать им отпускные, другие судом доказывали неправильность своего закабаления.

Приведем примеры. После падения Хованских был отправлен в ссылку Киприан Иванов за то, что он «в смутное время взял себе отпускную в неволю» от подьячего Ефима Зотова.[4] 30 мая возникло дело в Судном приказе о неправильном удержании в холопстве Ивана Михайлова и Матвея Максимова, взятых в плен во время войны с Польшей и отданных в холопство гостиной сотни тяглецу Григорию Солодовникову; они указывали на то, что по договору с Польшей они подлежали освобождению; Солодовников поспешил дать им отпускные, что и было зарегистрировано в Судном приказе.[5] Приведем

---

[1] С. Медведев. Указ. соч., стр. 144.
[2] Московского стола ст. 639, л. 518.
[3] Белгородского стола ст. 1039, л. 149.
[4] Там же, л. 706
[5] Дела новой разборки, № 1327.

случай выхода из холопства без легализации. Иван Грязнов, давший на себя в Переяславле Рязанском кабалу подьячему Савве Обноскову, в конце августа бежал в Москву и записался в стрельцы, а в октябре добровольно вернулся к своему подьячему.[1] Насколько можно судить по сохранившимся документам, случаи выхода из холопства не были частыми и отнюдь не носили массового характера. Причину этого надо искать в тех социально-экономических условиях, в какие были поставлены холопы. Кабальный человек, получивший свободу, например в связи со смертью заимодавца, обычно закабаливался вновь другому кредитору, не имея ни крова, ни основного капитала для какого-нибудь предприятия, ни защитника, в котором так нуждались низы феодального общества. Только очень немногие, обладавшие специальными знаниями или особыми талантами и предприимчивостью, могли рассчитывать на что-либо лучшее.

Но тяжесть рабства не была одинаковой для всех холопов. Помимо личных качеств рабовладельца тут играли роль и его общественное положение и экономическая обеспеченность. Мелкий владелец старался выжать из холопа все, что тот мог дать, эксплуатировать его до конца, между тем как крупный боярин держал на своем дворе такую многочисленную дворню, которая далеко превышала потребности хозяйства и имела скорее декоративный характер многочисленной свиты большого барина. Толпа холопов боярского двора, численностью иногда превышавшая население среднего города, получала от боярина скудное содержание и подрабатывала мелкой торговлей или ремеслом; самые предприимчивые из них занимались более доходными предприятиями, до адвокатской практики включительно. Поэтому холопы не столько стремились к освобождению, сколько к переходу в более богатый двор. Так, от стольника Андрея Безобразова, дворянина средней руки, притом известного своей требовательностью и жестокостью, ушло несколько крепостных, которые не остались на воле, а дали служилые кабалы во двор одного из богатейших бояр — кн. М. А. Черкасского. По ликвидации волнений Безобразов вернул к себе этих крепостных людей.[2]

Именно боярских холопов и боялись стрельцы. Настроение холопов было возбужденное, и сохранились дела с жалобами на их поведение. Например, подьячий Маркел Денисов доносил, что кабальный его человек бранил его, Маркела, и его жену «всякими скаредными словами и гонялся за ним по двору с ножом и приступал к хоромам и похвалялся его резать и дом его зажечь».[3] Напомним, что И. М. Языков был выдан холопом, и Вешняковых оговорил также холоп.[4]

Поведение холопов, их нежелание использовать смутное время «при таком от них, стрельцов, учиненном благовременстве», по словам Матвеева, вызвали всеобщее изумление.[5] Еще находясь в Троицком монастыре, Софья поспешила дать холопам жалованную грамоту, даже приписывая им активное участие в подавлении волнений: «Будучи на Москве в смутное время и ныне в полку, ни к каким смутным словам и к дурну не приставали, а от кого какие непристойные слова слышали, и на тех извещали, а иные про то сказывали бояром своим». За это цари холопов «жалуют — милостиво похваляют; да вас же великие государи пожаловали на погреб». Вместе с тем власть дает в руки холопов оружие, позволяя им «с сего времени

[1] Белгородского стола ст. 1044, л. I.
[2] Приказные дела старых лет, 1683 г., № 30, л. 12.
[3] Белгородского стола ст. 1039, л. 164.
[4] А. Матвеев. Указ. соч., стр. 163; С. Медведев. Указ. соч., стр. 94.
[5] А. Матвеев. Указ. соч., стр. 167.

на Москве и в походе ходити с саблями и со обухами и со иным таким оружием».[1] В то же время стрельцам запрещено быть при оружии, за исключением назначенных стоять на карауле, которым разрешено иметь при себе сабли.[2]

Итак, стрельцы были одиноки, и только отдельные лица из разных слоев посадского населения примкнули к ним. Они не сумели захватить в свои руки административный аппарат, а их руководители Хованские не смогли сгруппировать вокруг себя преданных людей из среды дворянства. Из начальников приказов можно назвать только одного, близкого к семейству Хованских — судью Сибирского приказа И. И. Чаадаева. Кроме него в первые дни волнений из думных чинов лишь двое приняли участие в действиях стрельцов в качестве доверенных лиц. Один из них, окольничий К. О. Хлопов, командовал отрядом стрельцов, явившимся к Розенбушу в поисках доктора Гадена. Тот же Хлопов присутствовал вместе с кн. С. А. Хованским при пострижении К. П. Нарышкина. Он был дружен с П. И. Хованским и вместе с ним служил воеводой на южной границе. Однако Хованские не выдвинули Хлопова на ответственный пост. В розысках стрелецких недругов принял также участие какой-то думный дворянин, ставший во главе отряда стрельцов. И окольничий и думный дворянин не могли быть стрелецкими полковниками и, следовательно, действовали не в силу служебного положения, а как доверенные лица.[3]

Медведев, Розенбуш и разрядная запись утверждают, что стрельцы дали зарок не грабить имущества и не допускать грабежа со стороны других.[4] Действительно, в первые дни волнений они поддерживали порядок в Москве и перебили грабителей. Мало того, стрельцы проявили на первых порах заботу о сохранении государственного имущества: так, они позаботились о том, чтобы лошади убитых или сосланных были приведены в царскую аргамачью конюшню и проданы по дорогой цене, из деревни Языкова привезли царскую карету с шлеями и наконец перемерили сукна, запасенные в Казенном приказе.[5] Но на этом заботы о целости казенного имущества кончились.

Гораздо больше заботы проявили стрельцы о своем личном благополучии. Раз уже взыскав с полковников недоданное жалованье, они снова предъявили требование об уплате «заслуженных денег» начиная с 1647 г., т. е. за 35 лет; всего они насчитали 240 тыс. рублей или около 16 рублей на душу. Кроме того, по приказу царевен им было выдано по 10 рублей каждому. Принимая во внимание, что двор с постройками на посаде стоил 3 рубля,[6] надо признать единовременную выдачу в 26 рублей очень высокой. В разрядной записи сказано, что для этих выдач великий государь велел «те деньги сбирать со всего государства и суды серебряные брать и из тех судов деньги делать».[7] С. Медведев говорит, что деньги собирали «с патриарших и со властелинских крестьян и с монастырских и с боярских

---

[1] С. Медведева. Указ. соч., стр. 160—161.

[2] Там же, стр. 162. По словам Померенинга, во время городского восстания 1648 г. холопы, требовавшие свободы, подверглись жестокой экзекуции; К. Базилевич. Городские восстания в Московском государстве XVII в., стр. 38.

[3] М. Погодин. Указ. соч., стр. 47, 52. С. Соловьев. История России, стр. 962—963.

[4] По показанию Лейденской брошюры, во время волнений 1648 г. стрельцы уничтожили взятые на боярских дворах драгоценные вещи, не позволяя никому уносить их с собой (К. Базилевич. Городские восстания в московском государстве XVII в., стр. 60).

[5] Дворцовый архив, №№ 20681, 20690, 20733.

[6] С. Соловьев. История России, III, стр. 700.

[7] Там же, стр. 963.

и с приказных людей по оклодом, с дьяков и подьячих».[1] 22 мая была произведена новая выдача стрельцам и солдатам: каждому отпущено было по сукну ценностью в полтора рубля «за перемирье с турским салтаном и крымским ханом»[2] (это событие произошло более года тому назад, и награждения были уже выданы, кому следовало).

Удовлетворение стрелецких претензий затронуло частные интересы множества лиц и вызвало всеобщее неудовольствие или, как выразился Медведев, «зело они, служивые, людей во всем государстве ко оскорблению привели». Затем Медведев прибавляет: «И те взятые деньги едва кто у себя служивой оставил или какую нужную потребу истощил, но на питиях по кружалам и в погребах изнуриша».[3] Надо было изыскать новые способы получения денег. Легче всего было потребовать от монастырей и посадов уплаты подможных денег стрельцам, взятым оттуда. Группа стрельцов подавала челобитную с требованием подможных в размере 15—25 рублей каждому. В указанное место немедленно посылалась грамота с приказом взыскать деньги, а в случае отказа выслать в Москву ответственное лицо — монастырского келаря или выборного от посада. Конечно, деньги уплачивались без всякой задержки. Таким путем стрельцы получили солидные суммы от Серпухова, Твери, Боровска, Старицы, Торжка и других городов; от монастырей Калязина, Толгского, Ипатьевского и др.[4]

Так как все дела, касавшиеся стрельцов, рассматривались и решались только в Стрелецком приказе, резолюции на стрелецкие челобитные писались дьяком Стрелецкого приказа по указанию Хованского, но от имени царей. Обычно резолюции приказов в более важных случаях составлялись после доклада царю или боярской думе и отражали их распоряжения. На том основании, что при отмене резолюции Хованского о взыскании в пользу стрельцов подможных денег с дворцовых волостей боярский приговор упоминает и о том, что о взыскании подможных денег с монастырей «великих государей указа не бывало»,[5] можно предположить, что Хованский о требованиях стрельцов не доводил до сведения высшей власти, а распоряжался взысканиями самостоятельно. Однако власть не пресекала того, что потом объявила «самовольством», и не мешала государственному аппарату приводить в исполнение распоряжения Хованского, формально вполне законные, хотя и не соответствовавшие традиции.

С посадов, монастырей и с отдельных лиц деньги взыскивались и по другим искам, иногда очень сомнительным. Так, стрелец Федор Романов предъявил иск к владимирцу посадскому человеку Ивану Водяному в том, что «жена его, будучи в девках, работала у Водяного 8 лет». По иску стрельца Лаврентия Гребенщикова с товарищами «велено в иску их в пожатом хлебе, который они хлеб, будучи в Михайлове, посеяли в 176 году, на михайловских пушкарях и затинщиках на Якушке Гридине с товарищи *без суда и без очные ставки,* по их сказке доправя на них, отдать Лаврушке с товарищи».[6] Распоряжение не взыскивать по стрелецким искам пошлинных денег очень способствовало сутяжничеству.

Другим способом обогащения являлся захват стрельцами лавок, лавочных мест, шелашей и других торговых помещений. К этому способу стрельцы стали прибегать с половины июня, и чем дальше, тем

---

[1] С. Медведев. Указ. соч., стр. 59.
[2] Дворцовый архив, № 20687.
[3] С. Медведев. Указ. соч., стр. 59.
[4] Печатной конторы книга беспошлинная 63.
[5] С. Медведев. Указ. соч., стр. 95.
[6] Печатной конторы книга беспошлинная 63, под 28 июля.

больше. Они выискивали выморочные лавки, пустые места, удобные для торговли, и делали свои заявки, которые немедленно удовлетворялись. Для примера приведем список данных на торговые помещения: 14 июля стрельцы получили данные на три полулавки, которыми владели Аверкий Кириллов и его сын Яков в Щепетильном и Игольном рядах, 15 июля — на шелашное место и восемь сенных шелашей, 17 июля — на семнадцать скамей, 18 июля — на три кузницы и шелашное место, и т. д.

Наконец с июля стрельцы возобновили взыскания с полковников и полуполковников. 3 июля были посланы грамоты о высылке в Москву полуполковника Нелюбова и майора Шепелева. Несколько позднее были предъявлены иски: бывшему полковнику Нелидову — на 794 рубля, хотя Нелидов еще в апреле стоял на правеже по иску стрельцов и был бит батогами; Колупаеву — на 4500 рублей; М. Писареву, Барыкову, Остафьеву, Перхурову (последнему на 1200 рублей); Мещеринову — на 10 078 рублей; Скорнякову-Писареву и др. Последние два иска были представлены 12 и 13 сентября, почти накануне падения Хованских. Можно привести пример, показывающий, что стрельцы и солдаты на эти взыскания смотрели не как на возмещение убытков, а как на меру воздействия. Взыскание с полковника Кравкова было поручено судье Стрелецкого приказа В. А. Змееву, которому солдаты «пригрозили Вяткой и написали на него челобитную в 20 тысячах и он их убоявся и над Матвеем Осиповичем так учинил, выдал им его головой».[1]

Под свои дворы стрельцы старались захватить более удобные участки, даже вне земель, отведенных под стрелецкие слободы. Толмач Ивашко Иванов, живший на Б. Калужской улице, жаловался, что надворная пехота указные места, «где им указано селиться, покинули и приходят к дворишку моему и из дворишка моего высылают меня вон и хотят на моем дворишке селиться».[2] Заселенные кварталы целиком освобождались под стрелецкие дворы. Так, надворная пехота выселила тяглецов Ружейной слободы (за Тверскими воротами) дальше от центра за Земляной город, т. е. за Садовую улицу, и заняла территорию Ружейной слободы.[3]

VI

Итак, интересы стрельцов не шли дальше приобретения материальных благ и потому не только не связывали их с теми группами населения, которые искали выхода из тяжелого экономического положения, но даже вызывали раздражение во всех слоях общества. Объявив себя сторонниками законности, стрельцы должны были искать опоры в законной власти, права которой они нарушили майскими убийствами. Очевидно, более дальновидные из стрельцов понимали всю шаткость своего положения и стремились так или иначе сговориться с правительством или с какой-либо из придворных партий, в случае если бы и наверху шла борьба. Но такой борьбы пока не было. Между Натальей Кирилловной и царевнами с момента майского переворота не заметно было никакой розни.

В документах Дворцового архива имеется любопытный показатель силы и значения того или другого члена царской семьи — это записи о «взносе» во дворец денег, мехов, материй и ценных вещей. На другой же день после кончины царя Федора и избрания Петра Наталье Кирилловне «взнесено» 200 рублей, 30 апреля — еще 100 рублей;

[1] Переписка Хованских, стр. 415.
[1] Дела новой разборки, № 825.
[2] Дворцовый архив, № 20908.

в первой половине мая выдачи стали крупнее, несколько раз «взносилось» по 1000 рублей. Получала также вдова царя Федора Марфа Матвеевна. Не забыты были и царевны, которым 5 мая было «взнесено» 1000 золотых и 3200 рублей, а 6 мая — еще 900 золотых. Царевна Софья пока не выделяется из группы сестер и теток царя. Общее расхищение казны показывает, что во дворце не было никакой розни. Едва прошли бурные дни, как 18 мая Наталья Кирилловна получила 200 рублей и 2 литра золота, 19 мая — исподи песцовые и т. д. 19 мая в расходных росписях уже появляется имя Софьи, получившей кружево с жемчугом и запонами. После этого в записях постоянно фигурирует имя Софьи и все реже и реже встречается имя царицы Натальи; царевны совершенно не упоминаются больше.[1] Марфа Матвеевна была выделена: 28 мая царевны Татьяна Михайловна и Софья Алексеевна ходили в казну и отобрали для Марфы Матвеевны образа, поднесенные ей и царю Федору в день свадьбы, восемь печатных книг, братину и стопу.[2]

В начале волнений Софье пришлось считаться с царицей Натальей, у которой были сильные приверженцы и которая могла противодействовать властолюбивым стремлениям Хованских. Многие бояре — Одоевские, Троекуровы, Урусовы и др., выбиравшие Петра минуя Ивана, получили видные назначения, поместья и пустоши. Даже кн. М. А. Черкасский, защищавший 15 мая Матвеева от стрельцов и считавшийся личным врагом кн. В. В. Голицына, получил жалованную грамоту на вотчину — село Рождественское на р. Истре — «за его службу».[3] Привлекши на свою сторону виднейших бояр, Софья стала пренебрегать Натальей Кирилловной, и в начале июля, как будет дальше показано, между ними уже заметны неприязненные отношения. Ища себе опоры среди бояр, Софья в то же время старалась привлечь на свою сторону и стрельцов. Она нисколько не противодействовала их вымогательствам, и все дела по искам стрельцов проходили обычный канцелярский путь, но в ускоренном порядке. По словам Матвеева, царевна выборным от стрельцов «явно ко входу своему дозволяла доступ и всякими прибыльными словами им доходы обогатила и великую честь над ними, выборными, превосходила и вернее всего дворянства вела».[4] Кроме того, Софья поила и кормила стрельцов — по два полка в день.

Софья добилась большого успеха. Стрельцам было безразлично, в чьих руках находится власть, только бы эта власть оказывала им почет и не мешала их вымогательствам. Поэтому среди стрельцов росло число сторонников царевны, и среди выборных появились такие, «к ним же князь Иван (Хованский. — *С. Б.*) малу любовь имеет».[5] Опираясь на эту группу, Софья постаралась ограничить силу и влияние Хованского. Со второй половины июня появились первые признаки потери Хованскими своего значения. Андрей Хованский 17 мая получил в заведывание Судный приказ, еще в ноябре 1681 г. соединенный с Холопьим, а 23 июня 1682 г. Холопий приказ был восстановлен как самостоятельное учреждение, и во главе его был поставлен кн. Ф. Ф. Волконский — человек, преданный Софье, если судить по тому, что она впоследствии доверила ему руководство Челобитным приказом. Таким образом Хованские лишились возможности воздействовать на холопов, которых так боялись стрельцы. На

[1] Дворцовый архив, №№ 20684, 20689, 20691, 20692 и др.
[2] Дворцового архива книга 731, л. 116.
[3] Печатной конторы книга беспошлинная 63, под 26 июня.
[4] А. Матвеев. Указ. соч., стр. 163.
[5] С. Медведев. Указ. соч., стр. 79.

следующий день, 24 июня, накануне торжественного венчания Ивана и Петра на царство, последовал новый удар. Была объявлена царская милость: пожалование байбереками и прочими дорогими тканями кн. Н. И. Одоевского, двух воспитателей царя Ивана — кн. П. И. Прозоровского, женатого на сестре И. М. Милославского, и В. Г. Юшкова, преданного Софье В. С. Нарбекова и шестерых Милославских, в том числе врага Хованских — И. М. Милославского. Из Хованских пожалован был только кн. И. И. Хованский, по всей вероятности сын Ивана Никитича, а не Ивана Андреевича — человек, не игравший никакой политической роли.[1] Софья вступила на старый путь выдвижения царских родственников, приведший к событиям 15 мая. Милославские до этого были в тени, и только трое из их многочисленной семьи были в числе спальников при царе Иване.

В день венчания Ивана и Петра на царство кн. И. А. Хованский не мог не чувствовать досады, что не он играет главную роль на торжестве, а кн. В. В. Голицын; ни один из Хованских не выполнял никакой почетной обязанности, и все они присутствовали в соборе только как зрители. Перед церемонией были объявлены пожалования думными чинами. Саном боярина были пожалованы кн. А. И. Хованский, М. Л. Плещеев и М. Б. Милославский. Сочетание этих трех имен не было лестным для Хованских, принадлежавших к высшему боярству и обладавших привилегией из стольников переходить прямо в бояре, минуя окольничество. Вместе с Хованским получил боярство и Плещеев, принадлежавший к второстепенному дворянству и притом старый враг Хованских. Еще в 1655 г. этот Плещеев за клевету на кн. И. Н. Хованского, будто тот помешал ему вывезти хлеб из Смоленска, был присужден к наказанию кнутом, ссылке в Сибирь и конфискации поместий и вотчин. Хотя приговор был смягчен, Плещеев все-таки был написан по московскому списку «вечным клятвопреступником и ябедником и бездушником и клеветником». В 1675 г. Хованские били челом на Плещеева в земляном вотчинном деле. Но Плещеев был доверенным лицом Софьи и играл видную роль в приказной администрации. Вопреки обычаю Плещеев также был пожалован из стольников прямо в бояре. М. Б. Милославский, человек неродословный, не имел за собой никаких заслуг и занимал только придворные должности. А через несколько дней — 26 и 27 июня — боярство было «сказано» лицам, принадлежавшим к высшей знати — Шереметеву, кн. Лыкову, кн. Голицыну и Салтыкову.[2] Даже жалуя боярство, Софья сумела уязвить Хованских.

Активное участие Хованского в раскольничьем движении было необдуманным шагом с его стороны. Вероятно он рассчитывал опереться на многочисленных раскольников, сильных своим фанатизмом. И. А. Хованский придерживался раскола, но хранил это в тайне. Повидимому он не имел тесных связей с раскольниками, о чем можно заключить из того, что он не знал расколоучителей и с теми из них, которые были рекомендованы ему стрельцами как способные выступить во время прений, не был знаком раньше. С первых же дней волнений на Красной площади, как говорит Медведев, стали собираться «мужики простые купами» и толковать о том, что настало время восстановить древнее благочестие. Никто им не мешал, и «му-

[1] Дворцового архива книга 731, л. 116.

[2] С. Соловьев. История России, III, стр. 971, 974, 975. Возведение кн. А. И. Хованского в сан боярина нельзя считать актом, вызванным его особым положением. В 1668 г. он уже был стольником, следовательно в этом звании он числился не менее 14 лет. Брат его Петр получил боярство на 15-м году стольничества, Б. П. Шереметев — на 14-м году, кн. А. И. Голицын — на 11-м году.

жики и бабы говорили невозбранно», зная, что Хованский придерживался старой веры. Настроение толпы все повышалось, «и тако они, невежди, вознеистовившеся, яко ради их лютого свирепства и забойства никто же им смеяше глаголати что, страх бо всех объяше».[1] Религиозные разногласия внесли еще большую рознь в среду стрельцов, и чем больше разгорались религиозные страсти, тем глубже становился разлад между стрельцами, которые делились приблизительно поровну на никониан и ревнителей старой веры. Следовательно, главная сила, на которую опирался Хованский, раскололась на две части, и число стрельцов, к которым Хованский имел «малую любовь», увеличилось. Софья развила энергичную агитацию, открыла для стрельцов царские погреба. К этому присоединилась агитация со стороны патриарха, который приглашал к себе выборных, «воздавал им честь, поил разными питиями, давал дары великие, чтобы поборники были православию, и тако иных слабоумных улести в свою волю», как с грустью сообщает Савва Романов, один из руководителей раскольничьего движения.

При всей своей грубости агитация имела успех, и многие из стрелецких выборных были подкуплены. Но подкупить фанатически настроенную толпу было невозможно, и Софье надо было так организовать возвещенные прения о вере, чтобы толпа не могла принять в них непосредственного участия и не запугала бы своими криками патриарха и епископов. Напрасно Хованский требовал, чтобы прения происходили на Красной площади или на площади перед собором, и пугал гневом стрельцов. Софья настояла на том, чтобы прения происходили в Грановитой палате, куда из толпы могли попасть только немногие и где стрельцы, с которыми Софья конечно успела переговорить, могли быть надежной защитой. Савва Романов сообщает интересные сведения о том, что Наталья Кирилловна тайно послала к руководителям раскольников предупреждение, чтобы они ни в каком случае не соглашались на устройство прений во дворце, так как все будут перебиты: «у них де дьявольский вымысел есть над вами».[2] Не верить в этом случае Савве Романову нет никаких оснований, тем более, что он называет и лицо, посланное царицей.

Прения состоялись 5 июля в Грановитой палате в присутствии царицы Натальи и трех царевен. Следует отвергнуть показание Матвеева, что тут присутствовали также оба царя, тем более, что он путает и дату, относя прения к 5 июня, что совершенно неправдоподобно.[3] Обратим внимание на то, как члены царского семейства расположились на царских местах, учитывая то значение, какое в Москве придавали местам: на тронах двух царей сели старая царевна Татьяна Михайловна и царевна Софья; ниже их в креслах, рядом с патриархом, расположились царица Наталья и царевна Марья Алексеевна, одна из младших сестер Софьи.[4] Такое распределение было конечно оскорбительно для Натальи Кирилловны и свидетельствует, так же как и тайные переговоры с раскольниками, о натянутых отношениях между царицей Натальей и Софьей.

Как и следовало ожидать, прения оказались безрезультатными, но Софья могла убедиться, что положение ее остается шатким. Она осталась не вполне довольна защитой со стороны преданных ей стрельцов, не сумевших пресечь бесчинства раскольников. В то же время до ее слуха долетали и такие восклицания: «Пора, государыня,

---

[1] С. Медведев. Указ. соч., стр. 76—77.
[2] Летописи русской литературы и древности, V, стр. 131.
[3] А. Матвеев. Указ. соч., стр. 178.
[4] С. Медведев. Указ. соч., стр. 84.

давно пора вам в монастырь, полно царство мутить; нам бы здоровы были цари-государи, а без вас пусто не будет».[1] Софья высказала крайнее негодование, что задето имя ее отца, царя Алексея Михайловича, так как если считать Никона еретиком, то таковым же надо признать и того, кто поддерживал Никона. В пылу раздражения она несколько приоткрыла свои тайные планы, пригрозив, что цари удалятся из Москвы и будут апеллировать ко всему народу: «Имамы идти отсюду во грады иные и в таком непослушании и разорении народу всему возвещати». Стрельцы отвечали, что они готовы служить царям и правительнице, но боятся также и за себя: «Точию сами вы, государыни, днесь видите, что народ возмущенный и у палат ваших стоит множество людей, дабы, как мощно, день той препровадити, во еже бы чесого и нам зла от них не пострадати. А еже великим государем и вам, государыням, идти от царствующего града сего инде, никакоже буди то».[2] Очевидно угроза произвела сильное впечатление на стрельцов. Никита Пустосвят был схвачен и казнен на Красной площади, другие расколоучители были пощажены, частью по ходатайству Хованского, и отданы под начало патриарху.

После 5 июля попрежнему взыскивались подможные деньги с посадов и монастырей, стрельцам отводились торговые помещения, а боярам — поместья и пустоши. В то же время Софья подготовляла выезд из Москвы. Обычно «поход» царя в Троицкий монастырь приурочивался к празднику 5 июля. Этот день был занят бурными прениями о вере, но мысль о поездке не была оставлена, и, судя по тому, что для сопровождения двора собирали дворян в большом числе (сохранилось много челобитий об освобождении от похода за старостью, болезнями, по домашним обстоятельствам), поход должен был быть обставлен очень широко. Может быть вследствие угроз Софьи Хованский и стрельцы возражали против похода, но только двор покинул Москву не раньше 13 июля.[3] Отправились также в большом числе знатнейшие бояре: среди свиты был И. М. Милославский, который держался в стороне и не принимал участия в коронационных торжествах. Доехав до села Тайнинского (под самой Москвой), путешественники остановились и пробыли там до 17 июля. В этот день в Тайнинском подьячий Иван Кондратьев принял «на обиход великих государынь царевен» черное сукно, черный шнурок и 36 черных шелковых пуговиц.[4] Очевидно царевнам для чего-то понадобилось снова шить траурные платья. Было отдано также распоряжение, что назначенные в поход думные чины должны быть «в ходильном платье смирных цветов».[5]

В то же время сопровождавший царей кн. В. В. Голицын вел с оставшимся в Москве думным дьяком Украинцевым секретную переписку загадочного содержания. Вот что писал Голицын: «Да стереги, ради бога, пристава, который послан в Иверский монастырь, чтоб письмо, которое он привезет, не попалось иным мимо вас в руки; зело то нужно. А добро-б по дороге для стережения послать от Москвы пристава верст за 9 и те-б письма привез к тебе, а ты ко мне... И о том се письмо держи тайно, чтоб никто не ведал».[6] Ответное письмо Украинцева не раскрывает, в чем тут дело, и можно высказывать всякие догадки. Возможно, что Софья собиралась искать убежища в Иверском монастыре, расположенном на острове среди озера, под

[1] С. Соловьев. История России, III, стр. 917.
[2] С. Медведев. Указ. соч., стр. 90.
[3] Собрание разных записок, VII, стр. 85—86.
[4] Дворцовый архив, № 20757.
[5] Московского стола ст. 628, л. 124.
[6] АИ, X, стр. 62.

защитой новгородских дворян, которые имели свои счеты с Хованским еще со времени похода 1665 г., когда Хованский командовал Новгородским разрядом и вызвал среди дворян большое раздражение, вылившееся в жалобе: «Многих обесчестил и изувечил нашу братию знатных людей, напрасно кнутом и батоги, и говорил нам многажды всему полку: А чаю-ж вы дороги, хотя де вас и всех побьют неприятельские люди, ин де из ваших дворов наведут, и то де вас будут лучше».[1] Возможно, и траурное платье готовилось для большего воздействия на дворян.

Промедлив четыре дня в Тайнинском, двор спешно переехал в Воздвиженское. 17 июля он был еще в Тайнинском, а уже утром 19-го должен был состояться в Воздвиженском прием гетманских посланцев. Такой быстрый переход не был в обычае во время других царских походов. Из Воздвиженского двор переехал в Троицкий монастырь и дальше в Александровскую слободу, как бы для осмотра более надежных мест. Царский поход, не совпадавший ни с какими праздничными днями, вызвал у Хованского большое беспокойство, и он через Украинцева старался выведать у Голицына, «как великие государи будут в Москве и в которых местех изволят теперво обретатись». Следовательно, Хованский не был осведомлен даже о месте пребывания царей и не знал, каковы их намерения. Необычный царский поход произвел в Москве большое впечатление, как шаг к осуществлению угрозы, высказанной Софьей в памятный день 5 июля. Ходили тревожные слухи. «Басен людских не переслышать», — писал Украинцев Голицыну 20 июля; а в письме от 22 июля Украинцев выразил свою тревогу такими словами: «Добро-б великие государи изволили притить к Москве, не помешкав и о сем объявив».[2] 29 июля двор наконец вернулся в Москву, и только Голицын на несколько дней задержался в своей деревне Булатниково.

Во время царских походов, хотя бы кратковременных, в подмосковные монастыри или в подмосковные села, для решения текущих дел и для управления Москвой всегда назначалась временная правительственная комиссия в составе нескольких думных чинов, обыкновенно девяти-десяти, под председательством одного из крупнейших бояр. Компетенция этой комиссии не была определена никакими статутами, и бояре действовали согласно с сложившимися обычаями. По сохранившимся делам некоторых комиссий можно определить, что полномочия бояр не были широкими, и по каждому делу, более или менее значительному, бояре запрашивали государя, посылая ему в поход челобитные, справки и пр. Впоследствии, чтобы объяснить причины казни Хованского, его обвинили в самоуправстве, и в разосланных повсюду грамотах как на преступление указывалось несоблюдение Хованским такого обычая: «Во время их государских походов, как они изволили быть для моления в розных местех, никаким людем и за великие вины казни и наказания так же ни в каких долгех и искех правежу не бывало».[3]

При отправлении царей в поход 13 июля также была назначена временная комиссия, во главе которой был поставлен кн. И. А. Хованский, а одним из членов назначен преданный Софье Плещеев. Переписка Голицына с Украинцевым от 17 до 30 июля дает значительный материал для ознакомления с тем, как шли дела в Москве в отсутствие царей. Из документов того времени видно, что Хованский старался следовать примеру прежних комиссий и действовать строго в преде-

[1] С. Соловьев. История России, III, стр. 622.
[2] Дела новой разборки, № 949.
[3] Московского стола ст. 639, л. 65.

лах царских указов, вникал в дела всех приказов. «В приказе сижу, — писал Украинцев Голицыну, — безвыходно, а вверх волочит князь Иван Андреевич беспрестанно, а сверху прибреду, и в приказе от челобитчиков докука». Недовольные возлагали на Хованского преувеличенные надежды и подавали «вверх», т. е. в комиссию, заседавшую во дворце («вверху»), множество челобитий. «Все государство, — пишет Украинцев, — обратилось вверх с челобитьями... Повся дни с утра и после обеда за челобитными сидим, и несть нам воскло-нения». Однако Хованский давал челобитным обычное направление и препровождал их в соответствующие приказы для составления выписки по делу и для составления доклада.

В более важных случаях приказы посылали дела на решение царей, но иногда это не было возможно, так как в Москве не знали, где цари находятся. Но и в таких случаях Хованский не решался действовать самостоятельно. Был такой случай. 25 июля от стольника кн. П. Г. Львова с Двины, где он собирал деньги на жалованье ратным людям, получено было сообщение, что на Двине не все спокойно. Требовалось принять срочные меры, и Хованский обратился за указаниями к оставшейся в Москве царевне Татьяне Михайловне, которая и дала указания, что надо написать на Двину. Но Украинцев не решился исполнить распоряжение царевны без одобрения со стороны Голицына: «И я грамоты изготовил, и князь Иван Андреевич приказал их отпустить; только я не отпускал тех грамот. Известно тебе, государю, о том чиню; что мне изволишь приказать?»

В делах управления Голицын имел больший вес, нежели поставленный во главе комиссии для управления государством Хованский. Голицын распоряжался посылкой грамот, выдачей соболей, назначением дьяка в Смоленск и пр. Роль Голицына видна хотя бы из таких указаний Украинцеву: «Петра Потемкина к руке до моего приезду к Москве не ставь, хотя и укажут ставить, и ты извести, что я тебе о том говорил, чтобы не ставить, а зачем, о том я великим государем извещу». За время управления Хованским Москвой были посланы такие грамоты, которые не могли быть ему особенно приятны: например, о дозволении крестьянам кн. В. В. Голицына торговать в Ярославле всяким «походячим товаром», жалованная грамота боярину Р. М. Стрешневу на вотчины «за многую службу», отказ пустошей кн. Я. Н. Одоевскому и пр.

В исполнении царских приказаний Хованский проявлял большую энергию. Когда приехали в Москву гетманские посланцы, то, согласно распоряжению, надо было немедленно послать их в Воздвиженское, но все старания Украинцева добыть подводы не имели успеха, так как дьяк Ямского приказа утверждал, что подвод в его распоряжении нет. Тогда Хованский распорядился поставить на правеж и дьяка и ямских старост. На следующий день в распоряжении Украинцева было 50 подвод. Мы уже упоминали о том, что Хованский отказал стрельцам, требовавшим особого вознаграждения за устройство валов; в данном случае он опирался на выборных, которые также не считали возможным удовлетворять совершенно незаконные претензии. Позиция, занятая Хованским, повидимому поразила Украинцева. «Все,—писал он Голицыну, — смирно и тихо, а басен людских не переслышать, только в деле ничего лихого не видим».

VII

Однако напряженность положения не ослабевала и выявилась в смене и высылке в Москву к ответу двух полковников расположенных на Украине полков, Афанасия Поросукова и Максима Лупандина. Тре-

бование этих полков поддержали и московские стрельцы. Вероятно еще в июне страх перед стрельцами заставил правительство послать указ о смене Поросукова и высылке его в Москву, но, в связи с просьбой гетмана не менять полковников, распоряжение было отменено, о чем и было сообщено Хованскому из похода. 22 июля Украинцев доносил Голицыну: «Сегодня подана князю Ивану Андреевичу великих государей грамота о Афанасье Поросукове и о князь Иване Белосельском, и он говорил с бояры, что того никакими мерами невозможно учинить, чтоб Афанасья и Максима к Москве не взять, потому что во все полки, а имянно в те, у которых они ныне есть, государской милостивой указ объявлен, что велено взять к Москве. И если де нынешнюю перемену они сведают, и от того чаеть великого от них дурна. И ту грамоту, которая была послана из Розряду к князь Ивану, чтобы он ехал к Москве, говоря с бояры, задержал и хочет писать великим государем, прося милости и рассоветывая, чтоб конечно по прежнему их государскому указу были те полковники переменены, а если не будут переменены, и за то опасен от оных великого дурна». Приехав в Москву, Софья отказалась последовать совету Хованского. Однако, когда приехавшая в Москву депутация от расположенных на юге стрелецких полков, настаивая на отставке полковников, стала говорить, что у полковников «много заступников, а они беззаступны и беспомощны и подали на них большие челобитные», Софья уступила «ради того слова, что много де у них заступников».

Нельзя не отметить, что тон Софьи по отношению к стрельцам значительно изменился: в мае и июне она не возражала против требований стрельцов и предоставляла полковников своей участи, а теперь она решилась отказывать Хованскому и стрельцам и уступила только под сильным давлением. С одним Хованским, когда дело шло о вопросах, не затрагивавших интересов стрельцов, Софья церемонилась меньше. Когда Посольский приказ послал в Стрелецкий память с просьбой командировать солдат для сопровождения кречетов и ястребов, посылаемых на Украину в подарок, Стрелецкий приказ возражал против командировки солдат на том основании, что они «к этому делу не звычайны». Тогда Софья, игнорируя Хованского, приказала Венедикту Змееву, который был в товарищах у Хованского, прислать требуемых солдат, и «Венедикт, — как писал Украинцев, — хотел прислать сего дни». Хованский не протестовал.

Одержав верх в деле Поросукова и Лупандина, стрельцы засыпали правительство челобитными о взыскании денег с других полковников и о передаче торговых помещений. Отказа не было. В Москву были вытребованы полковники Колупаев, Писарев, Жемчужников, и им были предъявлены крупные иски. В начале августа почти каждый день отмечен предоставлением в пользу стрельцов лавок, кузниц, шелашей, мест под лесные склады и пр. Сам Хованский нашел, что настал благоприятный момент, чтобы позаботиться о собственном благополучии. Из записок Матвеева и Розенбуша известно, что старик Хованский женился на вдове убитого стрельцами думного дьяка Лариона Иванова. Об этом говорит и Украинцев в письме от 20 июля: «О князь Иване Андреевиче сказывают, что будет жениться в пришлое воскресенье с тою, о которой тебе и самому известно, а подлинно-ль так, и то время окажет». Хованский женился и предъявил претензии на вотчины и поместья покойного думного дьяка. 12 августа были написаны восемь грамот об отказе земель Лариона Иванова и его сына Хованскому в Московском, Рязанском, Суздальском, Кромском, Шуйском, Каширском, Епифанском и Белозерском уездах, всего на 3690 четвертей. Эти грамоты были отправлены по назначению 14 августа. Через

несколько дней Хованский получил еще несколько сот четвертей в уездах Звенигородском, Белевском и др. Тут интересно отметить, какие крупные богатства в недвижимости, преимущественно в виде вотчин, мог собрать думный дьяк за 18 лет своей дьячей карьеры. Надо также подчеркнуть, что вотчины Л. Иванова отказаны Хованскому в поместье, тогда как около того же времени многие бояре получили жалованные грамоты на вотчины, и наследственная вотчина, если она перешла по наследству вдове Иванова, должна остаться вотчиной.[1] Тут, повидимому, был какой-то компромисс, и наделение Хованского землей прошло не вполне гладко. Петр Ив. Хованский получил двор в Москве, в котором он так нуждался, еще раньше, в начале июля, когда ему был пожалован двор на Никитской, принадлежавший раньше И. М. Языкову, с палатным (каменным) и со всяким дворовым строением.[2]

Устраивая свое личное благополучие, Хованский не мог отказать стрельцам в поддержке их вымогательств. На этой почве возникли крупные недоразумения. «Месяца августа в 16 день, — рассказывает Медведев, — паки воздвижеся житейское море бедоносными яростми волнами, яко своим свирепым гнева волнением мало-мало не опроверже российского гражданства и царского величества самодержавства вины ради сицевы».[3] Хованский без согласия правительницы, нарушая установившиеся обычаи, написал на челобитье стрельцов о взыскании подможных денег с дворцовых крестьян положительную резолюцию. Пока дело касалось монастырей, посадов и полковников, Софья относилась к стрелецким требованиям снисходительно, но когда затронутыми оказались интересы казны, правительство не могло согласиться на непредвиденный крупный расход, до 100 тыс. рублей, которых притом же не могло быть в наличности, так как государственные нужды едва удовлетворялись из остатков от выдач на содержание ратных людей, главным образом стрельцов.[4] «Великие государи указали и бояре приговорили» сказать стрельцам, что подможные деньги стрельцам, набранным в дворцовых волостях, своевременно были выданы все сполна. Объявить это решение стрельцам было поручено Хованскому. Выйдя к стрельцам, Хованский, как передает Медведев, сказал: «Дети! Ведите о сем, что уж и мне, вам добра хотящему, бояре грозят, и мне стало делать нечего. Как хотите, так промышляйте себе». Тот же автор сообщает, какое раздражение вызвал у стрельцов этот отказ. Они стали совещаться с Хованским даже о том, не следует ли истребить весь царский род и всех бояр и посадить на царство самого Хованского — князя из королевского рода. Но бог «злый их совет разруши и сердца их на то несогласием разврати».

Может быть в словах Медведева была доля преувеличения, но нельзя не признать, что положение создалось очень опасное. 20 августа двор в сопровождении большого числа бояр, других думных чинов и дворян выехал в Коломенское. Этот «поход» имел характер бегства, и обычный при царских выездах церемониал не был соблюден. 23 августа цари уже сидели в Коломенском с боярами за делами, а в Разрядной книге отъезд обозначен был только с 30 августа, когда была назначена временная правительственная комиссия, во главе которой снова был поставлен Хованский.[5]

---

[1] Закон о передаче вдовам купленных вотчин (ПСЗ, II, № 969).
[2] Белогородского стола ст. 1013, л. 464.
[3] С. Медведев. Указ. соч., стр. 94.
[4] Московского стола ст. 639, л. 64 в.
[5] Дворцовый архив, № 20777.

Опять наступило тревожное время. К 1 сентября слухи приурочивали возобновление беспорядков: «По истине странно и ужасно видети тогда: люди бы вси во ужасе ходиша и час часа и день дня овии бедства, и инии же и смерти надеяхуся яко в той день или в той праздник паки имать быти смущение и побиение от служивых; такожде и служивым страх бе и трепет от народных гласов, яко в той праздник имать им отмщение от боярских холопей быти, егда служивые изыдут на стражу, и яко им тамо, такожде и в домех их женам и детям, погубление и разорение содеется».[1] Хованский и стрельцы прилагали все усилия, чтобы убедить правительницу вернуться со всем двором в Москву, но не имели успеха. Хованский, опасаясь за свою жизнь, выезжал в сопровождении охраны стрельцов и держал на своем дворе человек сто с оружием.

2 сентября в Коломенском «объявилось» прилепленное на воротах письмо с доносом девяти стрельцов и пяти посадских людей на Хованского, что он подговаривает стрельцов и посадских людей убить царей и виднейших бояр, завладеть престолом, поднять крестьян против дворян и восстановить древнее благочестие. Едва ли можно сомневаться в подложности письма, как это признают все авторы, начиная с Матвеева, который авторство приписывает И. М. Милославскому.[2] Только Медведев, замалчивавший все, что было не к чести царевны Софьи, и один из новейших исследователей — А. Н. Штраух, соблазнившийся возможностью на столь ненадежном материале построить картину революционного движения, принимают подметное письмо на веру.[3]

Для двора письмо оказалось достаточным основанием, чтобы предпринять поход в более отдаленные монастыри. План путешествия очевидно не был продуман и окончательно принят. Цари сперва отправились на запад от Москвы в село Павловское и дальше в Саввин Звенигородский монастырь, куда прибыли 8 сентября. Отсюда по всем городам были разосланы грамоты, призывавшие всех ратных людей — дворян, рейтар, солдат и пр., а кроме того и боярских людей собираться против изменников Хованских, поднявших бунт стрельцов, замышлявших на жизнь государей, и т. д.; если кто из дворян не явится на зов, то будет жестоко наказан. Повидимому, Саввин монастырь был признан не вполне надежным убежищем, тем более, что в самый день прибытия туда «сытного дворца стряпчего Артемьева человека Федорова Кирюшке Сидорову за непристойные слова учинено наказанье и отдан в Звенигороде приказному».[4]

Из Саввина монастыря цари вернулись в Павловское, затем перешли на Калязинскую дорогу в село Хлябово на Икше и, минуя Москву, передвинулись на Троицкую дорогу. 14 сентября они прибыли в Воздвиженское, откуда были разосланы новые грамоты с призывом к дворянам немедленно собраться на защиту царей «со всею службою наскоро, с великим поспешением днем и нощию, не отымаясь ничем» (обращения к холопам уже не было). Так Софья стала на путь открытой борьбы с Хованским и стрельцами. Как себя держал Хованский в эти дни и как шли государственные дела, можно судить на основании переписки, которую вели между собой два дьяка Разрядного приказа — Шакловитый, выехавший в поход, и Оловенников, оставшийся в Москве.[5]

---

[1] С. Медведев. Указ. соч., стр. 98.
[2] А. Матвеев. Указ. соч., стр. 186.
[3] А. Штраух. Указ. соч., стр. 43—45 (Н. Я. Аристов не говорит о подложности, но считает донос необоснованным).
[4] Прик. дела ст. лет, 1683 г., № 54.
[5] Новгородского стола ст. 319, лл. 294—311.

Москва опустела. Дьяки, подьячие, дворяне, имевшие возможность уехать в свои деревни, покинули Москву, и для распоряжений Хованского не было достаточного числа исполнителей. Напрасно он рассылал грамоты с требованием о высылке дворян в Москву, ратные люди в большом количестве шли в Воздвиженское и Троицкий монастырь, избегая такого опасного места как Москва. «Дворянина, — писал Оловенников, — не сыщем; которые есть в приезд записаны, посылали на дворы, не сказываются, а иные де и с Москвы съехали, а дворы записывали ложью, будто на тех дворах стоят, а их на тех дворах ни отнюдь не бывало. Будет в городе кого поймаем, нарядим». Надо было ловить дворянина, чтобы поручить ему дело государственной важности, как, например, сыск по серьезному преступлению, сыск беглых крестьян, сбор разных доходов и т. п. Хованский знал, что дворян много собралось в Троицком монастыре, и пытался получить их оттуда. Сохранилась небольшая записочка — черновик письма Хованского к начальнику Разрядного приказа думному дьяку Василию Семенову, вся перечеркнутая, писанная, видимо, в сильном волнении: Хованский просит прислать в Москву дворян, назначенных в разные уезды на межеванье, если перечисленные им лица находятся в Троицком монастыре.[1] Оловенников жалуется на множество дел из-за отсутствия других дьяков: «Еремей Леонтьевич (дьяк Еремей Полянский) в приказ вчера и нынче не бывал, а Михайла Щербакова (также дьяк Разрядного приказа) не сыщем». Нельзя было достать подвод для казенных надобностей, потому что начальник Ямского приказа Бутурлин уехал в деревню. «Стольников и стряпчих походных и никаких в городе не видать». Даже некоторые из членов правительственной комиссии покинули Хованского, так что В. А. Змеева пришлось вытребовать из деревни с приказом ехать в Москву, конечно для того, чтобы следить за Хованским.[2]

Оставшиеся в Москве приказные люди очень боялись Хованского, но его распоряжений не исполняли, пока не получали указаний из «похода», как это можно видеть на примере Оловенникова. Приведу такой случай. В своем письме Шакловитому Оловенников пишет: «Сентября в 5 числе изо Брянска пушкарь подал в Разряде две отписки да письмо в столпах, обернуто холстом, а по холстине шито шелками книжные слова. И те, государь, отписки и письмо боярину князю Ивану Андреевичу Хованскому подносил, и боярин с товарищи чли и приказали послать государеву грамоту к воеводе, тех людей пытав, сослать на Терек. И я боярина докладывал, чтоб те отписки и письмо послать к великим государем в поход, а боярин посылать не велел, а есть де о том ему великих государей указ. И те, государь, отписки и письмо в холстине и указ для ведома послал я к тебе, государю моему, с подьячим с Гаврилом Давыдовым, в листу запечатав. А грамота во Брянеск не послана. Как о том, государь, изволишь?» Но дело приняло неожиданный оборот, и на следующий день Оловенников спешно послал Шакловитому записку такого содержания: «Послал я к тебе отписки брянские и письмо в холстине с подьячим Гаврилом Давыдовым, а сего-ж, государь, 6-го числа боярин

[1] Московского стола ст. 628, л. 330.

[2] Там же, ст. 639, л. 73. Дело об избиении стрельцами и солдатами людей кн. В. В. Голицына и жалобу последнего на неправильное постановление по этому делу кн. А. И. Хованского 11 сентября велено было «взять в Сибирский приказ и по тому делу доложить себе, государем, окольничему И. И. Чаадаеву». Следовательно, Чаадаев и все дьяки Сибирского приказа в это время были уже при царях «в походе», где Приказ и функционировал (там же, лл. 44, 69).

кн. Иван Андреевич то письмо в холстине и отписку приказал отнесть к святейшему патриарху. Пожалуй, государь, вычетчи пришли ко мне, чтоб мне утре поднесть к патриарху. А в поход он посылать не велел. А к тебе, государю моему, послал для ведома, не ведая того, что такой бы приказ от него был. Опасаюсь, чтоб он на меня не разгневался».

Оловенников считал дело серьезным, так как тут могло быть замешано волшебство и покушение «испортить» царей или правительницу, но Хованский отказался представить «письмо в холстине» царям, однако решил посоветоваться со своим врагом патриархом, хотя и ссылался на какой-то царский указ.

Пока двор находился в Коломенском, Хованский являлся туда с докладами, и внешне все обстояло благополучно. Но чем дальше удалялись от Москвы цари, тем разрыв обозначался все глубже, и тон царевны по отношению к стрельцам и Хованскому становился все тверже. Стрельцы продолжали предъявлять требования о взыскании с полковников и полуполковников, но в ответ вместо немедленного удовлетворения получали только обеспечение исков отпиской на государей вотчин и поместий ответчиков. Например, весь полк Вас. Лопухина требовал с Гр. Титова 2 тыс. рублей, но ничего не получил «до указа». Опять выступили на сцену Поросуков и Лупандин, относительно которых Хованский получил из Саввина монастыря категорический приказ: «Ведомо нам, в. г., учинилось, что на стольнике и полковнике Афанасье Поросукове полку его надворной пехоте по их счету и росписям правят многие деньги немерным правежом... И ты-б, боярин наш князь Иван Андреевич с товарищи, на Афанасье Поросукове полку его надворной пехоте против их счету и росписей денег править и наказанья ему и казни до нашего, в. г., указу чинить не велели, а велели его, Афанасья, сослать в ссылку в которой город пригож и послать его с Москвы с провожатыми, а поместья его и вотчины и дворы московские отписать на нас, в. г.».

Через три дня тон становится еще резче. Категорически было предписано немедленно освободить Лупандина, которого стрельцы держали в оковах, и Поросукова, стоявшего на правеже, а имущество их оценить до государева указа. О ссылке Поросукова уже ничего не говорилось. Из Саввина монастыря в Москву был прислан указ, совершенно неприемлемый для стрельцов: четыре полка надворной пехоты должны были быть готовы к выступлению в Киев на очередную службу. Другие указы из похода настойчиво требовали, чтобы лицам, посылаемым из приказов в поход, не создавалось никаких препятствий в отпуске подвод,[1] т. е. Хованскому предлагалось не мешать сношениям высшей власти с учреждениями и отдельными лицами помимо правительственной комиссии, как это обычно практиковалось при царских походах. Положение Хованского было очень тяжелое, так как трудно представить, чтобы он не знал о разосланной из Саввина монастыря грамоте, в которой он был объявлен государственным преступником. Однако он подчинился царскому указу о приезде ко двору для встречи гетманских посланцев и в сопровождении нескольких руководителей стрелецкого движения (вместо обычного для него отряда стрельцов) отправился в Воздвиженское.

[1] Московского стола ст. 639, лл. 60, 64, 65, 97. Надо отметить, что в то же время Софья старалась задобрить стрельцов выдачей денег. 7 сентября в приказ Большой казны было дано распоряжение выдавать московским стрельцам по 1000 рублей еженедельно, а другие государственные расходы покрывать из остатков (Там же, л. 64 в.).

Не безинтересно отметить, что намерение вызвать к себе Хованского созрело у Софьи еще на пути в Воздвиженское, и на первоначальном проекте грамоты с призывом была пометка «село Хлябово».[1]

М. П. Погодин недоумевает, почему Хованский согласился поехать в Возвиженское, на верную смерть. Но можно сомневаться, предвидел ли Хованский трагический конец своей поездки. В Москве оставалась грозная сила стрелецких полков, состоявшая приблизительно из 13 тыс. хорошо вооруженных воинов, и кроме того солдатский полк и примкнувшие к стрельцам люди всякого звания, всего до 15 тыс. человек. Софья только еще начала собирать ратных людей, и при ней могли находиться в лучшем случае те 2846 московских чинов, которые были зарегистрированы в Троицком монастыре в ноябре 1682 г. Кроме того, в ее распоряжении находился Стремянной стрелецкий полк численностью около 600 человек. Военные материалы приходилось собирать отовсюду; так, из Ярославского Спасского монастыря было прислано в Троицкий монастырь 64 пуда 35 фунтов пороха и 11 пудов 15 фунтов свинца.[2] Перевес сил был на стороне стрельцов.

Хованский имел основания не признавать за собой такой вины, которая каралась бы смертной казнью. Он считал, что имел сдерживающее влияние на стрельцов, и говорил, что «все государство стоит до его смерти», а когда его не станет, то в Москве будут ходить в крови по колено.[3] Приговор, который был прочитан Хованским перед казнью, не содержал в себе обвинений, связанных с майскими убийствами, а касался действий Хованского в качестве начальника Стрелецкого приказа и председателя временной правительственной комиссии, в частности — раздачи казенных сумм, взысканий с монастырей и посадов подможных денег, правежа денег без розыска. Другие обвинения были настолько незначительны, что получается впечатление, как будто спешно собирали все мелочные факты для отягчения участи обвиняемого: хвастал своею службой, не участвовал в церковной церемонии, не сразу отправил в царский поход Стремянной полк и т. д. Обвинение в том, что по вине Хованского не был организован энергичный отпор восставшим башкирам, не удалось документально проверить.[4] Хованским не было предоставлено возможности оправдаться, и убийство было совершено стрельцом, взявшим на себя роль палача. Софья устранила Хованского потому, что его имя так или иначе объединяло стрельцов в опасную для правительства силу. Действительно, ликвидация стрелецких волнений после 17 сентября последовала в самом непродолжительном времени, хотя известие о казни вызвало в Москве энергичный протест.

В день казни из Троицкого монастыря бежал в Москву младший сын старика Хованского князь Иван Иванович, который и сообщил стрельцам, что его отца убили бояре. Перед стрельцами снова встал страшный призрак несметного полчища холопов, идущих под руководством бояр истреблять стрельцов. Стрельцы стали спешно укреплять Москву в ожидании нападения, оцепили город со всех сторон, расставили по улицам караулы и устроили надолбы (загородки из бревен). По словам Медведева, в Москве остались только стрельцы, солдаты и посадские люди; остальные жители в страхе разбежались. Стрельцы захватили на складах оружие (мушкеты, карабины, копья) и

---

[1] Там же, л. 98.
[2] Новгородского стола ст. 322, л. 510.
[3] С. Медведев. Указ. соч., стр. 108.
[4] Приговор Хованским и волнения в Москве после их казни изложены в указ. соч. С. Медведева.

порох и развезли их по полкам. Так как стрельцы были и без того вооружены, то надо полагать, что оружие раздавалось посадским людям, день и ночь стоявшим на караулах у надолб.[1] Стрельцы даже собирались всем ополчением двинуться в царскую ставку для избиения бояр. Стольник Зиновьев, приезжавший в Москву для передачи грамоты патриарху, единственному представителю власти, оставшемуся в Москве, сообщил по возвращении в Воздвиженское о намерениях стрельцов, «како с ружьем ходяще готовятся». «Сами самодержцы убояшася» и заперлись в Троицком монастыре с дворянами и разных чинов людьми. Став на путь открытого неповиновения, стрельцы привлекли на свою сторону все имевшиеся в Москве революционные элементы. Недаром после подавления волнений еще долго разыскивали тех посадских людей, патриарших крестьян и других чинов людей, которые вели среди стрельцов деятельную агитацию. Рознь между стрельцами вызвала споры о дальнейшем образе действий, и было упущено благоприятное время. Стрельцам пришлось поверить обещаниям Софьи дать общую амнистию, и они пошли в Троицкий монастырь с повинной.

* * *

Московские события нашли живой отклик среди значительной части городовых стрельцов,[2] которых можно подразделить на две группы: на стрельцов больших городов — Новгорода, Пскова, Смоленска, Киева и др., устроенных наподобие московских, и на стрельцов небольших городов, расположенных мелкими отрядами и несших только караульную службу. Интересы первых вполне сходились с интересами московских стрельцов, а вторые без помех занимались мелкой торговлей и ремеслами и не имели никаких оснований принимать участие в волнениях, тем более, что правительство поспешило распорядиться, чтобы из местных доходов прежде всего были удовлетворены нужды стрельцов.[3]

Говоря об отзвуках московских волнений среди стрельцов, расположенных в больших городах, надо отметить значительные выступления в южных городах и незначительные в Смоленске, где были расквартированы четыре стрелецких полка, переформированные из солдатских полков. В июле смоленские стрельцы через посредство воеводы отправили в Москву челобитные с жалобами на притеснения полковников, с подробным исчислением понесенных убытков. Чтобы наблюдать за ходом дела, в Москву выехала также депутация из нескольких стрельцов. Рассмотрение челобитной все откладывалось, а когда двор отправился во второй поход в Воздвиженское, смоленским стрельцам был брошен прямой вызов: полковник Мельгунов, имя которого фигурировало в жалобах, был пожалован в стольники. Правда, 5 сентября, когда делами еще заправлял Хованский, в Смоленск была отправлена грамота о присылке полковников в Москву, но было уже поздно — скоро наступил роковой день 17 сентября. В ноябре челобитчики получили ответ, что смоленские стрельцы снова формируются в солдатские полки, но со снижением окладов сравнительно с прежними солдатскими выдачами. В декабре инициаторы

---

[1] В одной из царских грамот от 28 сентября определенно говорится о раздаче оружия «всяких чинов людям» (С. Медведев. Указ. соч., стр. 133).

[2] В настоящей статье нет подробностей о волнениях на юге, так как эта тема разработана в статье Л. Черепнина. Классовая борьба 1682 г. на юге Московского государства («Исторические Записки», IV).

[3] Печатной конторы книга беспошлинная 63, под 3 и 4 июня.

подачи челобитной были отправлены в ссылку; в Полатов под конвоем стрельцов, который, однако, оказался настолько ненадежным, что и его оставили в Полатове. Из дела о смоленских стрельцах видно, что они отставили не только полковников, но и пятидесятников, и на место их выбрали других из своей среды. [1]

Имеются глухие сведения о волнениях в Астрахани и Казани. В Астрахани стрельцы «великим собранием» приступили к воеводе и потребовали снаряжения струга для посылки в Москву челобитчиков. Воеводе пришлось удовлетворить это требование, и группа стрельцов отправилась в путь. К ним присоединились выборные от астраханских казаков. Но до Москвы челобитчики не доехали, так как с дороги были отправлены прямо в ссылку. [2] В Казани дело ограничилось одними угрозами: воеводы писали в Москву, что стрельцы «хотели учинить бунт», а о дальнейшем никаких сведений нет. [3] О московских событиях провинциальные стрельцы узнавали с опозданием и поднимали свой голос лишь тогда, когда дело стрельцов было уже проиграно.

Главная военная сила Московского государства — полки иноземного строя — не приняла в волнениях почти никакого участия. Только полк Кравкова, единственный солдатский полк, находившийся в Москве, примкнул к стрельцам и предъявил претензии к своему полковнику на сумму около 10 тыс. руб. Курские солдаты отправили в Москву депутацию с требованием уплаты денег за прошлые годы. Обращение к правительнице в Коломенском и к Хованскому не имело успеха, и 3 сентября солдаты получили боярский приговор с отказом. [4] Расположенные в мелких южных городах курские солдаты, по словам их полковника Василия Гинтера, вели себя бесчинно, пили и бражничали, озорничали на торгу, кричали на полковника и вырвали у него из рук трость, а когда зачинщики были арестованы, то освободили их. [5] В Смоленске было какое-то движение среди рейтар, из которых несколько человек, в том числе и капитан, были сосланы в Полатов за «воровство, бунтовство и похвальные слова». [6] В Гремячем драгунский атаман Трофим Котов жаловался воеводе, что 30 августа драгун Антип Баженов бил его смертным боем. Призванный к допросу Баженов не запирался и так объяснил свой поступок: «Зашиб де он, Антипка, его, Трошку, от себя за то, что он де, Трошка Котов, говорил похвальные слова: всею де слободою пришод в город и хотел спихнуть воеводу Микиту Карандеева с башни, а подьячего Карпа Семенова поднять на копьи для того, что на Москве де Карандеевых выискивают; а подьячего Карпа Семенова хотел на копья поднять, что де он старый вор». Свидетельские показания подтвердили слова Баженова, и Котов был повешен. [7] Очевидно между ратными людьми в Гремячем существовала такая же рознь, как и в Москве.

---

[1] Смоленские дела, 1682 г., №№ 3 и 9.
[2] Белгородского стола ст. 1039.
[3] ДАИ, X, стр. 159.
[4] Приказного стола ст. 1029, л. 116.
[5] Белгородского стола ст. 1039, л. 139.
[6] Там же, л. 1.
[7] Приказного стола ст. 628, л. 11.

П. Г. ЛЮБОМИРОВ

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ В XVII, XVIII И НАЧАЛЕ XIX ВВ.

Лесопильное производство появилось в нашей стране сравнительно недавно. Первые робкие шаги оно начало делать у нас едва ли более 300 лет тому назад, пильные мельницы начали строить всего лет 250 назад, а окрепла и заняла видное место в экономике государства эта отрасль промышленности около середины XIX в.

Сама пила, как особое орудие, была известна славянам с очень давних времен. По всей вероятности, они усвоили ее от германцев вместе с ее названием еще в общеславянский период жизни.[1] Но употреблялась пила долгое время, очевидно, только для поперечной распилки дерева и совсем не была широко распространенным инструментом. Не только лесоруб и дровосек (показательна уже этимология этих терминов), но и строитель-плотник орудовали топором. Характерно, что для обозначения операций, выполняемых при помощи топора, в русском языке с давних пор существуют самостоятельных корней глаголы — «рубить», «сечь», «тесать», тогда как действие пилы выражается словом, производным от имени самого орудия, — «пилить», да и этот глагол в известной мере новообразование в языке, и пошел он в ход, видимо, только тогда, когда шире стала употребляться пила. По крайней мере во всех примерах, приводимых усердным собирателем языковых фактов И. Срезневским из памятников XI — XVI вв., с названием этого орудия ни разу не сочетается глагол «пилить», а всегда «тереть» — глагол, имеющий свое более широкое и первоначально совсем не связанное с обработкой дерева значение.[2] Как увидим ниже, слова «пилить», «пиловать» не были еще общеупотребительными и в петровскую пору. Точно так же и работающие топором носят имена «дровосеков», «лесорубов», «плотников», а специалисты, действующие пилой, назывались и называются «пильники», «пильщики» по-русски, «тертичники» (от «тереть») — по-украински или «тертинщики» — как их именовали в петровскую пору и в пределах Московского государства.

Лесопильная техника в смысле изготовления при помощи пилы полуфабрикатов в виде досок разных сортов, брусьев и пр. стала известна в Московском государстве едва ли ранее XVII в. Во всяком

---

[1] А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, вып. 10, стр. 58, 1914.

[2] Материалы для словаря древнерусского языка, II, стр. 931. Мне пришлось встретить глагол «пилить» самое раннее в документе 1630-х гг. (А. Яковлев. Приказ сбора ратных людей, стр. 246).

случае в разных материалах, касающихся хозяйственной жизни XVI в., мне не удалось встретить указаний на продольную распилку бревен, ни разу не пришлось обнаружить пильщиков ни в составе специалистов, обслуживающих довольно сложные монастырские хозяйства, ни в перечнях профессий городского населения, ни в группах перехожих рабочих, уже и тогда предлагавших свои услуги в разных местах, иногда довольно удаленных от их жительств. Это поддерживается и приведенными выше фактами из области языка. К тому же выводу направляют и данные XVII в.

От этого столетия имеем первые, очень отрывочные и разрозненные сведения о новой технике заготовки лесных строительных материалов. Но чтобы уяснить себе, почему в эту пору зарождается и почему крайне медленно внедряется у нас лесопильное производство, надобно остановиться в немногих словах на том, что несла с собой новая техника, на смену чему она приходила, в какой хозяйственной обстановке прививалась.

Древняя Русь, имевшая в своем распоряжении громадные пространства лесов, не могла и думать об экономном использовании их. Наоборот, с лесом приходилось вести постоянную и напряженную борьбу. С большим трудом отвоевывали у него небольшие участки под пашню, под сенокосы, и стоило только на несколько лет оставить участок без обработки, как он превращался в пустошь, поросшую лесом. Также с немалым трудом просекались в лесах сухопутные дороги. «Полей», открытых степей было очень мало, и даже в название города, построенного в такой округе, попадало прилагательное, выделявшее его из ряда других — Юрьев-Польский.

Понятно при этом, что в использовании леса для собственных надобностей стесняться было нечего. Хоромы знатных и богатых людей и избы простых «мужиков» в городах и деревнях, церкви и крепостные сооружения в громадном большинстве случаев строились прямо из цельных бревен, вырубленных в лесу топором. Кстати сказать, и в самой постройке, как и в заготовке бревен, пила почти не принимала участия. С топором в руках ладил плотник (или часто сам домохозяин) простую четырехстенную избу, амбар и дворовые постройки. Тем же топором строились и затейливые терема и столь разнообразные и нередко сложные в плане и перекрытиях церкви Московской Руси, причем уже тогда, при топорной технике, были в ходу очень разнообразные способы скрепления бревен в углах и на стыках. Исключительная роль топора в технике строительства нашла себе выражение и в языке. И до сих пор основа всякого деревянного здания — его стены — называется «срубом». О том же говорит и один из специальных терминов тогдашнего крепостного дела — «рубленый город».

Там, где бревна и жерди не годились, употреблялись «тесницы» и доски. Первый из этих терминов, живущий и теперь в форме «тес» и имеющий специальное значение одного из видов пиломатериалов, сохранил в звуковой стороне своей ясное указание на старые приемы изготовления. «Тесницы» и доски в ту пору и долго позже буквально вытесывались топорами или прямо из цельного или из расколотого с помощью клиньев бревна. При этом из бревна получали одну, в лучшем случае две доски, а сколько еще бревен при неправильном расколе шло в брак.[1] Естественно поэтому, что доски были сравнительно дорогим материалом, продавались почти по одной

[1] Ю. Крижанич. Русское государство во второй половине XVII в., разд. III, стр. 51.

цене с бревнами равной длины или даже дороже последних[1] и в постройках употреблялись в не очень больших количествах.

Крыли дома больше всего соломой, затем лубом, берестой (скалой). Даже церкви далеко не всегда имели тесовую крышу. А в частном доме тесовая крыша служила явным признаком зажиточности, даже богатства хозяина. Здесь дело было не только в том, что основной материал — тес — стоил значительно дороже соломы или луба, но он еще требовал более надежных и прочнее слаженных стропил и для прикрепления железных гвоздей, материала, совсем не дешевого в то время.[2] Внутри дома у более богатых людей тес шел на полы, потолки, переборки и т. д. У массы населения изба представляла собой одну комнату, а если отделялась особая «холодная» горница, то прямо заготовлялся сруб-пятистенка. Полы у бедноты были земляные или глинобитные. Потолок, совершенно не видный из-за копоти в большинстве изб, топившихся по-черному (без труб), можно было накатать из жердей или горбылей, обмазываемых для тепла глиной. И, очевидно, только для нехитрой меблировки — столов, скамей, полок и т. д. — нужны были доски, да неизбежные полати едва ли удобно было делать из какого-либо другого материала.

При таком небольшом расходе теса в обычном хозяйстве и при значительных богатствах строевых лесов большинство мелких потребителей из крестьян и посадских могло собственными силами исподволь заготовлять тесницы. Привилегированные верхи использовали для заготовки строительных материалов труд своих холопов и особенно крепостных крестьян.[3] Материалы для постройки мирских церквей обычно и заготовляли миром.[4] Все материалы, необходимые для строения и ремонта «городов», острогов и других оборонительных сооружений, поставлялись обычно в порядке натуральной повинности.[5]

Таким образом, на внутреннем рынке Московского государства не могли обращаться значительные количества лесных строительных материалов. Очевидно, на базе спроса обычного строительства едва ли могла вырасти новая техника производства досок. Ведь распилка, особенно на пильных мельницах, экономя сырье и требуя меньше рабочей силы, должна была дать большее количество и более дешевых пиломатериалов. А массового потребителя еще не было.

Здесь дело было, конечно, не в том только, что потребитель обычно консервативен и медленно меняет свои привычки, а косность московского населения даже в XVII в. так многократно подчеркивалась и более критически настроенными соотечественниками и иностранными наблюдателями. Дешевизна могла пробить и косность. Но

---

[1] См., например, данные о покупках строительных материалов для хозяйства царя Алексея (РИБ, XXI, стр. 305—311).

[2] Эта связь тесовой крыши с железными гвоздями также нашла себе отражение в специальной, выработавшейся еще тогда, но жившей до последнего времени терминологии: особые сорта гвоздей так и назывались «однотес», «двоетес», т. е. годные для прибивки одной, двух тесовых досок.

[3] См., например, данные о хозяйстве стольника Безобразова (А. Новосельский. Вотчинник в его хозяйстве в XVII в., стр. 95, 107, 137, 138, 1929 г.). В хозяйстве царя Алексея заготовка тесниц, лубов, драниц и пр. также проводилась силами приписанных к Тайному приказу крестьян (см., например, РИБ, XXI, стр. 1015—1018, 1023—1024, 1081, 1110, 1328, 1329 и др.); привлекались к этому делу даже стрельцы (там же, стр. 1059—1060).

[4] М. Богословский. Земское самоуправление на русском севере в XVII в., стр. 11, 23—25, 1912 г.

[5] Подробности можно найти в работе А. Яковлева. Засечная черта Московского государства в XVII в., М., 1916. Очень характерно указание, что собираемые для работы пешие «деловцы» должны были явиться только «с топоры и заступы и с лопаты» (стр. 68).

это должна была быть дешевизна товара, приобретаемого за деньги. Между тем покупательная способность массы населения была очень невелика; деньги, естественно, тратились на приобретение прежде всего таких товаров, которых нельзя было произвести дома, а личный труд, особенно для себя, почти совсем не ценился: найти применение рабочим рукам на стороне не всегда было возможно. Верхи, пользовавшиеся чужим трудом, также, естественно, должны были предпочитать бесплатный тес, получаемый от своих «подданных», покупным пильным доскам.

А между тем введение новой техники требовало нового инструментария, которого не было или почти не было в государстве, квалифицированных рабочих, которых нужно было взять извне, наконец, вложения средств, и при строении пильных мельниц довольно значительных.[1] Рисковать ими, вводить новшества, добывать рабочих — все это можно было только при наличии обеспеченного, и притом более или менее крупного, спроса на доски и другие виды пильных строительных материалов.

Другой вид лесопильного производства — ручная распилка, конечно, в малой степени связывается с рынком. Производительность труда здесь возрастает совсем не так значительно в сравнении с вытесыванием досок, как на пильных мельницах. Но экономия сырья и, значит, труда на его заготовку и при ручной распилке очень заметна. В результате достигается удешевление продукции сравнительно с тесаными досками. Однако важнее то, что для получения потребного, например для постройки, количества досок при распилке нужно иметь меньше бревен, чем пошло бы их на выделку «топорных». Вследствие отмеченных своих особенностей ручная распилка представляла особый интерес для самих потребителей, и особенно в районах с недостатком строевых лесов. Но и здесь против новшества в выработке досок выступали обилие лесов на громадной части территории и дешевый для господ, а то и даровой, «топорный» тес, заготовляемый их «людьми» и крестьянами. Зачем же было тратить хотя бы и небольшие деньги на приобретение специальных пил, искать умеющих ими действовать рабочих? Где были условия для появления вольных перехожих пильщиков?

В XVII в., когда у нас зародилась новая техника выработки досок, общая обстановка у массы мелких потребителей строительных материалов изменилась мало. Я нарочно, говоря о древней Руси, использовал материалы только XVII в. Они не исказили картины, характерной для предшествовавшего времени, за исключением немногих не существенных для данного вопроса подробностей, и вместе с тем показали и на вольном рынке и в массе частных потребителей обстановку, не благоприятствующую быстрому и широкому внедрению новой техники. Конечно, чем ближе к концу XVII в., тем более и более истреблялись леса, особенно в исстари заселенных районах. Но страдать от недостатка строевого леса почти нигде не приходилось. С другой стороны, по мере продвижения крепостной черты и вольной колонизации на юг, русские поселки понемногу выдвигались на малолесный чернозем, где вопрос с строительными лесными материалами ставился более серьезно. Но здесь на выручку шла из Слободской Украины новая форма строительства, смягчавшая недо-

[1] Это последнее обстоятельство настойчиво подчеркивает один автор середины XVIII в. (см. заметку «Описание пильной мельницы, действуемой конской силой...» в июльской книжке «Ежемесячных сочинений и известий о ученых делах» за 1763 г., стр. 36—41).

статок бревен без особого упора на доски. Однако и в этом районе мы не наблюдаем в XVII в. заимствования из той же Слободской Украины ручной распилки, которую слобожане принесли из Украины гетманской. Вот со времени зарождения в последней лесопильного производства мы и можем начать следить за проникновением к нам новой техники.

II

В отношении Украины нас в данном обзоре должна прежде всего интересовать ее восточная часть — Гетманщина, с середины XVII в. соединенная с Московией, и Слободская Украина, созданная выходцами из Поднепровья в верховьях Северного Донца.

По Люблинской унии 1569 г. литовская часть Украины отошла к Польше. Польская шляхта и паны получили возможность приняться во-всю за использование естественных богатств этой части Украины и эксплоатацию ее сельского населения. Дело в том, что в Польше в XVI в. шел усиленными темпами процесс хищнического использования почвы и лесов в связи с ростом спроса на хлеб, потом и на строительные материалы (для зданий и особенно кораблей) в Западной Европе. По мере истощения богатств Польского государства алчные взоры шляхты все больше обращались на восток, на мало использованные леса и девственную во многих частях почву литовской Украины, и все настойчивее ставила Польша вопрос об унии с Литвой с предоставлением шляхте и на новой территории тех же привилегий, которые она завоевала себе в Польше. И когда вожделения эти, наконец, увенчались успехом, в интересующей нас части Украины стало водворяться типичное (пожалуй, еще более хищническое, чем в Польше) хозяйство шляхты, использовавшей труд закабаляемых «хлопов».

В данной связи важно напомнить, что в Приднепровской Украине леса вообще сосредоточены только в северной части. Между тем погоня шляхты за тучным нетронутым черноземом и стремление крестьянства к воле в свободной степи создавали в XVI и XVII вв. сильное движение на юг по обеим сторонам Днепра и особенно на восток. И если еще раньше к Киеву подвозились с севера лесные изделия и строительные материалы, то теперь подвоз их на юг принял еще более широкие размеры.

Правда, в малолесных районах Украины выработался свой тип постройки, почти без использования бревен. Это хорошо всем известная плетневая, обмазанная глиной хата с глиняным полом и соломенной крышей. Плетни вместо заборов, плетневые хлевы и другие хозяйственные постройки, даже крепостные сооружения из плетня — явные показатели недостатка в настоящем строевом лесе, настоятельные побуждения его экономить. Но ведь и в хате нужно хотя бы одно бревно для поддержки потолка, нужны колоды для дверной рамы, доски на скамьи, стол и т. п. А в городах и в панских покоях еще большая потребность в бревнах и досках из них.

В такой обстановке, естественно, техника, сокращающая расход строевого леса и удешевляющая такой материал как доски, должна была найти применение. Пришла в Украину распилка бревен, по всей вероятности, из Германии через Польшу, имевшую в XVI в. прочные торговые связи и деятельное культурное общение с немецкими государствами.

Новая техника утвердилась на Украине в формах ручной распилки; пильные мельницы появились, по материалам, собранным историком хозяйства Гетманщины, только около середины XVIII в.

Когда именно проникла распилка леса на Украину гетманскую, сказать при состоянии наших источников невозможно. Первые упоминания о «тертичниках» встречаются с середины XVII в. К первой половине этого века ведет и то обстоятельство, что выселившиеся в самой середине века с Украины днепровской на Северный Донец слобожане принесли с собой ручную распилку на новую родину. От XVI в. сведений о «тертичниках» не имеем.

Эта форма производства пиломатериалов явно рассчитана прежде всего и главным образом на удовлетворение непосредственных нужд самих потребителей. Сами пильщики едва ли могли располагать средствами, чтобы организовать производство для рынка с закупкой бревен, с ожиданием покупателя. Ремесло служило им средством прокормления. Не видим и объединения «тертичников» предпринимателями, которые бы, превратив производителей в наемных рабочих или заставив холопов работать в порядке барщины над барским сырьем, поставляли на рынок ходкий полуфабрикат. Да и предпринимателю, желающему работать на широкий сбыт, проще всего было бы наладить производство досок, брусьев и пр. на пильных мельницах, существовавших на Западе во всяком случае не позже начала XVII в.

В том-то и дело, что регулярного массового спроса на пиломатериалы на Украине в интересующих нас пределах, очевидно, не было. Вывоз за границу из Приднепровья, даже из Полесья и Волынщины не мог быть рентабелен за отсутствием прямых водных путей к Балтийскому морю, а сухопутная перевозка такого громоздкого и нелегкого груза, как строительные материалы, была слишком дорога, даже и на небольшие сравнительно расстояния.[1]

Иначе складывалась обстановка в Московском государстве XVII в. Как мы уже видели, здесь нигде не стоял так остро вопрос с строевым лесом, как в южных частях Украины, и московский крестьянин, не щадя древесины, попрежнему заготовлял топором лес для себя и для господ. Даже значительные по тогдашним масштабам постройки в хозяйстве царя Алексея Михайловича довольствовались бревнами и топорными досками.

Поэтому здесь негде было привиться и не на чем было развиться ручной распилке. Единственный пильщик, зарегистрированный в Москве в 1638 г. на 2 тыс. слишком человек, занятых производственным трудом, — лучший свидетель случайности такой профессии даже для столицы. Точно так же случайным одиночкой выглядит «пильник» в перечне разных специалистов, обслуживавших Покровский девичий монастырь в Суздале в конце 1620-х годов, тогда как в Суздальском же Евфимиевом мужском монастыре совсем не было пильщиков. Даже в таком крупном торговом центре с заметным судостроением как Нижний Новгород, ни писцовая книга 1621—1622 гг., ни переписная 1678 г. не отметили ни одного пильщика. Не менее показательно, что в хозяйстве очень крупного торговца и промышленника М. Строганова, представителя семьи, совсем не чуждавшейся технических новшеств, а, наоборот, охотно их усваивавшей, не оказалось в 1627 г. не только специалистов по распилке, но даже и пил в довольно богатом наборе «всякой железной

[1] Общую характеристику хозяйства Украины см. у М. Грушевського. Історія України-Руси, VI, гл. I и II, К., 1907; специально вопрос о лесе освещается на стр. 182—191. На крайнем западе Украины распилка водворилась гораздо ранее — см. упоминание тартачников в составе ремесленников в Львове в конце XV в. (там же, стр. 134), тартаков (стр. 224 и в др. местах). О Слободской Украине см. в «Топографическом описании Харьк. наместн.», стр. 61, М., 1788.

рухляди».[1] Несколько ниже мы увидим, что и в самом конце XVII в. пильщик еще не стал фигурой, обычной в бытовой обстановке Московской Руси.

Очевидно, здесь лесопильное производство должно было зародиться в сфере более крупного и постоянного потребления или спроса лесных строительных материалов. Такие условия сложились раньше всего на возникших в Московском государстве заводских предприятиях.

В 1630-х годах к югу от Москвы на речке Тулице, притоке Упы, в 15 верстах к северу от Тулы, на Городище был устроен первый на Руси доменный и молотовый «вододействуемый» завод. Затем появились — каширский молотовый завод на Скниге, притоке Оки, недалеко от Каширы, и вепрейский доменный на Вепрейке, также притоке Оки, между Тарусой и Алексиным. Доменные и молотовые заводы требовали для постройки и ремонта мастерских и разных складских помещений, для сооружения плотин, ларей, «труб дощатых», желобов к колесам и довольно сложных механизмов, передающих движущую силу воды мехам, молотам, сверлильным станкам, большого количества строительных материалов, тогда сплошь лесных Причем расход их был значительным не только в период постройки, но и во время эксплоатации — на текущий, случайный и периодический (в части плотин по веснам) ремонт. Понятно, что удешевление брусьев, досок разных сортов и пр. имело здесь большое экономическое значение. Строителями и эксплоататорами названных заводов были иноземцы-голландцы А. Виниус и П. Марселис. А Голландия была тогда одной из передовых стран, если не самой передовой, по развитию техники и, в частности, лесопильного дела. Руководителям заводов, все равно привозившим из-за границы части оборудования и приглашавшим мастеров для домен и молотовых, легче всего было попутно ввезти инструменты и вызвать инструкторов для нового в Московской Руси лесопильного производства.

Имеющиеся о заводах материалы не указывают, к сожалению, когда и как была организована распилка леса на этих заводах с самого начала их действия. В 1660-х и позже в 1690-х годах описания не отмечают пильной мельницы; распилка велась, очевидно, вручную большими пилами в 2½—3 аршина длиною (т. е. такими же, какие употреблялись пильщиками и позже). Руководителем этого производства в 1660-х годах был «пильник» или «пильного дела мастер» Анисим Юрьевич Трофимов, по всей вероятности русский, но в эти годы встречаются русские мастера на заводах и по другим специальностям; был ли Трофимов и с самого начала мастером или раньше действовал тут иностранец, быстро обучивший русского ученика нехитрому мастерству, к сожалению, не знаем.

Точно так же и на царских железных заводах в Звенигородском уезде, пользовавшихся, кстати заметить, мастерами с заводов Марселиса, видим в конце 60-х годов и в начале 70-х «пильников» в количестве восьми человек. Эти данные заставляют думать, что и на других доменных и молотовых заводах центра была в ходу распилка бревен для собственных надобностей, хотя прямых указаний

---

[1] М. Довнар-Запольский. Торговля и промышленность Москвы в XVI—XVII вв. (сб. «Москва в ее прошлом и настоящем», вып. VI, стр. 59—60); о Суздале см. в статье В. Георгиевского.Užд.-Ризполож. женск. монастырь («Труды Владим. уч. арх. ком.», II, прилож. 9—10, 1900); о Нижнем — РИБ, XVII; о Строганове — А. Введенский. Торговый дом XVI—XVII вв., стр. 30—51 и др., Л., 1924; см. его же. Служащие и работные люди у Строгановых в XVI—XVII вв. («Труд в России», I, Л., 1924).

на это и не имеется. А для медеплавильных заводов, которые потребляли меньше строительных материалов и были устроены в изобиловавшем лесами Заонежье, по крайней мере в период их организации, «тес тесали» прямо на месте заготовки бревен.[1]

Остальные мануфактуры Московского государства XVII в., как стекольные заводы, бумажные мельницы и пр., не потребляли такого количества строительных материалов, чтобы стоило для них держать пильщиков.

Другой сферой, где лесопильное производство — уже на пильных мельницах — более крепко стало на ноги, был экспорт.

Еще в XVI в. англичане, появившиеся в Московском государстве через Белое море, а вскоре за ними и их конкуренты — голландцы—наладили вывоз из России леса, главным образом для постройки кораблей. Закупали его в виде бревен, а распилку проводили уже у себя дома. Легко было сообразить, с одной стороны, самим экспортерам, а с другой, и русским торговым людям или торговавшим на Руси иноземцам поставить распилку в районах заготовки бревен. Тогда первым не нужно было бы перевозить на большие расстояния части древесины, шедшие потом, при распилке, в отбросы. Вторые могли бы получать прибыль не только от заготовки бревен, но и от самой распилки. Поэтому неудивительно, что мы рано встречаем по крайней мере проекты организации производства досок для экспорта.

Еще в 1624 г. три амстердамца через хорошо известного московскому правительству Исаака Массу представили просьбу разрешить им в течение 20 или 30 лет на Северной Двине «пилами, которые водяными мельницами трут, и ручными пилами лес тереть на доски и на иное дело» для отправки за море. Соблазняли они тем, что будут платить пошлины, что кроме своих нидерландских людей «человек з десять» они будут «к тому делу наймовать русских людей деловцов», конечно, обучая их новой технике, и что потом и сами русские по их стопам наладят выгодное производство. Предложение это, видимо, не было принято правительством, очень робким на новшества. Во всяком случае об осуществлении этого начинания мы ничего не знаем. Позже, при Алексее Михайловиче, в противоположность отцу очень увлекавшемся всякими хозяйственными (и иными) новинками, шла речь об устройстве, повидимому, царской лесопильни. В делах Тайного приказа сохранилась коротенькая запись под 25 июня 1666 г. о посылке к Архангельску полковника Г. фон-Каппена (Кампена) для розыска руд, слюды, соляных растворов и, между прочим, «рек, на которых мельницы строить для растирки лесу при лесных местах». Не знаем, почему и на сей раз из этого проекта ничего не вышло.[2]

Прошло еще 25 лет, в течение которых мы ничего не слышим о пильных мельницах. Почему-то ни иноземцы, знакомые с техникой распилки, ни русские торговцы, которым при их связях с иностран-

---

[1] Подробности о заводах Марселиса и медных см. в изданных Археографической комиссией АН материалах: «Крепостная мануфактура в России», ч. I — Тульские и Каширские, ч. II — Олонецкие медные и железные заводы, 1930—1931; о пильном деле в ч. 1, стр. 71, 73, 80, 95, 121, 122 (напрасно в указателе и в таблице личного состава Трофимов и Юрьев разъединены); о заготовке теса в ч. 2, стр. 15, 36 –41, 54, 60, 61, 77, 80 и 95. О царских заводах см. статью Н. Баклановой. Звенигородские железные заводы в XVII в. (сб. «Московский край в его прошлом», ч. 2, стр. 91—101, М., 1930); упоминанье «пильников» см. в РИБ, XXIII, стр. 31—32, 43, 161, 249).

[2] О проекте 1624 г. в ст. В. Кордта. Очерк сношений Московского государства с республикой Соединенных Нидерландов по 1631 г. («Сб. Русск. Истор. Общ»., CXVI, стр. CCCIV); о 1666 г. — в РИБ, XXI, стр. 1218. Кампен неоднократно упоминается и позже.

цами не стоило особого труда познакомиться с нею, не занялись в эти годы лесопильным производством. И только в самом конце XVII в., в годы, когда уже явно обозначилась ломка старого уклада, мы встречаем первые указания на лесопильные мельницы на Поморском севере.

К сожалению, наши материалы и здесь очень скудно освещают новое в области техники на Руси явление, не отмечают дат появления первых мельниц, не сообщают подробностей их устройства. Наиболее старый документ — грамота 1691 г. — сразу знакомит нас с построенными уже, но по всей видимости недавно, тремя пильными мельницами в районе Архангельска («города» по терминологии нашей грамоты и других тогдашних документов).

Пильная мельница с необходимой прочной плотиной, с механизмами, на которые шло между прочим несколько пудов железа[1] — материала не дешевого в то время, была доступна людям с достаточными средствами. И среди строителей первых мельниц видим крупных предпринимателей того времени. Это были коммерсант и владелец Олонецких железных заводов Розенбуш фон-Бутенант, гость, т. е. купец первого ранга, Василий Груддын, имевший земельные владения и торговые дела, в частности и в Поморье, и холмогорец Ос. Адр. Баженин с братом, родоначальники крупной торгово-промышленной фирмы на Севере.

Относительно цели организации на Руси новых предприятий наш документ не оставляет никаких сомнений. Это — поставка для экспорта. Грамота устанавливает «с продажи досок иметь с продавцов и купцов (т. е. покупателей), кто у них те доски у города (разумеется Архангельск) купит, таможенные пошлины по торговому уставу, а будет у них те растиранные доски в продаже у города не будут, а будут в отпуску за море и им... с отпуску за море (разумеется, когда сами производители отправят продукцию в Европу) платить вместо пошлин... со 100 досок по 26 алтын 4 деньги». Эта связь производства с экспортом подчеркивается в отношении мельницы Бажениных и в более поздних документах.

В них же находим и небезинтересные подробности относительно действовавшей водой лесопилки. Устроена она была в родовой вотчине Бажениных в деревне Вавчуге на речке того же имени, впадающей в Северную Двину в 13 верстах от Холмогор, «с немецкого образца», однако «без заморских людей, собой». «Немецкий» здесь, очевидно, надо понимать в его общем московском смысле, т. е. в смысле «европейский». И скорее всего образцом для русской лесопилки послужили голландские, так как Поморье с середины XVI в. и особенно усиленно со второй половины XVII в., с изгнанием англичан, торговало именно с голландцами. В 1703 г., когда Петром издан был указ о береженьи лесов на Двине у Архангельска, Баженины исхлопотали разрешение на покупку или вырубку для своих надобностей по 4 тыс. деревьев ежегодно. В это время кроме пильной мельницы Баженины имели верфь. Поэтому часть леса, вероятно, без распилки шла на строение кораблей. Если отбросим на это тысячу, даже полторы тысячи бревен, то и 2½—3 тысячи бревен в год — хорошая, как увидим из сравнения с данными XVIII в., производитель-

[1] В середине XVIII в. одним из преимуществ пильной мельницы с конным приводом, сконструированной Соймоновым, считали то, что она требовала всего 8 пуд. железа («Ежемес. сочинения», 1763, июль, стр. 40). На строение двухрамной лесопилки при Екатеринбургском казенном железном и медном заводе, где железа не жалели, пошло свыше 200 пуд. железа, не считая гвоздей. (В. Геннин. Рукоп. работа об Уральских горных заводах в архиве Госуд. Истор. Музея, стр. 318—320).

ность одной из первых лесопилок в России. К сожалению, не знаем, сколькими рамами и пилами действовала она, и какова была ее потребность в рабочей силе. По описанию мельницы Ос. Баженина, в 1724 г. на ней было 8 наемных рабочих; по сопоставлению с более поздними данными надо думать, что она была двухрамной, тем более что парность рам была обычной на лесопилках XVIII в. и связана с их технической конструкцией. Если же наши предположения верны (а они во всяком случае очень вероподобны), то мы получаем возможность выразить производительность баженинской пильной мельницы, хотя бы и очень приблизительно в отношении других более интересных для нас единиц: 1250—1500 бревен на раму или 300—375 бревен в год на одного рабочего — это очень неплохие показатели даже и для XVIII в. и во всяком случае гораздо более высокие, чем при вытесывании досок топором или при ручной распилке.

При производительности в несколько тысяч бревен в год пильные мельницы, естественно, могли создаваться и расти только в условиях солидного и обеспеченного спроса.[1]

В свете всего материала о предшествующих временах данные грамоты 1691 г. производят впечатление, что тогда пильные мельницы были новостью для Московского государства. Да и устроителям их было естественно обратиться к правительству с челобитьем о пожаловании именно сейчас же по постройке. О том, что лесопилки в 1690-х годах были новостью, свидетельствует, повидимому, и особое внимание к предприятию Бажениных со стороны молодого Петра, специально заехавшего на их мельницу «ради осмотрения» на обратном пути из Архангельска осенью 1693 г.[2] А вскоре правительство развернуло широко распилку в связи с нуждами судостроения.

Постройка судов не была, конечно, новостью последних лет XVII в. Русские люди искони пользовались судами и лодками на реках и морях. В XVII в. можно было бы указать ряд пунктов, где регулярно, из года в год, и в более или менее заметных количествах, строились суда. Но никогда и нигде до этого судостроение не развертывалось так широко, как в 1690-х годах в районе Воронежа.

Два обстоятельства толкали к введению здесь распилки. Во-первых, с постройкой судов для Азовского похода нужно было очень спешить. А распилка, даже ручная, была более продуктивной, чем вытесывание досок топорами. Весьма существенно было и то, что ценного строевого материала — корабельного дуба — не могло быть в воронежских лесах в неограниченном количестве. А Петр ведь задумывал не только поход под Азов, но и строение флота, в случае удачи предприятия, для Азовского и даже Черного морей. Экономия древесины при распилке была слишком очевидной, чтобы ею пренебрегать.

Однако новое производство налаживалось медленно. В самом начале сильно давали себя чувствовать и недостаток необходимого инструмента — пил — и малое количество знающих рабочих. Так в начале воронежского корабельного строительства инструкция «кум-

[1] ПСЗ, III, № 1411; IV, № 1749 и XVI, № 2066; о Бутенанте сведения есть и у И. Гамеля. Описание Тульского оружейного завода, стр. 41—42, М., 1826; в примечаниях к «Письмам и бумагам имп. Петра Великого», I, стр. 21, 43, 195, 494, 512—513, 575 и 585 и в указанном издании Археографической комиссии АН, I, стр. 299 (под именем Бутмана), II, стр. 143—198. О Грудцыне — у М. Богословского. Указ. соч., II, стр. 106—107; «Описание актов гр. Уварова», I, отд. III, № 280. О Бажениных — у М. Богословского. Указ. соч., II, стр. 107 и в статье Н. Попова. Осип Андр. Баженин («Древняя и Новая Россия», 1874, сентябрь и октябрь).

[2] «Летопись Двинская», изд. А. Титовым, стр. 71.

панствам», давая наказ «зело лесов беречь и бережно колоть в доски и в иные надобья» и потому «тот лес вдоль и поперек тереть пилами», должна была сделать очень существенную оговорку: так как «в скорых числах такое множество пил сыскать негде», то в первое время строить суда и из топорного (т. е. тесаного или колотого топором) леса. Но кто в будущем году «сделает судно из тесаного, а не из пильного (леса), и таких судов принимать у них не будут и сверх того положена будет пеня». Поэтому предписывалось «в предбудущий год конечно» пилы «везде изготовить». Но так как собственными силами «кумпанства» не смогли бы разрешить этой задачи по недостатку пил в стране, правительство предложило им вносить деньги в адмиралтейство, которое должно было заказать и закупить пилы за границей. Мы знаем, что находились и русские кузнецы, которые брались делать «в своем железе и в уголье» всякие инструменты, в том числе и «пилы с укладом, для того, что пилы делаются из стали». Однако больше приходилось рассчитывать на заграничного производителя. И, например, «киевскому жителю мещанину торговому человеку Михаилу Николаеву» давалось поручение купить «к корабельному строению в Шленску и в иных немецких городах... пил разных рук (разных сортов), какими пилами деревья растирают: 28 кран-пилы, что стоючи трут, 28 трен-пилы, что сидючи трут, 100 пил по $2^1/_4$ аршина, 100 пил по 2 аршина, всего 256 пил».

Приходилось позаботиться и об обучении искусству распилки. Хотя для строения флота в Воронеже были собраны плотники из разных районов Московского государства, все же среди них, видимо, находилось мало опытных пильщиков и нужно было приглашать их со стороны. Те же материалы о построеньи воронежского флота показывают нам учителей «пиловального» искусства, например, «черкаспертинщиков» Стеньку Федорова с товарищами, «которым от ученья русских работных людей 6 человек, что они учат их тертинному делу», давали по деньге с сажени.[1]

При той громадной потребности в досках, брусьях и прочих материалах, которая ощущалась в районе судостроения, ручной распилки, конечно, было недостаточно. Однако пильная мельница появилась в Воронеже не сразу. Насколько можно судить, первоначально была оборудована лесопилка на Яузе у села Преображенского, упоминаемая как действующая в начале 1696 г. Интересно, что пиломатериалы посылались и к Воронежу, хотя едва ли ее задачей было обеспечение именно и прежде всего тамошнего судостроения. В том же 1696 году был поставлен вопрос о постройке водяной лесопилки и в районе Воронежа; вследствие разных неудач она вступила в строй только в 1698 г.

Строительство пильных мельниц требовало обеспечения специалистами. Еще до путешествия Петра за границу были приглашены из Голландии мастера по постройке и эксплоатации пильных мельниц, но прилагались заботы и о подготовке собственных кадров. Учить русских должны были и выписанные из-за границы специалисты, причем уже в 1697 г. на запрос о том, держать ли «иноземца-терщика», работавшего на испортившейся тогда яузской мельнице, Петр отвечал: «Есть ли и без нево умеют, — отпустить». С другой стороны, в числе обучавшихся разным мастерствам в Голландии в 1697 г. указывают «Якима-моляра да дьякона», учившихся «всяким

[1] С. Елагин. История русского флота, Период Азовский. Прилож. I, стр. 204, 249, 268, 371 и др. В тексте самого исследования дана подробная история судостроения в Воронежском районе по 1711 г.

водяным мельницам и отъемам»; по всей вероятности, в числе этих «всяких» были столь важные тогда пильные. Таким образом, уже в конце XVII в. у нас появились собственные специалисты лесопильного дела, прошедшие выучку у иноземцев на Руси или за границей.[1]

Итак, в XVII в. лесопильное производство было известно и на Украине и в Московском государстве: на Украине — только в форме ручной распилки, в Московии — и на вододействующих пильных мельницах. При этом отсталая Московия, обратившись за «технической помощью» в Голландию, сразу усваивала передовую технику в области лесопильного дела.

III

В XVIII в. развитие лесопильного производства в России шло очень медленно и притом неравномерно. В первой четверти века, благодаря специальным мероприятиям Петра, оно двинулось вперед относительно быстро, но, как увидим ниже, успехи эти были непрочны.

Внимательный к одному из любимейших детищ своих — флоту, Петр заботился об обеспечении его на будущие времена строевым лесом. И вот в разных местах, особенно в районах произрастания ценных для кораблестроения пород, были «заказаны» леса, появился штат их хранителей, под угрозой штрафов запрещалось рубить строевые деревья, устанавливались сроки вырубки, где она была необходимой, и т. д. Словом, намечались первые шаги в области рационального использования лесных богатств государства. В борьбе за охрану ценной древесины Петр выступил против народных привычек и народных предрассудков и, пропагандируя распилку, запрещал употреблять для погребения гробы из цельных колод, требовал изготовления мебели только из пильных досок.[2]

Понятно, что для казенных потребностей, особенно для строения кораблей, старались употреблять пильные материалы, и у верфей всюду строились пильные мельницы, обычно водяные. В самом начале столетия, когда энергично продолжалось строительство в Воронежском крае, там появилась «новая» мельница, у Воронежа, причем старую было предположено перенести на р. Осередь; потом построена еще одна на р. Белый Колодезь, третья — в с. Ступино, а когда строительство было налажено в самом Азове, то вблизи поставили, очевидно за отсутствием подходящей речки, «ветряную пиловалную» мельницу. После первых крупных удач на Балтийском фронте, где, кстати сказать, около «Шлютелбурха» (т. е. Шлиссельбурга) и на Неве близ Нотебурга были получены в наследство от шведов пильные мельницы, лесопильное дело развивается в Северозападном крае — у р. Свирь (в Олонце), около Невы. С утверждением России у Финского залива в Петербурге основывается адмиралтейство, и для его надобностей создается сначала на Васильевском острове, потом на Ижоре ряд пильных амбаров, видимо очень большой общей мощности. Так в период военных действий, в 1715 г., здесь состояло 279 рабочих, да еще ведавший ими Крюйс требовал в добавку 820 чело-

---

[1] С. Елагин. Указ. соч., прилож. I, стр. 43; Описание документов и бумаг Моск. арх. мин. юстиции, XIV, стр. 94—95; Письма и бумаги имп. Петра В., I, стр. 549, 33, 59, 141, 643, 705, 706, 187.

[2] О запрете рубки леса одно из ранних распоряжений 1703 г. — см. Доклады и приговоры Правит. сената, II, ч. 1, стр. 211—212; позднее и подробнее — в вальдмейстерской инструкции. О гробах и мебели — в ней же (ПСЗ, УП, № 4379, пп. 10 и 20).

век, считая, конечно, разгружавших лес, переносивших доски и пр. В мирные годы, с 1725 по 1726 гг., на Ижоре числилось 135 мастеров и учеников. Когда в 1718 г. в связи с намеченным изучением Каспийского моря и подготовлявшимся персидским походом было усилено судостроение в Казани, то и там, по предложению «мельничного мастера» Дирика фан-дер Дюзина, решено было вдобавок к имевшейся одной пильной мельнице построить еще две, чтобы выполнить данное Дюзину задание «пиловать 20 000 досок к строению новых кораблей».

Потребности флота вызвали строение новых пильных мельниц и вдали от верфей, в районе дубовых лесов. С самого начала века встречаем упоминания казенных пильных мельниц в Алатырском уезде на р. Пьяна, в Вадской и Сергачской волостях. С этих мельниц доставляли пиломатериалы «к шмаковому делу, которое делают в Казани»; с них же позже предписывалось «возить в Санкт-Петербург пиловальные доски на корабельное строение и на пушечные станки»,[1] так как около Петербурга не было дубовых лесов.[2]

В районе Архангельска на речке Ширшема казенная водяная пильная мельница была устроена (в 1706 г.) первоначально с коммерческими целями — готовить доски для сбыта за море. Вскоре в казну была взята вторая, ветряная, пильная мельница на Моисееве острове, сооруженная иноземцем Артманом. Но в 1710 г. и позже мельницы, состоя в ведении адмиралтейского приказа, очевидно обслуживали архангельскую казенную верфь и, может быть, только излишки продукции сбывали за море. В 1721 г. была построена здесь новая казенная мельница на Бору, тогда как артманская, видимо, уже перестала существовать.[3]

К сожалению, и для петровской эпохи мы не имеем ни полного перечня всех лесопилок, ни данных о направлении их продукции. Но если коммерческий дух захватывал, хотя бы частично, даже казенные предприятия у Архангельска, то для продолжавшей существовать мельницы, а к 1724 г. двух мельниц, Бажениных поставка пиломатериалов за границу оставалась главной целью и теперь, как и в XVII в., хотя у Осипа Баженина была уже и собственная верфь, конечно обслуживаемая его мельницей.[4] Были ли в районе Архангельска еще другие частные пильные мельницы, кроме баженинских и названной выше иноземца Артмана, мы не имеем сведений.

Конечно, в расчете на сбыт в Европу построил пильную мельницу в Нарве известный деятель и делец петровской поры Меньшиков. Работу на экспорт нужно предполагать также и на мельницах Петербургского района. Здесь кроме казенной Ижорской к 1726 г. было около десятка пильных мельниц (в том числе две Меньшикова на р. Назья и в Ораниенбауме). Но они же, очевидно, доставляли пиломатериалы и для строительства Петербурга, продолжавшегося с 1703 г.

---

[1] Для надобностей пушечного строения в Москве и дворцовых потребностей, вероятно, и работала упоминавшаяся раньше мельница на р. Яузе, около столицы.

[2] С. Елагин. Указ. соч., прилож. II, стр. 405, 406; Письма и бумаги имп. Петра В., прилож. II, стр. 226, 371, 651, 101; прилож. III, стр. 380; прилож. IV, стр. 994—995; прилож. V, стр. 465; Доклады и приговоры Правит. сената, прилож. I, стр. 293; прилож. II, ч. 1, стр. 80—81; Архив исторических и практических сведений (Калачева), кн. VI, отд. III, стр. 4; И. Кириллов. Цветущее состояние Всероссийского государства, I, стр. 22; «Собрание разных записок и сочинений о жизни Петра Великого» Ф. Туманского, ч. 9, стр. 25—26, 74, 127, СПб., 1788.

[3] Собр. грам. Колл. Экон., изд. АН, II, № 129; С. Елагин. Указ. соч., прилож. II, стр. 409, 410, 418; Доклады и приговоры Правит. сената, I, стр. 300; Ленинградский центрархив, Фонд комиссии о коммерции, № 604 (по Кайданову).

[4] Н. Попов. Указ. ст., стр. 8—9, 124.

в течение всего царствования Петра. Видимо, на потребности столицы и на ее порт работали и отмеченные Кирилловым две лесопилки в Новгородском уезде, расположенные на р. Сясь и близ Вышнего Волочка, т. е. как раз на водных путях к Петербургу.[1] И все же даже обеспечение столицы пиломатериалами не было достаточным; даже на казенные постройки приходилось употреблять топорный лес.[2]

Если так обстояло дело на глазах у пропагандировавшего распилку Петра, то нельзя, конечно, ожидать, чтобы лучше было в других местах. При всей возможной неполноте наших данных все-таки очень заметно, что кроме лесопилок, связанных с верфями и портами, в стране очень мало было лесопильных заведений, да и из этого небольшого числа иные совсем не работали на рынок.

Как и в XVII в., крупные промышленные предприятия обеспечивали себя пиломатериалами собственного изготовления. Так, при вновь выстроенном Екатеринбургском железном и медном заводе знаем двухрамную пильную мельницу, которая должна была по плану Геннина давать 1152 бревна распила в год или, считая 288 рабочих дней в году, по 4 бревна в день при 12-часовом рабочем дне.[3] Нельзя думать, чтобы этот завод был исключением. Доменные и молотовые предприятия истребляли столько леса на топливо и на нужды строительства, что даже на Урале возникли опасения за их обеспечение в этом отношении, и именно с Урала шла инициатива (от Татищева) введения лесосек и охраны лесов для заводов.[4]

Гораздо острее стоял лесной вопрос на заводах центральной полосы России, на которых мы видели распилку еще в XVII в. Конечно, и в петровскую пору они продолжали, экономя лес и рабочую силу, употреблять пильные доски и брусья, вероятнее всего с собственных мельниц, поставить которые было так удобно у заводской плотины.

Встречаем пильные мельницы и при других предприятиях. Так, у одной из самых крупных тогда полотняных фабрик — Тамеса в Москве — была своя ветряная лесопилка с тремя рабочими, как значится в ведомости фабрики за 1731 г.[5] По всей вероятности, в первой же четверти XVIII в. были устроены пильные мельницы при парусной и бумажной фабриках Филатова (потом Гончарова) в Малоярославецком уезде, при полотняной фабрике Затрапезного в Ярославле. Правда, известны нам эти пильные мельницы из материалов 60-х годов, но тогда уже намечалось исчезновение лесопилок при предприятиях, переходивших на рыночные пиломатериалы.[6]

Из мельниц, не связанных прямо ни с другими производствами ни с работой на экспорт, мы определенно знаем одну — Меньшикова в Клинском уезде, но и с нее в напряженный момент Петр предписывал брать доски (1000 штук) «на новозачатый корабль Лизет», да она, кажется, и не дожила до 1720-х годов.[7]

---

[1] И. Кириллов. Указ. соч., I, стр. 22, 29, 30, 63; «Сб. Русск. ист. общ.», LXIX, стр. 899.

[2] См., например, данные о казенных воскобелильном и крахмальном заводах и бумажной мельнице в фонде мануфактур-конторы (Ленинградский Центрархив), св. 71, кн. 45, лл. 218—285, 477; св. 1, кн. 67, лл. 35—41.

[3] В. Геннин. Указ. соч., стр. 315, 316, 320.

[4] Подробности о мерах по охране лесов для нужд заводов в рукописной записке по истории горного дела, составленной Крамаренковым в 1770-х гг.

[5] Ленингр. Центрархив, ф. мануф.- колл., св. 318, № 136, лл. 47—49.

[6] См. в моей книге «Организационная структура промышленных предприятий» (Очерки по истории русской промышленности в XVIII в. и начале XIX в., ч. 1, стр. 178—179).

[7] Письма и бумаги имп. Петра, IV, стр. 994—995, 1004; Доклады и приговоры Правит. сената, II, ч. 2, стр. 486; «Сб. РИО», LXIX, стр. 899.

Имеем еще интересное указание, что другой сотрудник Петра, его кабинет-секретарь Макаров, просил в 1717 г. комиссионера в Голландии подрядить сделать для него или купить готовые «две мельницы пильных: одну водяную, другую ветряную, с пилами и с протчим, что к ним принадлежит, кроме дерева». Осуществилась ли мысль Макарова, не знаем, но во всяком случае он не имел таких крупных предприятий, чтобы для их нужд надо было ставить две лесопилки; очевидно, имелось в виду производство для сбыта.[1]

Таким образом, подводя итог и петровской поре, мы можем насчитать в России в разные годы десятка три-четыре пильных мельниц. Технической новостью этого периода нужно признать ветряные лесопилки, пришедшие к нам также из Голландии, как и действующие водой. Большинство мельниц принадлежало казне и строилось для удовлетворения прежде всего нужд кораблестроения. Частный предприниматель слабо был заинтересован в эти годы лесопильным производством. Многие частные лесопилки были лишь вспомогательными заведениями при других, более крупных предприятиях их владельцев. Другие поставляли свою продукцию на заграничный рынок. Меньше всего внимания уделялось внутреннему спросу, который, очевидно, несмотря на все воздействие Петра и убеждением и рублем, был очень невелик. Если уже в Петербурге на казенных постройках применяли топорный лес, то, ясное дело, в глуши он продолжал первенствовать над пильными материалами, если не оставался единственным видом досок. Кроме того, нельзя забывать пильщиков, работавших вручную. Мы имеем упоминания о них в связи с воронежским судостроением и заготовкой материалов к судовому строению в районе между Тверью и Ярославлем (в 1710 и 1711 гг.). Стоит подчеркнуть, что в оба года «пиловалщиков» предписывалось взять или нанять «из черкасских городов». Имеем случайное упоминание и о русском пильщике.[2] Надо думать, что число этих «пиловалщиков», хотя и медленно, но все же росло. Они-то и брали на себя удовлетворение незначительного спроса на пиломатериалы частных потребителей, работая, вероятнее всего, по их найму.

IV

Тесная связь большинства пильных мельниц петровской поры с военным судостроением оказалась слабой стороной лесопильного производства в дальнейших условиях. Дворянская реакция, начавшаяся после смерти Петра, отразилась на судьбе флота и, через него, на судьбе пильных мельниц. Корабли гнили, стоя в гаванях, верфи не работали, лесопилки казенные умирали одна за другой, так что до 1760-х годов дожили, кажется, только мельницы адмиралтейства на Ижоре.

Однако другим концом та же дворянская реакция вела к новому подъему лесопильного дела, уже не на базе казенного судостроения, а на возраставшем внутреннем спросе на пиломатериалы. Под воздействием дворянских жалоб на «великие штрафы», взимаемые вальдмейстерами, весь институт по охране лесов уже в конце 1726 г. был упразднен, и казенные леса сразу же стали безжалостно опустошаться. Восстановление вальдмейстеров в 1730 г. в новой обстановке мало

[1] «Сб. РИО», XI, стр. 71. О других предприятиях Макарова — суконной фабрике (совместно с родственником Калининым) и кирпичном заводе — упоминается в его деле (Описание документов и бумаг Моск. арх. мин. юст., VI, отд. II, статья Шереметевского, стр. 39, 45, 46).

[2] Доклады и приговоры Правит. сената, I, стр. 239, 243; В. Веретенников. История Тайной канцелярии петровского времени, стр. 247, Харьков, 1910.

помогло делу охраны лесов. Одновременное развитие дворянских прав привело к фактическому полновластию землевладельцев над их владениями, включая и леса, охраняемые ранее общими мерами Петра. А в связи с этим и в дворянских лесах пошла энергичная порубка. Особенно печальна была судьба лесных участков, находившихся в общем неразмежеванном владении нескольких хозяев. В этих дачах каждый торопился обогнать соседа в запасе строительных материалов и дров, даже если они и не нужны были в данный момент. На ряду с этим естественный процесс роста населения, приостановившийся на время при Петре, продолжал приводить к расчистке лесов под пашни; тот же рост населения, особенно в городах, увеличение внутреннего торгового судоходства и, значит, судостроения, рост промышленных предприятий с 1740-х годов, особенно «огнедействующих», все более ускоряли истребление лесов на строительство, отопление, поделки. В результате — всеми чувствуемый подъем цен на древесину. Он-то и стимулировал рубку леса для продажи: вздорожание всех деревянных изделий и побуждало крестьянина искать для себя оглоблю или полозья к саням в своем, помещичьем или казенном лесу, невзирая на запреты и хоронясь, конечно, от штрафов.

Наказы в комиссию 1767 г. и от дворян, и от горожан, и от сельского населения центра, запада, юга и даже востока чуть ли не обязательным пунктом имеют жалобы на «оскудение» лесов, на недостаток строительных материалов, на вздорожание их и дров и попутно с этим дают яркие картины истребления лесов.[1]

Впрочем, результаты хищнического истребления лесных богатств страны стали обнаруживаться гораздо ранее года составления наказов. Уже в 1740-х годах почувствовалась определенная необходимость предпринять какие-нибудь меры к охране лесов. Правительство Елизаветы хорошо сознавало и старалось внушить подданным, что «государственная и общая всех в сбережении лесов польза состоит» и указывало еще в 1748 г. «впредь доски... на суда» заготовлять «пильные, а не топорные». В 1749 г. предписывалось уже не только на судовое, но и на домовое строительство заготовлять пильные доски и для того, помимо использования ручных пил, «где удобно, водяные и ветряные пильные мельницы заводить», и в ожидании, «пока пилование тех досок в обычай войдет и оного везде умножится», устанавливалась свободная продажа топорных досок только в течение пяти лет. В 1756 г. пришлось этот срок продлить далее и на 1757 и на 1758 гг., но к сплаву в Петербург 1758 г. категорически воспрещалось готовить «топорный лес» под угрозой конфискации и непропуска через Ладожский канал.[2]

Но в том-то и было дело, что «пилование досок» еще «в обычай не вошло».

В том же указе 1756 г. констатируются печальные пока результаты в отношении создания самостоятельных лесопильных предприятий. Только у Петербурга, на Неве и в ближайших местах «пильных мельниц немало». В других местах указано только одно заведение купца Тавлеева в Новоторжском уезде, да в дворянских вотчинах Юрьевского уезда (Лифл. губ.) были в это время в ходу ручные пилы.

Правда, официальный акт рисовал действительность печальнее, чем она была на самом деле. Можно было бы вспомнить еще пильные мельницы в районе Архангельска (баженинские, несомненно, суще-

[1] Пункты о лесах так обычны, что едва ли стоит их цитировать. Укажу лишь, что наказ воротынских и перемышльских дворян датирует истребление лесов с 1730-х годов; то же повторяют и лихвинцы («Сб. РИО», VIII, стр. 429, п. 8 и стр. 440, п. 6).

[2] ПСЗ, XIV, № 10768.

ствовали), можно бы прибавить три-четыре лесопилки у Нарвы, появившиеся еще до 1730-х годов; были мельницы в Выборгской провинции, совсем недалеко от столицы; должны бы быть известны составителям указа пильные мельницы хотя бы при казенных железных заводах.[1] Но и со всеми этими дополнениями картина была мало утешительной вообще и с точки зрения целей названного указа в частности. Правительство стремилось водворить распилку в целях потребления пильных досок на судовое и домовое строение внутри страны; все приведенные в тексте указа и добавленные нами мельницы расположены были при верфях, строивших морские суда, при портах, откуда их продукция шла за границу, или при заводах, проводивших распилку для своих нужд.

Меры, которыми правительство Елизаветы собиралось насаждать распилку, повторяли действия Петра, но не могли привести даже к тем же, что при нем, результатам. Петр не только убеждал в пользе распилки, но и учил разными путями технике ее. Правительство Елизаветы ограничивалось словесным поучением. Петр приказывал строить казенные мельницы, и, несомненно, под его прямым или косвенным воздействием этим производством заинтересовались Меньшиков и Макаров. Правительство Елизаветы построило, кажется, всего одну-две казенные лесопилки, а дельцы из верхов этого времени больше старались получить подешевле или просто даром казенное готовое предприятие и меньше любили строить сами. Наконец, меры строгости достигают цели, если они разумны и действительно проводятся в жизнь. А правительство Елизаветы объявило открытую войну всему топорному тесу, не обеспечив его замены пильными досками, и потому вынуждено было из года в год отсрочивать прекращение торга топорными досками и в конце концов молчаливо отступило, не добившись результатов, под шум Семилетней войны.

При Екатерине, в первые же годы ее царствования, принята была тактика пропаганды распилки не приказом, а показом: рассылались на места и распространялись среди населения пилы, хотя и в небольшом количестве; строение судов из пильного леса поощрялось разрешением отпускать из Петербургского порта «в чужие края третью часть привозимого на них хлеба», очевидно беспошлинно, тогда как на топорные суда наложен был особый денежный сбор.[2] О насильственном изгнании с рынка топорного теса теперь уже не слышно, но он постепенно стал замещаться пильным. Ведь обстановка за десять лет изменилась. Время, как мы уже видели, работало за распилку и против тесанья. Как раз к этим годам относятся вопли наказов о вздорожании дров и строительных материалов, об истреблении лесов.

Правда, и от этой поры дошел до нас протест против введения распилки. Он исходил от отсталой и достаточно измученной разными требованиями властей части населения — ясашных крестьян Симбирского и Сызранского уездов. Но и в нем, в форме, обработанной вероятно кем-либо из приказных, звучало больше всего недовольство, даже возмущение, мерами, которыми местная власть старалась внедрять поощряемую сверху распилку. Для нас же здесь интересны некоторые бытовые черты, связанные с потреблением досок крестьянским на-

[1] О нарвских и выборгских мельницах см. ПСЗ, IX, № 6967; X, № 7652; XI, № 8119 и Сенатск. Архив, III, стр. 458 и др. (я беру здесь лесопилки только в пределах до 1756 г.).

[2] Журн. № 9 Общ. собр. Тамб. уч. арх. ком. — Опись дел Шацкого архива, № 1332; журн. № 10 Общ. собр. той же комиссии — Из архива Сухтелена, записка Безбородко, стр. 32—33; «Временник Моск. общ. ист. и древн.», кн. XXV, отд. II, стр. 88.

селением. «По указам, — писали ясашные в своем наказе, — велено для пилования лесов иметь нам пильные мельницы и ручные пилы, и к тому мы от присутственных мест через нарочных высланных весьма чрезвычайно почасту принуждаемы были, отчего понесли мы немалые отягощения, убытки и разорения напрасные, потому что из нас у некоторых селений в дачах и лесов не имеется и пиловать нечего... К тому же из нас в наших местах лесных промышленников не имеется, а хотя кому из нас на домовую надобность и потребуется досок десятка два или три, и то по нашему крестьянскому обыкновению завсегда бревно раскалывается только на двое и больше для крепости тески не бывает. И то коему надобность такая потребуется лет через десять или более. А тонких досок тески у нас никогда не бывает, да и быть не для чего, потому что в наших местах по убожеству нашему хорошего строения не бывает».[1]

При всем подчеркивании местного колорита, картина потребления досок массой сельского населения, рисуемая в этом одиночном протесте, легко может быть распространена и на другие районы тогдашней России, где наличие значительных еще строевых лесов позволяло вытесывать из бревна две доски.

И все же именно в 1760-х годах распилка в расчете на удовлетворение внутреннего спроса делала первые и довольно успешные шаги. Развитие ее свидетельствуется и тем, что в продукции наших железных заводов в 1766—1767 гг. мы встречаем пилы, иногда определенно — «ручные пилы». И тульские оружейники, поскольку они выступали вольными производителями, в своем очень разнообразном ассортименте изделий имели «для пилования лесу разные пилы».[2] Определенный интерес к распилке сказался и в том, что в эти годы Соймонов конструирует и строит лесопилку с конным приводом, а академический журнал статье об этой мельнице уделяет место на своих страницах.[3]

На основании сопоставления различных данных[4] мы можем дать и некоторый цифровой результат достижений в лесопильном деле в 1760-х годах по части пильных мельниц. Конечно, нельзя рассчитывать, что этот подсчет окажется безукоризненно точным.

Особенно трудно при наших материалах собрать сведения о распилке в качестве подсобного производства при промышленных предприятиях и верфях.[5] Можно лишь сказать, что пильные мельницы при крупных мануфактурах середины XVIII в.—довольно распростра-

---

[1] «Сб. РИО», CXV, стр. 351—352.

[2] М. Чулков. Историческое описание российской коммерции, VI, ч. 2, стр. 580, 606; Л. Бакмейстер. Топографические известия.., ч. 1, стр. 220—221, СПб., 1771.

[3] «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах», июль 1763 г., стр. 36—41; дан и чертеж этой мельницы.

[4] В основе данные, собранные по анкетам Академии Наук и Шляхетского корпуса в 1761—1765 гг.; часть их, касающаяся тогдашних Московской и Новгородской (неполностью) губерний, издана еще в XVIII в. в весьма несовершенной обработке Бакмейстера под названием «Топографические известия» в 4-х выпусках, составивших первую часть; сохранившимися доныне ответами я пользовался в архиве конференции Академии Наук, св. 66, к. 123 и особая связка к нему. Для дополнения использованы описания отдельных уездов и провинций по программе Вольного экономического общества (см. «Труды ВЭО», I—XIII) и отдельные заметки в тех же томах; сопоставлены с этим и упоминания о лесопильном деле в изданных наказах и указания «Географического лексикона» Полунина-Миллера.

[5] В анкетах вопрос о пильных мельницах не указывал ясно, желательно ли получить сведения только о самостоятельных лесопилках с плотинами или о всех вообще; в ответах же с мест перечислялись то все наличные пильные мельницы, то одни действовавшие как самостоятельные предприятия. О частных верфях, особенно о крестьянской стройке речных судов, кажется, вообще ни одно учреждение тогда не собирало сведений.

ненное явление. Читая, например, описания металлургических заводов у ученых путешественников этого периода (разумею Лепехина, Палласа, Рычкова, Гмелина), мы часто встречаем упоминания пильной мельницы, работающей на потребности данного завода. Были они и при других предприятиях. Так, мы знаем пильные мельницы при названных ранее полотняной и писчебумажной фабриках Гончарова в Малоярославецком уезде, при таких же фабриках Мосоловых в Тарусском уезде, при комбинатах Затрапезного в Ярославле и Земского в Московском уезде. И не только в Центральном районе, где истребление лесов давало себя чувствовать сильнее всего, но даже в Вологодском уезде предприниматели Туронтаевские в 1760 г. построили пильную мельницу для обслуживания других своих предприятий. Очень интересными являются также новые пильные мельницы в Соли Вычегодской и в такой глуши, как Яренск на Сергиевском усолье, устроенные, конечно, для потребностей соляварных промыслов. Есть и еще немало подобных примеров. Наоборот, на фабрике Тамеса в Москве уже не было в эту пору пильной мельницы, которую мы отмечали раньше по ведомости 1731 г. И вообще ни при одном предприятии в старой столице не знаем пильных мельниц. Очевидно, она достаточно обеспечивалась пильными материалами с работавших на рынок лесопилен.[1]

Поощрение стройки судов из пильных материалов должно было содействовать созданию пильных мельниц у верфей внутри страны и особенно в Центральном районе. Показательным, думается, надо признать появление пильной мельницы в Стерлитамаке, где делали коломенки.[2] Лесопилок, работавших на судостроение, с ростом расхода пильных материалов нехватало. Определенное заявление в этом смысле мы имеем от тверского магистрата в 1763 г., и хотя смысл его был добиться отмены елизаветинского еще запрещения грузить товары «в топорные барки», однако, по общей совокупности данных о пильных мельницах, невозможность для них обслужить все судостроение является совершенно реальной.[3]

Особый интерес для нас представляют лесопилки, работавшие на рынок. Часть их связана попрежнему с рынком иностранным. Таковы четыре мельницы около Архангельска — две из них обслуживали одновременно и верфи их хозяев; может быть, хотя частично, к Архангельскому же порту отправляли доски две вологодские мельницы; на Мезени лесопилка была построена П. И. Шуваловым прямо в расчете на «отпуск заморский», также и у Нарвы три пильных мельницы работали на экспорт; такое же направление имела продукция выборгских лесопилок. Семь пильных мельниц Петербургской губ. (казенную Ижорскую с 14 рамами в семи амбарах оставляю в стороне), очевидно, давали продукцию и для вывоза и для удовлетворения спроса столицы. Также на русский и иностранный рынки распределялись, по всему вероятию, доски и брусья с пильных мельниц тогдашней Новгородской губернии, связанных с Петербургом: одной — у Старой Ладоги, по крайней мере двух — на Свири, одной — на речке Тихвинке, где, впрочем, было и судостроение.

Внутри страны, если исключить заведомо созданные при промышленных предприятиях, найдем сравнительно очень немного пильных мельниц. Но они были первыми ласточками в области новой

[1] Указанная моя работа, стр. 178—179.

[2] Мельницу отмечает и И. Лепехин; материалы начала 1760-х годов — анкеты, статья П. Рычкова в «Трудах Вольного экономического общества» — ее (еще?) не знают.

[3] Сенатский архив, XII, стр. 437.

ориентировки лесопильной промышленности. Это десять-двенадцать мельниц в разных уездах Московской губернии, две в Нижегородской: на р. Бездна в Алатырском уезде и на р. Нукс в Арзамасском; одна — около Пензы в Казанской губернии, где еще наказ Хлынова (будущей Вятки) отмечает «вновь заведенные пильные мельницы». В Оренбургской губернии знаем лишь одну казенную лесопилку на р. Каргала (в 24 верстах от Оренбурга), работавшую на нужды, прежде всего, казенного строительства в этом городе. В громадной тогдашней Воронежской губернии наши материалы не указывают ни одной самостоятельной пильной мельницы. В Белгородской было пять мельниц только в одном Брянском уезде, но из них две, во всяком случае, были при железных заводах. В Смоленской губернии не было, повидимому, ни одной мельницы. На Украине знаем определенно одну мельницу в Батурине, и на всю Сибирь — две: казенную на р. Кас около Иркутска и одну частную в 5 верстах от Туринска на р. Табаринка.

Таким образом, десятка два или, считаясь с возможным пропуском в наших материалах, два с половиной — вот фонд лесопильных предприятий, ставивших своей задачей удовлетворение русского потребителя.[1] При этом сопоставление с показаниями середины 1750-х годов и прямые отметки дат устройства мельниц или наименования их новозаведенными не оставляют сомнения, что большинство этих (да и многих из ранее названных) пильных мельниц появилось только в самые последние годы. Перед нами — определенно новое явление середины XVIII в., даже 1760-х годов.

Если присмотреться к карте расположения пильных мельниц, то нетрудно убедиться, что все они построены в районах, богатых лесом, у рек, по которым возможна доставка их продукции на широкие рынки, частью вблизи крупных потребительских центров (Москвы, Петербурга, строившегося в 1750-х годах Оренбурга).

Организаторами лесопильного производства для рынка были лица разной общественной среды. Обрисованная выше обстановка с лесными строительными материалами создавала, очевидно, соблазнительную рыночную конъюнктуру. И в лесопильное дело вкладывал капитал купец, рассчитывавший орудовать чужим, покупным лесом; стремился наивыгоднее использовать свой лес помещик, ставя собственную лесопилку; не отставали от других и монастыри и архиерейские кафедры, конечно в годы до секуляризации их земельных (и лесных) владений.

Однако, как видно по результатам, интерес предпринимателей к этой отрасли производства еще только зарождался; сравнительно новое дело было, может быть, еще не так широко известно. Во всяком случае, например, в купеческих наказах, отстаивавших права купцов на занятие разными производствами, речь о лесопильной промышленности идет очень редко.[2]

Материалы середины XVIII в. позволяют ознакомиться и с технической стороной лесопильного производства.[3] Сопоставление с ними

---

[1] Упомяну для полноты пильную мельницу в Сарепте, созданную в самом начале жизни этой интересной с точки зрения развития техники колонии и обеспечивавшую ее потребности. См. о ней у С. Гмелина. Путешествие по России.., ч. 2, стр. 29, СПб., 1777.

[2] Можно назвать наказы Ряжска и Рыбной слободы (будущего Рыбинска), где видна заинтересованность пильными мельницами («Сб. РИО», CXXXIV, стр. 240, п. 7 и CVII, стр. 138, п. 6). Для оценки этих наказов надо иметь в виду, как часто подпимали купцы вопрос, например, о винокурении.

[3] В дальнейшем используются протоколы осмотров пяти пильных мельниц чинами мануфактур-коллегии в 1760 г. (ф. мануф.-колл., св. 129, кн. 174, лл. 49, 91,

перечня приспособлений мельницы Ос. Баженина 1724 г. и данных о Екатеринбургской лесопилке 1720-х — 1730-х годов, с одной стороны, описаний отдельных лесопилок конца XVIII в., довольно обстоятельных (с чертежами) указаний теоретической книги Штурма и подробной описи Щелковской пильной мельницы начала XIX в. — с другой, приводит к выводу, что основы техники пилки леса за весь XVIII век, как, вероятно, и раньше и позже, оставались одни и те же.

Прежде всего отметим, что из известных нам в 1750-х и 1760-х годах пильных мельниц только одна, в с. Медведицком Кашинского уезда, была ветряной. Точно так же и в конце XVIII и в начале XIX вв. наши источники почти исключительно говорят о новодействующих лесопилках. Таким образом, вся пропаганда ветрянок при Петре пала на плохую почву. Дело, очевидно, было в том, что, во-первых, в лесных районах, где ставились мельницы, было достаточно мелких речек, на которых с удобством можно было расположить лесопилку, и, наоборот, не всегда находилось достаточно просторное открытое место для устройства ветряной мельницы. А, во-вторых, пильной мельнице, как мы уже видели, река была нужна для отправки продукции и сплава леса. Кроме того, все железные заводы, при которых так часто были пильные мельницы, сами имели запруды большой мощности, и поставить при них лесопилку было легче всего. Не пошли в ход и лесопилки с конным приводом, которые пропагандировал Соймонов. Но и предлагая свою конструкцию, он считал ее только «несравненно удобнее и прибыточнее» распилки ручной и сам же находил, что она «не может сравнена быть» с вододействующими и ветряными пильными мельницами. Таким образом, в XVIII в. мы имеем дело в сущности только с водяными пильными мельницами.

Силовой установкой в такой мельнице являлось большое вертикально поставленное колесо. Мы не всегда имеем прямые указания, но должны всякий раз думать, что это было так называемое «наливное» колесо, т. е. вода по жолобу падала на него сверху и, задерживаемая в его ящиках, вращала его силой своей тяжести и силой течения. Вал, на котором вращалось колесо, имел обычное «кулачное» колесо и с помощью шестерен передавал движение тому валу, на котором устанавливались пильные рамы. Если хотели убыстрить работу, движение водяного колеса передавали шестерней на «сухое», а с него другой шестерней — уже валу, приводившему в движение рамы. Это были довольно тяжелые деревянные четырехугольные сооружения, двигавшиеся вверх и вниз. Действовали они только при опускании (так же как и при ручной распилке), и, таким образом, подъем проходил для распилки вхолостую. Для лучшего использования энергии рамы навешивались так, что в то время как одна опускалась, вторая поднималась, и притом поднималась, частично по крайней мере, тяжестью первой. Отсюда и понятно, что мельницы обычно снабжались парами рам. Бревно для распилки клалось на длинные сани, двигавшиеся по особым неподвижным зубчатым железным полосам («змейками»). Тянулись сани вперед канатом, который наматывался на деревянный вал с зубчатым колесом, причем они двигались вперед только в то время, когда пилы пилили. Рамы вооружали разным числом пил, в зависимости от того, сколько хотели

170 и 172 и указ. статья о соймоновской мельнице); данные о лесопилке Баженина 1724 г. (указ. ст. Н. Попова) и о мельнице Екатеринбургского завода (указ. работа В. Геннина), книга Штурма. Совершенное описание строения мельниц..., изд. на русском яз. в 1782 и 1800 гг., и описание пильной мельницы кн. Голицына на р. Клязьме в дер. Щелковой под Москвой (ф. Голицыных в архиве Гос. Ист. Музея).

получить резов, т. е., если из бревна должно было выйти три доски, ставили четыре пилы, если желали получить четыре доски, необходимо было поставить пять пил и т. д.

Так, одна четырехрамная лесопилка на р. Яченка, около Калуги, перерабатывала в доски и тес 2 тыс. бревен в год, другая там же, на р. Калужка, двухрамная — до 2500 бревен; из этих бревен на обеих получалось до 2800 досок и около 10 тыс. штук кровельного теса. К сожалению, не знаем, сколько на этих мельницах было занято рабочих. На третьей двухрамной мельнице работало 5 человек (считая с мастером); производительность ее была 500 бревен в год. Таким образом, все лесопилки, работавшие на внутренний рынок, если даже включим сюда и поступавшую на тот же рынок часть продукции мельниц, связанных с верфями, портами и заводами, не распиливали и одной сотни тысяч бревен.

Конечно, эти приблизительные цифры отнюдь не определяют еще нужды массового потребителя в пиломатериалах. На его удовлетворение работали пильщики. К сожалению, в нашем распоряжении нет материалов о них. Можно только сказать, что эта профессия продолжала оставаться редкой. Ни в списках ремесленников в городах, ни в отметках о деревенских промыслах нигде не попались мне упоминания о пильщиках, кроме районов украинских поселений. В единственном сюда относящемся документе из пределов Великороссии мы уже видели подчеркнутое свидетельство крестьян, что они употребляют только тесаные доски.

При наличии в обычных мельницах большого количества деревянных частей, даже шестерен и кулаков, лесопилки часто останавливались из-за поломок. Так, названная щелковская мельница по отчету за 50 дней (с 27 июля по 14 сентября 1817 г.) 11 дней работала с остановками из-за поломок. Иногда аварии были так серьезны, что мельница выводилась из работы на несколько дней. Та же щелковская лесопилка из отчетных 50 дней простояла целиком 6 дней, в течение которых шел ремонт крупных повреждений. Плохие качества тогдашней стали, или, точнее, «уклада», из которого приготовлялись пилы или только «наваривались» зубья, были причиной частой необходимости точить пилы, что также вызывало остановки в работе для перевооружения рам, а при отсутствии запасных пил—и полные или частичные (на одну раму) остановки в действии мельницы. Если учесть еще праздники и разные случайности, то даже при благополучии с источником энергии — водой, лесопильни XVIII в. не могли отличаться хорошей производительностью. На примере той же щелковской мельницы можно видеть, что из 50 дней она благополучно и на обе рамы работала только 11 дней; 6 дней распилка шла на одну раму, 11 дней были остановки (в один день даже три) из-за поломок, 16 дней по тем или иным причинам мельница совсем стояла, остальные 6 дней работала по полудню и меньше или работала то на две, то на одну раму.

А сверх всего этого надо учитывать не всегда достаточное количество воды. То за слабостью источника не могли скопить воды на круглый год, то в сухое лето мельница стояла в ожидании дождей, то ливень разрушал плотины или повреждал ларь, а уж весной, в водополье, мельницу обязательно приходилось останавливать для спуска вешних вод.

Понятно, что при таких условиях продуктивность пильных мельниц XVIII в. не могла быть значительной. И Геннин считал, что «на два стана, ежели сухова колеса с шестернею не будет в день, когда остановки ни за чем не случитца», мельница должна распи-

лить не менее четырех бревен пятисаженных (т. е. 10.65 м), 6—7 вершков (26.6—31.2 см) в отрубе, «а что более, то лутше. А когда сухое колесо с шестернею будет, то надлежит распиловано быть бревен против одного вдвое и более». Но в расчете на год даже для екатеринбургской, очень прочно построенной лесопилки (со многими железными частями и с оковкой железом деревянных механизмов), учитывая, очевидно, поломки и всякие случайности, он полагал в среднем четыре бревна в день на двух рамах. В начале XIX в., когда, очевидно, в детали конструкции пильных мельниц были внесены кое-какие усовершенствования, далеко не так хорошо построенная щелковская лесопилка разделывала в доски в благополучные дни от 13 до 19 бревен (в среднем 15) при работе обеих рам и от 8 до 11 бревен (в среднем почти 10) при действии одной рамы. Лучше оборудованная трехрамная лесопилка при екатеринбургском заводе распиливала в среднем 45 пятисаженных бревен в день.

В свете всех этих данных нам не покажутся странными и противоречивыми конкретные показатели середины XVIII в.

*

И в последние десятилетия XVIII в. и в начале XIX в. «оскудение» лесов продолжалось в той же, или, скорее, в еще большей степени, чем раньше. Мало действовали убеждения сверху в «государственной и общей всех в сбереженьи лесов пользе», не достигали цели «заповедания» лесов, не удерживали штрафы за порубки. Видимо, немного было читателей тех поучений о «сохранении» лесов и о вреде их истребления, которые с 1760-х годов раздавались со страниц «Трудов вольного экономического общества» и других сельскохозяйственных и экономических журналов. Еще меньше находилось убежденных ими выполнителей советов о рациональном лесоустройстве и разведении новых лесов. Правда, все точнее определялись в законодательстве основы правильной эксплоатации леса, известны и в XVIII, еще более в XIX столетии опыты посадки и выращивания лесных насаждений. Но все же основной процесс состоял в быстром сокращении лесной площади, причем особенно вырубались леса в местах давнее и прочнее обжитых, в районах, откуда более удобно было взять древесину для личного потребления или отправить на рынок.

Одних на истребление леса толкала нужда; другие ради наживы, без всяких соображений о восстановлении находящихся в их руках богатств вырубали даже «береженые» дедами и отцами рощи.

Чем дальше, тем больше лес действительно становился хозяйственной статьей большой ценности на громадной территории Европейской России. Для доказательства воспользуемся цифрами. В Петербурге, окруженном громадными лесами и получавшем ежегодно большие партии строительных материалов для отправки за границу, цены на лесные материалы за 50 лет возросли втрое, вчетверо и более. Сотня сосновых бревен трехсаженной длины и 9—12 дюймов в диаметре стоила в 1740 г. 12—16 рублей, а в 1790 г. уже 100—120 рублей; сотня пятисаженных соответственно 35—40 рублей в 1740 г. и 200 рублей в 1790 г. Дюймовые доски длиною в 3 сажени продавались в те же годы по 7 и 15—20 рублей сотня, а доски потоньше с 3 рублей поднялись до 9—10 рублей за сотню. Чтобы видеть яснее вздорожание именно леса, приведу параллельно цены на другие строительные материалы: 1000 кирпичей в 1740 г. стоила в том же Петербурге 3 руб. 50 коп., а в 1790 г. — 6 рублей, пуд железа олонецкого — 50 коп. и 1 руб. 20 коп., пуд железа сибирского — 70 коп. и 1 руб.

60 коп., т. е. кирпич вздорожал за те же 50 лет меньше чем вдвое, железо — в два с небольшим раза.[1] Аналогичное впечатление дает и рост цен в Саратове, получавшем лесные материалы, главным образом, с верхней Волги и Камы. Четырехсаженные бревна в 1753 г. можно было купить за 7 руб. 75 коп. сотню, в 1774 г. — уже за 10 рублей (правда, здесь мог сказаться и опустошительный пожар в городе весной этого года), в 1783 г. цена сотни таких бревен дошла до 18 рублей, а в 1804 г. приходилось платить за нее уже 125 рублей. Сотня четырехсаженного тесу стоила в 1753 г. 6 руб. 75 коп., в 1774 г. — 13 рублей, в 1804 г. — 40 рублей. В те же годы четверть ржаной муки ценилась в 1753 г. около 1 рубля, в 1774 г. — 2 рубля (но это результат Пугачевского восстания), в 1781 г. 1 руб. 55 коп., в 1804 г. около 2 рублей.[2]

Таким образом, в то время как хлеб за 50 лет поднялся в цене вдвое, доски вздорожали почти в шесть раз, а бревна даже в пятнадцать. Более детальные, чем по Петербургу, данные по Саратову показывают, что возрастание цен шло кресчендо, достигая особенно быстрого темпа к концу века.

Вот эта быстро растущая дороговизна строительных материалов и была лучшей и самой действенной пропагандой распилки. Теперь было очень убедительно получить из бревна вместо одной, самое большее двух тесаных досок, — три, четыре, в лучшем случае даже шесть пильных, различной толщины и достаточной прочности.[3]

Но приведенные ряды цен по Петербургу и Саратову говорят нам уже и об успехах распилки. Стоимость бревен поднимается гораздо значительнее, чем стоимость досок, причем это более заметно к концу взятого периода. Очевидно, особенно поднимались цены именно на древесину, а не за распилку. С другой стороны, можно видеть, что разница в ценах на бревна и доски более резка в Петербурге, чем в Саратове. Вспомним, что Петербург и его районы знакомы с пильными мельницами с самого начала XVIII в., что в 1760-х годах это один из наиболее обеспеченных ими районов. В Саратове и на громадном радиусе от него в 1760-х годах не было еще ни одной пильной мельницы; слабо обстояло с ними и в районах, откуда гнали плоты на Нижнюю Волгу. Очевидно, и к началу XIX в. неравномерное распределение лесопильной промышленности сказывалось очень ярко.

Учтем и роль экспорта в интересующей нас области. Отпуск леса из России с 1749 до 1804 г. вырос по стоимости в серебряных рублях — с 203 350 до 1 217 000 рублей, а в промежуточные годы были цифры и более высокие. Причем в составе лесных материалов пильные доски, брусья и пр. занимали все более видное место, составляя к концу интересующего нас периода половину и даже до двух третей всей стоимости лесного отпуска.[4] Т. е. и здесь мы встречаем и стимул к развитию лесопильного дела и указания на успехи его.

Нам остается теперь подтвердить полученные выводы конкретным материалом из области распространения лесопильного производства в разных местах России к концу XVIII и в начале XIX вв.

---

[1] И. Георги. Описание российско-импер. столичного города С.-Петербурга, ч. 3, стр. 599—600, 1794 г.

[2] По архивным материалам Каз. палаты и конторы опекунства иностранных поселенцев (во время моей работы эти фонды хранились в Саратовском архиве).

[3] Анонимное. Топографическое описание Харьковского наместничества, стр. 61, М., 1788.

[4] А. Семенов. Изучение исторических сведений о российской внешней торговле, III, стр. 426, 1857 г.; Historisch-statist. Gemälde des Russ. Reiches am Ende 18 Jahrhunderts, S. 444; И. Георги. Указ. соч., стр. 211.

К сожалению, общего учета пильных мельниц в это время не велось.[1] Им даже мало уделялось внимания при описании отдельных губерний, нередко их совсем не отмечали. Так, трудно допустить, чтобы в Калужском наместничестве с большими площадями строевого леса и удобными путями для отпуска строительных материалов не было в середине 1780-х годов пильных мельниц, кроме как в губернском городе. Но «Топографическое описание» губернии показывает их всего пять только в Калуге. Между тем даже в 1760-х годах помимо Калуги (в которой было тогда две лесопилки) отмечены пильные мельницы: одна в Лихвинском уезде на речке Черепеть, одна — в Перемышльском и одна — в Серпейском на Серпее. И в 1780-х годах мы знаем из других источников, например, пильную мельницу в Жиздринском уезде и отвод места под мельницу в Перемышльском уезде.[2]

Еще ярче пример Орловской губернии. Описание тоже середины 1780-х годов совсем не отмечает здесь ни одной лесопильной мельницы, даже в лесном Брянском районе, где еще в 1760-х годах знаем пять лесопилок (считая с заводскими). А между тем описатель соседней Курской губернии не раз говорит о привозе досок и теса, иногда прямо называя их пильными, из Брянской и Карачевской округ Орловского наместничества или из самого Орла.[3]

При таком состоянии источников приходится пользоваться разновременными данными по отдельным губерниям и без уверенности в полноте этих данных. А для того, чтобы получить возможно более убедительную картину, подберем наиболее разнообразные по общим хозяйственным условиям губернии.

Из районов, работавших на экспорт, возьмем прилегающую к портам Белого моря Архангельскую и лежавшую у Финского залива Выборгскую, как губернии с очень небольшим местным потреблением. На территории первой в 1760-х годах мы видели всего пять пильных мельниц; в 1802 г. их указывают двенадцать, считая, как и раньше, самостоятельные и состоявшие при верфях. Экспорт через Балтийское море, с более коротким путем до центров потребления русского леса в Европе, сильнее стимулировал развертывание лесопильных предприятий: в Выборгской губернии в самом конце XVIII в. считалось 52 лесопилки.[4]

Одной из самых крупных поставщиц лесных строительных материалов на внутренний рынок была Вятская губерния. Мы уже знаем, что наказ Хлынова (Вятки) 1767 г. упоминал впервые о «новозаводимых» пильных мельницах. В 1780 г. описание наместничества, может быть неполно, отметило две, а в 1813 г. в Вятской губ. было уже 32 лесопилки.[5] В соседней Казанской губернии в середине 1780-х годов было три лесопилки в Козьмодемьянском, Спасском и

---

[1] Ни А. К. Шторх на грани XVIII и XIX вв. ни Е. Ф. Зябловский и Голицын в начале XIX в. не имели общих цифр по империи и частных по многим губерниям.

[2] Топографическое описание Калужского наместничества, стр. 21, 1785 г. и Л. Бакмейстер. Топографические известия, вып. 3, стр. 212, 201 и 196. О жиздринской мельнице — дело по IV ревизии по Калужской губернии, ч. 2, лл. 59 и 55, во II отделе Экономической секции УЦГАЛ.

[3] Описание Орловской губернии в рукоп. собр. военно-учебн. арх. гл. штаба (ныне в Военно-истор. архиве), № 18903; С. Ларионов. Описание Курского наместничества, стр. 46, 81, 96, М., 1786.

[4] Пошман. Описание Архангельской губернии, сделанное в 1802 г., I, стр. 36, 58, 81, 117, 146, 157 (ср. 6), 1866 г.; А. Шторх. Указ. соч., III, стр. 463. Не знаю откуда взял фантастическую цифру лесопилок по Архангельской губернии (104) Е. Зябловский. (Землеописание Росс. имп., III, стр. 473, СПб., 1810).

[5] Столетие Вятской губернии, I, стр. 243 и 351—352.

Царевококшайском уездах, т. е. в приволжских частях губернии; в 1813 г. считалось двадцать шесть, но из них десять прекратили лесопильное дело, оставшись только мукомольными, одна работала на одну раму, а больше молола муку, четыре временно выбыли из строя вследствие пожара, и только одиннадцать находились в действии.[1]

И Вятская и Казанская губернии были районами земледельческими с сравнительно малым развитием мануфактурной промышленности и крестьянских промыслов. Для сопоставления с ними возьмем одну из наиболее промышленных губерний того времени — Ярославскую; в ней и земледелие имело меньшее значение, и крестьянство помимо разнообразной производственной работы дома массами уходило для заработков на сторону. Здесь в 1760-х годах не знаем ни одного самостоятельного лесопильного предприятия, а в 1794 г. их было пять, все в районах строевых лесов.[2]

Из губерний, снабжаемых лесными материалами, возьмем Саратовскую и Курскую. На территории первой ни в 1760-х ни в 1780-х годах не было ни одной лесопилки; описание 1804 г. указывает две, но обе они были расположены в пределах лесной полосы по верховьям Суры в Кузнецком уезде и работали для стройки судов и сплава пиломатериалов именно по Суре; строившаяся вновь пильная мельница в Сарепте промышленного значения не имела и была рассчитана на обслуживание собственных нужд колонии, как это было и раньше. Очень слабо прививалось лесопильное производство и в малолесной Курской губернии. В ее районе в 1760-х годах не было совсем лесопильных предприятий; в середине 1780-х отмечается лишь одна пильная мельница в Фатежском уезде; при этом описание, которым мы пользуемся, постоянно отмечает получение досок и теса в готовом виде со стороны.[3]

В пределах Украины в середине 1780-х годов знаем шесть пильных мельниц в Черниговщине, но, во-первых, все они сосредоточены только в Черниговском и Городнянском уездах, т. е. в районе Днепра, Десны и Снови, а, во-вторых, четыре из них работали только «для собственного употребления» их владельцев. В районе Харьковщины в то же время совсем не было пильных мельниц, и нужды местного населения обслуживались «тертичниками».[4] В громадной Сибири вся западная половина, тогдашняя Тобольская губерния, в 1780-х годах совсем не имела пильных мельниц.[5]

Наконец возьмем еще Московскую губернию. Различными данными о ней иногда пользуются как средними показателями по России. По приведенным уже материалам и высказанным соображениям в

---

[1] Рукоп. описание Казанской губернии в Военно-истор. арх., ф. Военно-учебн. архива гл. штаба, № по печатной описи 18743; ПСЗ, XXXII, № 25471.

[2] Топогр. описание Ярославской губернии, 1794 г. — единственный уцелевший от пожара экземпляр книги в библ-ке АН. К сожалению, К. Герман, давший «Статистическое описание Ярославской губернии» в начале XIX в. (см. «Статистический журнал», II, ч. 2, 1808 г.), совсем не уделил внимания пильным мельницам, упомянув (случайно) только две в самом Ярославле (стр. 151).

[3] И. Поливанов. Описание Саратовского наместничества в «Собрании сочинений, выбранных из месяцесловов», ч. 6, и анонимное «Топографическое описание Саратовской губернии» 1804 г. в рукоп. отд. библ-ки АН; также моя работа «Хозяйство Нижнего Поволжья в начале XIX века», стр. 48, 1928 г.; С. Ларионов. Описание Курского наместничества, стр. 153; о привозе — стр. 46, 66, 81 и др.

[4] А. Шафонский. Топографическое описание Черниговского наместничества, сост. в 1786 г., стр. 228 и 329, Киев, 1851; Анонимное топографическое описание Харьковского наместничества, стр. 53, 61, 84.

[5] «Краткое описание Тобольского наместничества» («Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов», ч. 6, 1790).

отношении пильных мельниц мы не можем придать цифрам по Московской губернии общероссийского значения, но все же они очень показательны. В середине 1780-х годов в ней было 15 пильных мельниц, а в 1803 г. уже 19, между тем как на той же территории в 1760-х годах можно указать только три строившихся — две на речке Рузе, неподалеку от города того же названия, и одну на Москва-реке в пределах тогдашнего Рузского уезда.[1]

Таким образом, и по отрывочным данным можно заключить, что лесопильная промышленность сильно выросла во второй половине XVIII в. В начале XIX в. смело можно считать в России около полтысячи самостоятельных лесопильных предприятий. А кроме них более заметной фигурой в хозяйстве страны становится перехожий наемный пильщик.

Лесопилки, как можно было видеть, сосредоточены в районах сырья, в местах, богатых строевым лесом. Но из них же шел большой, даже правильнее сказать — больший чем пильных материалов вывоз бревен. Их распилку уже в местах потребления выполняли почти исключительно пильщики.

Все известные нам мельницы были водяные. Таким образом, эта форма технического устройства лесопильных предприятий стала единственной в стране. Переход к паровым двигателям был делом XIX века.

При отмеченном уже отношении источников к пильным мельницам трудно подобрать данные, характеризующие мощность этих предприятий, их оборудование и процесс производства. Но показательным является, например, уже то, что из девятнадцати пильных мельниц Московской губернии в 1803 г. десять соединены с «мушными» в одном амбаре. То же мы видели и в Казанской губернии. Ясно, что такие мельницы не могли быть мощными предприятиями. В Олонецком наместничестве в середине 1780-х годов администрация указывала 18 пильных мельниц (кроме того, три бездействовавших). В среднем на каждую приходилось 17 рабочих при колебании от 2 до 25—30 человек (четыре мельницы и 90 рабочих). При этом сторонний наблюдатель отмечает еще и непрочность этих предприятий, чему способствовало очень несложное строение и оборудование мельниц. По кратким заметкам Н. Озерецковского встают образы, знакомые из материалов 1760-х годов.[2]

Точно так же и в Саратовской губернии в начале XIX в. одна из двух мельниц давала в год всего 7 тыс. штук досок и брусьев. Чтобы заключить по этой продукции о ее мощности, напомню для сравнения, что, по расчетам администрации, на трехрамной пильной мельнице при екатеринбургском заводе (и вместе монетном дворе) распиливалось в день в среднем 45 пятисаженных бревен, а в год (при 271 рабочем дне) — 12 195 бревен.[3] Т. е. саратовская мельница была не больше чем двухрамной и работала не круглый год.

Конечно, и пятьсот (примерно) лесопильных предприятий, в большинстве слабых по производительности, не могли удовлетворять в полной мере спроса в стране на пиломатериалы. Ведь потребление досок и брусьев росло не только в пределах домашних потребностей

---

[1] Историческое и топографическое описание Московской губернии (Чеботарева), 1787 г., рукописное описание губернии 1803 г. из собрания Вольно-эконом. общ. под шифр. 42—10/25; для 1760-х годов — Л. Бакмейстер. Указ. соч., I, стр. 14.

[2] Н. Озерецковский. Описание озер Ладожского и Онежского, табл. на стр. 194 и 195, стр. 108, 111, 39, 107 и др.

[3] Практическое описание монетного производства в Екатеринбурге в 1780 г. («Чтения общ. истории и древн.», 1907 г., кн. 2, смесь, стр. 26—27).

населения, но и в области нужд развертывавшейся промышленности, выраставшего речного и морского торгового и военного флота. А мы уже видели, как значительно развертывался еще отпуск пиломатериалов за границу. Таким образом, поле деятельности ручных пильщиков продолжало оставаться очень широким не только в районах, не имевших пильных мельниц, но и близ них.

Выше уже приведены данные о высоких ценах на доски и брусья. Очевидно, эти товары были мало доступны массам нищавшего все более крестьянства. Мы знаем, как медленно менялись обстановка и быт крестьянина. Старая бревенчатая четырехстенка-изба, нередко с тем же земляным или глинобитным полом, очень часто с топкой по-черному, в большом ходу даже в центральных районах еще и в середине XIX в. В лесных местах крестьянин продолжал удовлетворять свои скромные потребности в тесе досками топорной выработки, применяя собственный труд. Средние и мелкие помещики, часто испытывавшие нужду в деньгах для закупки совсем не производимых дома товаров, старались до минимума свести употребление пильных материалов и проводили заготовки топорного теса в своих лесах, используя даровой труд крепостных.

Естественно поэтому, что мы имеем большое число свидетельств потребления топорных строительных материалов. Так, например, от 1780-х годов мы имеем указания на постройку судов из «досок топорной работы» и в Елатомском уезде Тамбовской губернии, и в разных местах Пермской губернии, где лесопильное дело было очень сильнс развито.[1] Употреблялся топорный тес и для постройки домов еще в начале XIX в.[2] Даже к 1840-м годам на Урале «старый обычай» приготовления теса или кровельных досок топором вместо распилки «еще не везде уничтожен между жителями лесов по дороговизне распилки и по недостатку пильных мельниц и пильщиков».[3] Конечно, то же можно было наблюдать в глухих углах и других районах России. Ликвидация этого «старого», очень старого способа изготовления досок осталась на долю второй половины XIX в., когда техника распилки в форме паровых лесопильных заводов и в лице продолжавших еще дополнять их пильщиков, широко распространилась по стране, когда ликвидация крепостного права по-иному поставила вопрос о рабочей силе, когда продолжавшееся истребление лесов еще острее ставило вопрос о бережном использовании древесных строительных материалов.

---

[1] Журнал 6-го общего собрания Тамбовской ученой архивной комиссии, стр. 57; И. Герман. Сочинения о сибирских рудниках и заводах, ч. 2, стр. 115—127.

[2] Попов. Хозяйственное описание Пермской губернии, ч. 3, стр. 9; «Воспоминания ветерана 1813—1814 гг.» («Архив исторических и практических сведений, относящихся до России», кн. 4, отд. II, стр. 1) — речь идет о г. Инсаре. Количество примеров можно увеличить.

[3] А. Теплоухов. Краткое описание лесоустройства в Пермском майорате гр. Строгановых («Пермский сборник», кн. 1, отд. III, стр. 60).

Т. К. КРЫЛОВА

РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ

I

Северная война имела своей целью утверждение России на Балтике, без чего немыслимо было дальнейшее экономическое и политическое развитие страны. Сложившаяся на рубеже XVII и XVIII вв. международная обстановка благоприятствовала разрешению этой задачи. Великие европейские державы были заняты борьбой за испанское наследство и не могли активно вмешаться в дела северо-востока Европы. К тому же, несмотря на заключенный с Швецией 14 мая 1698 г. союзный договор, морские державы Англия и Голландия втайне опасались, что Швеция в решительную минуту может поддержать свою старую союзницу Францию. Эти опасения имели основание, потому что два месяца спустя после заключения договора с Англией и Голландией 9 июля 1698 г. в Стокгольме был подписан франко-шведский трактат о дружбе и взаимной помощи. Убежденный противник Франции шведский канцлер Оксенштирна вынужден был пойти на это под личным давлением Карла XII, побуждаемого своим фаворитом Пипером. Поэтому отношение морских держав к великой северной распре было двойственным и колеблющимся.[1]

Однако нельзя было до заключения прочного русско-турецкого мира начать войну со Швецией, насильно отторгнувшей по Столбовскому договору 1617 г. исконные русские земли в Прибалтике. Это условие было специально оговорено в соглашении, заключенном Петром I осенью 1699 г. в селе Преображенском с Августом II и Данией.

Во время Карловицкого конгресса русский представитель Возницын, оставленный на произвол судьбы и союзниками — Австрией, Польшей и Венецией, и посредниками — Англией и Голландией, смог заключить только двухлетнее перемирие. Летом 1699 г. для заключения прочного мира в Константинополь был отправлен посол Украинцев. Он прибыл туда на русском военном корабле «Крепость», чем немало взволновал и напугал турок. Черное море в это время представляло собою как бы внутреннее турецкое озеро и было закрыто для плавания иностранных судов, даже торговых. Пребывание Украинцева в Турции затянулось. Союзники не оказали России дипломатической поддержки. Австрия и Венеция не были заинтересованы в дружественных русско-турецких отношениях, потому что в таком случае увеличивалась опасность турецкого нападения на их земли. Англия и Голландия были склонны поддерживать Австрию, свою естественную союзницу против Франции в испанском вопросе.

Петру I удалось временно разрушить англо-голландский блок и склонить голландское правительство на свою сторону. Голландия

[1] Flassan. Histoire de la diplomatie française, IV, pp. 170—171.

нуждалась в России, как в огромном рынке. Издавна связанное с Россией амстердамское купечество придерживалось во внешней политике русской ориентации и оказывало соответственное давление на правящие круги. Кроме того великий мастер дипломатического искусства Петр подчинил своему влиянию государственных деятелей Голландии еще в первый свой приезд туда в 1697 г. Голландское правительство с особым гонцом послало своему послу в Турции Колиерсу полномочия на посредничество в русско-турецких переговорах. Амстердамский бургомистр Витзен, человек лично близкий к Петру I и Головину, просил Колиерса содействовать Украинцеву.[1]

Вслед за голландским предложили свою помощь английский и венецианский послы. 31 января 1700 г. Украинцев писал из Константинополя, что он имел восемь конференций с визирем, рейс-эфенди и секретарем Александром Маврокордато, «а совершенства еще в том деле и отпуску себе не видим и не слышим». Русский посол сообщал, что иностранные представители — британский, голландский и венецианский — обещали оказать помощь, но Порта не принимает их посредничества и не разрешает им видеться с ним. Голландское правительство летом 1700 г. уверяло Матвеева, что на основании посланных Колиерсу многочисленных распоряжений тот всячески домогался у Порты принятия посредничества. Однако некоторые факты этому противоречат. Приезд посла германского императора в январе 1700 г. в Константинополь и последовавшее за тем пожалование Колиерса в австрийские графы за оказание на Карловицком конгрессе услуги, все это не могло усилить рвения Колиерса к русским делам.[2]

Заключению русско-турецкого мира препятствовали чрезмерные турецкие «запросы». Сначала Турция предъявила требование возвратить или разрушить Азов и уничтожить азовский флот. Но скоро внутренние «нестроения» побудили турецкое правительство пойти на уступки. Буджакские татары в начале 1700 г. вышли из Крыма и отказались вернуться обратно по ханскому зову. Султан приказал крымскому хану итти войной на возмутившихся. Но буджакские татары угрожали, что в таком случае они примут русское подданство. Еще не улеглись буджакские волнения, как на другом конце Оттоманской империи вспыхнуло восстание среди «арапов». Под давлением этих обстоятельств турецкое правительство согласилось оставить Азов за Россией, но категорически отказалось разрешить выход русскому флоту в Черное море и требовало разорения русских крепостей на Днепре — Казыкерменя и некоторых других. На этих условиях и был подписан 3/13 июля 1700 г. договор о перемирии на 30 лет. Русско-турецкую морскую торговлю разрешалось вести только через Средиземное море, «как иные эвропские народы обыкли на своих судах чрез окиян в Медитераниум или Средиземное море.»[3] В иностранной литературе по истории Турции широко распространено неправильное утверждение, что якобы по договору 1700 г. Порта предоставила русским кораблям, не только торговым, но и военным, право свободного плавания по Черному морю.[4]

Петра побудила пойти на компромисс та напряженная международная обстановка, которая сложилась в начале Северной войны — весной и летом 1700 г. России нельзя было начинать военных

[1] ГАФКЭ, Голландские дела, 1699 г., д. 3, лл. 1—3; 1700 г., д. 7, лл. 3—5.
[2] Там же, 1704 г., д. 4, лл. 17, 22, 110—111.
[3] Там же, лл. 22, 29, 33, 122.
[4] Zinkeisen. Gesihichte des osmanischen Reichs in Europa, V, SS. 234—235; Jorga. Geschichte des osmanischen Reichs, IV, S. 278.

действий до заключения длительного мира с Турцией. Это хорошо понимали на Западе. В марте 1700 г. из Берлина в Гаагу писали, что царь московский в войну с Швецией «вступать не будет по коих мест о мире с турецким султаном не обнадежитца».

А между тем против союзной Дании, уже начавшей войну со Швецией, готовилось выступление морских держав. Еще 22 марта Матвеев доносил из Гааги, что английский король и генеральное собрание Голландских штатов намерены оказать серьезную поддержку Швеции на суше и на море. Сведения не оказались ложными. Английская и голландская эскадры прошли в Балтийское море; соединившись с шведским флотом, они в июле 1700 г. бомбардировали Копенгаген и принудили Данию к сепаратному миру. [1] Действуя таким образом, морские державы рассчитывали обеспечить себе шведскую помощь в европейских столкновениях из-за испанского наследства.

Вступление России в Северную войну было встречено Англией и Голландией с большим неудовольствием. Голландское правительство затратило немало усилий для примирения царя с Карлом XII, намекая при этом на свои обязательства оказывать помощь Швеции.

В связи с этим в июле и августе 1700 г. наступил перелом в франко-русских дипломатических отношениях, носивших до того времени враждебный характер. Когда великое посольство приехало в Гаагу в 1697 г., то Лефорт и Головин не посетили французского посла. Сохранился письменный доклад, который русские великие послы сделали голландскому правительству. [2] В докладе усиленно подчеркивается, что французский король — «всего християнства неприятель и салтана турского союзник». Отсюда, очевидно, заимствовал С. М. Соловьев сведения о том, как Петр помешал избранию на польско-литовский трон французского принца Конти; была послана грамота литовским панам, чтобы они не выбирали Конти, и двинуты войска к литовским границам. Вследствие принятых мер королем был избран Август, который, по словам доклада, «будет всему христианству спомочен, а французскому королю и салтану турскому и хану крымскому противен». Летом 1700 г. по указаниям из посольской канцелярии Матвеев установил дружеские отношения с французским послом в Голландии и повел с ним торговые переговоры о безопасном плавании кораблей, имеющих московские пасы. [3]

Но возвратимся к русско-турецким отношениям. Для подтверждения заключенного Украинцевым мирного договора в 1701 г. в Турцию отправился Д. М. Голицын, [4] будущий глава «верховников». Ему было наказано попытаться получить у Порты согласие на плавание русских кораблей по Черному морю. Но попытка оказалась тщетною. Турки отказали наотрез, а иерусалимский патриарх предупредил Голицына, что дальнейшие настояния опасны и могут повести к нарушению мира. Опасаясь русского флота, турецкое правительство замыслило даже засыпать Керченский пролив и построить на перешейке многочисленные крепости. «Великий государь, — закончил патриарх, — может своею волею отворить ход Черного моря, а не просьбою у турок.»

20 ноября 1701 г. Петр Андр. Толстой был назначен постоянным послом в Турцию. Из справки посольского приказа мы узнаем, что «по указу великого государя в разных государствах при дворах королев-

---

[1] ГАФКЭ, Голландские дела, 1704 г., д. 4, лл. 12, 21, 100.

[2] Там же, 1697 г., д. 2, л. 9 и сл.

[3] Там же, 1700 г., д. 4, л. 110.

[4] С. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. III, стр. 1328, 1329.

ских живут послы: в галанской земле А. А. Матвеев, у цесаря — стольник кн. Петр Голицын, в Польше стольник кн. Григорий Долгорукий, в Дании стольник Андрей Измайлов, в Швеции стольник кн. Андрей Хилков.» В феврале 1702 г. была составлена грамота турецкому султану Мустафе о назначении Толстого послом, а в марте того же года на двор к Толстому прислали «тайные статьи» и «цыфирную азбуку» (шифр). Турецкому двору Толстой должен был объявить, что он прислан на «неколикое время для лутчего и состоятельнейшего оного мира охранения».[1]

Толстой был первым русским послом, направлявшимся в Турцию для постоянного пребывания. Назначение это было вызвано обострением международных противоречий в связи с подготовкой войны за Испанское наследство. Австрия никогда не имела посла при турецком дворе, потому что германский император при коронации давал клятву непрестанно бороться с турками. Теперь же австрийский посол граф Эттинген, приезжавший в начале 1700 г. в Турцию для утверждения Карловицкого трактата, при отъезде своем оставил секретаря Тальмана.[2]

Перед отъездом Толстому было поручено сообщить о внутреннем состоянии турецкого государства. В России больше всего интересовались вопросом — сможет ли Турция начать войну до истечения тридцатилетнего срока, установленного мирным договором 1700 г.

Толстой успешно справился с поручением и в 1703 г. прислал подробный ответ на данные ему «тайные статьи» — ответ,[3] рисующий картину внутреннего состояния султанской Турции, раздираемой религиозными противоречиями, страдающей от хронического безденежья, а еще больше от произвола и бездарности верховных правителей.

Положение христианских подданных Турции было очень тяжелым. Толстой сообщал, что греки утеснены и запуганы; им запрещено иметь оружие; для них установлено платье особого покроя — «платье худое яко являет смирения образ». Прочие христианские народы Турции, страдающие от непосильных поборов, не так запуганы и могли бы восстать против турок, если бы извне была оказана помощь: так отложились с помощью германского императора венгры. Государственный бюджет сводился с дефицитом, возраставшим из года в год. Недостающие суммы добывались при помощи новых поборов с христиан. Среди султанских чиновников процветало казнокрадство. «О доходах и расходах их краткословием можно сказать сице, — писал Толстой, — едина треть приходит в казну народную, другая расходится в духовный их чин, то есть каравуфом, которые надлежат до мечетей их, третья треть расходится по министром, которые збирают и крадут».[4]

Отсутствие денег не позволяет туркам начать войну. В народных массах популярна идея войны с Венецией, отнявшей у Турции Морею по Карловицкому договору. Но если турки и выступят против Венеции, «то будет война их без денег вельми безсильна».

Сейчас турецкое правительство не готовится к военным действиям. Скрыть же своих приготовлений оно не сможет по следующим двум причинам: во-первых, потребуются большие средства, которых нет в наличии, и следовательно будут введены новые поборы; собрать же налоги быстро и тайно турки не смогут, «понеже деньги збирают

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1701 г., д. 6, лл. 1, 6, 7, 10, 12, 29.
[2] J. Hammer. Histoire de l'empire ottoman, XIII, p. 95.
[3] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1703 г., д. 2, л. 196 и сл.
[4] Там же, л. 200.

принудительно и бесчеловечно»; во-вторых, Турция не имеет регулярного войска. После окончания войны войска распускаются по домам, и сбор их для нового похода требует не менее 6—7 месяцев. Обычно распоряжения о военном сборе рассылаются на места в октябре, и к весне следующего года войска приготовляются к походу. Существовала еще одна причина. Султан избегал войны «не ради блага народного», а для того, чтобы она не мешала ему беззаботно предаваться развлечениям. «Салтан, — писал Толстой, — ныне обретается в турецком государстве, яко истукан; все свои дела положил на крайнего визиря», а сам предается забавам.

Из ответа Толстого мы узнаем также интересные подробности о состоянии армии и флота. Сведения эти говорят об упадке боевой мощи «блистательной Порты».

Разложение коснулось и знаменитой боевой опоры султанской Турции — янычар. Среди их размножившихся потомков немало было людей, которые пользовались янычарскими привилегиями, освобождавшими от уплаты налогов и подчинения местной администрации, но от участия в походах уклонялись. «Только защищаемы тем именем, а войны не знают», — пишет Толстой. Содержание янычары получали скудное, по древнему обычаю — 3 аспры в день на человека. Поэтому многие из них «сочиняют для прокормления своего купечества, купят и продают все, что в руки им придет, и чинят прибыток».[1]

Скудость средств заставляла сокращать размеры янычарского войска. В турецких правящих сферах, правда, заявляли, что у них всегда наготове 40 тыс. янычар, размещенных в различных областях государства. Но осведомленные люди утверждали, что во время последней войны турки не могли содержать более 25 тыс. янычар одновременно; при наличии же средств это число легко могло бы быть увеличено до 50 тыс. Численность спахов, конницы на жалованьи, достигала 10 тыс. человек; во время походов они стерегли обоз, казну и знамя Магомета. «На боях не были при последних войнах, — пишет Толстой, — понеже многажды мятеж чинили в войске и для того верности им не имут, хотя в прошлые времена сие войско было многочисленно и ратоборственно, а ныне пришло в великую скудность.»[2]

Измена конницы влекла за собою обычно гибельные последствия для пехоты. Прикрываясь конницей, турецкая пехота храбро сражается, но, оставшись без прикрытия, «погибает бедно». На это указывают многие примеры из последней войны и из всех войн, в которых христиане одерживали победы над турками.

Донесения Толстого относительно турецкого флота содержат некоторые противоречия. В одном из них он отмечает, что у турок ветхих кораблей больше, чем крепких. Причины этого кроются в многочисленных войнах и плохом присмотре начальников. Другое донесение Толстого свидетельствует о том, что за последние десятилетия в турецком флоте произошли значительные изменения к лучшему. Турецкие корабли отличаются прочностью; как и французские, «они сшиваны великими железными гвоздьми». В прошлые годы, лет пятьдесят тому назад, турецкий флот состоял из 120 галер и 40 небольших кораблей, «а ныне все радение у них о строении больших кораблей, чтоб могли равною силою битися на Белом море против своих неприятелей». Турки уже достигли известных успехов: в последнюю

---

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1703 г., д. 2, л. 204.
[2] Там же, л. 206.

войну их флот не раз показал свое превосходство над венецианским. После заключения мира турецкий флот неустанно совершенствуется; турки всеми мерами стараются возвратить под свою власть Морею, «того ради на Медитеранском море недреманое око имеют».[1]

Морской экипаж в турецком флоте состоял из иностранцев. Матросы набирались из пленных христиан. За свою тяжелую службу они ничего не получали, «разве по 30 дней на месяц хлеба и батоги».[2] Командный состав подбирался из «христоотрочников» — принявших мусульманство французских, итальянских, английских и голландских моряков. Все они искусные мореплаватели. У них обучаются мореплаванию турки, которые трудно привыкают к морю и сильно страдают от морской болезни, «но не престают обучатися, зане непрестанное обучение чинит человека совершенным в художестве, которое последует».

Толстой собрал также интересные сведения, проливающие новый свет на международные отношения Турции, в частности на франко-турецкие отношения.[3]

Анализ турецкой внешней политики русский посол начинает с двух крупнейших пограничных с Турцией государств — России и Германии.

«Из пограничных соседей почитают цесаря римского, — пишет Толстой, — и ставят его себе неприятелем сильным на войне и приятелем постоянным в миру». Немцев считают народом сильным и искусным в военном деле. Войну с ними начнут только в том случае, если представится возможность напасть на них внезапно, чего в ближайшее время ожидать нельзя.

Царя российского «почитают зело великосильного, обаче мнят, яко-бы народ российский не имеет искусства в художестве воинском, чем утешаются». В турецких правящих сферах полагали, что и Турция не в силах воевать с Россией, что обе державы взаимно заинтересованы в сохранении мира. Последнее русское выступление, закончившееся завоеванием Азова, приписывали татарским набегам. Будучи осведомлены, что Азов после взятия его русскими превращен в неприступную крепость, о возвращении его не помышляли.

Только вести о переустройстве русской армии и о морском строительстве смущают турок. Особенно опасаются они, что московский флот внезапно нападет на них со стороны Черного моря. Страх перед российским народом еще более усиливается тем обстоятельством, что внутри Турции на каждого турка приходилось 10 единоверных русским христиан, в которых турки видят своих внутренних врагов и естественных союзников России. Поэтому турецкое правительство не разрешает русским купцам вести торговлю на Черном море и посылать торговые корабли из Азова в турецкие гавани.

Из турецких христиан постоянное содействие Толстому оказывали иерусалимский патриарх и «мултянский» (молдавский) господарь. Посредниками между ними был грек Спиллиот, племянник патриарха.

Чтобы преградить русским кораблям вход в Черное море, турки в 1703 г. начали строить крепость около Керчи. Постройкой руководил «обасурманившийся француз». Подвигалась она очень медленно из-за трудных географических условий. «Место тому противитца», — писал Толстой.

Опасаясь русского флота, турки весною того же 1703 г. замыслили «Иверскую землю воевать и в подданство себе привесть».

---

[1] Там же, л. 215.
[2] Там же, л. 142.
[3] Там же, лл. 196, 197.

Они боялись, что московские корабли выйдут в Черное море, а грузины будут оказывать им помощь по впадающим в море рекам, потому что русские и грузины единоверны. «К тому же, — дополняет Толстой, — и от тех бедных во Иверской земле жителей яко от неискусных, отнеслось слово такое, что они говорят, ежели де московской флот на Евксинопонт выйдет, мы де колико можем ему будем помогать и сами де ударим на восток».[1] В 1703 г. эрзерумский паша с многочисленным войском двинулся в поход и атаковал Грузию с трех сторон. Одновременно же турецкий флот прошел в Черное море для участия в Иверской войне.

«Поляков ни во что вменяют.., — отмечает русский посол, — и оставляют их под побеждение татарам крымским». Силу польских жолнеров считают ничтожною.

К Венеции относятся с ненавистью за отобранную по Карловицкому договору Морею, приносившую большие доходы в турецкую казну. Турки лелеят мысль внезапно напасть на Венецию на суше и на море и возвратить Морею, потому что венециане одни не могут от них защищаться.

Французов не любят и боятся; но скрывают свою неприязнь под внешними приятельскими отношениями. Турки ропщут на Францию, полагая, что она оказывала им в последнюю войну помощь в своих собственных интересах — в интересах борьбы за Испанское наследство. Очевидно, неудачный исход последней турецкой войны, которую Франция всячески старалась продлить, восстановил турок против французов. После начала войны с Аугсбургской лигой французские дипломаты в Константинополе и Варшаве усиленно работали над продлением турецкой войны с Австрией, стараясь одновременно помирить Порту с Яном Собесским, чтобы затем побудить последнего к выступлению против австрийского дома.[2]

Голландцев и англичан принимают как добрых друзей, так как своей торговлей они приносят выгоду Оттоманскому государству. Нападений от них не ожидают, а поэтому их не опасаются. Дружественные отношения поддерживались щедрыми подарками, подносимыми представителями морских держав турецким министрам.

Донесения Толстого рисуют нам картину глубокого упадка, переживавшегося султанской Турцией на рубеже XVII и XVIII вв.

Энгельс в своей работе «Внешняя политика русского царизма» относит Турцию середины XVIII в. к числу пограничных с Россией «приближавшихся к разложению» стран: «наступательная сила турок была сломлена уже 100 лет тому назад, оборонительная же их сила, пока еще значительная, тоже стала убывать; лучшим признаком этой возрастающей слабости были волнения...»[3] среди завоеванных Турцией народов.

II

Обратимся теперь к истории толстовского посольства.

В Турцию русский посол поехал сухим путем через Украину и придунайские княжества. Путь его лежал на Севск и украинные города до Батурина. Оттуда до Валахии его должны были проводить казаки гетманского регимента, о чем была послана особая государева грамота «войска запорожского обеих сторон Днепра к гетману

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1703 г., д. 2, л. 110; J. Hammer, op. cit., XIII, pp. 93—94. Автор указывает, что война была вызвана отказом грузин уплачивать туркам налог (impôt).

[2] Flassan. Op. cit., IV, p. 14; Jorga. Op. cit., IV, S. 271.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, стр. 9.

и славного чина святого апостола Андрея кавалеру к Ивану Степановичу Мазепе».

Еще в 1701 г. Д. М. Голицын, проезжая через Валахию в Турцию, завязал переговоры с валашским господарем. Последний просил у него защиты и хотел перейти в русское подданство. Господарь тогда же выразил надежду, что Петр I даст ему княжеский титул и сделает его кавалером, «како равным обычаем учинил царское величество Мултянскому господарю». Толстой должен был ответить господарю, что сейчас принять его в подданство невозможно «по постановлению нынешнего мира с Портою». Валашский господарь просил также, чтобы русские купцы ездили в Турцию через Валахию. На это Толстой отвечал ему, что невозможно силою заставить купцов ездить этим путем; к тому же только что вышел царский указ о поощрении русской торговли с турками в Азове.[1]

Толстой приехал в Адрианополь, бывший в это время постоянным местопребыванием султана, в момент затруднительный, когда русско-турецкие отношения сильно обострились.[2] Турецкое правительство пыталось использовать Северную войну для пересмотра мирного трактата от 3/13 июля 1700 г. и изменения его в свою пользу. Побуждаемый Швецией и Польшей, крымский хан плел сеть враждебных интриг. Прибывшие в конце 1702 г. в Адрианополь крымские мурзы настойчиво просили у султана разрешения на войну с Россией. Они утверждали, что царь готовится к войне с Крымом и скоро неожиданно на них нападет. Кроме того, подстрекаемые очаковским пашей, запорожцы ограбили греческих купцов, приехавших с товарами из Турции на Украину. Однако последний инцидент, вместо того чтобы стать поводом для русско-турецкого конфликта, помог Толстому упрочить мирные отношения между Россией и Турцией. Русское правительство согласилось компенсировать убытки греческих купцов — турецких подданных. Переговоры по этому вопросу поручено было вести Толстому. Это несомненно способствовало тому, что султан разрешил русскому послу постоянное пребывание в Турции.

Крымские предложения о войне с Россией были отвергнуты турецким правительством; мурзы отосланы «с безчестием» обратно; крымский хан смещен, и на крымский престол возведен его отец, попавший в заточение по сыновней клевете. Сменен был и султанский калга в Крыму.

Но вслед за тем русскому послу предъявили следующие требования: срыть крепость Каменный Затон в Запорожье; сжечь корабли в Азове и Таганроге и прекратить строительство на воронежских верфях; произвести новое размежевание русско-турецких границ. В декабре месяце 1702 г. рейс-эфенди начал об этом переговоры. Однако вскоре новые события ухудшили и без того не блестящее состояние дел султанской Турции. В Крыму и на Кубани вспыхнуло восстание против «блистательной Порты». Татары отказались принять нового хана, «на турок возымели превеликую злобу... и с черкесами и с ногайцами учинили договор и утвердились клятвою, что им всеконечно нетокмо ис подданства турецкого вытти, но и воевать турок и доступать государства оттоманского, чтобы и владеть им».[3] Во главе восстания стоял смещенный крымский хан.

Дело принимало опасный для турецкого правительства оборот. Принадлежавший к руссофобской партии визирь Далтабан вступил

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1701 г., д. 6, лл. 16, 17, 20.
[2] Там же, 1703 г., д. 2, лл. 276, 277, 287, 288.
[3] Там же, л. 9 — Донесение Толстого от 17/II, 1703 г.

в соглашение с восставшими, предполагая действовать по следующему плану: под предлогом усмирения крымцев повести под своим командованием турецкие войска к Дунаю, а там, соединившись с восставшими, итти на Азов или Киев. Но замыслы его были открыты; 13 января 1703 г. он был схвачен и ночью удавлен. На его место был назначен бывший рейс-эфенди Мегмет-паша. В разоблачении планов Далтабана активное участие принимал Толстой.

К восставшим крымцам сочувственно относились запорожцы. В начале того же 1703 г. секретарь турецкого правительства Александр Шкарлат спрашивал Толстого — одни ли запорожцы царю «противность чинят» или вся Украина. Тот отвечал, что одни запорожцы, остальная же Украина верна царю; запорожцев насчитывается всего пять-шесть тысяч, и они предполагали соединиться с прежним крымским ханом.

После устранения Далтабана замыслы крымцев и кубанцев потерпели фиаско. Разбитый крымский хан нашел убежище у черкесов. Турецкое правительство отдало приказ новому правителю Крыма направить 60 тыс. татар против черкесов. Для поощрения ему было послано 40 тыс. золотых червонных и золотое оружие — сабля и кинжал. «И того де ради и флоту на Черное море выводят, — писал Толстой,—чтобы татар совершенно устрашить, понеже татары еще злобу на турков в сердцах своих вкорененну имеют и турки их зело опасны». [1]

Подавив крымское восстание, Турция возобновила свои прежние требования. [2] 5 июня 1703 г. секретарь визиря в разговоре с Толстым повел речь о том, чтобы азовский флот был сожжен или отведен в Воронеж, а крепость Каменный Затон срыта. Посылаются лазутчики в Таганрог, Азов, Воронеж. Когда одного из них, Мегмета-агу, не пустили в Азов и не показали ему флота, турецкое правительство было очень недовольно. Помня недавно полученный наказ Головина «не допустить ссоры», Толстой ссылался на то, что Мегмет-ага не имел посольского звания. Спокойно и твердо русский посол отклонил требования относительно азовского флота и крепости Каменный Затон, как противоречащие последнему русско-турецкому соглашению; с своей стороны Толстой выдвинул следующие требования: свободный проезд для русских паломников в Иерусалим, свободная торговля на Черном море.

Потеряв надежду склонить московского представителя к уступкам, султан решил послать в Москву посла Мустафа-агу, [3] который должен был сначала заехать в Крым, а оттуда уже направиться в Россию. «По прежней своей гордости» турки хотели было отправить в Россию посольство от крымского хана, но Толстой категорически заявил, что подобного посла в Москву не пропустят, и переговоры с ним будут вестись не царскими министрами, а украинским гетманом. Вследствие заявленного протеста, «того посла и посылают, — сообщает Толстой, — по обыкности, как чинят посольство с цесарским величеством римским». В заготовленную для посла султанскую грамоту были внесены известные нам притязания.

Итак, русско-турецкие отношения летом 1703 г. снова обостряются. В народе ходили упорные слухи, что московский флот вышел в Черное море и якобы даже взял два турецких корабля; визирь же не принимает никаких мер, потому что подкуплен Толстым. Визирь и султан «житью моему у себя не рады и всячески меня притесняют»,—

---

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1703 г., д. 2, л. 357.
[2] Там же, лл. 117, 369 — 379, 442—449.
[3] Там же, лл. 395, 404—405.

жалуется Толстой в своих донесениях. Посылка Мустафа-аги тоже не могла способствовать налаживанию добрососедских отношений. Но прежде чем турецкий посол достиг Москвы, в Турции произошли важные внутренние события, помешавшие ей активизировать свою внешнюю политику.

Летом 1703 г. в Константинополе разыгралось грозное народное восстание, свергнувшее с престола султана Мустафу.[1] Посольская грамота Мустафа-аги, список с которой хранится в ГАФКЭ, была написана уже от имени султана Ахмета. Движение начали янычары, которые волновались еще за несколько месяцев до этого. 15 апреля они, подстрекаемые своим агой и его товарищем Кегаем, потребовали от турецкого правительства начать войну с одним из христианских государей. Апрельское возмущение носило характер мятежа, вызванного тем, что янычары «жалованье берут с оскудением». Прибегнув к хитрости, турецкое правительство легко справилось с мятежом. Янычарский ага был обласкан и удален из центра; он был назначен владетелем Крита. Толстой предполагал, что по дороге его удавят. Кегай был заточен.

Летние события носили иной характер. Когда в начале июля янычары в Константинополе «забунтовали и многих частных людей побили и домы многие разграбили», это возмущение нашло отклик в более широких кругах. Толстой в своем донесении от 25 июля сообщал, что движение все усиливается и что общее число возмутившихся уже превысило 100 тыс. человек. «Смятение и додень по всяк день прирастало, — писал он,[2] — и уже превеликой огонь возгорелся и претеплое возмущение чинится не от одних янычар, но и от других служивых чинов люди с тем мятежники соединились и уже Константинополь наполнился тем бунтовщиками... Сказывают, есть тех больше 100 000». Трудно предположить, чтобы все это были только «служивые люди». Очевидно к движению примкнули и народные массы, изнывавшие под игом султанской Турции. В другом месте Толстой говорит о назначенном восставшими визире, что он был «избран во время мятежа народным согласием».

С расширением движения изменились и его цели. Сначала оно было направлено только против муфтия, а затем обратилось против всей правящей турецкой верхушки. Янычары потребовали от султана, чтобы он немедленно переехал в Константинополь и перенес туда свою резиденцию. В случае отказа ему угрожали свержением с престола, который будет передан его младшему брату — десятилетнему ребенку. Восставшие сменили янычарского агу и выбрали своего муфтия, визиря, каймакана и других высших правительственных чиновников.

В Адрианополе в султанском дворце в это время царили величайшая растерянность и страх. Уступая требованиям восставших, султан подверг домашнему аресту прежнего муфтия и других лиц, навлекших на себя народный гнев. Имущество их было конфисковано. Султан, пытаясь привлечь на свою сторону руководителей константинопольского движения, послал им кафтаны — знак султанской милости, но этот дар был отвергнут. Одновременно султан стягивал верные ему войска, чтобы двинуть их против Константинополя. Толстой считал эту попытку султана заранее обреченной на неудачу, полагая, что адрианопольские «служилые люди все султану не в крепкой вере». Проницательный и опытный политик, искушенный в делах

[1] Там же лл. 172—173, 462, 469—472, 483—485, 564.
[2] Там же, л. 469.

подобного рода, Толстой предвидел исход событий. «Знаки, государь, — писал он, — склоняются к тому, что быть новому салтану и союз сему вскоре совершится».

Общее смятение увеличивалось еще ходившими в народе слухами о том, что свергнутый крымский хан собрал в Черкесии большое войско и идет войной на Турцию.

В конце июля султан решил двинуть войска из Адрианополя навстречу восставшим. Однако его действия не отличались энергией: 29 июля был отправлен первый отряд, и только 5 августа выступил визирь с войском под знаменем Магомета; но и выступив, он медлил, два дня простояв под Адрианополем. 9 августа к визирю двинулся с остальными силами султан. Однако в тот же день он вернулся обратно — войско визиря перешло на сторону восставших. Оставленный своими министрами, которые разбежались и попрятались, султан Мустафа с немногими верными ему людьми оставался в своем адрианопольском дворце до 11 августа, до прихода константинопольцев. Последние заточили Мустафу во дворце, где он был умерщвлен через четыре месяца, а султаном провозгласили его брата Ахмета. Муфтию отсекли голову, и тело его с ругательствами волочили по городу. Янычарам немедленно выдали жалованье по 40 левков на человека. Избранные «народным согласием» министры недолго оставались у власти; 30 октября 1703 г. янычарский ага был отставлен от должности и сослан в заточение на Кипр; неделю спустя та же участь постигла визиря Ахмет-пашу, сосланного «в Хию» (очевидно на остров Хиос); двух визирских помощников удавили. На пост визиря был назначен Хасан-паша.

Султанская Турция жестоко расправилась с восставшими.[1] Общее количество жертв, казненных открыто, задавленных тайно и утопленных в море превышало 12 тыс. человек. Несмотря на жестокий террор, отголоски восстания еще долго давали себя чувствовать. В начале 1704 г. Толстой писал в Россию, что турки не смогут скоро начать войны ни с кем «скудости ради денежной и внутренних нестроений, понеже хотя и усмирилась ребелия, но не вся совершенно искоренена».[2]

Внутренние турецкие «нестроения» и русские победы над шведами принудили султанское правительство сохранять мир с Россией. Но достигнуть этого удалось не сразу. Вначале правительство султана Ахмета предъявило к России те же требования, что и султан Мустафа.

Турецкий посол Мустафа демонстративно поехал из Крыма в Москву через Батурин, отказавшись от прямого пути через Азов, куда навстречу ему выслали стольника. В привезенной послом грамоте содержался резкий протест против возведения крепости на Днепре и строительства кораблей в Воронеже, «понеже Черное море состоит под владением нашего величества, а иной никто тем не владеет, а по постановленному мирному договору постановлено и ни малой лодки на Черное море не выходить».[3] С посланным ждали доброго и скорого ответа, но Мустафа-ага надолго задержался в России. Петр и Головин участвовали в военном походе, закончившемся взятием Нарвы и Дерпта. Вследствие этого переговоры сильно затянулись, 28 ноября 1704 г. Головин из Нарвы писал Толстому, что турецкий посол ведет себя крайне агрессивно. Он отказывается писать в Турцию, грозит, что султан скоро взыщет за его задержку

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1704 г., д. 2, л. 22.
[2] Там же, л. 25.
[3] Там же. д. 1, л. 3.

и что от Толстого писем тоже больше не будет. Настроение Мустафа-аги не смягчали ни оказываемые ему почести, ни высокие «кормовые»: живя в Новгороде, чтобы быть поближе к царскому двору, он получал по 25 рублей в сутки. Перед отъездом он наотрез отказался взять ответные царские грамоты к султану и визирю.

Поэтому в декабре 1704 г. Головин послал Толстому инструкцию, содержавшую в себе подробный ответ на султанскую грамоту.[1] О кораблях поручалось сказать, что они еще до заключения мира были выведены в Азовское море и стоят у Таганрога «для того, что их вводить и выводить на море донским устьем зело с трудностию». Уничтожение их принесет большие убытки, но если Турция пожелает их купить, то царь «ценою отягчать их не будет». О воронежском кораблестроительстве надлежало ответить, что каждый «потентат» без разрешения соседей «может строить, что изволит». К тому же из Воронежа де есть теперь и другой водный путь, кроме донского, так как «учинен перекоп в Волгу». Вновь кораблей на воронежских верфях не закладывают, достраивают начатые до заключения русско-турецкого договора, султан же непрестанно строит новые корабли на Черном море, где у него нет никакого неприятеля. Здесь следовало подчеркнуть, что царь твердо хранит мир, доказательством чего служит возмещение причиненных запорожцами убытков, хотя русские подданные терпят немало обид и подвергаются разорению от своевольных татар.

Что же касается Каменного Затона, то он построен выше Сечи, тогда как договор запрещает строить крепости между Перекопом и Сечью. Турция после заключения мирного договора тоже строит крепости около Керчи и на Кубани, «и подозрения ко обоим странам о строении крепостей никакова быти не подлежит, понеже во своих каждый потентат границах, что изволит строити во опасность свою может, а не в нарушение мира сие вменить надлежит».

Доказывая все это турецким министрам, Толстой должен был, по выражению инструкции, «выводить пространными о том и многими доводы явно». Он мог сослаться и на частые перемены власти в Турции, которые заставляют Россию быть настороже; ведь во времена визиря Далтабана турецкое правительство едва не начало войны с Россией «без всякие к тому пристойные причины».

В инструкции была и секретная статья, которую предлагалось хранить в строжайшей тайне под страхом смертной казни. Если все старания окажутся тщетными, и Толстой увидит, «что приуготовление их есть к войне никуды инуды токмо к нашей стране», то ему предписывается заявить, что русское правительство согласно на следующие уступки: увести корабли с Азовского моря или продать их Турции, разрушить крепость Каменный Затон. Это были крайние меры, на которые шла Россия в целях сохранения мира. Все дальнейшие турецкие притязания отклонялись; срыть Таганрог русские отказывались наотрез.

Предотвратить или по крайней мере отсрочить войну помогала и та острая международная борьба, которая кипела в Константинополе между представителями европейских держав. Борьба эта была отзвуком войны за Испанское наследство. Французская дипломатия была заинтересована в том, чтобы разжечь австро-турецкую войну или хотя бы побудить турецкое правительство оказать помощь восставшим против австрийского владычества венграм. Союзники Австрии—Англия и Голландия, имевшие постоянных представителей в Константино-

[1] Там же, лл. 58—78.

поле, всеми силами и любыми средствами старались разрушить французские планы.

В начале 1704 г. Толстой сообщил[1] из Константинополя, что турки готовятся к войне против Венеции или Австрии. Находившийся в Константинополе французский посол непрестанно побуждал визиря выступить против цесаря, указывая, что туркам представляется сейчас удобный случай для нападения, потому что Австрия терпит крупные поражения от французских войск. Свои советы французский дипломат подкреплял щедрыми подарками визирю и другим вельможам.

Заодно с французами действовали и восставшие против австрийского владычества венгры. В Константинополь в это время приехали за помощью венгерские знатные люди, остановившиеся у французского посла.

Эта враждебная Австрии дипломатическая деятельность встречала ожесточенное сопротивление со стороны английского и голландского представителей в Константинополе.

«И сие дело зело великое, — доносил Толстой, — и посол французский всячески в сем трудитца, как и наперед сего к вам писал. Но и английской и галанской отворенные очи к сему делу имеют и как могут французу противятца. И уже, бог весть, коликое число потеряно со обоих сторон денег в различных вещах, которые в дары от них отсылаютца, но еще ныне никоторые пользы ко стране французской является».[2]

Новый султан Ахмет III особыми грамотами подтвердил мирные договоры, заключенные с Австрией и Францией. Однако скоро турецкое правительство обнаружило склонность если не к открытой войне с Австрией, то к поддержке венгерского восстания.[3] Из донесения Толстого от 20 марта 1704 г. мы узнаем, что Порта «велела» французскому послу отправить своего секретаря с письмом к венграм, чтобы «возмогали противу цесаря». Но посланное с этим секретарем письмо от Порты было написано неясно, «под прикровением».

Все это содержалось в строгой тайне. Внешне турки поддерживали дружественные отношения с Австрией и отправили туда посла. Австрийцы не пропустили его через Венгрию, сославшись на «ребелию». На запрос посла султан отвечал, чтобы посол «никакие противности не чинил» и ехал бы по указанной австрийцами дороге.

Турки пристально следили за продолжавшимся венгерским восстанием, но медлили с выступлением, несмотря на «многий труд и неисчетные убытки французского посла». Летом 1704 г. турецкое правительство начало стягивать войска к венгерской границе, но политика его попрежнему оставалась медлительной и вялой.

4 июня 1704 г. Толстой сделал представление визирю относительно многочисленных войск и флота, собираемых турками у русских границ. Визирь отвечал, что тефтедарь Хасан-паша собирает рати и будет стоять безотлучно вблизи венгров для «своих потреб». «И потому, государь, — пишет Толстой, — значится, что имеют о венграх замысл, но еще воздерживаются, усматривая приличного времени».

Для большей предосторожности турки даже переговоры с венграми ведут через французского посла, который, по распоряжению визиря, пишет к начальникам венгерских повстанцев и обнадеживает,

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1704 г., д. 2, лл. 8, 9.
[2] Там же, л. 24.
[3] Там же, лл. 47, 48, 183, 188, 189, 242, 243, 251.

что турки окажут им помощь. В результате этих переговоров два знатных повстанца прибыли в Константинополь и тайно жили там по визирскому приказу в полном довольстве. На протесты австрийского резидента, заявившего, «что сие дело мирным их договорам противно», визирь ответил «ласково обаче темно», будто ему, визирю, об этом ничего неизвестно. Но было потеряно много дорогого времени в нерешительных колебаниях и медленных сборах. Австрийцы успели нанести венграм летом 1704 г. два поражения.

Царская дипломатия успешно использует выгодную для России международную ситуацию, поддерживая в 1703—1704 гг. французскую сторону.[1]

В 1703 г. Головин предписал Толстому склонять Порту к войне с цесарем. Толстой в ответ ссылался на следующие препятствия: «Сие дело ни по какому образу тайно делатися не может, понеже англинской, галанской послы и секретарь цесарской недреманным оком сего смотрят». К тому же это предприятие потребует больших расходов, не одну тысячу червонных, «на дачу». Турки сейчас не склонны к войне «скудости ради денежной и внутренних нестроений».

Непосредственного участия в французских дипломатических замыслах Толстой, очевидно, так и не принял. Правда, в своем письме от 20 марта 1704 г., опровергая дошедшие в Москву ложные слухи о том, что турки начали войну с Венецией, Толстой писал: «Токмо, государь, предуготовление у турок к тем странам есть. И я по приказу твоему к тому делу приступаю тайно, чтобы Порте с цесарем или с венецыяны иметь войну».

Толстой изыскал тайный способ, нашел близкого к султану человека, согласившегося вести дело. Впрочем, последний больше склонялся к войне с Венецией. Здесь же царский посол жалуется на отсутствие средств и просит прислать для подарка султану мех чернобурой лисицы и соболей «на дачу».

Возможно, что отсутствие средств и помешало Толстому немедленно приступить к осуществлению своего тайного плана. А затем намерения руководителей петровской дипломатии изменились. По крайней мере 30 июня того же 1704 г. в ответ на письмо Головина от 30 апреля Толстой пишет следующее: «Как милость твоя, государя моего, через оное писание изволил мне приказать, так о всем чинить буду и благодарю бога, что до того твоего, государя моего, писания оного дела (чтоб Порте вступить в войну с немцами) не начал».[2]

С французскими дипломатическими представителями в Константинополе царский посол поддерживал дружественные отношения и пользовался их помощью. Через Саву Рагузинского он завел знакомство с французским секретарем, «который — по словам Толстого — человек преразумен и у Порты великой и всем ведомец... и какие бывают у Порты ведомости, оный секретарь мне о всем ведомо чинил чрез него, Саву.»[3] В подарок французскому дипломату с тем же Савою он посылал соболей. Делались подарки, но меньшей ценности, и брату французского секретаря — за тайную передачу Толстому писем из французской дипломатической миссии.

Французское содействие могло быть в это время очень полезным, потому что «татарские клеветы умолкли обаче ненадолгое время». И на этот раз за спиною Крыма стояли Польша и Швеция. В августе 1704 г. крымский хан прислал в Константинополь письмо, полученное им из

---

[1] Там же, лл. 11, 25, 44.
[2] Там же, л. 278.
[3] Там же, л. 292.

Польши. Письмо это, сильно обеспокоившее Порту, тщательно скрывали от русского посла.

По словам поляков, русский царь завоевывает Польшу и Литву, «видя в них междоусобное смятение»; русские рати будто уже стоят под Каменцем. После завоевания Каменца и Подолии валахи, молдаване и другие турецкие христиане поддержат царя, и он без труда овладеет землями от Днестра до Дуная. «И то дело будет туркам к самой худобе, а им де крымцам сущая гибель», — писали в письме поляки и призывали крымцев подняться со всеми ордами против царя «им поляком в помочь, а им же поляком помогает король швецкой, который имеет многие и зело изрядные рати и многое число денег и обещает им татарам многую плату».[1] Крымцы спрашивали султана, как им поступить. С помощью Александра и Николая Шкарлатов Толстому удалось благополучно пресечь интригу.

Вообще в 1704 г. в русско-турецких отношениях происходит перемена к лучшему. Правда, в начале года отношения были еще очень натянутыми. Крымцы сообщали ложные вести, что царь весною начнет с ними войну.[2] Турки настаивали на выполнении своих старых требований относительно азовского флота и крепости Каменный Затон и угрожали войной. В Анатолии собирали войска для Иверской войны. Флот отправляли в Черное море. Все это сильно беспокоило Толстого. «И чтоб в Азове имети недреманно в те страны отворенное око», — пишет он в своем донесении от 10 апреля. «Зело, зело осторожность иметь прилично», — повторяет он дальше, сообщая о посылке турецких лазутчиков для выяснения числа кораблей в Азове и Таганроге. Но уже весною 1704 г. турецкая внешняя политика изменяется.[3] Отменены прежние стеснения, которым подвергался царский посол. Толстой получил сначала разрешение «визитоваться» с дипломатическими представителями других держав, а затем и полную свободу сноситься с любыми лицами. Приезжавшим в Турцию для торговли русским подданным предоставлялись некоторые льготы. Несколько позже, летом 1704 г., Толстой получил право разыскивать и освобождать русских невольников, захваченных в плен после русско-турецкого мирного договора 1700 г. Емрукчею было приказано расспрашивать о продаваемых на рынке русских рабах и взятых после мирного договора препровождать в правительственные учреждения для освобождения. Такие же указы были посланы в Керчь капитану-паше, а также силистрийскому сераскиру Юсуфу-паше и крымскому хану. Эти распоряжения были сделаны вследствие неоднократных представлений Толстого о грабежах и насилиях, чинимых кубанцами и крымцами на русской территории. Кроме того, во все татарские страны посылались султанские указы, в которых «с великим подкреплением» приказывается сохранять мир с Россией.

Толстой объяснял это изменение турецкой политики тремя причинами.[4] Во-первых, увеличением военного могущества России, «понеже великое от страны великого государя имеют всегда опасение». Во-вторых, тем, что турки склонны начать войну с Венецией или Австрией и потому заинтересованы в сохранении мира с Россией. В-третьих, действием казны, которая ему была прислана с Савою Рагузинским на подарки турецким вельможам.

Признаком начинавшегося между Россией и Турцией сближения

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1704 г., д. 2, л. 284 — донесение Толстого от 10/VIII 1704г.

[2] Там же, лл. 46, 60, 62, 68, 174, 175.

[3] Там же, лл. 47, 49—50, 243, 251.

[4] Там же, лл. 46, 278, 279.

было и происшедшее в 1704 г. улучшение русско-турецких торговых отношений.

До этого времени приезжавшие в Турцию для торговли русские подданные (преимущественно нежинские греки и украинцы) уплачивали харадж и десятипроцентную торговую пошлину. Теперь, по представлению Толстого, уплата хараджа была отменена и взысканные в 1704 г. с русских купцов деньги возвращены им. Царский посол ходатайствовал также о том, чтобы торговая пошлина с русских взималась, как и с французов, в размере 3% с цены товара. Турецкое правительство отложило выполнение этого требования до заключения торгового договора. Но Емрукчею было «приказано брать умрук нетягостно». Так, с нежинских греков взяли в этом году только трехпроцентную пошлину.[1]

Немало трудов затратил Толстой, чтобы положить начало русской торговле с Турцией через Азов. Несколько раз турецкое правительство давало ему и затем отнимало разрешение на посылку судна с товарами из Константинополя. Наконец фирман на отправку корабля был получен под предлогом, что Толстой пошлет на нем подарки своему брату. Ближайшим помощником посла в этом предприятии был Сава Рагузинский, который летом 1704 г. и отправил свои товары в Азов на турецком «бастименте», нанятом на имя Толстого. «За оный бастимент наем заплатил Сава Рагузинский, — пишет Толстой, — от себя под моим имянем, для того, что все вещи на оном бастименте ево, Савины, а моего ничего нет, токмо учинил я то, для того чтобы помалу оной морской путь к Азову отворялся».[2]

В 1706 г. Сава Рагузинский доносил, что визирь обещает отпустить еще одну «шайку»[3] в Азов. Государю этот торг «вельми приятен», и Толстому поручается стараться о его умножении.[4]

Заметно оживляются в 1704 г. и русско-турецкие торговые переговоры.[5] Дело в том, что в мирный трактат 3(13) июля 1700 г. не были включены «торговые статьи» по причине ряда разногласий между договаривающимися сторонами. Русские представители требовали для своего торгового флота права свободного плавания по Черному морю. Порта упорно отказывалась выполнить это требование. Черное море в это время было закрыто для плавания иностранных судов, даже торговых. «Une fille inviolée des sultans», — так в шутку называют его французские историки.

В марте 1704 г. Толстой просил Головина выслать ему «пленипотенцию» на заключение с Турцией коммерческого трактата.

10 апреля 1704 г. великий визирь согласился начать обсуждение торгового договора с русским послом, о чем Толстой безуспешно ходатайствовал все предшествующие годы своего пребывания в Турции. В тот же день русский посол подал турецкому правительству написанный по-латыни «мемориал», содержавший русские предложения. Документ этот был составлен не без помощи Савы Рагузинского, от которого Толстой получил сведения о французских и венецианских торговых соглашениях с Турцией.

Русский представитель предлагал установить для обеих сторон следующие условия торговли: свободное плавание коммерческих кораблей по Черному морю, беспрепятственный проезд и свободное проживание купцов одного государства на территории другого, сво-

---

[1] Там же, Турецкие дела, 1704 г., д. 2, лл. 49—50.
[2] Там же, л. 289.
[3] Небольшое судно.
[4] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1706 г., д. 1, л. 8.
[5] Там же, 1704 г., д. 2, лл. 47, 212, 219—227.

бодную торговлю всеми товарами, кроме запрещенных,—оружия и военных припасов. Кроме того, он ходатайствовал о снижении взимаемых с русских товаров пошлин до 3% и об учреждении русских консульств в Оттоманской империи.

Толстой крепко настаивал перед султанским правительством на установлении азовской морской торговли. На замечание великого визиря, что «де и ныне подобает торгом быти также, как были и прежде», он горячо возражал, указывая на ничтожные размеры русско-турецкой сухопутной торговли. «Прежде сего, — заявил Толстой, — такая торговля, как есть обыкность на всем свете торговле быть, между сими двумя государствы, Российским и Оттоманским, не была. Аще и были некакие малые торговые промыслы от греков и те де были зело неудобны, понеже де приезжать торговым людем сухим путем зело далеко и неполезно. А ныне де есть путь морской от Константинополя к Азову и зело близок и может де торговля быть со обоих стран с великом удовольством».

Письмо Толстого, в котором он просил прислать ему полномочия для заключения торгового договора или направить кого-либо другого в Константинополь для выполнения этой миссии, было получено Головиным в обозе у Нарвы 31 мая 1704 г. Головин немедленно доложил об этом государю, и Петр I приказал поручить Толстому вести торговые переговоры.

В особом письме Головин давал подробную инструкцию послу, как вести себя во время переговоров.[1] Посланная полномочная грамота содержала специальную оговорку, что полномочия Толстого распространяются только на коммерческие вопросы. Это было сделано с целью не давать туркам повода к пересмотру мирного трактата 1700 г., что они неоднократно пытались сделать. «О торговле, дабы через Черное море учинить, — пишет далее Головин, — всяким тщанием своим домогатца». О торговых кораблях он наказывал написать в договоре глухою статьею, не обозначая их количества и национальности; если же это не удастся, то написать по крайней мере пять отправляемых ежегодно кораблей, потому что при меньшем количестве торговля будет убыточной. Чтобы скорее склонить турок к заключению соглашения, Головин рекомендовал в договоре специальным пунктом запретить вывоз оружия и военных припасов из Турции; турецким же купцам предоставить полную свободу вывоза товаров из России за исключением «полоняников». С тою же целью русское правительство соглашалось пойти на уступки: продать часть азовских кораблей Турции по сходной цене; не возражать против постройки новой турецкой крепости вблизи Очакова. «И сие, мой государь, — пишет Головин, — изволь предложить по многому их домогательству и разговорам, приводя их конечно к вышеписанной через Черное море торговле.»

Из турецких товаров Россия была заинтересована в меди, олове, а также в левках (турецких деньгах). «Их товары, — отмечает Головин, — нам кроме сих 3-х мало что годны, к тому ж потребна нам бумага хлопчатая».

Данные в этой инструкции указания сохранили свою силу и в последующие годы. В 1706—1708 гг. Толстой получал из посольской канцелярии предписания «о торговле чинить по прежде присланным указам и по тамошнему состоянию».[2]

Согласие турецкого правительства начать обсуждение торгового договора было крупным экономическим и дипломатическим успехом

---

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1704 г., д. 1, лл. 10—29.
[2] Там же, 1706 г., д. 1, л. 12

России. Толстой получил поощрение: его годовой оклад был увеличен на 700 рублей и доведен до 3 тысяч.

Действительно, если торговля непосредственно с Турцией не имела большого значения для России, то персидская торговля и возможность приобщиться к средиземноморской торговле представляли для России большой интерес.

К тому же, что едва ли не было самым главным, торговые переговоры имели большое политическое значение, потому что они упрочили положение Толстого в Константинополе.

Установившиеся добрые отношения удалось сохранить и после возвращения турецкого посла Мустафы, хотя последний, потерпев фиаско в своей дипломатической миссии, пустил в ход все средства, чтобы рассорить Порту с Россией. Толстому пришлось претерпеть большие неприятности, напомнившие ему времена визиря Далтабана, когда едва не вспыхнула русско-турецкая война. Посол был подвергнут строгому домашнему аресту, его слугам не позволяли уходить со двора даже для покупки хлеба, и он несколько дней сидел без пищи. Толстой опасался, что его дворовые люди, которые уже три года прожили в Турции, познакомились с турками и научились турецкому языку, не выдержат таких притеснений, примут мусульманство и выдадут его секреты. Тщательно следя за ними, он предполагал ненадежных отправить со своим сыном обратно в Москву. Но турки и сына Толстого не выпускали из Константинополя.

Однако Толстому удалось внушить турецкому правительству подозрения относительно поведения Мустафа-аги, который по надменности и грубости нрава позволил себе непристойные выходки: перед отъездом из России он наотрез отказался взять ответные грамоты, которые были пересланы Головиным в Константинополь Толстому; на своей последней остановке перед выездом за русский рубеж он оставил, бросив под лавку, исковерканный и испачканный портрет Петра I, прежде украшавший триумфальную арку, воздвигнутую в честь Нарвской победы (портрет этот был отдан Мустафа-аге после его настойчивых и многочисленных просьб). Толстой успешно разоблачил замыслы турецкого посла. Мустафа-ага подвергся домашнему аресту, его жизни и имуществу грозила серьезная опасность. Толстой же вернул себе расположение султана и визиря и получил согласие на отъезд сына.

Отклонив турецкие требования об уничтожении азовского флота и крепости Каменный Затон, русское правительство согласилось на выполнение третьего из требований — размежевание русско-турецких границ. После некоторых трений на Кубани и конфликта на Украине, где турецкие комиссары попытались было изменить в свою пользу установленную в 1700 г. границу, размежевание земель было благополучно закончено в 1705 г.[1] В константинопольских кругах это произвело очень благоприятное впечатление — «турки уверились о совершенном содержании миру чрез разграничение земель».

Одержанные в 1701—1705 гг. победы в Северной войне позволили русскому правительству изменить тон по отношению к Турции.

В 1706 г. запорожцы снова ограбили турецких греков, которые возвращались с Украины в Турцию. Ограбленные обратились с жалобой к султану, надеясь на возмещение убытков русским правительством. В связи с этим Толстой получил из посольской канцелярии распоряжение заявить визирю, что еще пять лет назад особым царским

[1] Конвенция была подписана 22 октября 1705 г. (см. J. Hammer. Op. cit., XIII, p. 96).

указом было запрещено купцам ездить тем путем через Украину, потому что «ныне война с шведы и несогласия с поляки есть»; в том же указе купцам рекомендовалось ездить из Турции в Россию и обратно морем или сухим путем на Азов, «куда путь зело безопасен»; с торгующих в Азове лиц обещано было в течение семи лет не брать пошлин. На требование возместить убытки Толстой должен был ответить категорическим отказом, ссылаясь на сделанное купцам предупреждение об опасностях украинского пути и на международный обычай, по которому государи не возмещают убытков ограбленным разбойниками купцам: «И разбойников бывает во всех государствах довольно, тако ж и у его салтанскова величества оных пребывает и близь самые столицы немало и многие разбои чинят, однако же салтаново величество никому за пограбление платить не изволит.»[1]

Положение русских дел в Константинополе изменилось к худшему, когда русские победы в Прибалтике сменились поражениями в Польше. Военные неудачи осложнялись внутренними восстаниями. Толстой не раз пишет из Турции, что турки радуются шведским победам, огорчаются и не верят известиям о русских удачах. Радовались турки и «ребелии булавинской». Восставшие же башкиры сами не раз обращались к крымскому хану и турецкому султану за помощью. Впрочем, эти ходатайства не имели успеха — турецкое правительство знало, что среди его подданных многие охотно перешли бы в русское подданство.

Действия русской дипломатии в Турции затруднялись наступившим в 1707 г. обострением франко-русских отношений. Еще в конце 1706 г. Толстой предполагал попрежнему действовать вместе с французским послом Ферриолем, чтобы склонить Порту к войне с Австрией. А весною 1707 г. французский посол получил от своего короля предписание во что бы то ни стало поссорить Порту с Россией, не щадя никаких средств. С этой целью Ферриоль вступил в соглашение с крымским ханом Кази-Гиреем и действовал при султанском дворе, стараясь напугать турок русскими притязаниями на Каменец и связями Толстого с турецкими христианами. Старания французского посла оказались тщетными. Турецкое правительство в апреле 1707 г. сменило совершавшего набеги на русскую территорию крымского хана Кази-Гирея.[2] Но отношение Толстого к французским дипломатам в Турции с этого времени и вплоть до отъезда оставалось неизменно враждебным.

Летом 1707 г. в Турцию прибыл гонец от Станислава Лещинского, шведского ставленника на польском престоле. Лещинский просил позволить татарам итти вместе с поляками на Москву, указывая, что тогда царь, стесненный с разных сторон поляками, турками, шведами и татарами, будет принужден отдать Азов и все, что султан захочет. Пытаясь предупредить этот дипломатический ход Станислава, Сендомирская конфедерация при содействии Петра I несколько раньше направила своего гонца к султану, но гонец этот не был пропущен в Константинополь.

Толстой энергично действовал против Лещинского и подарками и аргументами. Его представления о том, что значительная часть Польши не признает Станислава, значительно способствовали провалу польской интриги.

Французские и польские происки были особенно опасны в 1707—

---

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1706 г., д. 1, лл. 14—15.

[2] С. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. III, стр. 1439—1441. С. М. Соловьев указывает, что Кази-Гирея сменил Каплан-Гирей; по Гаммеру—Девлет-Гирей (J. Hammer. Op. cit., XIII, p. 190).

1709 гг., когда вся тяжесть Северной войны легла на плечи одной России.

В европейских дипломатических кругах в 1707 г. носились упорные слухи, что шведский король Карл XII и шведский ставленник на польском престоле Станислав Лещинский заключили союз с турецким султаном.[1] Слухи эти проникли и в западноевропейскую печать, на страницы курантов. Обеспокоенные русские дипломатические представители в Гааге и Вене сообщали об этом в своих донесениях Г. Головкину и П. Шафирову. Предостерегающие вести о турецко-шведском союзе приходили в посольскую канцелярию и с Украины. Только один Толстой молчал.

Обеспокоенный этим молчанием, опасаясь, что турецкому правительству удалось обмануть бдительность Толстого, Петр 9 декабря 1707 г. послал к нему из Преображенского в Константинополь курьера с требованием «отповеди» и с приказанием «купить или Маврокордата или иного такого, который ведает секрет турецкой, суля ему 3 или 4 тысячи червонных в Венеции, чтоб совершенное турецкое намерение, от чего боже сохрани и войну мог объявить за 6 месяцев».

Царский курьер был в пути ровно месяц и приехал в Константинополь 9 января 1708 г., а днем позже Толстой через «приятелей» получил письма из Минска от Головкина и Шафирова. Последние сообщали ему подробные сведения, полученные преимущественно от гетмана Мазепы, о польско-турецких и турецко-шведских переговорах. Головкин предостерегал Толстого, что Порта намерена начать войну с Россией, что татары выступят немедленно, а весною двинутся и главные турецкие силы. Под предлогом усиления Бендерской крепости туда уже отправлено двести пушек и постепенно небольшими отрядами стягиваются войска; сераскиру-паше приказано зимовать в Бендерах и провести все необходимые приготовления к весеннему военному походу.

Головкин подробно останавливается в своем письме и на дипломатической подготовке русско-турецкой войны. По слухам, посол Лещинского был отправлен из Турции «с бесчестием», чтобы скрыть истинные намерения турецкого правительства и ввести в заблуждение Толстого. Одновременно же были посланы тайные письма через Венгрию к Карлу XII и Станиславу Лещинскому. Эти письма повез один знатный ага, которому было поручено договориться с шведами и поляками о том, чтобы они не заключали мира с Россией без согласия и ведома Порты. На обратном пути турецкий посланец сам объявлял многим лицам, что его миссия увенчалась успехом. В конце своего письма Головкин писал:

«Ваша милость может сам разсудить, какая опасность может государству нашему из того в настоящее время произойти (ежели турки с неприятели нашими в общий союз и войну против нас вступят), когда швед ныне приближился уже со всеми войски и с Лещинским к Висле.»[2] Поэтому русскому послу надлежало, не щадя «хотя превеликих иждивений», разрушить враждебные намерения, если они действительно существуют. Иерусалимский патриарх, а также молдавский и валашский господари будут помогать ему «всеми силами, советами, делом и ссудою денег». Толстому следовало также почаще напоминать турецкому правительству, что Россия имеет «войска регулярного и добре вооруженного в Польше против шведа

[1] ГАФКЭ, Статейный список П. А. Толстого за 1708 г., лл. 13—20, 34, 35, 46—49.

[2] Там же, л. 20.

100 000 человек, и в том с 35 000 конницы стройной, кроме гетмана Мазепы, калмык, и татар, и донских, и яицких казаков».

Толстой не замедлил с ответом. На другой же день, 11 января 1708 г., он переслал через иерусалимского патриарха письма к руководителям русской дипломатии, заверяя их, что Турция не проявляет никаких враждебных намерений и что гетманские сведения о военных приготовлениях в Бендерах сильно преувеличены. Однако ж ему, Толстому, известно, что силистрийский Юсуф-паша отправил в Польшу через Венгрию Мегмета-эфенди с каким-то поручением, о котором он хорошенько разузнает и напишет после.

Толстой пустил в ход все средства. На ближайшей «конференции» с рейс-эфенди русский посол сделал официальный запрос о причинах посылки Мегмета в Польшу кружным путем через Венгрию. Турецкий министр в цветистых восточных выражениях заверял, что султанская любовь к царю «истинная и чистая, как солнце». Что же касается посылки силистрийским пашой посланца в Венгрию, то это сделано исключительно в целях осведомительных, чтобы разузнать, как обстоят дела у венгров с цесарем и у шведов с царем. По словам рейс-эфенди, не следует опасаться, что Порта заключит союз с поляками и шведами. Союз этот противоречит всем историческим традициям Турции, и по многим причинам она и сейчас не может пойти на это.

Не удовольствовавшись этими объяснениями, Толстой затратил значительные средства на подарки султанским чиновникам. Однако ни малейших следов подготовки к русско-турецкой войне обнаружить не удалось.

Толстому не раз еще в 1708 и 1709 гг. приходилось отвечать на подобные же запросы из России. Весть о русско-турецкой войне «мало не по всей Европе пронеслась», как писал сам Толстой в письме к своему брату, азовскому губернатору. Неизменно сообщая в Россию, что турецкое правительство не обнаруживает враждебных намерений, Толстой в то же время оговаривается, что он не может знать того, что сам визирь пишет собственной рукой.

Не исключена возможность, что в турецких правящих кругах существовала и антирусская партия. В исторической литературе имеется указание, что великий визирь Али-Чорли обещал Карлу XII помощь крымского хана и склонил его таким образом двинуться на Украину, несмотря на перевес русских сил. Будучи затем смещен, Али-Чорли не смог выполнить своего обещания.[1]

III

Турецкое правительство не воспользовалось вторжением шведов в пределы России и не объявило войны царю. Побуждаемый Карлом XII и Станиславом Лещинским, крымский хан не раз настойчиво требовал от Порты разрешения соединиться со шведами. «С великим трудом и с немалою дачею» Толстой пресекал эти враждебные намерения. Порта запрещала крымским татарам нарушать мир.

Но Полтавская победа сильно обеспокоила турок. Они опасались, что царь, победив Швецию и устроив свои дела в Польше, объявит войну Турции. Когда Толстой потребовал выдачи Карла XII, турецкое правительство медлило с ответом. Между тем шведский король, расположившись около Бендер, употреблял все средства, чтобы вовлечь Турцию в войну с Россией. Он послал султану письмо, в

[1] История человечества, под ред. Г. Гельмольта, русск. изд., V, стр. 165.

котором, пугая возрастающим могуществом России, предлагал заключить турецко-шведский союз и предоставить в распоряжение его, Карла, отряд турецкой конницы для действий против «Московии». Карлу XII ответили уклончиво, что султан не прочь принять некоторые его предложения. Тогда король послал в Константинополь бывшего при нем польского генерала Понятовского.

Начался дипломатический поединок между Толстым и Понятовским. Обе стороны не щадили ни подарков, ни обещаний. Сначала осилил Толстой: в ноябре 1709 г. был возобновлен мир между Россией и Портою; Карла XII решено было выдать России. Но затем верх взял Понятовский. Ему удалось обвинить в измене великого визиря Али-Чорли. Державшийся миролюбивой политики по отношению к России преемник Али-Чорли тоже принужден был скоро оставить свое место, которое занял Балтаджи Магомет-паша. Понятовский с помощью крымского хана раздувал воинственный дух янычар, которые потребовали, чтобы их вели на Россию. На торжественном заседании Дивана 20 ноября 1710 г. было решено объявить войну.

В письме от 10/21 ноября 1710 г. из Константинополя Толстой писал Головкину: «Наскоро доношу, что турки по многим советам утвердили короля швецкого ныне отпустить вскоре с многими татары чрез Польшу насилием и войну с нами начать ныне чрез татар, а весною всеми турецкими силами, понеже во все свое государство указы разослали вчерась, чтобы рати все конные и пешие сбирались в Бендер, так азиатские, как и румельские в апреле. И вскоре пойдет султан во Адрианополь, а везирь пойдет в Бендер и хан крымской пойдет в Крым чрез Бендер. А все сие учинилось от хана крымского, понеже возмутил народ и всем народом возбудились к войне».[1] Толстой знал, что ему угрожает неизбежное заключение в Семибашенном замке. Последние часы свободы он употребил на то, чтобы сообщить своему правительству некоторые ценные сведения. Он послал «роспись» флота, который ранней весной отправится в Черное море, и предупредил, что из Бендер будут посылать лазутчиков в Польшу для возмущения поляков против царя.

С. М. Соловьев полагал, что из великих европейских держав в русско-турецкой войне была заинтересована прежде всего Франция. Он прямо писал в своей «Истории России с древнейших времен»: «летом 1711 года, когда на Пруте так печально для Петра решалось дело, затеянное Францией в Константинополе...»[2]

Русские министры не скрывали во время бесед с французским послом Балюзом в 1711 г., что они приписывают решение Турции переговорам Дезальера, французского представителя при Рагоци. Но безусловно убедительны возражения Балюза, что из начатой турками войны Франция не может извлечь значительной пользы и что турки могли бы оказать ей более важную услугу, подав помощь венгерским конфедератам. Этим они принудили бы императора защищать свои наследственные владения, отозвав войска из Италии и Фландрии.[3]

В нашем распоряжении имеется письмо французского министра иностранных дел де Торси (от 12 февраля 1711 г.), в котором он пишет Балюзу, что «враги Франции ложно приписывают ей причины войны, которую турки объявляют русским (moscovites). По-

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1710 г., д. 5, л. 5.
[2] С. Соловьев. Указ. соч., кн. IV, стр. 360.
[3] Сб. РИО, XXXIV, стр. 458.

сланник императора при Порте более искренен, и если вы прочли им написанное письмо, копию которого я получил через барона Безенваля, вы могли видеть, что он очень ясно развивает причины, побудившие императора ускорить эту войну для того, чтобы отвратить ту, которая угрожала Венгрии».[1]

Вынужденный вести войну с Турцией, Петр создал смелый стратегический план наступательной войны и перенес военные действия на неприятельскую территорию. План этот был рассчитан на присоединение к России турецких христиан и на помощь балканских славян. Центр русской дипломатической деятельности на Ближнем Востоке передвигается в Венецию. Агент Толстого Матвей Карета направляется туда в качестве русского дипломатического представителя.[2]

В силу неблагоприятного стечения обстоятельств этот стратегический план потерпел неудачу, и русская армия вместе с Петром I была окружена на реке Прут несравненно превосходившими ее по численности турецкими войсками.

По дважды повторенному предложению фельдмаршала Б. П. Шереметева, командовавший турецким войском великий визирь 10 июля 1711 г. согласился вступить в мирные переговоры, вести которые было поручено подканцлеру П. П. Шафирову. Через два дня, 12 июля, мирный договор был скреплен на тягостных для России условиях. Азов возвращался Турции, Таганрог и днепровские крепости разорялись. Кто бы мог подумать, что после Полтавской победы турки получат то, чего они тщетно добивались после Нарвского поражения! Прутский договор содержал и одно дипломатическое условие, тоже чрезвычайно невыгодное для России: «послу царскому впредь в Цареграде не быть». До подтверждения мирного договора и до исполнения русской стороной всех обязательств П. П. Шафиров и сын фельдмаршала М. Б. Шереметев оставались в Турции.

Однако окончательное утверждение Прутского договора затянулось до июня 1713 г. Заключая невыгодный мир с Турцией, Петр I рассчитывал скорее закончить Северную войну. «Сохрани боже, — писал он адмиралу Апраксину, — ежелиб, в обоих войнах пребывая дождались французской мир, то-б везде потеряли. Правда, зело скорбно, но лучше из двух зол легчайшее выбрать». Желая обезопасить себя от шведских интриг, русское правительство отказывалось выполнить условия Прутского договора до высылки Карла XII из Турции. Отказ этот вызвал сильнейшее недовольство в турецких правящих сферах. Карл XII и Понятовский с помощью французского посла прилагали все старания, чтобы снова разжечь русско-турецкую войну. Они убеждали турецкое правительство, что на Пруте можно было заключить несравненно более выгодный мир. Визирь Балтаджи был смещен. В декабре 1711 г., угрожая войной, турки предъявили новые требования: вся Украина отходит под «протекцию» Порты; русские войска немедленно выводятся из Польши и не могут в нее вступить, если даже шведы туда вступят; заключается русско-шведское перемирие на три года. Это были «тяжкие и невозможные сверх договору запросы».

Тогда Петр I изменил тактику.[3] Прежде он медлил с выполнением условий перемирия, ожидая окончательного разрешения вопроса и

[1] Сб. РИО, XXXIV, стр. 443.

[2] См. мою статью «Россия и Венеция на рубеже XVII—XVIII вв.» («Ученые записки» Пединститута им. Герцена, № 19 за 1940 г.).

[3] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1712 г., д. 3, лл. 1—5.

утверждения договора. Теперь же он решил немедленно возвратить Турции Азов, разорить Таганрог и ускорить вывод войск из Польши. Таким путем Петр рассчитывал переломить в свою пользу настроения турецких общественных кругов и помешать возобновлению войны. Но одновременно русское правительство решительно отклонило турецкие притязания на Украину. Оно потребовало также, чтобы после вывода русских войск из Заднепровской Украины (которая теперь возвращалась полякам) и из собственно Польши туда не вступили шведы и не превратили бы эти территории в плацдарм для развертывания нового военного наступления против России.

Петр не терял времени; 22 января 1712 г. из Петербурга он отправил к султану грамоту с извещением о выполнении русской стороной всех условий договора. Один экземпляр этой грамоты был послан в конверте английского посла Витворта через Вену, другой — через Азов и Керчь. Царь собственноручным письмом уведомил об этом Шафирова.

Расчет Петра I оказался правильным. Весть об отдаче Азова вызвала радостный отклик в турецком обществе и среди янычар. Она произвела благоприятное впечатление на турецких министров и визиря.

С помощью английского и голландского послов, опираясь на тайную поддержку муфтия, Шафиров и Шереметев 5 апреля 1712 г. возобновили мир на следующих условиях: русские войска выводятся из Польши, но могут снова туда вступить, если в Польшу войдут шведы; на западной стороне Днепра за Россией остается только Киев с принадлежащими к нему землями; Сечь отходит под «протекцию» султана; мир заключается на 25 лет. За мир было заплачено: визирю 30 тыс. червонных венецианских; муфтию — 10 тыс. червонных; зятю султана Али-паше — 10 тыс.; комиссару, который вел переговоры, — 4 тыс.; рейс-эфенди — 3 тыс. и мех соболий; верховному кадию — 2 тыс.; Маврокордато — 500 червонных и мех соболий; английскому послу — 6 тыс., голландскому — 4 тыс. Всего было истрачено, включая мелкие расходы, 84 900 червонных и 22 тыс. рублей денег.[1]

После заключения мирного договора Толстой был освобожден из Семибашенного замка. Его старые связи оказались очень полезными, потому что дела вскоре опять стали запутываться. Турецкое правительство, неотступно требуя немедленного очищения Польши, требовало невозможного — чтобы русские войска, возвращаясь из Померании домой, не заходили в Польшу. Шафиров при содействии английского и голландского послов составил было письменное обязательство о выполнении и этого требования на определенных условиях, но получил за это выговор. Раздраженный невыполнимыми требованиями, Петр I написал Шафирову из Карлсбада 29 октября 1712 г. следующее письмо: «Господин подканцлер. Письмо ваше я получил, на которое ответствую, что претензия турская, чтоб, не захватывая Польши, наши войска шли ис Померании в Россию, не иное что, только, чтоб из вас вымуча письмо, иметь причину разорвать мир, ибо зело удивительно, что сами говорят, что инова пути нет, а итти заказывают. А что вы говорили морем и того за неприятельским флотом учинить нельзя, а что чрез Дацкую землю, то вы разве разума отбыли. Будь воля божия, лишь бы наша была правда, не утешить кто хочет зла ничем, а наипаче чем невозможно, ибо землю переделать нельзя, ни же море осушить. А хотя бы и

[1] С. Соловьев. Указ. соч., кн. IV, стр. 86.

крылья имели, то б чрез оную ж землю лететь и для отдохновения на оной же б садитца».[1]

А время не ждало, и надо было торопиться с окончательным заключением русско-турецкого мира. Международная обстановка изменялась в сторону, неблагоприятную для России.

Еще 15 апреля 1712 г. из Петербурга Шафирову и Шереметеву было послано предостережение;[2] предписывалось бдительней относиться к деятельности английского посла в Турции. Аккредитованные при иностранных дворах русские министры сообщили, что английское правительство отправило специального курьера в Константинополь с приказанием своему послу действовать в интересах шведского короля и побуждать турок к войне с Россией.

Это первое предостережение не оказалось единственным. Несколько месяцев спустя, 4 сентября 1712 г., Головкин из Грибевальда снова напоминает о бдительности. Англия оставила своих союзников по войне за Испанское наследство, заключила перемирие с Францией и уже отозвала свои войска. Вслед за тем в Англии начались переговоры о создании коалиции в составе Англии, Франции, Испании и Швеции, направленной против северных союзников. Матвеев из Утрехта и Фандерфлит из Лондона сообщали о намерениях новых союзников послать в Балтийское море на помощь Швеции объединенную англо-французскую эскадру.

Во время переговоров французский и шведский министры заявили протест по поводу неподобающего поведения английского посла в Турции, который без королевского распоряжения принял на себя посредничество в русско-турецких переговорах и способствовал прекращению столь полезной для новых союзников войны. В результате этих представлений королева отдала приказание отозвать английского посла и подвергнуть его наказанию за самовольную «медиацию». Головкин предостерегал русских представителей от излишней доверчивости к английскому послу, опасаясь, как бы последний «в заслугу своего перед королевой преступления не отважился каким коварным способом заключенный мир у его ц. в. с турками пока представлениями своими вымышленными у Порты, сообщась с шведом и французским послом, опровергнуть».[3]

В конце письма Головкин сообщал, что агенту Карете в Венецию послан вексель на 3 тыс. червонцев с приказом отдать эти деньги «монтенгрином и албанезом» и объявить, «чтоб они от воинских действ престали».

Трудно сказать, насколько были справедливы эти подозрения Головкина относительно английского посла, но опасения канцлера относительно мирных переговоров оправдались. Субсидируемые английскими купцами, шведы развернули бешеную кампанию против русско-турецкого мира, подкупая турецких министров. Им вторил французский посол, советовавший султану не признавать Августа II польским королем и тем разрушить замыслы царя в Польше. Осенью 1712 г., получив известие, что русские войска из Польши не выведены, султан отдал распоряжение бросить Шафирова, Толстого и Шереметева в Семибашенный замок. Вслед за тем (29 ноября) султан выехал в Адрианополь, разослав объявление войны и указы о сборе войск. Англо-французское сближение тяжело отозвалось на положении русских дел в Константинополе.

---

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1712 г. д. 3, л. 20.
[2] Там же, л. 28.
[3] Там же, л. 63.

Но, действуя таким образом, султан поступал вопреки общественному мнению, вопреки воле своих министров и главных офицеров. Его убедили, что как скоро он объявит войну, царь сейчас же попросит мира и примет все предписанные ему условия. Но время шло, а царские гонцы не являлись. Тогда султанский гнев обратился на шведского короля — главного виновника вновь начатой войны, войны непопулярной в народе и потому чреватой народным восстанием. Карлу XII было приказано выехать из Турции. Когда он отказался наотрез, султан приказал взять его силой и привезти в Адрианополь. Около Бендер произошло столкновение между приближенными Карла XII и турецко-татарским отрядом. В ход были пущены не только ружья, но и артиллерия. После жаркой схватки Карл XII был взят в плен янычарами, потеряв при этом четыре пальца, часть уха и кончик носа.

Толстой и Шафиров воспользовались этим оборотом дел и через секретаря голландского посольства Тейльса предложили возобновить с турками переговоры. Предложение было принято, и 21 марта 1713 г. переговоры возобновились, а в июне того же года русско-турецкий мирный договор получил окончательное утверждение в Адрианополе.

После заключения Адрианопольского договора русские послы были задержаны в Турции до размежевания земель между обоими государствами по новой границе. Только после этого послы были отпущены султаном и 14 сентября 1714 г. выехали из Царьграда. Все это время они неизменно пользовались содействием голландского посла Колиерса и секретаря Тейльса,[1] который 28 августа 1713 г. писал Головкину: «что принадлежит до меня, похваляюся токмо тем, что швецкие адгеренты меня здесь за наивеличайшего своего неприятеля объявляют и всуе трудились меня с моим старшим сыном отсюды изгнать, понеже я за справедливое дело по моей малой возможности стою».

Маркс в «Секретной дипломатии XVIII в.» и в своей переписке с Энгельсом называет Тейльса (Шейлля) полуофициальным агентом русского правительства и считает, что Тейльс оказал крупные услуги русской дипломатии.[2]

IV

С уничтожением постоянного русского дипломатического поста в Турции защиту русских интересов взяли на себя голландские представители. Они получали от русского правительства систематическое вознаграждение, которое выдавалось в замаскированной форме, потому что голландские законы запрещали членам дипломатического корпуса быть на жалованьи у иностранной державы. Особое рвение к русским делам проявил Тейльс. После отъезда Шафирова Тейльс, по именному указу Петра, руководствуясь особой инструкцией, старательно сообщал в Россию важные политические новости. Кроме того, он неоднократно выполнял различные русские дипломатические поручения. В 1720 г., как бы подводя итог своей деятельности на русской службе, Тейльс писал Головкину из Константинополя: «Я во время многих друг за другом следующих визирей сего двора его величества министрам и в делех под опасением своего живота и разорения моей фамилии так здесь, как и в Адрианополе с крайною ревностию и верностию, когда их превосходительства от всех были оставлены вспомогал, и после их отъезду имянным указом и по

[1] Там же, 1713 г., д. 11, лл. 23—24; 1714 г., д. 9, лл. 2—3.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, XXII, стр. 425, 426.

благоизобретению его в-ва с г-м вице-канцлером бароном Шафировым по его инструкции, у меня сущей, прилежно кореспондовал. И потом подполковнику Натали в произведении его ц-го в-ва намерения, в чем возможно, у Порты вспомогал. И сверх того по присланному ко мне его в-ва указу из Шпаа у турских министров столько исходатайствовал, что по примеру других европских держав, и его в-ву позволено также публичного министра в Константинополе держать и на резиденции быть».[1]

Благодаря голландской помощи, русскому правительству удалось противодействовать враждебным проискам сначала французской, а потом и англо-австрийской дипломатии в Турции. Дело в том, что и после заключения Адрианопольского договора Россия не могла быть уверена в безопасности своих южных границ. В конце февраля 1715 г. Янсон, со слов Маврокордато, сообщил, «что швецкая факция, здесь разумею посла французского, именем швецким искала везирю против его ц-го в-ва новые возмущения причинить или чтоб по последней мере хану крымскому позволил впадение всею силою в дело произвести, на что везирь позволять не хотел».[2]

Поэтому вспыхнувшая в 1714 г. турецко-венецианская война была чрезвычайно важна для России. Она позволяла сосредоточить все внимание на северных делах в тот момент, когда международная обстановка в Европе сложилась неблагоприятно для России. Борьба за испанское наследство окончилась, и Англия уже не скрывала своего враждебного отношения к утверждению России на Балтийском море, а французский король Людовик XIV открыто помогал Швеции. Неудивительно поэтому, что сообщив в начале 1715 г. Шафирову об отправке турецких войск в Морею, Тейльс добавляет: «Маврокордато в-го превосходительства поздравляет и обещал мне, что ежели против интересов его царского величества что случитца, меня о том уведомить».

Выступая против Венеции, турки составили следующий план военных действий. Турецкий флот и сухопутные войска из Румелии, усиленные 10 тыс. татар, аттакуют Морею. Султан с большей частью азиатских войск будет оберегать турецко-австрийскую границу. Крымский хан с 40 тыс. татар «готов будет стоять на царя и Польшу смотреть».

Султан Ахмет действовал осмотрительно и отнюдь не предполагал, как об этом ходили слухи в Вене, напасть одновременно и на Морею и на Трансильванию и на Польшу. Наоборот, турецкое правительство чрезвычайно опасалось повторения ситуации 1686 г., когда против Турции выступили Австрия, Россия, Венеция и Польша. Рейс-эфенди на аудиенции расспрашивал Янсона, нет ли у царя союзного договора с Венецией. Получив отрицательный ответ, он остался очень доволен и пригласил Янсона следовать за двором.

Всю весну 1715 г. турки энергично готовились к военным действиям. В марте венецианский посол и два его служителя были заключены в Дарданельскую тюрьму. Венецианское правительство тщетно старалось предотвратить войну и с этой целью просило о посредничестве Англию и Голландию.

Турецко-венецианская война развязала Петру I руки в Польше. В конце 1715 г. по просьбе Августа II царь отдал своим войскам официальный приказ вступить в польские пределы. Тейльс сообщал, что при турецком дворе это «не за благо приемлетца».[3]

---

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1721 г., д. 12, лл. 8—9.

[2] Донесения Янсона находятся в переписке Тейльса; написаны по-голландски. ГАФКЭ, Турецкие дела, 1715 г., д. 4, л. 17.

[3] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1715 г., д. 4, лл. 1—3, 28, 69, 122, 133.

Но Турция сама находилась в затруднительном положении. После завоевания Мореи турками Австрия стала открыто готовиться к войне с Турцией. Порта старалась принудить венецианское правительство к скорейшему заключению мира и с этой целью запретила венецианскую торговлю во всех турецких владениях. Но все было тщетно. Венеция предпочла вступить в союз с Австрией, рассчитывая с австрийской помощью вернуть себе Морею.

Поэтому Турция не решалась обострять отношения с Россией. Царь пытался использовать эти обстоятельства для установления в Константинополе постоянного русского дипломатического поста. Туда был послан майор Натали, который 19 февраля 1716 г. подал царские грамоты визирю. Тейльс сообщал Шафирову, что Порта даст удовлетворение царю в поданных жалобах, но резидента или секретаря держать не разрешит.

Однако и хивинское посольство, приехавшее в Турцию с извещением о гибели экспедиции Бековича-Черкасского и с просьбой о помощи против России, получило любезный отказ. Им ответили: «если хивинцы могут победить русских, турки тому рады будут», но нарушать мир с Россией сейчас не могут.

Порта сильно опасалась военного выступления России, особенно в случае окончания Северной войны. Французский посол летом 1716 г. распространял слух, что царь послал на помощь цесарю 30 тыс. войска. Эти слухи были опровергнуты Тейльсом, который заявил турецким министрам, что царь намерен соблюдать трактаты.

Все старания турецких министров избежать одновременной войны с Австрией и Венецией не помогли. В апреле 1716 г. цесарь через Евгения Савойского потребовал, чтобы Турция возвратила Венеции все завоеванное и возместила военные убытки. Война началась и шла очень неудачно для турок. Ключи к Царьграду — Белград и Темисвар — были взяты австрийцами. Франция не оказала помощи Турции. Запоздалая попытка опереться на Рагоци ни к чему не привела.[1]

В середине 1717 г. борьба в Средней Европе осложнилась испанским вопросом. Заинтересованная в австрийской помощи против Испании Англия «начинает пропозиции о мире чинить». Английская дипломатия натолкнулась на ожесточенное сопротивление со стороны Рагоци, а также испанского и французского послов. Борьба продолжалась около года и отсрочила развязку. Тейльс в письме от 12 мая 1718 г. сообщал, что «посол французский из Константинополя в Адрианополь прибыл, которой тамо с посланником гишпанским и Рагоцием всяческими мерами старается, чтоб к трактованию о мире не склонились, из чего разсудить можно, что все еще сумнительно есть».[2]

Для России было чрезвычайно важно иметь постоянного дипломатического представителя в Турции, бывшей в это время одним из важнейших узлов международных противоречий. По присланному Петром из Спа указу, Тейльс усиленно ходатайствовал об этом у Порты, и в начале 1718 г. турецкое правительство согласилось иметь русского резидента в Константинополе. В это время враждебное России англо-австрийское влияние все сильнее дает себя чувствовать в Турции. Это сказалось и на семье Тейльсов: старший сын Тейльса во время Пассаровицких переговоров перешел на австрийскую службу, соблазнившись высоким вознаграждением. В сентябре 1718 г. русский посол майор Натали прибыл в Турцию с требованием удовлетворить за нападение крымского хана Бахти-

[1] Там же, 1716 г., д. 6, л. 6; д. 7, лл. 11, 12, 44, 52, 53, 63, 81, 150.
[2] Там же. 1718 г., д. 3, л. 18.

Гирея. Турецкое правительство, очевидно не без англо-австрийского влияния, не разрешило Натали оставаться в Турции до приезда русского резидента и под благовидным предлогом поторопилось выпроводить майора из Турции. [1]

Прекращение в 1718 г. войны Турции с Австрией и Венецией возобновило угрозу русско-турецкой войны. Во время заключения Пассаровицкого трактата австрийские министры возбуждали Порту против России.

После заключения мира с турками Австрия разорвала дипломатические отношения с Россией, воспользовавшись делом царевича Алексея. В 1718—1720 гг. занятое испанской войной австрийское правительство пыталось натравить на Россию турок, татар и поляков. Турции посылались запросы, почему она терпит пребывание русских войск в Польше, когда это запрещено последним русско-турецким договором. Враждебные России мероприятия проводились вместе с Англией и нередко инспирировались последней. Положение становится особенно напряженным после прекращения войны с Испанией. Складывается враждебный России тройственный союз из Англии, Австрии и Польши. Англо-австрийские происки в Турции усиливаются. Союзники пытаются разжечь новую русско-турецкую войну и таким образом сорвать успешное для России окончание Северной войны. Они пытаются помешать русскому утверждению в Балтике.

Турецкая война поставила бы в это время Россию в крайне затруднительное положение. Для ее предотвращения в Константинополь был направлен посланником А. Дашков, который и прибыл туда в мае 1719 г. [2] Ослабленная Пассаровицким миром, Турция чувствовала себя изолированной в Европе. Ее старая союзница Франция не оказала ей никакой помощи во время последней войны с Австрией. Поэтому турецкое правительство обнаружило склонность к установлению дружественных отношений с Россией. Но английские и австрийские дипломаты прилагали все старания, чтобы расстроить план русско-турецкого союза. Английский посол угрожал Порте обострением австро-турецких отношений, если Дашков останется в Константинополе. Он неустанно твердил турецким министрам, что русские войска находятся в Польше и этим нарушается Адрианопольский договор. Английские приверженцы распространяли в Константинополе слухи о том, что визирь якобы отдал распоряжение посадить Дашкова в Семибашенный замок и объявить войну царю.

С помощью старого Тейльса Дашков, выполняя свое ответственное поручение, умело использует австро-турецкие противоречия. Он объявляет визирю, что австрийская вражда к России вызвана отказом царя заключить союз с Австрией и Венецией во время последней турецкой войны. При этом он подчеркивает, что у царя есть сильные друзья в Германии, и цесарская вражда ему не страшна. Последнее обстоятельство обрадовало визиря. Наконец, русский посол в затруднительный момент намекает визирю на возможность русско-австрийской войны, что несомненно было бы на руку Турции.

Однако колебания турецкого правительства продолжались. С Дашковым обращались хорошо, так же как и с представителями других держав, отвели ему летний приморский дом в Буюкдере, но с ответом медлили. Здесь в Буюкдере Дашкова посетил Рагоци. С ним, за отсут-

---

[1] ГАФКЭ, Турецкие дела, 1717 г., д. 2, л. 121; д. 3, лл. 20, 55; 1718 г., д. 3, лл. 10, 18, 19, 68, 78.

[2] Там же, 1719 г. — Переписка Тейльса, д. 3, лл. 18, 44; 1720 г., д. 7, лл. 9, 0—11, 16—18; С. Соловьев. Указ. соч., кн. IV, стр. 590—596.

ствием других приятелей, советовался русский посол о важных вопросах. Старые друзья, греки, теперь поддерживали Австрию. Кроме того, Дашков сам избегал встреч с греками, чтобы не возбуждать подозрений у визиря. Голландский же посол Колиерс, австрийский граф, поддерживал дружбу с цесарским послом Фирмонтом.

Основываясь на донесениях Дашкова, русский посол в Гааге Куракин заявил голландскому правительству, что Колиерс вместе с австрийским и английским представителями побуждает Порту начать войну с Россией. В связи с этим протестом Колиерсу указали на неправильность его поступков.

В декабре 1719 г. австрийский посол предложил визирю заключить оборонительный и наступательный союз против России и потребовал в качестве предварительного условия немедленной высылки Дашкова из пределов Турции. Это требование было поддержано английским послом, который угрожал Турции в случае отказа враждою всех европейских государей. Дашкову было прислано приказание выехать, потому что «дел с ним нет никаких». Но содействие французов и щедрые подарки, розданные турецким министрам, помогли русскому представителю отсрочить выезд.

Потерпев фиаско, Австрия и Англия привлекли на помощь Швецию. В начале 1720 г. шведская королева Ульрика-Элеонора обратилась к султану с грамотой, в которой благодарила за оказанную ее брату помощь и выражала надежду, что султан и теперь ее не оставит. Когда и это не подействовало, английский и австрийский послы от имени своих государей предложили Порте принять посредничество в русско-шведских делах и принудить царя возвратить Швеции свои завоевания.

Но в это время французский посол де Бонак получил от своего правительства распоряжение действовать в пользу России. Испанская война близилась к концу, и англо-французские противоречия вступали в полосу обострения. Де Бонак посоветовал визирю не принимать посредничества, так как оно лишь приведет к убыточной ссоре с Россией, а от Швеции нельзя ждать вознаграждения. Дашкову же де Бонак послал сказать, чтобы он дорожил удобным временем и немедленно просил у царя полномочий для заключения вечного мира. И в дальнейшем французский дипломат сильно помогал успешному ходу русских дел своими советами и влиянием у Порты. Полномочия были присланы 30 мая, но из-за англо-австрийского противодействия переговоры несколько затянулись. Только 5 ноября 1720 г. Дашкову удалось превратить Адрианопольский договор 1713 г. в договор вечного мира между Россией и Портой.

Англо-французское сближение в 1712 г. едва не привело к новой русско-турецкой войне. Англо-французские разногласия в 1720 г. помогли упрочить русско-турецкий мир и обеспечить дипломатический успех России в Ништадте.

А. И. ИВАНОВ

ВОССТАНИЕ В ЧЕЧНЕ В 1877 г.

После завоевания Восточного Кавказа царизм сделал Чечню своей колонией. Трудящиеся массы этой области были зажаты в тиски национально-колониального гнета.

Грабительская колониальная политика царизма в покоренных горских областях была направлена главным образом к захвату земли — основы существования и независимости горцев. Захват земель проводился прежде всего по линии военной колонизации.

На ряду с военной колонизацией происходила экспроприация лучших чеченских земель в связи с проникновением в Чечню русского капитализма, который выступал здесь прежде всего как сельскохозяйственный предприниматель и вместе с тем как агент царского самодержавия. «В пореформенную эпоху происходила... сильная колонизация Кавказа, широкая распашка земли колонистами (особенно в северном Кавказе), производившими на продажу пшеницу, табак и пр. и привлекавшими массы сельских наемных рабочих из России». [1]

Главную массу среди переселенцев составляли в горских районах кулацкие элементы. «Политика царизма, политика помещиков и буржуазии состояла в том, чтобы насадить в этих районах побольше кулацких элементов из русских крестьян и казаков, превратив этих последних в надежную опору великодержавных стремлений». [2]

Отнимая у чеченских масс жизненно необходимые для них земли, царское правительство в то же время давило покоренное туземное население непосильными налогами. Были установлены налог с дыма, дорожная и гужевая повинность, поборы в пользу чиновничества. В условиях слабого развития меновых отношений и отсутствия транспорта решающее значение имел не только размер налогов, но также и их денежная форма. Крестьянин-горец вынужден был везти на рынок не только излишки, но и необходимые для собственного потребления продукты, чтобы собрать нужную сумму для уплаты налогов.

В своей грабительской политике царское правительство опиралось на верхний слой чеченских аулов, на знатные и богатые фамилии. Из них составлялась местная военная охрана и администрация.

Взяточничество, хищения, принудительные сборы — все это, вплоть до грабежей на большой дороге, расцветало пышным цветом в завоеванной колонии.

Обезземеленное и обнищавшее горское крестьянство попадало в кабальную зависимость либо от русских и местных крупных землевладельцев, либо от кулаков-ростовщиков, снимавших у этих землевладельцев крупные земельные участки и сдававших в порядке субаренды горской бедноте клочки земли на кабальных условиях.

---

[1] В. Ленин. Соч., III, стр. 463.

[2] И. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 71, М. 1936.

В скотоводческих районах горной Чечни закабаление горской бедноты проводилось путем сдачи в пользование скота.[1]

Одновременно с аграрной колонизацией происходил процесс разрушения связи земледелия с ремеслом, процесс гибели домашних промыслов в Чечне.

«С другой стороны, — писал Ленин, — шло вытеснение туземных вековых «кустарных» промыслов, падающих под конкуренцией привозных московских фабрикатов. Падало старинное производство оружия под конкуренцией привозных тульских и бельгийских изделий, падала кустарная выделка железа под конкуренцией привозного русского продукта, а равно и кустарная обработка меди, золота и серебра, глины, сала и соды, кож и т. д.; все эти продукты производились дешевле на русских фабриках, посылавших на Кавказ свои изделия... Русский капитализм втягивал таким образом Кавказ в мировое товарное обращение, нивеллировал его местные особенности — остаток старинной патриархальной замкнутости, — *создавал себе рынок* для своих фабрик».[2]

В Чечню капитализм проник в первые десятилетия пореформенного периода в форме торгового и ростовщического капитала, а потому проникновение его в чеченский аул не сопровождалось решительной ломкой местной системы хозяйства. В экономике, как и в общественном строе Чечни, сохранялись патриархальные отношения, которые русский капитализм стремился подчинить своим интересам. Чечня превращалась в сырьевой рынок метрополии, что удерживало чеченские массы на чрезвычайно низком экономическом и культурном уровне и обеспечивало царскому самодержавию возможность безграничного господства.

Колониальный гнет углублял и усиливал расслоение чеченского аула. С одной стороны шло массовое обеднение горского крестьянства, а с другой — накоплялась и крепла верхушечная прослойка: кулаки, торговцы и ростовщики.

Вместе с крупными землевладельцами и мусульманским духовенством эти верхушечные слои составляли наиболее консервативный элемент и являлись опорой царского самодержавия. Наиболее влиятельны они были в плоскостной Чечне, в районе товарных культур, куда больше проникал русский капитализм и где расслоение деревни приняло более широкие размеры.

Что касается горной Чечни, то население этой полосы, зажатое тисками кулацко-казацкой колонизации, из-за ужасающего малоземелья было обречено на вымирание. По данным, приводимым Н. Иваненковым в очерке «Горные чеченцы», размеры удобной и полуудобной земли, приходившейся на душу населения горной Чечни, равнялись 0.86 дес. под пашнями и 1.75 дес. под сенокосами на душу.[3] При таком земельном голоде и низком качестве земли только 10 проц. населения могло прокормиться сельскохозяйственным трудом, а остальные 90 проц. оказывались лишними.

Этими социально-экономическими условиями и объясняется тот факт, что нагорная полоса Чечни являлась очагом национально-освободительного движения.

Борьба трудящихся масс Чечни против колониального гнета царизма развертывается с первых же лет после покорения Восточного Кавказа. Наиболее ярким эпизодом в истории этой борьбы является восстание 1877 г., которое распространилось затем на Дагестан.

[1] Н. Иваненков. Горные чеченцы («Терский сб.», вып. 7, стр. 107—108).
[2] В. Ленин. Соч., III, стр. 463—464.
[3] Н. Иваненков. Указ. соч., стр. 167.

Восстание началось в первой половине апреля, в связи с объявлением войны Турции. К этому времени особенно усилилась панисламистская пропаганда, которая велась и во все предшествующие годы.

В своем развитии восстание пережило несколько стадий, характеризующихся переменами в соотношении борющихся сил и методов борьбы и углублением классовых противоречий внутри движения.

Первый период обнимает апрель и начало мая. Отличительными особенностями его являются бурный наступательный характер движения и растерянность царских властей.

Сигнал к восстанию был подан в Ичкерии на другой день после объявления войны Турции. В ночь на 13 апреля около 60 человек из разных селений 2-го участка Веденского округа собрались в лесных трущобах близ аула Саясан и приняли присягу «разорвать всякие сношения с существующей властью» и «объявить себя независимыми».

Во главе движения встал провозглашенный имамом 22-летний чеченец Алибек-Хаджи Алданов, родом из Ичкерии, аула Зандак, хутора Самсыр. Главными помощниками его были: Дада Залмаев (22 лет) из аула Чаберлой, Султан-Мурад из аула Беной, Губахан из селения Гуни, Абдул-Хаджи из аула Махкеты, Сулейман из аула Центорой и Ума-Хаджи Дуев (69 л.) из аула Дзумсой.[1]

В первые дни к восставшим присоединились беноевцы, зандаковцы, зандакаринцы и жители других аулов. К 21 апреля восстанием было охвачено 47 аулов Ичкерии с населением в 18 тыс. душ.[2] Одновременно развивалось движение в Чаберлое.[3]

Дальнейшей задачей восставших было объединить силы Ичкерии и Чаберлоя, прервать сообщение с Ведено и затем спуститься на плоскость в Большую и Малую Чечню, где также наблюдалось брожение.

Обстановка для развития движения складывалась довольно благоприятная. Полки и батальоны местных войск не были укомплектованы; прибытия первых партий запасных солдат ожидали лишь к 25 апреля. По данным официальных источников, царское командование располагало, помимо охранных и караульных частей, свободными пехотными боевыми силами для активных действий в числе 3 тыс. человек. Производившаяся на кордонных линиях смена казаков не позволяла выделить свободные кавалерийские части. Штаб-квартиры и все без исключения казачьи станицы по рекам Асса и Сунжа, даже расположенные на важнейших стратегических пунктах, как, например, Умахан-Юртовская, прикрывавшая переправу на нижнем течении Сунжи, оставались совершенно без прикрытия.

При правильной организации восставшие могли прежде всего порвать во многих местах телеграфные провода из Петровска и Темир-Хан-Шуры через Хасав-Юрт и Грозный во Владикавказ, прекратить безопасный проезд по почтовым дорогам и сообщение между административными центрами, а затем, спустившись на плоскость, прервать железнодорожное движение.

Нависшую грозную опасность отчетливо сознавали местные представители царской власти, вплоть до высшего командования на Кавказе. «Все колеблется кругом», — панически сообщал в телеграмме

[1] ЦАУ СО АССР, ф. Походного штаба войск Терской обл., 1877—1878 гг., д. 18, лл. 2—3 — Рапорт командующего войсками Терской обл. главнокомандующему от 18/V 1877 г., № 274 и д. 2, ч. 1, л. I; Материалы для описания русско-турецкой войны 1877—1878 гг., VI, ч. 1, Тифлис, 1910, прилож. XI, стр. 73 — Письмо полк. кн. Авалова нач-ку Терск. обл. от 17/IV 1877 г., № 1419.

[2] ЦАУ СО АССР, ф. Пох./шт. войск Терск. обл., 1877—1878 гг., д. 18, л. 4.

[3] Там же, л. 7.

от 18 апреля полк. П. Батьянов.[1] «Положение было самое критическое», — писал впоследствии в своем приказе командующий войсками Терской области.[2] Высшее командование на Кавказе в тревоге требовало частых и подробных уведомлений о положении дел, приказывая во что бы то ни стало «затушить первую искру пожара».[3]

Руководители восстания несомненно понимали выгоды своего положения, но они не учли всех деталей обстановки, не выработали ясного плана действий, а главное, не сумели захватить в свои руки переправы и связи, чего так боялось царское командование.

20 апреля отряды Алибека спустились по р. Аксай, присоединяя на своем пути все аулы и направляясь к Герзель-аулу с целью поднять население Кумыкской плоскости.[4] Но в ночь на 21 апреля восставшие изменили направление и перешли с р. Аксай от аула Ишхой на р. Гумс, направившись вниз по ее течению к аулу Маюртуп. Оттуда они намеревались спуститься в наиболее многолюдные пункты Большой Чечни, население которой готово было примкнуть к движению и занять аулы Шали или Автуры.[5]

22 апреля под Маюртупом произошла встреча восставших с царскими отрядами: умахан-юртовским под начальством полк. Мылова и эрсеноевским под начальством полк. Нурида. Только превосходство вооружения и особенно артиллерия спасли царские части от разгрома. Повстанцы несколько раз бросались в атаку, но были отбиты огнем (царские отряды выпустили 69 пушечных снарядов и 44629 патронов). Все же полк. Нурид вынужден был отступить к аулу Курчалой, а затем к Герменчуку.[6]

Бой под Маюртупом не только не решил дело в пользу царского командования, как хвастливо утверждал впоследствии начальник области в своем приказе по войскам от 5 декабря 1877 г. (№ 254), но послужил толчком к дальнейшему росту движения в Горной Чечне. 23 апреля к восставшим присоединились качкалыковские аулы. К тому же времени развернулось восстание в верховьях Аргуна.

26 апреля Нурид панически сообщал в Грозный: «По всем сведениям мятежники в больших силах находятся в ауле Бечик-Юрт и сегодня должны занять Маюртуп и Элисхен-юрт. Оттуда намерены присоединить жителей плоскости и, заняв Шали, перейти в Урус-Мартан. Нет уже никакого сомнения, что вся Чечня за мятежников, и ждут только их появления, чтобы открыто против нас действовать».[7] Известие Нурида подтверждалось появлением в Грозном торговых людей из Автуров, Шали и даже Урус-Мартана, которые, испугавшись волнений среди населения, свезли свои товары и семьи под покровительство царских властей.[8]

Для царского господства в Чечне наступал чрезвычайно критический момент. Аул Шали, куда стремился Алибек, был самым большим из чеченских аулов по р. Басс, между течением Аргуна и дорогой из Грозного через Устар-Гордой к Ведено, и считался как бы столицей Большой Чечни. Присоединение его к движению несомненно явилось бы сигналом для поголовного вооруженного

---

[1] Там же, 1877 г., д. 3, ч. 1, л. 4 — Телеграммы о восстании в Чечне и о принятии мер к усмирению мятежников.

[2] Мат. для опис. русско-турец. войны, 1877—1878 гг., VI, ч. 1, прилож. XVI, стр. 297.

[3] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск. Терск. обл., 1877 г., д. 6, лл. 7, 8, 16.

[4] Там же, 1877—1878 гг., д. 18, л. 7.

[5] Там же, 1877 г. д. 12, ч. 1, л. 23.

[6] Там же, 1877—1878 гг., д. 18, лл. 12—14 и д. 2, ч. 1, лл. 28—30.

[7] Там же 1877 г., д. 2, ч. I, лл. 52—53.

[8] Там же, 1877—1878 гг., д. 18. л. 18 об.

восстания горцев Большой Чечни и дало бы восставшим стратегическую опору для дальнейшей борьбы с царизмом на чеченской плоскости.

Однако Алибек-Хаджи вместо того, чтобы немедленно двинуться на плоскость, направился 26 апреля к Умахан-Юрту, вернулся оттуда снова к Маюртупу и только 28 апреля подошел к Шали. Эта задержка была одной из крупнейших ошибок, допущенных руководителями движения в эти критические дни.

Царское командование успело привести из Владикавказа в Чечню Таманский пехотный полк и под его конвоем тысячу чинов запаса. Одновременно к Грозному стягивались все запасные части из окрестных станиц. Спешно приводились в порядок укрепления, усиливались гарнизоны, делались запасы снаряжения, и велась усиленная агитация в пользу царского правительства среди верхушки чеченского населения. Царизм знал, на кого делать ставку для достижения своих целей, и в своих расчетах не ошибся. Так называемые «влиятельные туземцы и почетные лица» — старшины, муллы, торговцы и крупные землевладельцы — в начале движения занимали колеблющуюся позицию. Они посылали депутации к начальнику области и подавали адреса на имя русского «падишаха» с заверениями в своих верноподданнических чувствах.[1] Однако открыто противостоять движению они не решались, не будучи уверены в силах царизма. «Покажите силу, и мы ваши», — неоднократно заявляли они царскому командованию.[2] К концу апреля царские власти успели сосредоточить значительные силы на плоскости и перерезать путь восставшим.

«Вновь прибывшие части, — писал в своем приказе № 254 ген. Свистунов, — вместе с собранными от 20-й дивизии и казачьих полков быстро заняли линии рек Басс и Аргун. Под влиянием их шалинский аул, присоединение которого к движению послужило бы сигналом общего восстания всей Чечни, 28 апреля сам встретил выстрелами вновь вышедшую из гор партию восставших и погнал ее на стоявшие вблизи части отряда. При содействии этих частей и ближайших аулов Чечни партия была окончательно разбита и рассеяна».[3]

На самом деле победой под Шали царское командование обязано было не перелому в настроении масс, а открытому переходу на сторону колониальных поработителей шалинских кулаков и чиновников, убедившихся в силе царских войск. В решительные дни 27 и 28 апреля старшина Шалинского аула Борщик Хамбулатов собрал всех мулл, хаджей, улемов и других «почетных лиц» аула и убедил их, что для них выгоднее оставаться верными царскому правительству и не пускать в аул восставших.

Восставшие были встречены толпою вооруженных жителей, преимущественно в халатах и чалмах, которые открыли залп по прибывшим. Озадаченные повстанцы отступили и направились к аулу Автуры. По дороге они натолкнулись на части казаков, вооруженных берданами новейшего образца, и после стычки с ними повернули назад в горы.

Предательство шалинской верхушки имело большие последствия. В телеграмме главнокомандующему после победы под Шали начальник области сообщал: «Чечня торжествует свое спасение».[4]

---

[1] А. С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 г. («Военн. сб.», 1896 г. № 5, стр. 12).

[2] Там же, стр. 16.

[3] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, прилож. XVI, стр. 298.

[4] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск Терск. обл., 1877 г., д. 4, ч. 1, лл. 17, 20—29.

Борщику «был пожалован чин прапорщика милиции и дарована пожизненная пенсия (около 400 руб. в год): кроме того, распоряжением начальника области он был зачислен в милицию на офицерскую ваканцию, что прибавило ему еще до 600 рублей в год содержания».[1]

Алибек отступил со своими силами сначала за аул Гуни, а затем был вынужден удалиться в самые глухие места Ичкерии, избрав местом своего пребывания урочище Самсыр, расположенное при истоках реки Ярык-су, почти на самой границе Ичкерии, Ауха и Салатавии. Движение стало утихать.

С середины мая начинается второй период движения, который продолжался до конца июля. Он характеризуется новым соотношением борющихся сил и новыми методами борьбы.

К указанному моменту царское командование успело сосредоточить в Чечне крупные воинские силы. Всего в начале мая в Терской области было собрано 28 пехотных батальонов и 6 команд с количеством в 24409 чел., 16 казачьих сотен в составе 2261 чел., 11 сотен постоянной местной милиции и 104 орудия. Для военных действий против восставших командование выделило 84 роты и $8\frac{1}{2}$ казачьих сотен при 32 орудиях.[2] Кроме того, начальник Дагестанской области ген.-адъютант кн. Меликов с целью подавления движения в соседних с Дагестаном округах сформировал отряд из двух батальонов Апшеронского и Самурского полков и шести дружин и трех сотен постоянной местной милиции под начальством полк. Накашидзе, предложив этот отряд с четырьмя горными орудиями в распоряжение начальника Терской области.[3]

Кроме того, теперь царское командование могло рассчитывать на активную поддержку со стороны чиновно-кулацкой чеченской верхушки, проявившей уже в первый период восстания готовность стать на защиту интересов самодержавия.

Располагая такими силами, царизм решил перейти от обороны к наступлению. По взаимному соглашению между командующими войсками Дагестанской и Терской областей намечено было начать наступление на беноевские и зандаковские аулы с трех сторон, причем впереди должны были двигаться отряды местной милиции.

Подготовка к наступлению велась в течение десяти дней. Для организации отрядов из местной милиции и «вразумления непокорных безумцев» вперед были направлены «почетные лица» Чечни во главе с генералом Арну-Чермоевым.[4] Отряды милиции формировались из князей, старшин и «почетнейших» людей аулов.[5]

10 мая началось генеральное наступление на Ичкерию с трех сторон: из Грозного направилась колонна под начальством командующего войсками Терской области ген. Свистунова, из Хасав-Юрта двинулся отряд во главе с полк. Батьяновым и из Дагестана — части под управлением полк. Накашидзе.

Но в то время как царские войска готовились стянуть железное кольцо вокруг восставших аулов Ичкерии, полк. Батьянов получил известие (14 мая), что салатавские аулы — Алмак, Дылым, Костала и Миатлы — восстали.[6] Он немедленно сообщил об этом начальнику области: «Салатавия (аулы Буртунай, Алмак, Дылым) в полном

[1] А. С. Указ. ст. («Воен. сб.», 1896 г., № 6, стр. 204).
[2] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, прилож. III, стр. 18—21.
[3] Там же, прилож. XIV, стр. 153.
[4] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск Терск. обл., 1877 г., д. 4, ч. 1, л. 23.
[5] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, прилож. X, стр. 48.
[6] Там же, стр. 62—63.

восстании; принимаю меры, но на мою помощь в Ичкерии не рассчитывайте».[1]

Царскому командованию пришлось изменить план действий и бросить главные силы против Салатавии.

Подавление восстания в Салатавии, продолжавшееся всю вторую половину мая, было проведено с чрезвычайной жестокостью. Аулы Алмак, Дылым и Буртунай с их хуторами были уничтожены.[2] Поголовно все жители (до 3000 душ) подлежали выселению в северные или средние губернии России (особенно горячо настаивал на этом начальник дагестанской области кн. Меликов). Для охраны такого количества выселяемых требовалась большая военная сила. После некоторых колебаний местное командование решило выселить 200 человек из наиболее видных участников восстания, которые и были направлены под конвоем вглубь России.[3]

С этого момента жестокие мероприятия по отношению к восставшим все усиливаются. Сжигание аулов, высылка населения, уничтожение посевов — вот основные методы борьбы, которые царское командование применяет с беспощадной последовательностью.[4]

Несмотря на жестокие репрессии царского командования, восстание не затихало, а продолжало расти и крепнуть, принимая характер подлинно народного революционно-освободительного движения.

3 июня полк. Нурид доносил командующему войсками, что население Чечни разбилось на две партии: «Одна — желающая спокойствия, другая — требующая восстания. Последняя партия в Шали настойчиво требует соединения с нею первой, упрекая за прошлую измену оказанием помощи русским».[5]

6 июня полк. Лохвицкий сообщал из Шатоя: «Бдительно следя за настроениями населения, я пришел к тому убеждению, что восстание в недалеком будущем должно повториться, но в гораздо больших размерах, чем было в мае месяце».[6]

Под влиянием этих сообщений царское командование решило возобновить попытку окружить и захватить главарей восстания с помощью местной милиции. Объявлено было о формировании отрядов милиции из охотников Хасав-Юртовского, Веденского, Аргунского и Грозненского округов с целью поимки или уничтожения Алибека и его отрядов. Охотникам-милиционерам было назначено по 10 руб. в месяц и кроме того фураж для лошадей. «Милиция обязывалась уничтожить не только засевших в лесу абреков, но и всех тех людей, которые пытались бы скрыться, пробраться в лес из аулов». При этом было обещано, что «за каждого пойманного или убитого таким образом человека они будут получать по 25 рублей вознаграждения. За главных же абреков Алибека-Хаджи, Султан-Мурада и Даду Залмаева — за первого несколько тысяч рублей, а за второго и третьего по несколько сот. В случае доставления этих абреков живыми вознаграждение будет еще увеличено».[7] Однако, как отмечалось в рапорте командующего войсками от 5 июля 1877 г. (№ 751), охотников нашлось очень немного.[8]

---

[1] А. С. Указ. ст. («Воен. сб.», 1896 г., № 6, стр. 210).

[2] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск. Терск. обл., 1877 г., д. 4, ч. 1, л. 34 об.

[3] Там же, 1877—1878 гг., д. 18, лл. 33—42.

[4] Там же, лл. 33—42 — Рапорт полк. Батьянова командующему войск. Терск. обл. от 6/VI 1877 г., № 194.

[5] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, прилож. I, стр. 13.

[6] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск Терск. обл., 1877 г., д. 2, ч. 1, л. 238.

[7] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, прилож. X, стр. 65—66 — Секретное предписание команд. войск. Терск. обл. начальникам округов от 15/VI 1877 г.

[8] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск Терск. обл., 1877—1878 гг., д. 18, л. 71 об.

Извещенный о приготовлениях милиции, Алибек прорвался через кордоны между аулами Гендырген и Зандакар, спустился по р. Аксай и засел на лесистых высотах Кожельген-Дука близ аулов Шуани и Алерой. 24 июня полк. Батьянов бросился туда с крупными силами, но повстанцы, убив и ранив несколько десятков нападавших, скрылись в лесу.

После этого ген. Свистунов должен был сознаться, что «поимка или уничтожение Алибека самими жителями» не осуществима, так как,—пояснял он в том же рапорте,—«надо признать за положительный факт, что все без исключения чеченское население, если не прямо сочувствует и желает успеха Алибеку, то, по крайней мере, видит в нем несчастного, которому приходится страдать за предпринятое им святое дело религии и которому поэтому, хотя втайне, помочь обязан каждый правоверный. При таком положении дела нам приходится силою наших войск и администрации сдерживать только массу населения от явного участия в деле восстания... Настроение населения вообще становится весьма напряженным; сдерживать его все труднее». [1]

В последних словах командующего войсками правильно отмечалось начало нового периода в движении, охватившего июль и август и являющегося кульминационным пунктом героической борьбы горцев Чечни против царизма в 1877 г. Отличительной особенностью борьбы на этом этапе было дальнейшее углубление классовой дифференциации внутри движения.

Внешним поводом к подъему движения послужили неудачи царских войск на турецком фронте и усиленная агитация турецких агентов среди кавказских горцев.

В начале июля в Чечне распространились слухи, что Сванетия находится в тайных сношениях с абхазцами и турками и что Турция намеревается двинуть на Северный Кавказ отряды горских переселенцев с целью поднять общее восстание горских народов против России. [2]

Среди горцев также появились султанские грамоты, доставленные турецкими эмиссарами. В них говорилось, что войска халифа, разбившие гяуров, приближаются к Тифлису и скоро появятся в горах Кавказа под начальством Кази-Магомы, сына Шамиля; что все, кто восстанет против русских, будут навеки освобождены от всяких податей и утверждены в обладании землей, кто же будет служить «неверным», навсегда потеряет свои права на землю и будет обращен в рабство. [3]

В этот решающий момент произошел открытый переход на сторону царизма не только всей кулацко-чиновничьей и торговой верхушки Чечни, но и местного мусульманского духовенства, на фанатизм которого так часто ссылались официальные историки царизма.

«Почетные люди Мехкетов, — писал начальник Веденского округа кн. Авалов ген. Свистунову 4 июля, — явились ко мне с уверениями в том, что сами жители покончат с взбунтовавшимися». [4]

Тот же Авалов сообщал 2 августа, что «против Алибека-Хаджи составляется оппозиционная партия» и что старшина аула Гордали «собрал партию в 100 чел. против Сулеймана». [5]

О предательской роли духовенства красочно рассказывает один из

[1] Там же, лл. 74—75.
[2] Там же., лл. 76—79.
[3] Там же, лл. 227—228.
[4] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, прилож. XI, стр. 90.
[5] Там же, стр. 101.

царских историков, хорошо изучивший движение: «Муллы, хаджи и улемы много раз собирались у князя Эристова, являлись и к начальнику области. Беседы велись исключительно на почве корана, который, благодаря ловкой диалектике кадиев, как нельзя лучше послужил нашим целям. «Да будет проклят тот, кто во вред своим ближним поднимает руку против сильного», — провозглашали, опираясь на коран, духовные авторитеты в крае, и вскоре по всей Чечне с высоты мечетей загремела мощная, горячая проповедь на тему этого слова пророка. «Силен падишах России, силен поставленный им правитель наш, и да будет проклят безумец, дерзающий поднять руку против него», — повторяли улемы на сходбищах».[1]

Сильную поддержку оказали правительству и представители местного торгового сословия. «Богатые торговцы, — пишет тот же А. С., — принадлежавшие сами к чеченскому племени, как только приближалась смута и грозила направиться к их аулам, каждый раз спешили нагрузить свой товар на арбы и укрыть его за Терек или Сунжу, ближе к охране войск. Сообразуясь с указаниями этого верного барометра, нередко рассчитывали мы сосредоточение отрядов и меры охраны вообще».[2]

Таким образом против горского крестьянства, поднявшего знамя национально-освободительной борьбы, создается единый фронт царизма и местных эксплоататорских классов. Движение приобретает исключительно ожесточенный характер. Измена верхушки вызвала дальнейшее нарастание революционной активности масс, которые выступают теперь не только против царизма, но и против господства «своих» эксплоататоров.

«Партия Алибека, — писал полк. Авалов 7 июля, — сожгла дом хатунинского старшины и его родственников».[3] 16 июля полк. Лохвицкий сообщил из Аргунского округа, что Алибек арестовал всех старшин Чаберлоевского общества.[4] Документальный материал о восстании передает немало фактов избиения и убийства аульных старшин. С другой стороны, озверевшее царское командование, опиравшееся на крупные военные силы и активную поддержку всей местной знати и духовенства, стало на путь беспощадного террора.

Вот несколько выдержек из распоряжений командующего войсками ген. Свистунова, характеризующих методы «усмирения».

«Теперь остается одно, — говорится в письме к полк. Авалову от 3 июля (№ 106), — действовать силою оружия и не против скрывающейся партии, а против аульных обществ».[5] В письме от 9 июля (№ 125) к тому же полк. Авалову предлагается аулы Махкеты, Таузень и Хатуни, жители которых ушли в леса, «разорить вконец, т. е. отнять у народа все средства».[6]

В письме от 20 августа (№ 236) начальнику Аргунского округа предлагается объявить всем селениям, что «в случае не только принятия мятежников каким-либо аулом, но малейшего в нем беспорядка или ослушания властям, вы будете присылать в Грозный аманатов такого аула, а я их буду расстреливать».[7]

В распоряжениях ген.-майору Смекалову, главному усмирителю движения, неизменно повторяется требование: «Ради бога, только не

---

[1] А. С. Указ. ст. («Воен. сб.», 1896 г., № 7, стр. 25).
[2] Там же, стр. 25—26.
[3] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, прилож. XI, стр. 94.
[4] Там же, прилож. XII, стр. 127.
[5] Там же, прилож. XI, стр. 89.
[6] Там же, стр. 96.
[7] Там же, прилож. XII, стр. 140.

отходите назад, а продвигайтесь хотя понемногу вперед, беспощадно уничтожая перед собой все и всех... Силы [наши] все будут прибывать; только без сожаления косите все, бейте и вешайте беспощадно».[1]

Таков был характер борьбы на этом этапе. Перейдем к краткому обзору самых событий.

В начале июля восстали жители бассовских аулов. Со всех сторон стали поступать сведения о разрастающемся движении, которое, в связи с общим отступлением войск на кавказско-турецком фронте, грозило охватить Ичкерию, Аух, Кумыкию, Большую и Малую Чечни, Ингушетию и Кабарду.[2]

12 июля против бассовских аулов двинуты были значительные отряды войск. Но жители аулов с семействами и всем движимым имуществом скрылись в лесах. Карательная экспедиция уничтожила аулы, а посевы вытравила и вытоптала.

Алибек перешел в Чаберлой, и восстание охватило весь Аргунский округ. Во главе действующих повстанческих отрядов встал старшина аула Дзумсой Ума-Хаджи Дуев. В 1861 и 1862 гг. он принимал участие в восстании на Аргуне под предводительством Умы Атабая, был сослан и затем возвращен. Отряды Умы Дуева открыли энергичные действия. На Аргун были брошены значительные части местных войск и войск Дагестанской области под начальством кн. Накашидзе. «Усмирение» Аргуна заняло всю вторую половину июля и проведено было с обычной жестокостью. Князь Накашидзе доносил о своих действиях: «Я не ручаюсь, но мне кажется, что я навел такую панику на жителей, что они не попытаются повторить сделанные ими беспорядки».[3]

Другой предводитель карательных отрядов, полк. Лохвицкий, писал 17 июля: «Наказание Чаберлоевскому обществу я думаю сделать следующее: 1) Со всего участка, исключая Шароевского общества, теперь же взыскать штраф, полагая на двор по 5-ти рублей; 2) всех главных виновников в приглашении к себе Алибека-Хаджи и в оказании ему помощи арестовать; 3) арестовать семейства и имущества тех лиц, кои не явятся с повинною; 4) разорить до основания селения Нижелой, Ригахой и Нуй-Хой и 5) весь участок обязать теперь же в самый краткий срок сделать широкую просеку от Босоевской горы к р. Шаро-Аргуну на пространстве слишком 6-ть верст».[4]

Аулы и посевы Чаберлоевского участка были сплошь уничтожены; такая же участь постигла многие из аулов Шатоевского и Евдокимовского участков. Жители разоренных аулов скрылись в лесах.

Несмотря на всю жестокость карательных экспедиций, движение нарастало с неослабевающей силой. Основной удар готовился в Ичкерии. Подготовку вели здесь центороевский житель Сулейман и брат Алибека-Хаджи Алимхан.

10 августа Алибек появился в Центорое, а оттуда двинулся в Беной. С появлением Алибека в центре Ичкерии восстание быстро охватило весь Даргинский участок. В телеграмме от 14 августа (№ 218) ген. Свистунов сообщал полк. Мылову: «Положение дел самое серьезное. Вся Ичкерия в полном восстании».[5] В телеграмме от 16 августа в ставку главнокомандующего он писал: «Ичкеринцы... вос-

---

[1] Там же, прилож. XV, стр. 194—195.

[2] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск Терск. обл., 1877—1878 гг., д. 18 — Рапорт команд. войск. Терск. обл. главноком. от 29/VI 1877 г., № 1046, л. 90.

[3] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, прилож. XIV, стр. 171.

[4] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск Терск. обл., 1877 г., д. 2, ч. 1, лл. 328—329.

[5] Там же, д. 3, ч. 2, л. 3

стали почти поголовно, обнаруживают давно небывалую дерзость и появились под самым укреплением Ведено».[1]

Восставшие намеревались отрезать и держать в блокаде укрепление Ведено, а главные силы бросить на плоскость Чечни по рекам Гудермес или Хулхулау.

Но царское командование давно уже предвидело эту опасность и успело подготовиться. Большая Чечня зажата была сильными отрядами, расположенными в трех важнейших пунктах — Герзель-ауле, Шали и Грозном. Кроме того, начальнику Грозненского округ приказано было «разделить все селения Чечни на группы из двух, трех или четырех аулов каждая, обязав селения каждой группы подачею взаимной помощи и круговой ответственностью за пропуск мятежников на территорию группы».[2] Входы в Малую Чечню также были закрыты крупными заслонами войск.

Основной удар царское командование решило направить на Ичкерию и огнем и кровью задушить там движение. Главным руководителем «усмирения» назначен был помощник командующего войсками ген.-майор Смекалов, получивший самые широкие полномочия.

Действия против восставших открылись 14 августа. В этот день были взяты аул Дышны-Ведень, расположенный у стен самой крепости, и высоты Гамердука, господствующие над Ведено и занятые отрядами Алибека-Хаджи, Султан-Мурада и Сулеймана. По заявлению ген. Смекалова, горцы оказали упорное сопротивление. В ауле они пользовались каждой саклей, каждым прикрытием и геройски отстаивали позиции, несмотря на убийственный артиллерийский огонь.

О характере предпринятой экспедиции свидетельствуют распоряжения ген. Свистунова. «Имейте в виду, — писал он 18 августа ген. Смекалову, — что цель наша должна заключаться в том, чтобы выбрать из всех аулов неблагонадежных людей и сослать их навсегда с семействами в Россию, взятие же аманатов должно составить только переходную к этому меру. Вообще очень много набирать их стеснительно. Беной же и Зандак надо поголовно выселить в Сибирь, или, если эти подлецы не пожелают, выморить всех зимой как тараканов и уничтожить голодом. Зандаковских аманатов, которых прошу я выслать всех в отдаленные губернии, пришлите сюда, как только можно, им будет нужно назначить надежный конвой. При этом вести не со связанными, а буквально со скрученными позади спины руками, так, чтобы ладонь левой приходилась и была привязана крепко к самому плечу правой и наоборот. По дороге не развязывать ни под каким предлогом и в случае малейшего сопротивления одного немедленно перебить всех. Прибавить должен: очень желал бы, чтобы именно это последнее и случилось».[3]

В письме от 20 августа (№ 233) ген. Свистунов напоминает Смекалову: «Пока могу в виде указания повторить вам только одно: требовать безусловной покорности и отнюдь никаких обещаний не давать, внушить им убеждение, что торговаться с нами они не могут и что в случае малейшего непослушания теперь уничтожим хлеба и аулы, а зимою выморим голодом в лесах». В том же духе давались указания и полк. Батьянову.[4]

Уничтожение аулов и хлебов повлекло за собой то, что «вся Ичкерия с семействами и имуществом переселилась в леса». «Вследствие этого,—писал ген. Смекалов начальнику области,—делаются затруд-

[1] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск. Терск. обл., 1877 г., д. 4, ч. 2, л. 3.
[2] Там же, 1877—1878 гг., д. 18, лл. 233—234.
[3] Там же 1877 г., д. 7, ч. 2, л. 19.
[4] Там же, 1877 г., д. 4, ч. 2, лл. 5—7.

нительными всякие требования, обращаемые непосредственно к жителям; говорить и приказывать не с кем и некому».[1]

Не «усмиренными» оставались только бассовские аулы, во главе которых стоял Ума Дуев. В конце августа сюда двинулись главные силы ген. Смекалова из крепости Ведено, поддержанные колоннами кн. Эристова из аула Шали. Восставшие встретили царские войска у аула Алистанджи при переправе через реку Арджин-акх и оказали им упорное сопротивление. С помощью сильного артиллерийского огня Смекалову удалось захватить устроенные горцами завалы, но он не решился продолжать свои операции и, преследуемый отрядами восставших, отступил в Ведено.

Так кончился третий период борьбы.

К началу сентября положение в Чечне сложилось следующим образом. Царское командование успело мобилизовать к этому времени казачьи полки третьего комплекта и все резервные батальоны. На 1 сентября в распоряжении ген. Свистунова имелись 24 батальона и 8 команд пехоты, 28 казачьих и 21 милицейских сотен, 1 артиллерийская рота и 49 орудий, а всего свыше 25 тысяч человек.[2]

Открыто стояли теперь на стороне царизма и все зажиточные слои местного населения — старшины, торговцы и духовенство. «Сожжение аулов до основания, — писал полк. Батьянов в одной телеграмме, — произвело одуряющее действие на зажиточных в этой местности чеченцев».[3]

Трудящиеся массы Нагорной Чечни не сдавались, но силы были явно не равные. Главные аулы Ауха и Салатавии были превращены в пепел, а жители выселены на плоскость или в Россию. Население Ичкерии почти поголовно находилось в лесах. Небольшие отряды Алибека, Султан-Мурада и Сулеймана укрылись в самсырских лесах. Население бассовских аулов также переселилось в леса; махкетинцы во главе с Умою засели в трудно доступном и укрепленном урочище Сульме-Таузень; таузенцы и часть хатунинцев, руководимые Хорсаном и Тангаем, заняли верховья Бассовского ущелья; наконец, алистанджинцы и некоторые из ичкеринцев бежали в лесные трущобы Алистанджинского ущелья.

Таким образом, регулярной царской армии в 25 тысяч человек, поддерживаемой местной верхушкой, восставшие могли противопоставить лишь слабые разрозненные отряды в сотни человек, лишенные вооружения и продовольственной базы.

Несмотря на братскую поддержку горцев Дагестана, где назревавшее в течение лета восстание вспыхнуло теперь грозным пламенем, движение в Чечне не могло уже оправиться. Сентябрь и октябрь были последним периодом восстания, периодом жестокой расправы царизма с горной Чечней, поднявшей знамя борьбы за национальную независимость.

Первый удар был направлен против бассовских аулов, откуда отряды Умы Дуева угрожали Аргунскому округу и плоскостной Чечне. Крупные силы двинулись сюда с четырех сторон: со стороны Ведено, от аула Шали, от Шато-Аргуна и со стороны Чаберлоя.

Зажатые в железное кольцо бассовцы геройски отстаивали каждую балку, каждую переправу. Борьба длилась в течение трех недель — с 3 по 25 сентября. Окруженные со всех сторон превосходными силами, лишенные продовольствия, бассовские аулы вынуждены были сдаться, и жители их были поголовно выселены на плоскость. В телеграммах

[1] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, стр. 200.
[2] Там же, прилож. IX, стр. 36—41.
[3] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск. Терск. обл., 1877—1878 гг., д. 18, л. 246.

командующему войсками Дагестанской области ген. Свистунов сообщал, что результатом действий за последний месяц было поголовное выселение на плоскость аулов Махкеты, Хатуни и Таузень.[1] Ума Дуев скрылся в урочище Букказе.

С 25 сентября по 15 октября была произведена такая же операция против самсырских лесов, где скрывались отряды Алибека, Султан-Мурада и Сулеймана. Прорубая просеки с помощью мобилизованных жителей ближайших аулов и уничтожая встречавшиеся на пути хутора, запасы хлеба и сена, войска Смекалова пятью колоннами окружили последнее убежище восставших. И здесь царским войскам помогла измена. 3 октября к Смекалову явился беноевец Бий-Султан, бывший весьма зажиточным человеком и состоявший последнее время в партии Алибека. Бий-Султан подробно описал место нахождения Алибека и обещал провести туда кратчайшим путем; наградой ему должно было служить прощение прежних проступков и разрешение собрать в Дарго остатки имущества.[2]

С помощью проводника-изменника солдаты неожиданно напали на хутор Самсыр и разгромили отряды Алибека, захватив все приготовленные на зиму продовольственные запасы. Алибек с остатками партии перешел в Андию. Одновременно колонны полк. Лохвицкого окончательно вытеснили отряды Умы с Аргуна, вынудив их также перейти в Андию.

О методах, применявшихся царским командованием, ярко свидетельствуют распоряжения ген. Свистунова. 28 сентября он писал начальнику Аргунского округа: «Если только подтвердится, что Ума разъезжал по селениям Шатоевского участка, или только скрывался несколько дней, или обнаружился бы какой-либо иной признак дурных умыслов Шатоевского участка, то все аулы этого участка... нимало не медля уничтожить, т. е. все население выгнать поголовно за Терек, не давая им даже времени собрать свое имущество... Если же население не пошло бы и разбежалось бы по лесам, то уничтожить аулы, хлеба, скот, все имущество и жителей преследовать, не давая пощады никому и ничему, так чтобы обратить весь участок в пустыню».[3] «Если же они станут упорствовать, — писал он на другой день, — и нам придется всех их перебить, делать нечего и на это надо решиться».[4]

К середине октября восстание в Чечне было окончательно подавлено. 16 октября ген. Свистунов сообщал телеграммой главнокомандующему, что область совершенно очищена от мятежников и военные действия прекратились.[5]

Теперь главные силы под начальством ген. Смекалова и полк. Лохвицкого брошены были в Дагестан, где восстание к этому времени приняло чрезвычайно широкие размеры. До сих пор, несмотря на просьбы и требования кн. Меликова, ген. Свистунов воздерживался посылать туда большие подкрепления, опасаясь за спокойствие плоскостной Чечни. Еще 25 сентября ген. Смекалов писал Свистунову: «Помогать соседу тушить пожар следует, но отдать ему все пожарные средства в то время, когда горит собственный дом, едва ли удобно. Такого великодушия никто не в праве требовать».[6] Теперь царское

---

[1] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск Терск. обл., 1877 г., д. 4, ч. 2, лл. 18 об., 70—71.

[2] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, стр. 175—176.

[3] ЦАУ СО АССР, ф. Пох. шт. войск Терск. обл., 1877 г., д. 7, ч. 2, л. 82.

[4] Там же, л. 85.

[5] Там же, 1877—1878 гг., д. 18 — Рапорт ген. Свистунова за № 257.

[6] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, прил. XV, стр. 260.

командование, уничтожившее значительную часть горной Чечни, нашло возможным оказать помощь «соседу».

На территории Чечни военные действия сменились административными репрессиями. В течение октября—декабря в Грозненском, Веденском, Аргунском и Хасав-Юртовском округах были арестованы многие из главных участников восстания и все родственники Алибека. 27 ноября добровольно явился сам Алибек, не желавший, чтобы из-за него страдали родные аулы. Ума с сыновьями был схвачен в Дагестане при взятии аулов Тилитль и Согратль. Султан-Мурад и Сулейман успели переправиться в Турцию.

4—6 марта 1878 г. в Грозном состоялся военно-полевой суд над руководителями восстания. К суду было привлечено 17 человек. 11 человек были приговорены к смертной казни через повешение, в том числе Алибек-Хаджи Алданов, Ума-Хаджи Дуев, сын его Дада Умаев, Дада Залмаев. Остальные приговорены были к 20 годам каторжных работ.[1]

9 марта 1878 г. в 6 часов утра в Грозном смертный приговор был приведен в исполнение. Осужденных доставили к месту казни: впереди везли на «позорной» колеснице старика Уму Дуева, за ним в двуколке Алибека-Хаджи; остальные шли сзади со связанными руками и с кандалами на ногах. Первым должен был взойти на эшафот молодой Дада, сын Умы. Он попросил казнить раньше отца, чтобы тот не видел предсмертных мук сына. Но старик Ума решительно отказался, заявив: «Старый пойманный волк давно уже привык к стенаниям ягнят». Роль палачей исполняли два уголовных преступника, которым заплачено было по 5 рублей каждому. Все повешенные были зарыты в яме на месте казни.[2]

В отношении остального населения восставших районов царизм применил все приемы победителей периода Кавказской войны. В период разгара движения, 8 августа, ген. Свистунов писал кн. Авалову в секретном письме: «Между нами будь сказано: меры снисхождения пока неизбежны, общий же со всеми расчет будет потом».[3]

Целые аулы были выселены внутрь России на плоскость. Освободившиеся участки плодородной земли переданы были участникам в подавлении движения и казакам. Точно определить количество выселенных в Россию чеченцев не представляется возможным, так как официальные документы перечисляют то целые аулы, то семейства, то отдельных лиц. Во всяком случае количество это исчисляется тысячами.

Выселяемые направлялись в Россию двумя путями: водным — через Петровск и Астрахань и сухим — через Харьков. Первая партия в составе 130 семейств из салатавских аулов Алмак и Буртунай отправлена была через Петровск в июле 1877 г. В августе того же года были выселены через Харьков около 150 жителей аулов Зандак и Датых Веденского округа.[4] Высылка небольшими партиями продолжалась всю осень 1877 г. Весной 1878 г. во внутренние губернии России направлены были из Терской области 110 семейств вместе с 660 семействами дагестанских горцев.[5]

Спачала местом жительства выселенных горцев были назначены

---

[1] ЦАУ Груз. ССР, ф. канц. наместн. Кавказа за 1878 г., д. 265 — «О жителе Веденского округа Терск. обл. Алданове и др.», лл. 290—294.

[2] Мат. Чеч.-Ингуш. Истор. музея в Грозном.

[3] Мат. для опис. русско-турецк. войны, VI, ч. 1, прилож. XI, стр. 107.

[4] ЦАУ СО АССР, канц. нач. Терск. обл., 1877—1878 гг., д. 54—«О выселении жителей аулов Терской области, принимавших участие в мятеже».

[5] УЦГАЛ, д. Кавк. к-та, 1878 г., № 85, лл. 48—49.

губернии средней России, преимущественно Тульская, Рязанская, Калужская. Затем поток высылаемых был направлен в Вологодскую, Новгородскую, Псковскую губернии и в Западную Сибирь. Царское правительство вполне отдавало себе отчет, что высылка горцев в холодные северные губернии равносильна смертному приговору. «Нельзя не придти к мысли о крайне печальных последствиях подобной высылки, — писал министр внутренних дел 23 октября 1878 г., — можно без особого преувеличения сказать, что она едва ли не равносильна поголовному истреблению». [1]

Действительно, смертность горцев в местах новых поселений была ужасающая. Так, в Новгородской губернии из числа прибывших сюда в начале 1878 г. 1625 чел. в первые же месяцы умерло 429 (118 мужчин и 311 женщин), а 74 чел. оказались безнадежно больными. [2]

Так расправлялся царизм с трудящимися горскими массами, поднявшими знамя борьбы против колониального порабощения.

Но свирепые правительственные репрессии не сломили революционного духа горцев Чечни и Дагестана. Борьба против царского владычества продолжалась и дальше, приняв особенно грозный характер во время революций 1905 года и февральской 1917 года.

В борьбе против царизма, национального гнета, помещиков и капиталистов закалялись и сплачивались горские массы, завязывалась крепкая дружба между горскими народами и передовой частью великого русского народа. Под руководством большевистской партии классовое сознание трудящихся масс Чечни все более прояснялось. Великая Октябрьская социалистическая революция нашла себе верную опору в трудящихся массах Чечни.

«Свергнув власть помещиков и капиталистов, основных носителей национального гнета, и поставив у власти пролетариат, Октябрьская революция одним ударом разорвала цепи национального угнетения, перевернула старые отношения между народами, подорвала старую национальную вражду, расчистила почву для сотрудничества народов и завоевала русскому пролетариату доверие его инонациональных братьев не только в России, но и в Европе и Азии». [3]

---

[1] УЦГАЛ. д. Кавк. к-та, 1878 г., № 85, л. 55.
[2] Там же.
[3] И. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 105.

С. Я. БОРОВОЙ

ДАВИД ЛЕХНО И ЕГО ИСТОРИЯ КРЫМСКОГО ХАНСТВА

В своих замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР товарищи Сталин, Киров и Жданов выдвинули как одну из важнейших задач исторической науки изучение «истории народов, которые вошли в состав СССР».[1] В связи с этим внимание исследователей должно быть привлечено к разысканию новых источников по истории СССР, особенно освещающих прошлое народов колоний российского царизма.

С этой точки зрения большой интерес имеет хранящееся (в двух списках) в Одесском историко-археологическом музее рукописное (на древнееврейском языке) сочинение Давида Лехно.

Это сочинение, озаглавленное автором «Dewar sephathaim» (т. е. «Устное повествование»), представляет собой рукопись в 80 страниц чрезвычайно мелкого и убористого письма (в печатном виде в оригинале оно составило бы не менее 7 печ. листов, в переводе 9—10 печ. листов), делящуюся на введение и 53 небольших главы. Посвящено оно изложению истории Крымского ханства с 1681 по 1731 гг. (в введении дается краткий обзор истории ханства в предшествующий период).

Хотя первые сведения о хронике Лехно появились в печати девяносто лет назад, до сих пор она остается полностью почти не изданной и еще не была предметом хоть сколько-нибудь углубленного источниковедческого изучения.

В самом деле, что было сделано за все эти девяносто лет для изучения и публикации хроники Лехно?

Вскоре после того, как эта рукопись попала в собрание Одесского Общества Истории и Древностей, во втором томе «Записок» Общества, вышедшем в 1850 г., были помещены первые переведенные пять глав (9, 10, 13, 17 и 23) хроники.[2] Переводчик И. Финкель (заведующий одесским еврейским училищем), совершеннейший дилетант в области исторической науки, предпослал своему переводу заметку строк в пятнадцать, в которой доказывал, что автор был еврей, а не караим (что, собственно говоря, и не требовало особых доказательств); самый же перевод был очень невысокого качества. Через 30 лет к изучению хроники Лехно приступил известный ученый А. Гаркави. Кроме одесских рукописей, А. Гаркави были известны также рукопись из собрания Фирковича в Ленинградской Публичной Библиотеке (менее полная, чем одесская) и рукопись из собрания путешественника И. Черного (тоже неполная). Однако и Гаркави не ставил себе задачи дать исследование о хронике Лехно; он ограничился тем, что перевел

[1] Сборник «К изучению истории», стр. 22, М., 1937.
[2] «Записки Одесск. Общ. Истории и Древностей», II, ч. 2—3, стр. 693—704, Одесса, 1850.

еще четыре новых главы (3, 5, 11, 25) и перепечатал с исправлениями главы, переведенные Финкелем.[1] На этом закончилось издание Лехно в переводе на русский язык.

Хотя оба переводчика опубликовали как раз те главы, которые имеют ближайшее касательство к русско-татарским и русско-турецким отношениям, публикации Финкеля и Гаркави остались совершенно не замеченными историками России; единственная известная нам ссылка на хронику Лехно встречается в работе по истории Крымского ханства В. Д. Смирнова.[2] Хроника Лехно оказалась неотмеченной даже в образцовом по своей полноте библиографическом обзоре еврейских исторических источников М. Штайншнейдера.[3] Как мало внимания привлекло сочинение Лехно, видно из следующего любопытного факта. Обнаружив среди рукописей Азиатского музея Академии Наук (ныне Института Востоковедения) фрагмент из хроники Лехно, такой видный знаток еврейской письменности, как академик П. Коковцев, не знал, что это произведение уже частично издано (по его словам, хроника Лехно — «opus ut videtur hactenus ignotum»).[4] В качестве образца Коковцов опубликовал одну главу хроники (12) в оригинале.[5]

В 1910 г. И. Маркон напечатал небольшую заметку о Д. Лехно.[6] Но в ней не содержалось никаких новых данных и не было сделано даже попыток осветить источниковедческую ценность хроники; сообщалось лишь о намерении автора издать это произведение с параллельным русским переводом.[7] Это заявление было повторено в 1916 г.,[8] но только в 1924 г. И. Маркон частично реализовал свое обещание: он опубликовал первые 16 глав (только в оригинале), снабдив их кратким, почти совершенно бессодержательным введением.[9] На этом, сколько нам известно, остановилась дальнейшая работа по изучению и публикации сочинения Лехно. Подводя итоги, можно, таким образом, установить, что до сих пор издано в оригинале немного больше четвертой части, а в переводе — одна шестая, и что эта хроника не была до сих пор предметом хоть сколько-нибудь серьезного исследования.

После этого историографического экскурса перейдем к краткому рассмотрению вопроса о значении хроники Лехно как исторического источника.

Как мы уже указывали, хроника Лехно посвящена истории Крыма с 1681 по 1731 г. Не приходится говорить, какое значение имеет каждый новый источник по истории так плохо до сих пор изученного Крымского ханства. Первый вопрос, на который должен быть дан ответ при оценке познавательной ценности хроники Лехно, — это вопрос об ее источниках, т. е. о том, в какой степени повествование Лехно является аутентичным историческим свидетельством. Исчерпывающий ответ на это может быть дан только в результате углубленного изучения, при обязательном привлечении всех татарских и турецких источников. Но и предварительное ознакомление с хро-

---

[1] А. Гаркави. Отрывки из исторического сочинения Д. Лехно. «Отчет Публ. Б-ки за 1882 г.», 5 отд., нум. стр. 1—41, СПб., 1884.

[2] В. Смирнов. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты, стр. 609 и 624—625, СПб., 1887.

[3] M. Steinschneider. Die Geschichtsliteratur der Juden, Frankfurt a. M., 1905.

[4] «Известия Академии Наук», 1906, № 4, стр. 144.

[5] Там же, стр. 149—150.

[6] И. Маркон. Давид Лехно («Еврейская старина», 1910, № 4, стр. 599—602); ср. его же заметку в «Еврейской Энциклопедии», X, стр. 185.

[7] Там же, стр. 602.

[8] См. «Записки Вост. Отд. Русск. Археол. Общ.», 1916, XXIII, вып. 3—4, стр. 18.

[9] Публикация в сборн. «Dwir», II, стр. 244—273, Берлин, 1924, (на древнееврейском языке).

никой может дать некоторый материал. Сам Лехно говорит об этом в своем предисловии. По его словам, ему приходится встречаться с «умными и разумными учеными мусульманами», и эти «знатные и ученые люди» посоветовали ему записывать все то, что он услышит от них, «дабы это сохранилось в памяти... и чтобы оно послужило ему к возвеличению его славы и чести между народами земли и учеными разных племен». Он согласился и с тех пор тщательно записывал все, что слышал «от военных людей, возвращающихся с войны, и от ученых, знающих прошлое»; «и у всех близких и далеких я спрашивал о новом и старом» и т. д. Значит, если верить Лехно, его единственным источником были рассказы «знатных и ученых мусульман». Об этом же должно было свидетельствовать и наименование хроники, означающее в русском переводе «Устное повествование».

Действительно, нет сомнения в том, что в основе повествования Лехно лежат записанные им рассказы лиц из ближайшего окружения ханов. Только от них он мог услышать столько подробностей о борьбе и интригах среди феодальной верхушки Крыма в годы Каплан-Гирея, Кара-Девлет-Гирея и, особенно, Саадат-Гирея. Нам думается, что эти части хроники (особенно главы 20, 21, 24, 33, 35, 37—41, 44, 45 и др.) являются важнейшим первоисточником по истории Крыма тех лет. Со слов очевидцев, надо думать, описаны Лехно и те походы, в которых участвовали крымские татары. В этом отношении бесспорно большую ценность имеют рассказы Лехно об участии татар в войнах с Россией: о крымском походе 1689 г. кн. В. Голицына (гл. 5) о русско-турецкой войне 1695—1699 гг. и о взятии Азова (гл. 9—11), о русско-крымских отношениях в первые годы царствования Петра (гл. 17—20). Любопытно повествование хрониста о Северной войне (гл. 13 и 23); но куда бóльшую ценность имеет его рассказ о пребывании Карла XII в Бендерах (после Полтавского поражения), о дипломатической переписке и осложнениях, возникших по этому поводу (гл. 26).[1] Ценность первоисточника имеют и те главы, в которых описываются походы крымских татар против Черкесии и Кабарды (гл. 22, 36 и др.). Преимущественно со слов очевидцев описаны Лехно и турецкие дела тех лет (например, очень подробный рассказ о восстании янычар в 1703 г.—гл. 18; о событиях в жизни еврейской общины в Константинополе — гл. 29; см. также гл. 19, 27, 30 и др.). Весьма много места уделено в хронике Лехно и описанию турецко-австрийских войн тех лет (особенно гл. 31, 32 и др.); войн с Персией (особенно гл. 34, 42, 43 и др.). Поскольку во всех этих главах нашли свое отражение рассказы участников событий, нет сомнения, что хроника Лехно может иметь значение и как источник по истории Турции.

В некоторых случаях Лехно записывал, очевидно, и то, непосредственным наблюдателем чего был он сам. В какой мере он мог лично следить за политической жизнью ханства, мы не знаем, но по общему тону его повествования, по тому пристрастию, которое слышится в его подробных рассказах о придворных интригах, чувствуется, что Лехно не всегда писал с чужих слов. Бесспорно, что когда наш хронист описывает события из жизни еврейского населения Карасубазара (главного еврейского центра в Крыму тех лет), он выступает как непосредственный наблюдатель. Книга Лехно, как источник по истории евреев в Крыму, дает много меньше, чем от нее можно было ожидать. Трудно указать какого-нибудь другого еврей-

---

[1] А. Гаркави, опубликовавший в русском переводе почти все, что относится к истории России, эту, самую интересную, главу оставил без перевода.

ского хрониста, у которого еврейские интересы занимали бы такое малое место. Но и то немногое, что мы находим у Лехно о жизни еврейской общины в Карасубазаре (гл. 28, 37 и др.), значительно пополняет тот скуднейший набор данных по истории евреев в Крыму в XVII—XVIII вв., которыми мы располагаем.[1]

Но Лехно знал также и некоторые письменные источники. Так, в введении он отсылает читателя за подробностями к известной хронике Ганновера Jawen mezuloh (первое издание — Венеция, 1653), описывавшей события на Украине 1648—1652 гг.[2] В другом месте (гл. 21) он ссылается на «Историю крымских царей» (очевидно он имел в виду какую-то татарскую хронику, возможно до нас и не дошедшую). Источниковедческое исследование, возможно, вскроет и другие источники Лехно и степень его зависимости от них.

Еще более сложная задача, которая стоит перед исследователем, — это вскрытие социально-политических тенденций Лехно. Но это может быть сделано только в результате тщательного изучения всех материалов хроники и их источников.

В заключение — несколько замечаний о самом хронисте. Следует сказать, что о Давиде Лехно у нас нет почти никаких биографических данных. Его хроника не содержит никаких автобиографических материалов. Его фамильное прозвище (Лехно — по-татарски «поляк») свидетельствует о том, что его семья происходила из Польши. Но сам Лехно был человеком еврейско-татарской культуры. Это обнаруживает с полной очевидностью стилистический анализ хроники. Лехно известен как автор еще двух сочинений: одной грамматической работы «Mischkan Dawid» (из нее опубликовано только предисловие)[3] и предисловия к молитвеннику, так называемого «Кафского ритуала».[4] Это предисловие, написанное в 1725 г., содержит некоторые исторические сведения о евреях в Крыму.[5] Умер Давид Лехно в 1735 г.

Кем был Лехно? Очевидно он не был духовным лицом (что естественно было предположить, учитывая его образованность); это отразилось бы на форме его титулования, да и слишком «светский» характер имеет его хроника. Принимая во внимание широкие знакомства Лехно среди правящей верхушки Крыма, его обширную осведомленность во всех внутренних и внешних политических делах ханства, можно предположить, что он был правительственным финансовым агентом (казначеем, откупщиком налогов и государственных имуществ, откупщиком монетного двора и т. п.). Что крымские евреи тех лет занимали эти должности, нам известно из нескольких источников: так, в 60-х годах XVIII в. государственным казначеем был еврей Яков Нееман, а содержателем монетного двора при хане Шан-Гирее был еврей Иосиф.[6] В XVIII в. евреи фигурируют также как откупщики соляных озер на севере Крыма.[7] Нам представляется, что Лехно скорее всего происходит из этой среды. Но это только пред-

---

[1] См. сводку всего материала в статье Д. Маггида. Евреи в Крыму («История еврейского народа», XII, кн. 1, стр. 108, М., изд. «Мир», 1921).

[2] Подробнее о хронике Ганновера см. в моей работе в «Исторических Записках», IX.

[3] В газете «Hakarmel», 1863, № 15, стр. 117—118.

[4] Этот «махзор» был напечатан в 1793 г. в г. Межирове.

[5] Оно не было включено в печатное издание «махзора», но по рукописи, хранившейся в Карасубазарской синагоге, несколько раз печаталось. Лучшая публикация в книге A. Harkawy. Die Altjüdischen Denkmäler aus der Krim, SS. 230—232. СПб., 1876.

[6] Д. Маггид. Указ. соч., стр. 110.

[7] С. Боровой. Евреи в Запорожской Сечи («Исторический сборник», I, стр. 159, 1934).

положение, которое не может быть пока подкреплено документальными данными.

Настоящая заметка — ее следует рассматривать как предварительное сообщение — имеет целью обратить внимание более широких кругов историков СССР на этот почти неизвестный, но бесспорно ценный исторический источник.[1] Нет сомнения, что он заслуживает скорейшего научного издания и в оригинале и в переводе с соответствующим комментарием и источниковедческим введением.

---

[1] Следует здесь напомнить, что известны также и другие крымские хроники на еврейском языке: «События, случившиеся в Крыму в царствование Шагин-Гирей-хана» караима Азарьи с. Ильи (опубликована в русском переводе А. Фирковича, во «Временнике Моск. Общ. Истории и Древн. Российск.», кн. 24, стр. 101—131, М., 1856) и «Исторические заметки о событиях в Крыму в 1683—1688 гг.» караима Якова с. Мордухая (русск. перевод опубликован А. Фирковичем, там же, стр. 131—134)

Н. Н. ПОКРОВСКИЙ

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДАТЫ

В истории имамата Шамиля есть одна дата, пущенная в оборот в статье М. Н. Покровского о кавказской войне [1] и широко использованная историками без надлежащей критической проверки ее. Речь идет о времени созыва так называемого андийского совещания. М. Н. Покровский прямо отнес его к 1847 г., сославшись, правда, на статью «Низам Шамиля». [2] Между тем даты редакционного предисловия к этой статье вообще очень сбивчивы, а в самом документе указаний на время нет. Уже одно это должно было заставить историка насторожиться. А более подробное исследование сразу же вскрывает недостоверность датировки.

Редакция «Сборника сведений о кавказских горцах», столкнувшись с рядом неясностей в тексте постановлений андийского совещания, прибегла к помощи Амир-хана, бывшего одно время секретарем Шамиля. Перевод «Низама» был «сделан частью буквально, а частью согласно истолкованиям и исправлениям Амир-хана». [3] Этот же консультант установил и дату документа, прибегнув для этого к восстановлению цепи событий. Мысль о «Низаме», по словам Амир-хана, подал Шамилю Хаджи Юсуф. «Первое знакомство Хаджи Юсуфа с Шамилем завязалось заочно», вскоре после похода Шамиля в Кабарду, т. е. после 1846 г. Далее рассказывается о приезде Хаджи Юсуфа в Дарго, об андийском совещании и о назначении Хаджи Юсуфа гехинским наибом. Андийское совещание, как припоминает Амир-хан, «было в конце 1846 или в начале 1847 г.». [4] Очевидно речь идет о 1263 г. хиджры. В статье М. Н. Покровского эта неопределенность даты уже исчезла, и совещание окончательно отнесено к 1847 г., хотя никаких аргументов в защиту своего взгляда М. Н. Покровский не привел.

Однако и сведения Амир-хана и самое содержание «Низама» не дают оснований для того, чтобы принять эту дату.

Во-первых, Хаджи Юсуф появился в Дарго не в 1846 г., а несколько раньше, около 1840 г. В одном документе 1843 г. указывается на то, что Хаджи Юсуф был назначен наибом в Чечню весной этого последнего года. [5] Следовательно, если андийское совещание было до этого назначения, то дату его с 1847 г. нужно передвинуть за 1841—1842 гг.

Если теперь просмотреть содержание «Низама» и попытаться датировать постановления, исходя из времени проведения их в жизнь, то

[1] Дипломатия и войны царской России, стр. 222, 226.
[2] Сборник сведений о кавказских горцах, вып. III.
[3] Там же, стр. 4.
[4] Там же, стр. 5.
[5] Показания кн. Орбелиани, бывшего в плену в 1842 г. — ЦВИА ВУА, д. 6478.

придется признать, что и с этой точки зрения содержание документа не соответствует дате. Так, в числе постановлений значится назначение мудиров;[1] между тем уже в таблице Прушановского,[2] составленной в 1843 г., указаны мудиры. Практика подобных назначений была окончательно закреплена андийским совещанием 1845 г., и непонятно, зачем в 1847 г. нужно было постановлять — «назначить по одному мудиру на каждых четырех наибов».[3]

То же можно сказать и о назначениях муфтиев и кади.

Наконец, последнее: большая часть крупных совещаний, проводившихся Шамилем, нам известна из официальной переписки царского командования на Кавказе; из них назовем даргинские — 1841 и 1842 гг., андийское — 1845 г., белгатоевское — 1848 г.

К упоминаемому в «Низаме Шамиля» андийскому совещанию 1847 г. по времени ближе всего стоит белгатоевское, 1848 г.; по характеру обсуждавшихся вопросов — андийское, 1845 г. и, наконец, по месту в биографии Хаджи Юсуфа — даргинское, 1842 г. Нам трудно сейчас высказаться категорически; вопрос требует еще серьезного исследования с привлечением и первичных архивных материалов и почти не опубликованной арабской переписки Шамиля. Однако уже теперь можно считать, что вся сумма постановлений, записанных в книге Танус Магомы и изданных под заглавием «Низам Шамиля», не могла быть принята в 1847 г. Если только эти постановления действительно выносились на *одном* совещании, то их нужно датировать 1842—1845 гг., т. е. временем действительного проведения их в жизнь. Но не исключена и другая возможность: Танус Магома мог систематизировать постановления нескольких собраний, последним из которых было белгатоевское, происходившее в 1264 г. хиджры, т. е. в начале 1848 г.

Во всяком случае, с постановлениями «андийского совещания 1847 г.» придется теперь обращаться осторожнее и не верить на слово М. Н. Покровскому.

---

[1] Сборник сведений о кавказских горцах, вып. III, стр. 15.
[2] Кавказский сборник, XXIII, стр. 56—57; ЦВИА ВУА, д. 6512.
[3] Указание места совещания принадлежит Хаджи-Али (Сборник сведений о кавказских горцах, вып. VII).

Стр

164

20

Зак

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАМЕТКИ и СООБЩЕНИЯ

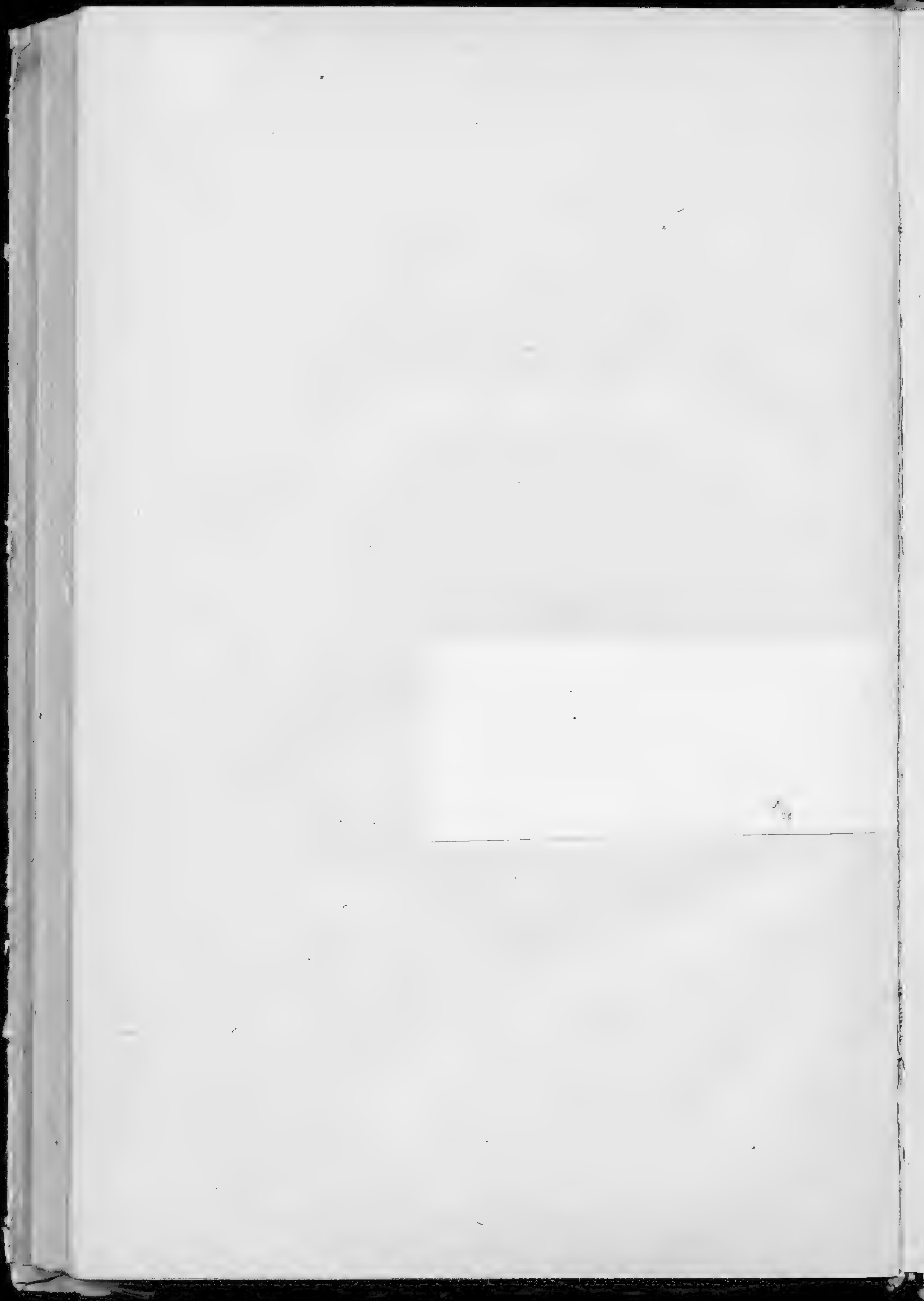
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует*
164	23 св.	смещение	смешение
206	1 св.	оклодом	окладом

Зак. № 261. Исторические записки, т. 10,

SOMMAIRE

NOTES et COMMUNICATIONS



СОДЕРЖАНИЕ

ЗАМЕТКИ и СООБЩЕНИЯ

SOMMAIRE

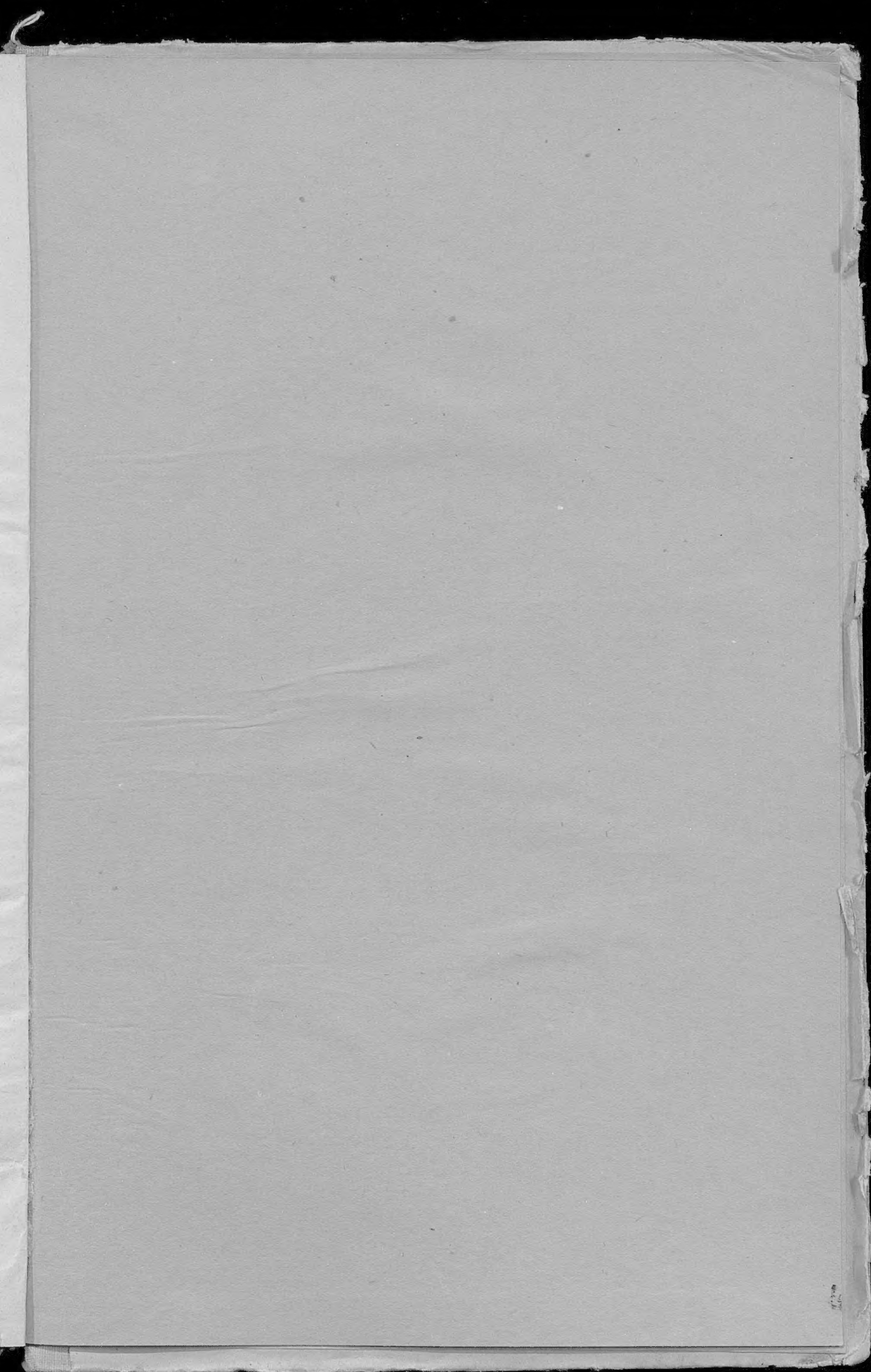
NOTES et COMMUNICATIONS

Технический редактор *О. Н. Персиянинова*
Корректор *Х. М. Копман*

Сдано в набор 16/II 1940 г. Подписано к печати ?0/X 1940 г. АНИ № 1573. РИСО № 1354. А-33211
Формат $70 \times 108^1/_{16}$. Объем 19 печ. л. 27 уч.-изд. л.
В печ. листе 58400 тип. зн. Тираж 10000 экз.

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва, Валовая 28.

Напечатано с готовых матриц в киевской типографии Оборонгиза. Крещатик, 42. Зак. № 263.



Цена 13 руб.